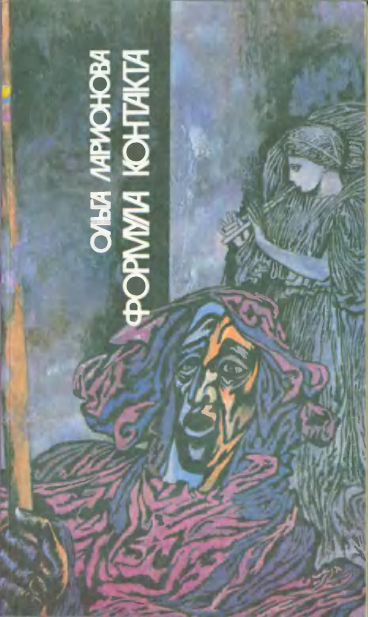


ОЛЬГА ЛАРИОНОВА
ФОРМУЛА КОНТАКТА



ОЛЬГА ЛАРИОНОВА
ФОРМУЛА КОНТАКТА
СБОРНИК ФАНТАСТИКИ



ЛЕНИЗДАТ . 1991

84.3P7

Л 25

Редактор *В. М. Шевелева*

Л 4702010201—007 146—91
М171(03)—91

ISBN 5-289-00925-6

© О. Н. Ларионова, рассказ
«Лгать до полуночи», по-
весть «Формула контак-
та», 1991

© В. А. Трилесский, оформ-
ление, 1991

«ЩЕЛКУНЧИК»

Р а с с к а з

Этот рейс начинался просто и буднично, как, впрочем, и большинство рейсов, вошедших в анналы Большого Космофлота своим невероятным нагромождением случайностей, непредвиденностей и аварийных ситуаций. Собственно говоря, вся предыстория этого рейса сводилась к традиционной воркотне Полубояринова, который не жаловал новичков, недолюбливал вундеркиндов и затирал молодежь. Был у него такой маленький недостаток, которого никто бы не замечал, если бы он сам не рекламировал его при каждом удобном случае. Вот и теперь, когда надо было законсервировать базу на Земле Тер-Демирчанова — просто снять людей и часть оборудования, — Полубояринов скорчил самую кислую мину, подписывая назначение Сергея Тарумова.

Хотя «за» было многое, и главное — Тарумов давно считался одним из лучших первых помощников. Командиры говорили о нем (а ходил он преимущественно с разными), что у него интуитивная способность оказываться на подхвате в любой взрывоопасной ситуации. Доходило до того, что если после вахты Тарумов почему-то задерживался в рубке — значит, можно было ждать метеоритной атаки, нейтринного смерча или подпространственной ямы. Но Полубояринову этого было мало. «Рано ему садиться в командирское кресло, — брюзжал он, впрочем, без излишней настойчивости. — А может, и не рано, а вообще противопоказано. Тарумов — врожденный дублер». «А вот это только в самостоятельном рейсе и обнаруживается», — справедливо возражал ему Феврие, который давно уже ходил первым штурманом. Собственно говоря, Тарумова Феврие знал только понаслышке, но вот скверный нрав Полубояринова был ему давно известен. Рейс несложный — отдохновение души плюс три нырка в подпространство — как раз для того, чтобы проверить новичка. Чем черт не шутит! Командиров на Флоте — не перечесть, но вот НАСТОЯЩИХ командиров...

— Ладно,— сказал Полубояринов.— Пусть получает своего «Щелкунчика», чтоб не было этой обиды — продержали, мол, всю жизнь на положении «правой руки». Я же сейчас не о нем. Я о тебе, Дан. Подумал бы ты серьезно о моем предложении, а?

— Ладно, ладно,— отмахнулся тогда Феврие.— Рассмотрю на досуге. А думаешь, приятно сидеть тут рядом с тобой в управлении? Брюзжишь на все Приземелье...

Так Тарумов получил свой корабль и со сдержанным восторгом, приличествующим первому самостоятельному рейсу, стартовал к Земле Тер-Демирчанова, или попросту Тере.

Там его не задержали: экспедиция доказала абсолютную бесперспективность освоения Теры, а засиживаться на «пустышке» было просто противно. К приходу «Щелкунчика» все контейнеры были уже тщательнейшим образом упакованы — только грузы. В бытность свою первым помощником Тарумов уже сталкивался с людьми группы освоения, которым приходилось сворачивать работы. Как правило, такая группа являла собой полный спектр естественного человеческого раздражения, от корректного и сдержанного до абсолютно разнузданного, переходящего в бешенство. Еще бы — никто лучше освоенцев не знал, во сколько обходятся Базе такие неудачные попытки!

Но ничего подобного не было здесь. Тарумов приглядывался к четкой и несуетливой работе экспедиционников и все более и более убеждался, что залогом этого спокойствия была Лора Жмуйдзинявичене, руководитель экспедиции — маленькая полная брюнетка лет сорока пяти, сочетавшая неукротимую энергию с удивительно мягким и нежным голосом, и Тарумов, вполне согласный с Шекспиром в том, что сей дар составляет «большую прелесть в женщине», вдруг совершенно незаметно для себя оказался подчиненным властному ее обаянию. За последние десятилетия женщин в космосе значительно поубавилось, и новопеченный командир, отправляясь на Теру, даже не задумывался над тем, кем же может оказаться начальник экспедиции с чудовищной фамилией Жмуйдзинявичене. Но она протянула ему пухлую маленькую ладошку и просто сказала: «Лора», и теперь за теми редкими завтраками или ужинами, когда предстартовые хлопоты позволяли им вместе сесть за стол в кают-компанин, он мрачно завидовал Феврие, который с высоты своих се-



ми десятков лет непринужденно обращался к Лоре по имени. Тарумову же, учитывая его неполные тридцать четыре, было делать то же самое как-то неловко, и он натянуто молчал, являя собой этакую образцовую дубину в комбинезоне с командирскими нашивками.

Эта неуклюжесть и скованность были если не первой ошибкой, то во всяком случае предосторней всех последующих промахов, потому что в состоянии досадливой неудовлетворенности собой человек ошибается гораздо чаще.

Но поначалу все шло идеально. За пятьдесят часов отошли так далеко от Теры, что ее гравитационное поле было не страшно для совершения подпространственного перехода — практикой было установлено, что при нырке в подпространство близко от какой-нибудь, пусть даже незначительной, массы корабль выныривал обратно не в расчетной точке, а где-то в другой Галактике. Подпространством пользовались, имея весьма смутное о нем представление — как в прошлые века гравитацией.

И оно нередко мстило за пренебрежение к себе.

Так случилось и со «Щелкунчиком» — он вынырнул не на месте. Правда, в нужной зоне дальности, — локаторы с трудом, но нащупали один из контрольных автоматических буев, по которым можно было сориентироваться для следующего нырка. Но перед этим нырком нужно было тщательнейшим образом перепроверить корабельный гиперпространственный преобразователь. Тарумов со своими механиками промаялся трое суток, но никакой аномалии в работе этого агрегата не нашел. Оставалось признать смещение на выходе случайным и продолжать путь.

Вот тут-то Тарумов и заметался. Сначала он посоветовался с Феврие — но тот был слишком осторожен, чтобы высказаться категорически, и отослал его прямехонько на Базу.

С позиции умывания рук запрос Базы — лучший способ снять с себя всякую ответственность. С точки зрения получения оптимальной рекомендации — тоже неплохо, так как на запрос молодого командира ответ давал коллектив старейших космолетчиков.

Так вот, База тоже сочла ошибку случайной — бывало и такое.

Позднее, перебирая в памяти все этапы этого рейса, Тарумов не сомневался, что, принимая он решение единолично, он положил бы «Щелкунчика» в дрейф после

первого же нырка и спокойно ждал подхода ремонтного буксира, невзирая на тот возможный позор, который ожидал бы его, молодого командира, если бы выяснилось, что корабль задрейфовал понапрасну.

Несмотря на тщательнейшую подготовку ко второму нырку, выход из него оказался коронным по стечению неблагоприятных обстоятельств. Мало того, что их отбросило в систему Прогиноны — тусклого красненького солнышка с тремя убогими планетами, — они оказались в одном из опаснейших уголков Галактики, который славился такой плотностью комет, что напоминал прибрежную полосу Черного моря ранним августовским утром, где вода кажется непрозрачным комковатым студнем от обилия медуз.

Собственно говоря, корабль, лежащий в дрейфе или идущий на планетарных двигателях, кометы нимало не тревожат — локаторы связаны с кибер-штурманом, который автоматически изменит курс корабля или даст сигнал заблаговременно нырнуть в подпространство.

Современному звездолету комета страшна только тогда, когда она находится именно в той точке, в которой он выныривает, или, как это принято говорить, «проявляется». Вероятность подобного совмещения в пределах Солнечной системы практически равна нулю, но в таких космических дырах, как Прогинона, все могло быть.

И было — именно со «Щелкунчиком».

В первый миг их попросту потрянуло, словно корабль икнул всеми своими трюмными потрохами. Экипаж привычно занял аварийные посты и закрепился на случай последующих толчков — пока все скорее напоминало учебную тревогу, чем реальную катастрофу. Но слово «комета» уже прозвучало во всех отсеках, и все знали, что корабельный компьютер уже рассчитывает массу кометного вещества, оказавшегося в том объеме пространства, в котором проявился корабль, и теперь заключенного внутри корабля. В центральной рубке на компьютерном табло уже начали загораться первые цифры, и по мере их возникновения по всем отсекам раздался вой сирен — высокий, прерывистый, означавший опасность нулевой степени, или попросту опасность смертельную.

Внутри корабля находилось целых четыре грамма посторонней массы!

Конечно, «Щелкунчику» могло повезти, и эти злополучные четыре грамма могли оказаться где-нибудь внутри трюмных помещений — тогда это облачко пара бес-

следно и бесследно растворилось бы в воздухе, наполнявшем корабль.

Но могло быть хуже — чрезвычайно редко, но так случалось. Неощутимые частицы чужеродной материи проявлялись в металле корпуса корабля, его машин и механизмов. В таком случае даже единичная молекула, мгновенно возникающая между атомами титана, вызывала так называемый «подпространственный резонанс» и как бы вспарывала изнутри сверхпрочный сплав. Единичная!

А здесь «Шелкунчик» нахватался такого количества ледяной пыли — и, возможно, не атомарно рассеянной, а в виде микросгустков, — что теперь в нем каверн было, как дырок в сыре. При включении двигателей корабль просто-напросто мог треснуть, как яйцо. А двигатели надо было включать, и побыстрее, ведь не вечно же сидеть на самом загривке у кометы — генераторы защитного поля и так работали на полную мощность. Правда, можно было бы уйти в подпространство, но в таком мощном гравитационном поле, да еще с неисправным преобразователем, можно было вынырнуть в совершенно неизученной части Метагалактики. Ни сигнальных буев, ни других ориентиров. Как тогда прикажете добираться домой?

И запрашивать Базу не было времени — генераторы защиты переключились на форсаж, и несколько часов, потребных на установление связи через две зоны дальности, они просто не выдержали бы. На этот раз Феврие не стал ждать, когда командир обратится к нему за советом, и тихонько послал Воббегонга, первого помощника в этом рейсе, за Лорой.

И вот она сидела в командирском кресле посреди рубки, а они втроем — перед нею, словно курсанты на экзамене. Она уже выслушала все варианты и теперь в свою очередь выжидающе смотрела на Тарумова — ему же решать в конце концов.

— Насколько я понимаю, — резюмировала она своим милым, журчащим голоском, — мы или гробанемся разом, или растянем это удовольствие на несколько лет и в неведомой глуши. Так?

Она беспомощно развела пухлыми ручками. «И эта женщина спокойно командует тремя десятками мужчин!» — с отчаяньем подумал Тарумов. Он завидовал ей с первого же момента пребывания на Тере, но никогда эта зависть не была так сильна, как сейчас.

А Феврие смотрел на них со стороны — молодчина

Лора, умница Лора, она так уютно, по-домашнему толкует с этим щенком, словно вся проблема выведенного яйца не стоит. Она прямо-таки накачивает своим спокойствием этого растяпу. А ведь она видит его впервые. И никто не говорил ей, что он — прирожденный дублер, неспособный принимать самостоятельные решения. Сама разобралась. И ведь главное — она сейчас меньше всего думает о том, какое решение примет командир в данный момент. Она уже уловила, что риск — пятьдесят на пятьдесят. Она заботится о том, чтобы Тарумову не было стыдно вспоминать о своем первом самостоятельном рейсе, когда он пойдет в третий, четвертый, десятый...

— В конце концов, — заключила Лора, — если и один выход — не сахар, и другой — дерьмо собачье, то почему бы не взять от каждого по половинке? А?

Она тряхнула головой, и смоляные кудряшки несерьезно подпрыгнули над ее висками. Совершенно не к месту Тарумов подумал, что очарование этой немолодой уже женщины и состоит в органичности ее контрастов...

— Воббегонг, — обернулся он, наконец, к первому помощнику, — попытаемся слезть с загрявка этой кометы на самой малой тяге.

— Курс? — спросил Феврие.

— Халфвинд правого галса.

Феврие обернулся к компьютеру, чтобы посчитать курс. Слава Вселенной — раз уж пошли лихие команды, то все в порядке. Тарумов уже врубал на центральном пульте какие-то клавиши оповещения, издавала доносилось хлопанье трюмных люков, зуденье сигналов, кто-то заскакивал в рубку и тут же исчезал... Обычная предстартовая суета. И Лора, спокойно и даже несколько безучастно наблюдавшая за всем этим из командирского кресла. А ведь для нее старались. Тарумов лихо командовал, Воббегонг каблуками шелкал. Полный набор всех звуковых сигналов по всем трюмам воет — Филадельфийский симфонический, да и только. Устроили последний парад. Мальчишки. Феврие нажал кнопку, и из стены выдвинулось амортизирующее кресло. Он сел, пристегнулся. Тарумов и Воббегонг последовали его примеру. Лора вдруг обратила внимание на то, что она все время занимала командирское место. Вот и теперь все от нее чего-то ждут. А, ремни... Она вытянула из пазов крепежные лямки и сцепила под грудью пряжку.

— Планетарные — на прогрев, — скомандовал Тарумов.

Планетарные двигатели — штука мощная. Вибрация поначалу чуть заметна, ее угадываешь только потому, что ждешь, да иногда начинает тоненько зудеть попавшая в резонанс лампочка. Но затем гигантское тело корабля наливается напряжением, и крупная, с трудом сдерживаемая дрожь бьет эту титановую посудину, словно какое-то живое существо мчалось из всех сил, пока не наткнулось на невидимую преграду, и вот теперь оно замерло, а дыхание продолжает klokотать, и сердце готово разнести свою оболочку... И только когда двигатели будут переведены с холостого хода на маршевый, дрожь эта внезапно сгладится, стиснутая невыносимо тяжелой лапой перегрузки.

— Штурман, — сказал Тарумов, — как только выйдем в периферийную зону шлейфа, ляжем в дрейф и пропустим комету мимо себя. Генератор защиты выдержит. А там посчитаем, что дальше.

— Хорошо, — не по-уставному ответил Феврие.

Хорошо ему не было. Ему давно уже стало страшно и тоскливо, потому что в этот рейс он мог и не идти, — Полубояринов давно уже звал его к себе, в координационный центр. Но он отказался, потому что в этот раз набиралось уж слишком много новичков — не считая командира, механика, второй штурман и оба врача.

А сейчас ему было страшно, и еще страшнее стало от одного-единственного слова Тарумова: «Посчитаем».

За все время пребывания в космосе Тарумов так и не научился решать. Он научился только считать. Считать даже в тот единственный момент, когда четко и безошибочно должна была вступить в действие интуиция настоящего космолетчика.

Феврие, как и все старики, удержавшиеся в космосе, такой интуицией обладал, но сейчас работала не она, а простой автоматизм, и он безошибочно вколачивал программу в корабельную «считалку», а закончив свое дело, невольно оглянулся на Лору, — впрочем, на нее все невольно оглядывались, словно спрашивая ее молчаливое согласие и одобрение. Она полулежала в командирском кресле, сцепив на крепежной пряжке свои маленькие руки, и безмятежно улыбалась Тарумову.

— Ну, поехали! — сказал командир.

Раньше эти слова, с незапамятных времен ставшие уставной командой, ничуть не коробили старшего штурмана; но теперь Феврие почему-то захотелось, чтобы молодой командир сказал что-то свое, а не традиционное.

Ведь сейчас, после этих слов, может случиться все, что угодно.

Ничего не случилось. Тошнотворность перегрузки — и все. Вот уже три секунды — и ничего. Четыре. Пять. Шесть. Семь...

Удар сотряс всю громаду корабля, словно в носовом отсеке разрядился на себя гаубичный десинтор континентального действия. Кажется, был еще лязг и скрежет рвущегося, как картон, металла, но кровь ударила изнутри в нос и уши, черной режущей болью застлало глаза. Феврие показалось, что его вывернули потрохами наружу и в таком виде швырнули с пятого этажа. Затем «Щелкунчик» подкинуло и опустило, словно на волне, и еще, и еще. Это было не так уж плохо — значит работали автоматы-стабилизаторы, гасящие колебания; но тут кроме боли и выворачивающей внутренности тошноты появилось еще какое-то внешнее ощущение — на каждом взлете и падении корабля что-то методично било штурмана по ногам.

Он разлепил веки и, с трудом подняв руку, протер глаза — нет, ничего, крови на ладони не было. Осторожно, не расслабляя ремней, он глянул вниз и оцепенел: то, что било его по ногам при каждой конвульсии корабля, было телом Лоры.

Вероятно, во время первого, самого страшного удара ее ремни лопнули, или она сама нечаянно нажала на затвор пряжки, и ее выбросило из кресла; но рука попала в ременную петлю, и теперь все тело билось о станину кресельного амортизатора, а ноги в высоких зашнурованных ботинках задевали колени Феврие.

Он знал, что надо отстегнуться и попытаться хоть что-нибудь сделать, он даже чувствовал, что у него на это пока еще есть силы, но оцепенение безнадежности было сильнее разума, и он не мог заставить себя шевельнуться и только повторял, может быть, вслух, а может, и беззвучно:

— Все. Все. Все. Все...

Откуда-то сверху на него свалился Тарумов, продержался секунды две, вцепившись в комбинезон и выжидая миг затишья между взлетом и падением корабля, а затем метнул свое тело вниз, в промежуток между креслами, и Феврие увидел его бешено дергающиеся губы и скорее угадал, чем услышал сквозь звон в ушах:

— Всем медикам — в рубку! Всем медикам — в рубку!!!

И словно в ответ — глухой стук и вспышка сигнального табло: «Дегерметизация первого горизонта».

Так и есть, рвануло в носовой части. Двигатели вне опасности, но вот большинство систем внутреннего обеспечения... И, между прочим, аварийный лифт, которым обязательно воспользуются все медики. Только бы они успели...

Феврие поймал себя на том, что он инстинктивно ждет еще какой-то беды. Уж если в массу корабля всажено четыре грамма льда, то тут одной каверной не обойдешься. Он скопился на Тарумова — тот уже втащил Лору в кресло и теперь старательно проверял пряжки у нее на животе. Значит, и он ждет.

Успели бы медики...

Он не додумал до конца, как вдруг что-то грохнуло прямо над головой, словно треснул потолок, и Феврие почувствовал такую тяжесть, как будто его тело размазали по креслу...

Когда он пришел в себя, корабль шел как ни в чем не бывало. Если бы не специфический запах медикаментов и отсутствие подушки под головой, Феврие подумал бы, что он просто проснулся у себя в каюте. В следующий момент он почувствовал ледяные прикосновения к левой руке — так и есть, полдюжины манипуляторов массировали локоть. Вот он где. Медотсек. Но где же врачи?

В этом полупрозрачном саркофаге, способном обеспечить первую помощь без вмешательства людей и именуемом не иначе, как «гроб Гиппократата», Феврие побывал за свою жизнь не один десяток раз. Он бесцеремонно выдернул руку из цепких лапок манипуляторов и сел. То, что «гроб» не был закрыт, говорило о том, что ничего серьезного не произошло и он может самостоятельно покинуть свое место. Но рядом кому-то повезло меньше — крышка была задвинута, и под полупрозрачной выпуклостью синтериклона мелькали многочисленные манипуляторы с иглами и тампонами... Только вот кто бы это мог быть? Ни в экипаже «Щелкунчика», ни в составе экспедиции вроде бы не числилось бритоголовых, тем не менее в саркофаге лежал кто-то небольшой по росту и абсолютно лысый.

Феврие перегнулся через борт и захватил кончик перфоленты, высовывавшейся из-под изголовья соседнего саркофага. Ленту уже один — или не один? — раз отрыва-

ли, и фраза начиналась на полуслове: «...ной вибрации. Движения корабля необходимо стабилизировать. Множественность травм черепной коробки...»

В верхнем люке, расположенном у самой стены, показались ноги; по штурмтрапу слетел вниз Воббегонг, молча выхватил ленту из рук Феврие, так что он не успел дочитать и до середины, и снова исчез в люке. Феврие продолжал сидеть, подогнув колени и чуть покачиваясь, и все не мог решить, почему это Воббегонг воспользовался межгоризонтным штреком, а не аварийным лифтом? Каким-то сторонним уголком сознания он отмечал, что просто боится думать о главном и цепляется за второстепенные проблемы, экранируясь их кажущейся легкостью от чего-то главного и страшного.

Он невольно всматривался в мельканье тампонов и никеля под крышкой соседнего саркофага, как вдруг в неожиданно открывшемся просвете он увидел лицо бритоголового незнакомца.

Это была Лора.

Ужас, от которого он пытался заслониться, настиг его, ударил в голову, как бывало при внезапном торможении, когда вся кровь, кажется, готова вырваться через нос и уши. Такого страха у него не бывало ни разу, ни при какой аварии. Степень собственного потрясения ужаснула его, и он вдруг понял, что страх такой непреодолимой силы при виде гибели знакомого человека бывает только у настоящих стариков.

Так вот что с ним. Приступ самой страшной, необратимой болезни — старости.

Он тяжело перевалил свое тело через край саркофага и побрел к штурмтрапу, стараясь не глядеть в сторону Лоры.

То, что они шли на Землю Чомпота — единственную пригодную для посадки планету системы Прогиноны — не было решением Тарумова. Это было просто единственным выходом. Первый взрыв — вернее, раскол титанира — произошел в главной регенерационной. Вода теперь подавалась только в медицинский отсек, с воздухом было и того хуже, ведь кроме экипажа на борту находилась еще и вся Лорина экспедиция. Хотя нет, уже не вся...

Во время второго толчка все медики находились в аварийном лифте. Остался ли кто-нибудь из них в живых, когда кабина была сброшена на дно лифтовой шахты? Те-

перь это не имело значения — дегерметизация носовых горизонтов... Вот почему надежнее всего было поручить Лору заботам кибер-диагностера, в задачу которого входило не только дать полный анализ состояния пациента, но и поддержать в нем жизнь до оперативного вмешательства людей. Но оперировать было некому.

Поэтому искалеченный «Щелкунчик» мчался к единственной планете, которая могла его приютить до подхода спасателей.

В овальном иллюминаторе (который, собственно, иллюминатором только именовался, а на деле был телескопическим экраном внешнего обзора) тускло голубела освещенная сторона планеты. Один материк был сплошь покрыт обледенелыми скалами; второй, экваториальный, почти сплошь заболочен, так что для высадки годилась только каменная терраса, спускавшаяся от молодого горного массива, ощерившегося скальными пиками, к топкой равнине. На этот единственный пяточок и нацеливался штурман.

На экране корабельного компьютера ползли данные по климатическим условиям Чомпота — средние температуры, сезонные ветры, зависимость радиопомех от активности Прогиноны...

— Пропустим это? — полувопросительно обратился Тарумов к тяжело осевшему в кресле Феврие. — Погоду даст нам зонд, а на целый сезон мы тут вряд ли задержимся...

Штурман едва удержался от того, чтобы не спрятать руки за спину и там костяшками пальцев постучать по деревяшке.

— Да-да, — отозвался он с преувеличенной озабоченностью. — У нас ведь шесть зондов, а с посадкой на Чомпоте ни у кого до нас затруднений не было, насколько я помню.

Помнить этого он, разумеется, не мог — космолетчик его класса держал в памяти от двухсот до трехсот планет, но Чомпот не входил в их число. Потому-то командир и предложил:

— А все-таки перепроверим предыдущие посадки...

Садился один «Аларм», разведчик, а «Мирко Сташич», ремонтёр, ходил вокруг да около. Данные корабельного информатория были скупы, из них только следовало, что «Аларму» повезло почти так же, как и «Щелкунчику», с той только разницей, что у него полетели двигатели. Они вызвали ремонтёра и болтались на стаци-

онарной орбите, пока не подошел «Мирко». При этом разведчики произвели вполне удовлетворительную съемку поверхности и набрали порядком статистики по атмосфере. База, оперативно разобравшись с этими данными, признала Чомпот к освоению не вполне пригодным, и поэтому высадка людей не производилась, а экипаж «Аларма» прямо на орбите перешел на ремонт. «Аларм» был изрядно потасканной посудиною, и его решили бросить, то есть дистанционно опустили на поверхность, дабы он служил автоматическим маяком, или, коли понадобится, пристанищем для потерпевших крушение.

— Надо бы задействовать маяк,— забеспокоился Тарумов.— Инженера по связи — в рубку!

Лодария, старший связист, вылез из люка бородой вперед. Следом показался угрюмый Воббегонг с очередной лентой в руках.

— Вы можете задействовать маяк на Чомпоте?— вместо приказа спросил Тарумов.

— А почему нет?— в своей обычной манере вопросом на вопрос ответил Лодария, постоянно раздражавший командира.

— Вызывайте Чомпот,— сухо сказал Тарумов.

— Это недолго. Только мне бы сначала наладить связь с Базой.

— Что-нибудь с передатчиком?— спросил Воббегонг.

— Боюсь, что с антенной. Ее выход там, в носовой части — не проверишь, пока не сядем.

Это и так было ясно — вся носовая часть, разгерметизировавшаяся при ударе, была наглухо перекрыта автоматическими щитами.

— Тогда проще будет воспользоваться аппаратурой на «Аларме»,— сказал Воббегонг.— Главное, быстрее. «Гиппократ» торопит.

— Теперь только сесть как можно ближе к этому разведчику,— почти просительно проговорил Тарумов.— Аппаратура на нем работала надежно — во всяком случае, когда «Мирко Сташич» вышел из зоны слышимости, База приняла все данные с АРПС.

Да, АРПС, автоматическая разведочно-поисковая станция, опустившаяся на поверхность вместе с обезлюдевшим «Алармом», долгое время посылала сведения об атмосфере, почве, растительности и прочих характеристиках этой малопривлекательной планеты, и сейчас все эти сведения, хранившиеся на всякий случай в электронной памяти каждого корабля, светлыми колонками цифр и

обозначений проскальзывали по экрану. Животный мир полностью отсутствовал, даже на уровне простейших, но вот плотность зеленой массы на квадратный километр позволила бы там разводить стада мастодонтов или протоцератопсов.

Но сейчас это мало кого интересовало, и Тарумов протянул уже было руку, чтобы выключить подачу данных, когда на экране возникла лаконичная надпись:

СЛЕДЫ ВНЕЗЕМНЫХ ПОСЕЩЕНИЙ: ЛЕМОИДЫ (?)

— Что? — вне себя крикнул Тарумов. — Еще и лемоиды?

Феврие только покачал головой — это было закономерно. Уж если в этом рейсе на них начало все сыпаться с самого начала, то и кончиться должно было какой-нибудь нечистью.

— Ложимся в дрейф, — чуть слышно пробормотал командир. — Теперь только одно — лечь в дрейф...

Свободный дрейф — ах, как это было бы хорошо, как это было бы спокойно, если б не регенераторы. Если б не передатчик.

И если бы не Лора.

— Командир, — похоже, что до старшего связиста медленно, но верно начало доходить, кто ими командует. — Командир, я не гарантирую, что с орбиты мы установим связь с Базой и за десять дней...

— «Щелкунчику» лечь в дрейф, — тупо повторил Тарумов.

«Если бы мои подчиненные когда-нибудь посмотрели на меня так же, как сейчас Воббегонг и Лодария — на своего командира, — мелькнуло в голове у штурмана, — я, наверное, выбросился бы в открытый космос. Хотя чем я лучше его?»

— Воббегонг, — заставил он себя произнести чужим, твердым и молодым голосом, — посмотрите еще раз, как там в медотсеке. А вы, Лодария, постарайтесь не затягивать ремонт на десять дней.

Лук за ними захлопнулся чересчур поспешно.

— А теперь, Сергей, в сложившейся обстановке я беру командование кораблем на себя.

Тарумов прикрыл глаза, словно на него замахнулись.

— Первое, — продолжал штурман, — необходимо проверить, кто из нашего экипажа или из состава экспедиции имел дело с лемондами. Если таковые имеются — немедленно их в рубку.

Тарумов кивнул. «Не торопись соглашаться, растяпа,— с горечью подумал Феврие.— Посмотри сначала, а могу ли я взять на себя такую тяжесть. Я ведь не могу. И не возьму. Ты растерялся, ты не знаешь, что сейчас главное: корабль с онемевшими передатчиками, угроза удушья или эти взвешенные механические нелюди на этом треклятом Чомпоте, куда нам все-таки придется садиться. Но главное не это, с этим мы как-нибудь справимся. А главное, это любой ценой спасти Лору Жмуйдзинявичене. Как это сделать, решать будешь ты».

— И во-вторых,— проговорил штурман тоном, не допускающим никаких возражений,— то, что кораблем команду фактически я, в бортовой журнал ВНЕСЕНО НЕ БУДЕТ.

— Или это не «Аларм»,— проговорил Сунгуров, микробиолог экспедиции,— или он валяется, как бревно.

Все напряженно всматривались в иллюминатор, который давал цветное изображение поверхности с пятикратным увеличением.

— Можно сбросить еще километра два высоты, но это нам ничего не даст,— проговорил Тарумов.— Пускаем зонд?

Впрочем, вопросительная интонация улавливалась только одним человеком — Феврие. Он так же незаметно кивнул.

— Давайте,— обернулся Тарумов к Воббегонгу.— Если только и зонды не заклинило к чертям.

Зонд отделился от корабля исправно и бесшумно, только канареечным светом трепыхнулась сигнальная лампочка и матово затеплился приемный экранчик, дающий изображение, видимое с зонда. Сначала он был весь покрыт тенью, но по мере того, как зонд отдалялся от корабля, на оливковой поверхности появилось и начало уменьшаться изображение четыреххвостого кашалота — именно так выглядел «Щелкунчик» со стороны. Видимость была ниже средней — распределитель недодавал энергии.

Все смотрели, затаив дыхание, словно на экране вот-вот мог появиться лемонд в натуральную величину. Собственно говоря, «лемонд» — это был космический жаргонизм, родившийся по прихоти одного из популярнейших писателей самого начала космической эры Станислава Лема. С колонией саморазвивающихся киберов люди столкнулись впервые в системе Бетельгейзе спустя примерно

четыре столетия после того, как эта мелкая и всеильная своей массой нелюдь была описана великим фантастом, и как-то само собой получилось, что киберы эти оказались на совести писателя, словно он их не только предсказал, но и реально создал, и брошенное кем-то прозвище «лемониды» вдруг стало общепринятым термином.

С тех пор лемониды были обнаружены не менее чем в десяти различных уголках Вселенной — как на планетах, так и на астероидах. В большинстве случаев они давно уже были безнадежно и необратимо мертвы. Различные пути эволюции, определяемые самыми противоположными физическими условиями, в которых проходило это развитие, привели к тому, что ни разу формы киберов не были хотя бы отдаленно схожи. Правда, возраст их был предположительно одинаков, но с такой натяжкой, что на Земле так и не пришли к единому мнению: принимать ли их за детище одной цивилизации, но разных времен и назначений, или вообще не связывать одну лемонидную популяцию с другой.

Из экипажа «Щелкунчика» только Дан Феврие встречался с лемонидами, но это была мертвая колония, кажется, на Белой Пустоши. Зато из состава экспедиции «специалистом по лемонидам» оказался Петр Сунгуров, имевший дело с абсолютно живыми и, надо сказать, вполне боеспособными тварями, полонившими Землю Краузайте и обратившими землян в беспрецедентное бегство.

Между тем изображение «Щелкунчика», передаваемое с зонда, стало совсем крошечным.

— Высота три тысячи пятьсот, — доложил Лодария. — А не пора ли переориентировать зонд на изображение Чомпота?

— Давно пора. И запрашивайте, наконец, маяк на «Аларме» — как-никак, он кувыркался, так что аппаратура...

— Чомпот — планетка молодая, — поспешил прервать его опасения штурман. — Его трясет и ломает беспрестанно, так что не будем все беды априорно валить на лемонидов — может, и дохлых.

Видно было, что об этом втайне мечтают все присутствующие.

Внезапно рубка наполнилась прерывистым свистом, словно кто-то нетерпеливо звал собаку.

— Ага, — удовлетворенно хмыкнул Лодария. — «Аларм»-таки отозвался. Хотя почему бы аппаратуре и не работать? Стоя ли, лежа.

Он нахлобучил шлем и переключил прием на себя. Стало тихо.

— Алармовый компьютер на связи,— доложил Лодария.— Рвется дать метеосводку, словно ничего нет важнее. Принять?

— Попозже,— сказал Тарумов.— Есть ли у него связь с Базой?

Лодария мотнул бородой и начал отстукивать шифр запроса — при общении с компьютерами звуковой код был ненадежен.

— Так... Сверхдальняя связь действует... Последняя проверка была сто восемьдесят часов назад... В настоящий момент нет выхода на ближайшую ретрансляционную зону — помехи.

— Защитное поле «Аларма» можно включать дистанционно?

Лодария немного поколдовал своим ключом, прислушался. Все напряженно ждали — собственные-то генераторы защиты на «Щелкунчике» полетели сразу же после того, как корабль вылез из кометного хвоста. Дьявольский форсаж, а генераторы находились близко от носовой части... Никто из экипажа не говорил об этом вслух, но пока они шли на планетарных, один-единственный метеорит размером в горошину мог покончить с громадой беззащитного «Щелкунчика». Да и экспедиционники, наверное, это знали.

— Поле, оказывается, включено постоянно,— доложил старший связист,— но отсюда управлять им возможно.

— Радиус?

— Радиус... Триста метров.

Тарумов оглянулся на Феврие — что-то странно было, что у разведчика такого класса, как «Аларм», защитное поле ограничивалось таким малым радиусом.

— Ничего,— сказал штурман.— Возможно, радиус был задан с уходящего ремонтера. Пеленг сейчас устойчивый, и посадить нашу посудину прямо под бок «Аларму» — пара пустяков. А там мы сразу прикроемся его защитным полем.

На словах все выходило удивительно легко.

— Добро,— сказал командир.— А пока страховки ради посадим по пеленгу зонд. И самое время поинтересоваться метеосводкой, мы ведь должны сесть так, чтобы и посуда не зазвенела.

Все последнее время, наблюдая за Тарумовым, кото-

рый с каждой командой становился все увереннее в себе, Феврие невольно задавал себе вопрос: а не происходит ли с командиром естественный и неизбежный процесс кажущегося слияния со всем кораблем, когда чутко и чуть ли не болезненно начинаешь чувствовать работу каждого, особенно искалеченного узла, когда дышишь каждым регенератором и чихаешь при каждой пробке в топливном трубопроводе? Штурман знал, что именно так и рождается НАСТОЯЩИЙ командир, но настоящим Тарумов был не создан. И если он и способен был в какой-то степени овладеть кораблем, то наверняка забыл о людях.

И вот теперь, после ничего не значащих для посторонних слов, Феврие понял, что и тут он недооценил своего командира. Тарумов действительно знал, что сейчас самое главное. И, пожалуй, никогда об этом не забывал. Мягкая посадка. Пуховая посадка. Потому что это необходимо для Лоры.

Словно угадав его мысли, Воббегонг нырнул в люк и минуты через полторы выскочил обратно, как пробка:

— Командир, Гиппократ требует в течение часа сообщить ему о возможном режиме движения. И беспокоится о кислороде...

— Высота зонда?— отрывисто спросил Тарумов.

— Тысяча триста.

— Через час мы будем на поверхности и в полном покое.

Феврие снова подумал, не постучать ли по деревяшке...

— Странные помехи,— сказал вдруг Лодария.

Все разом повернулись к экрану зонда. Действительно, вся его оливковая поверхность была испещрена какими-то растушеванными заплатами. Продолговатая туша «Аларма», обозначившаяся было с нормальной четкостью, теперь оказалась как бы закапанной чернильными брызгами.

И брызги эти росли.

— Высота?..

— Тысяча шестьдесят пять.

Кляксы уже расплылись по всему экрану, в промежутках между ними едва видимая теперь поверхность Чомпота встала вдруг ребром, совершила противоестественный курбет — и экран погас.

— Запустить второй зонд!— крикнул Тарумов прежде, чем кто-либо успел опомниться.— Второй зонд анало-

гично по пеленгу, и третий — с разрывом от него по высоте в двести метров!

Теперь светилось два оливковых экранчика: нижний с самого начала следил за поверхностью, верхний давал изображение нижнего зонда, напоминавшего несимметричную грушу.

— Тысяча триста... — негромко диктовал Лодария. — Тысяча двести восемьдесят... двести шестьдесят... двести сорок...

— Вон они! — крикнул Воббегонг. — Бросились. Свора.

Отдельные черные запятые становились видимыми не сразу — похоже, что размеры их были порядка метра в поперечнике. — а уже на значительной высоте, что-то около пятисот метров. Они шли на нижний зонд, не рыская, словно по магнитной наводке.

— Третьему зонду закрепить постоянную дистанцию в сто пятьдесят метров по вертикали!

— Сделано. Тысяча сто во...

Экран нижнего зонда дернулся, как и в предыдущий раз, задрожал. На нем уже ничего нельзя было разобрать. Зато на верхнем экране было отчетливо видно, как происходит нападение. Тупорылые конусообразные тела налетали на нижний зонд и вцеплялись в него мертвой хваткой. Естественно, в первую очередь доставалось всем выступающим частям — антеннам, датчикам, смотровым линзам, стабилизаторам. Везде, где можно было зацепиться, висело уже по две-три механические твари, нередко — друг на дружке. Лемонды, если это действительно были они, заваливали зонд просто-напросто собственной массой. Нижний экран погас, на верхнем было видно, как черный бесформенный сгусток валится на поверхность.

— Третий зонд — вверх! — Ошеломленные этим натиском, решительно все забыли о том, что, связанный заданной дистанцией, третий зонд следом за вторым вошел в зону поражения. — Поднять третий зонд на высоту тысяча триста!

Поздно. На верхнем экране изображение подбитого зонда характерно дернулось, кувыркнулось, и все повторилось.

Тарумов успел прикинуть, что для того, чтобы вывести зонд из строя, лемондам потребовалось шесть-семь секунд.

Из шести зондов на «Щелкунчике» осталось только

три, а между тем лемондов даже не удалось как следует разглядеть.

— Хорошо,— неожиданно сказал Тарумов.— Очень хорошо. Что общего у этих тварей с теми, которые вам уже встречались?

— Внешне — ничего.— Сунгуров вроде бы даже обрадовался, что настал его черед и он может чем-то помочь.— Наши киберы были много мельче, передвигались прыжками, но не выше, чем в три-четыре метра. Хотя от наших особей как раз и можно было бы ожидать большей легкости в движениях — видите ли, на Земле Краузайте высшей формой жизни являются насекомые, и наши «краузайчики» напоминали гибрид муравья и кузнечика...

Командир жестом остановил Сунгурова. Это так просто — неужели никто раньше не обратил внимания?..

— Скажите, Феврие, а кого напоминали лемонды на Пустоши?

«Ох, мальчик,— подумал Феврие,— ты бы меня не дергал. Я сижу в уголке, изредка одобрительно киваю тебе, когда ты на меня оглядываешься — и весь тут я. Я не знаю, как назовут это медики — какая-то там депрессия, вероятно, но мне сейчас не семьдесят лет, а все сто сорок. Моих сил сейчас хватает только на то, чтобы держаться прямо в кресле...»

Но он пожевал губами, собираясь, и медленно ответил:

— Никого. Никого из земных. Биомеханизмы укоренились...

— Все-таки аналогия есть — земные кораллы,— подхватил Воббегонг.— Я хорошо помню ваши отчеты. Помните, был у вас такой второй механик — Поссомай, он обломил ветку и обнаружил внутри биоконденсатор, только тогда у вас и возникли подозрения в том, что перед вами останки саморазвивающейся биосистемы.

— А какова наивысшая форма жизни на Белой Пустоши?— спросил Тарумов, обращаясь уже к промежутку между Феврие и Воббегонгом.

— Если туда ничего не занесли,— уверенно продолжал первый помощник,— то на всей планете не найдешь даже инфузории.

— Так,— сказал Тарумов,— а не кажется ли вам, что лемонды механически репродуцируют наивысшую форму жизни?

— Да, кажется,— оторвался от своих экранов Лода-

рия, — но вряд ли это по плечу малому передвижному киберу. Другое дело, если бы колонией управлял единый мозг...

— В отчетах было упоминание об останках какой-то биокомпьютерной системы на Белой Пустоши, — вставил Воббегонг.

— Ну а мы не успели даже толком оглядеться, — честно признался Сунгуров. — Уж очень наши «краузайчики» были хозяйственные — так и норовили растащить все на составные части и упрятать в свои муравейники. Вездеход разобрали по винтикам, а кроликов отпрепарировали в лучшем виде — по косточкам.

— Минуточку, — остановил его Тарумов, — тогда сразу же напрашивается вопрос: откуда у здешних лемондов эта агрессивность, если на Чомпоте, как и на Пустоши, нет зверей?

— М-да, — сказал Сунгуров. — Задача. Тем более что «Аларм»-то спокойно приземлился на том же самом месте. Вон он, целый и невредимый, валяется на боку и даже попискивает.

Действительно, «Аларм» тоненько маячил внутри шлема, лежащего на коленях у Лодария, и эти сигналы звучали, как метроном, отсчитывающий секунды. Время шло.

— Хорошо, — встрепелся Тарумов. — Четвертый зонд спустим на высоту тысяча триста, и ни миллиметра ниже. Так?

Он привычно обернулся на Феврие, но не стал ждать одобрительного кивка, а продолжал:

— Прочешем район плоскогорья. Движение зонда — по спирали. Посмотрим, как они попрыгают. Посчитаем.

— А может, — с надеждой спросил Лодария, — они одноразового действия? Прыгают и разбиваются?

Ох, как всем этого хотелось!

Четвертый зонд ринулся вниз, но на этот раз ему было велено не только сохранять заданную высоту, но также держать дистанцию в пятьдесят метров от ЛЮБОГО движущегося предмета.

Зонд спустился, пошел по расширяющейся спирали, но на такой высоте лемонды не «клевали». Пришлось его приспустить, и вот первые твари пошли в атаку. Зонд беспокойно запрыгал, шарахаясь от каждого агрессора, и видимость стала совсем скверной. Оливковый экранчик транслировал форменную пляску святого Витта, и в иллюминатор нельзя было рассмотреть никаких деталей.

— Что же они делают с нашими зондами, интересно узнать? Жрут, что ли?— Лодария всегда отличался неуемной любознательностью, но сейчас этот вопрос равно волновал всех.

Вопрос действительно требовал ответа, и сделать это мог сейчас только корабельный компьютер, который с самого начала копил все данные с зондов. Тарумов отстукал запрос.

ПРОИСХОДИТ ПОЛНЫЙ ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ —

появился ответ на компьютерном табло.

— Да, действительно, жрут,— уныло констатировал Лодария.— А все-таки, как это выглядит в натуре?

— В натуре — это охота за металлом,— сказал Воббегонг.

— Почему же они не растащили «Аларм»?— спросил Сунгуров.

— Законсервированный корабль автоматически включает защиту при первой же попытке демонтажа,— рассеянно проговорил Тарумов.— Сам-то корабль они тронуть не смогли...

— Но ведь там не было же людей?!

— Не о людях речь... не о людях...

Видно было, что Тарумов что-то лихорадочно обдумывает.

— Сейчас важно другое...— пробормотал он, одновременно набирая очередной запрос «считалке». — Можно ли считать размещение лемоидов по поверхности в первом приближении равномерным?

Ответ загорелся через доли секунды:

В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ — ДА.

— Все ли особи, находящиеся в радиусе атаки, принимают участие в нападении?

АБСОЛЮТНО ВСЕ.

— Воббегонг, проведите зонд по той же самой траектории, но в обратном направлении, по сужающейся спирали.

Черные запятые запрыгали столь же резво, что и прежде.

— Равно ли число нападений на прямом и обратном пути?— не доверяя себе, запросил Тарумов.

ДА.

— Кому там хотелось, чтобы лемонды разбивались при падении? — спросил командир. — Не вышло.

— Мне хотелось, — покаянно вздохнул Лодария. — А все-таки, командир, что вы имели в виду, когда говорили, что лемонды не тронули *только* корабль? «Аларм» зондов не пускал...

Тарумов, казалось, не слышал. Он неотрывно следил за экраном, на котором возникали, росли, на какую-то секунду замирали и, сверкнув жирным металлическим боком, уходили вниз конические кляксы. Пробриться сквозь такой рой было бы немислимо, — незащищенный «Щелкунчик», обвешанный мерзкими тушами, обязательно будет дебалансирован. Может быть, он и не рухнет, но посадку никак нельзя будет назвать мягкой. И страшно подумать, что будет в госпитальном отсеке после такого приземления...

Командир молчал. Молчал и Феврие, который за последний час не проронил ни единого слова. Он радовался только тому, что никто — а в особенности Тарумов — не догадывался о его состоянии. Встречаясь взглядом с Тарумовым, он только опускал веки, даже не кивая, но Тарумов чувствовал, что это означает — «Так, командир. Ты все делаешь правильно, командир. Молодчина».

Но где-то в глубине души Феврие чувствовал, что если бы сейчас Тарумов сделал что-нибудь не так, у него больше не нашлось бы сил вмешаться. И он прикрыл бы веки — «Так, командир», — но больше, вероятно, их не поднял.

Но с тех пор, как старший штурман взял всю ответственность за корабль на себя, Тарумов не допустил ни одной ошибки.

— Четвертый зонд застопорить над «Алармом», — продолжал командовать Тарумов. — Давид, еще и еще раз проверьте надежность дистанционного управления защитой. Ведь нам нужно будет отключить ее, когда мы будем высаживаться под бок «Аларму».

Командир впервые обратился к связисту по имени, но Лодария этого вроде бы и не заметил. Да, дистанционку он проверит, дело нехитрое, но как командир собирается пройти этот отрезок по вертикали — от тысячи ста, грубо говоря, до трехсот метров, то есть от линии атаки до границы защиты?

И в этот момент раздался мелодичный сигнал внутренней автоматической связи, и на видеофоне возник

госпитальный отсек. Да, в аварийной обстановке один только Гиппократ имел право подключиться к рубке, не дожидаясь согласия командира.

— Категорически предлагаю лечь в дрейф,— послышался металлический голос.— Необходим покой. Необходимо оперативное вмешательство. Почему медперсонал не реагирует на данные кибердиагностера? Делаю замечание командиру.

Командиру не надо было делать замечаний. В первую же секунду он вскочил и непроизвольно заслонил собой экран со зловещими тупорылыми тенями, словно Лора из своего саркофага могла увидеть этот кошмар. Что он мог объяснить Гиппократу? Что взамен покоя он готов отдать все — от последнего глотка воздуха до всей своей крови? Этого было мало. А покоя он гарантировать не мог.

— Мне нужен еще час,— хрипло проговорил он в микрофон.— Один час. Продержитесь любой ценой.

И никто не понял — то ли он просит машину, то ли обращается к самой Лоре. Но Лора слышать его не могла...

— Воббегонг,— командир сжал спинку своего кресла с такой силой, словно корабль вот-вот должно было снова встряхнуть,— бомбовый удар по Чомпоту — кольцевой охват «Аларма» с радиусом от трехсот до двух тысяч метров. Плотность заряда — ноль целых, двадцать пять сотых тонны на сто квадратных метров!

На этот раз он даже не оглянулся на Феврие. Внизу не было больше потомков неведомых цивилизаций — было механическое препятствие, подлежащее уничтожению. И если бы кто-нибудь осмелился возразить ему, он, наверное, напомнил бы старинную легенду о том, как несколько веков назад на Землю прилетел всемогущий пришелец. И надо же — сел прямо на шоссе, по которому шли танки Гудериана. Пришелец прекрасно понимал, что перед ним — орудия уничтожения, но не посмел вмешаться: видите ли, детище чужой цивилизации, с ними надо еще разобраться, не двигают ли они каким-нибудь боком прогресс... Бить танки пришлось тогда русским.

А может, он и не вспомнил бы эту байку, а просто отрезал бы: «Всю ответственность беру на себя». Он уже это мог.

— Готов,— доложил Воббегонг.

— Залп!

В иллюминатор было видно, как стремительно пошли вниз кассеты с бомбами. Вот они промелькнули и на эк-

ране зонда. Навстречу им метнулись было черные попрыгунчики, но кассеты раскрылись, и лемонды заметались, сбитые с толку внезапной множественностью целей. На зондовом экране можно было наблюдать, как некоторые киберы все-таки зависают на несколько секунд, словно прицеливаясь, затем вцепляются в корпус бомбы и спускаются вниз мертвым сцепом, но зато явно медленнее, чем при свободном падении. Проследить их дальнейшую траекторию было невозможно, потому что далеко внизу уже запенились первые крохотные бурунчики взрывов, такие нестрашные ввиду своей дальности и бесшумности. Но все прекрасно понимали, какой ад творится там, в трехстах метрах от лежащего «Аларма». Дым и пылевые тучи уже скрыли все плато, и только сам корабль под невидимым куполом защитного поля смотрелся с высоты, как бычий глаз. Но пылевые тучи поднялись выше, и ничего вообще не стало видно.

— Защита-то хоть выдержит?— робко подал голос Сунгуров.

Тарумова даже передернуло от такого вопроса. Если полетит защита, то один черт — что садиться, что оставаться на орбите. Без помощи, которая могла прийти только с Базы и только через радиорубку «Аларма», Лора все равно продержится считанные часы. А все остальное — несущественно.

— Регенераторыдохнут,— шепотом предупредил Воббегонг.

— Всем надеть скафандры,— бросил через плечо Тарумов, словно отмахнулся от несущественной мелочи.

Сейчас это действительно было далеко не самым страшным. Гораздо страшнее было то, что снова подключился Гиппократ:

— Могу гарантировать еще один час. Командиру принять меры.

— Приготовить параллельный гипнофон,— как что-то совсем обычное и не вызывающее сомнения, приказал командир, отключая экран медотсека.— Воббегонг, повторите бомбовый удар, только возьмите радиус побольше. Можно врезать им и по третьему разу. Это еще мой приказ, за него я и отвечу на Базе. А сейчас командование кораблем передаю старшему штурману Дану Феврие. Я буду в медотсеке. Все.

— Нет,— сказал Феврие,— не все.

Тарумов развернулся на этот голос с такой яростью, что казалось — кресло вылетит из амортизационной станины.

— Нет,— устало, но твердо проговорил Феврие.— Вам предстоит ТАКАЯ посадка, что необходим каждый член экипажа.

Если бы Тарумов возразил ему, он честно признался бы во всем. Он рассказал бы, что кончился еще несколько часов назад.

— Вы меня извините, Сергей Александрович,— неожиданно вмешался Сунгуров,— вы, разумеется, не в курсе, но у нас с Лорой уже отработан пси-контакт. Так что если дошло до гипнофона, то ни у кого так хорошо это не получится, как у меня. Вы уж позвольте, Сергей Александрович...

И тут Тарумов не нашелся, что возразить. Если бы Сунгуров требовал, доказывал — другое дело. Но он просил.

К тому же, уже отработанный пси-контакт — против такого и возражать-то было бессмысленно. Гипнофон — дело темное, он далеко не всегда давал положительные результаты.

— Хорошо,— сказал Тарумов.— Идите. Но я прошу вас подождать еще пятнадцать минут — может быть, мы сидим сейчас же и беспрепятственно. Тогда посмотрим...

— Спасибо, Сергей Александрович,— проговорил Сунгуров, смущенно опуская свои длинные азиатские ресницы.— Я пошел.

Он молча втискивался в люк, и все смотрели на него, до сих пор такого неприметного человека, который мог обратить на себя внимание разве что поразительным сходством с гогеновскими тайтянами — тот же неевропейский приплюснутый нос, влажные огромные глаза и тропическая медлительность движений. А сейчас он взял на себя параллельный гипнофон, крайне опасную штуку, разрешенную только на сверхдальних рейсах и в таких вот безвыходных ситуациях, как сейчас на «Щелкунчике». Эта «штука» складывалась из обычного гипнофона — аппарата для лечения сном — и столь же безобидного мнемопередатчика, используемого для механического впечатывания в память больших объемов статистического или лингвистического характера. Здесь же мнемопередатчик использовался как транслятор, передающий на гипнофон био- и пси-ритмы здорового человека. Опасность заключалась в том, что такое чудовищное напряжение, в котором приходилось пребывать пси-донору в течение нескольких часов без малейшего перерыва, обя-

зательно выливалось в тяжелейшее перенапряжение, а сеанс порядка суток грозил донору амнезией.

Вот на что ушел Сунгуров, и если бы у него не был налажен контакт с Лорой, Тарумов ему ни за что бы не уступил.

Командир обвел взглядом оставшихся — все тяжело дышали, штурман был очень бледен.

— Почему не надеты скафандры? — взорвался командир. — Воббегонг, проверьте отсеки. Регенератор работает на лазарет.

Тарумов вздернул змейку скафандра и прокашлялся в микрофон. Надо было поторапливаться — в баллонах запас воздуха на сорок восемь часов, а ведь это и на посадку, и на организацию обороны, и на переселение в «Аларм», а если понадобится — и на частичный ремонт последнего. Так что — в обрыз.

— Давид, приспустите четвертый зонд, но подтвердите удаление на пятьдесят метров от любого предмета.

Зонд пошел вниз — на оливковом экранчике начали расти и приближаться кучевые облака пыли и пепла. Зонд был уже на высоте шестисот метров, пятисот, четырехсот. Повис над тучей. Еще немного — и он оказался в ее медленно поднимающемся тяжелом мареве.

— Переключить на инфракрасный локатор и спускать дальше!

На экране завихрились смерчи нагретого воздуха, а в иллюминаторе все это выглядело далекой спокойной пеленой. Впрочем, нет — кажется, возникло какое-то едва уловимое мельтешение...

— Обошли сверху! — резанул слух крик Лодария.

Каша на экране зонда забурилась так, словно кто-то включил гигантскую мешалку. Замелькали светлые тупорылые призраки — значит, внизу, на поверхности, было погорячее. Все уже понимали, что зонд доживает последние секунды. Экранчик засветился ярче, призраков прибавилось, они были уже почти неотличимы от фона. И — разом темнота отключения.

— Их там снова полным-полно, — констатировал Воббегонг. — Может быть, запасные подземные укрытия?..

— Размножаются, скоты, — мрачно предположил Лодария.

— Паника на борту! — прикрикнул командир. — Мы, естественно, ничего в этой каше рассмотреть не могли. Но зонд работал до самого соприкосновения с поверхностью. Как бы он ни кувыркался, наша «считалка» по-

лучила достаточно кадров для анализа. Сейчас мы будем знать, что там, внизу, происходит на самом деле.

Его пальцы бесшумно забегали по клавиатуре компьютера, и почти мгновенно на табло заструились строчки ответа:

В МОМЕНТ ВЗРЫВА В ВОЗДУХЕ НАХОДИЛОСЬ ПРИМЕРНО 75% ВСЕХ ЛЕМОИДОВ, ИЗ КОТОРЫХ ПОВРЕЖДЕНО НЕ БОЛЕЕ 10%.

ИЗ НАХОДИВШИХСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ УНИЧТОЖЕНО 80%.

ПРИНЦИП РЕГЕНЕРАЦИИ ПОКА НЕЯСЕН. ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ АНАЛОГОВОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО.

— А откуда они берут металл для этого самого аналогового воспроизводства? — справедливо поинтересовался Лодария.

— А вот это — то, что они могли грабить, не трогая корабля, — ответил Тарумов. — С «Аларма» сошли люди, но, спустившись на поверхность, корабль запустил автоматические станции исследования, которые и снабдили уходящий ремонтник всеми сведениями о Чомпоте. Передвижные биолaborатории, метеостанции, буровые самоходки, наконец, солнечные батареи — все, что высунулось за радиус защиты, могло быть разграблено.

— Вдобавок наши собственные зонды, а может быть, и бомбы, — буркнул Воббегонг. — У меня сложилось впечатление, что они поддерживали бомбы в воздухе и опускали их бережно, как сырые яйца. Запросите-ка «считалку», какой процент невзорвавшихся бомб?

Ответ был более чем неутешительный: 40%.

— Мы кормим их сырьем, — резюмировал Лодария. — То-то мне показалось, когда они бросились на четвертый зонд, что их стало даже больше, чем в первой атаке. Проверим?

На табло опять побежали цифры:

ИЗ УЦЕЛЕВШИХ ЛЕМОИДОВ В АТАКЕ НА ЗОНД УЧАСТВОВАЛО ТОЛЬКО 33%. ПРИЧЕМ ИХ АКТИВНОСТЬ И, В ЧАСТНОСТИ, СКОРОСТЬ ВОЗРОСЛИ В ТРИ РАЗА.

48% ЗАНИМАЛОСЬ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ.

ПОЛАГАЮ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ УЖЕ ВОССТАНОВЛЕННОЙ.

— У нашей «считалки» хроническая процентомания, — не выдержал въедливый Лодария. — Сорок восемь, тридцать три... В жизни статистика не была более бесполезной, чем тут. Их надо глушить удар за ударом, а тут эта числовая абракадабра...

— Нет-нет, — быстро заговорил Воббегонг, — это не абракадабра. Это какие-то строго закономерные цифры, но я не могу вспомнить, в какой популярной статье я видел что-то аналогичное... Но весьма далекое от киберов. Может, спустим еще один зонд, чтобы проследить их поведение?

— Следующего зонда я им не подставляю, — жестко отрезал Тарумов. — А разгромчик будет. Воббегонг, плотность удара увеличить втрое, внешний радиус поражения — пять километров. Залп!

Кассеты ринулись вниз.

— Зонд — следом, но не ниже тысячи двухсот метров!

На экране было видно, как расходятся веером смертоносные кассеты. Но их ждали — черные кляксы рванулись навстречу.

— Вот вам и поведение. — Тарумов скрипнул зубами. — Вся свора в воздухе, а мы можем поразить их только на поверхности!

Но в воздухе были не все. Компьютер констатировал:

В АТАКЕ УЧАСТВУЮТ 66% ВСЕХ ЛЕМОИДОВ.

АКТИВНОСТЬ ВОЗРОСЛА В ПОЛТОРА РАЗА.

Воббегонг, обминая похрустывающий скафандр, хлопал себя по несуществующим карманам, словно пытался отыскать затерявшуюся шпаргалку.

Бомбы, обвешанные лемондами, канули в первичную тучу. Через некоторое время она начала пучиться, указывая на разрывы второй атаки. Но теперь этих разрывов было совсем мало.

— Я же должен, должен вспомнить... — маялся Воббегонг.

Тарумов привычно обернулся на Феврие — тот так же машинально кивнул. Но Тарумов истолковал это по-своему и проследил направление кивка. Адресовался он прямо к пульту.

— Черт побери! — взорвался командир. — Вы же не в

первом рейсе, в самом деле. Если уж вы что-то читали недавно, то это не могли быть ни настоящая книга, ни бумажный журнал, а только фильмокопия, хранящаяся в памяти нашей собственной «считалки». Но ведь она дает и ассоциации первого порядка. Вы давным-давно могли запросить компьютер, какие ассоциации у него вызывают все эти проценты действующих и воспроизводящих...

А Воббегонг уже отстукивал запрос. Вряд ли на него стоило так кричать — ассоциативным блоком в полетах практически не пользовались. Но блок работал безотказно — на табло высветилось:

РЕГЕНЕРАЦИЯ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ.

— Ну, естественно,— обрадовался Воббегонг,— статья Меткафа!

Но его радость осталась неразделенной.

— Ну и что?— взорвался Тарумов вторично.— При чем тут клетки, если лемонды в жизни не видели ни одной печени? Не могли же они исследовать дистанционно экипаж «Аларма», пока он находился на орбите? Мы валяем тут дурака, а Сунгуров...

— Да нет же!— чуть не плача, крикнул Воббегонг.— Эти твари действительно воспроизводят картину регенерации клеток печени, словно они проходили курс прикладной бионики!

— А я идиот,— вдруг примирительно сказал Тарумов.— Простите ради бога, Воббегонг, что я орал на вас. Лодария, быстро выудите из видеозаписи какой-нибудь кадр с крупным планом лемондов... нет... покрупнее... назад крутите, там их навалом... Вот! Стоп. Включайте ассоциативный блок.

Похоже, что он уже знал ответ. На табло возникло одно слово:

КРЫСЫ.

— В передвижных лабораториях часто содержатся крысы. Вероятно, алармовская «считалка» сочла планету безопасной и выпустила все свои передвижки из-под защиты. Лемонды начали грабить все подряд, и животные разбежались. У киберов появилась высшая форма жизни, достойная стать эталоном развития...

— Какое счастье,— прошептал Воббегонг,— что у них были ограничены запасы сырья, иначе они налепили бы чудовищ величиной с вездеход. А пришельцы-то —

тоже кретины: расшвыряли дары своей цивилизации по всей Вселенной, и даже не удосужились подумать, до какой степени озверения может довести их киберов элементарная борьба за существование. А нам теперь...

— Стойте! — прервал его причитания командир. — Госпитальный отсек, вы меня слышите? Вызывает командир корабля. Сунгуров, вы не успели?.. Вижу. Прекрасно. Начинать контакт запрещаю до следующих распоряжений. Все. Отключаюсь. Воббегонг, бегом в камбуз и принесите мне ведро воды. Нет, не обязательно кипяченой. Но поскорее.

Феврие смотрел на него с возрастающим изумлением. Да, Сергей был щенком, но талантливым, всемогущим космическим щенком, упоенным собственным юным все-силием. И еще это был прирожденный, настоящий Командир, испытавший себя в первом рейсе — и каком рейсе!

— Теперь так: всем взять микрофоны... да сбоку от пульта, в гнездах... Нужна запись с нескольких точек. Лодария, вы самый длинный? На кресло! Воббегонг, передайте ему ведро. Так. Лейте на крышку люка — звончее получится, и не слишком скупой струей. Микрофоны пониже... Начали запись!

Меньше чем за минуту стереопленка была готова.

— Давид, оба корабля — на прямую связь. Пленку — в кольцо, и непрерывно транслировать на все плоскогорье. На все не получится? А алармовские вездеходы? На них же пятидесятиваттные динамики. Та-а-ак... Сейчас мы им устроим филармонию под открытым небом... Воббегонг, все имеющиеся у нас грозоразрядные ракеты — вниз! Нам надо вызвать вселенский потоп, чтобы обмыть это плато от крысиной скверны. Готово? А теперь главное: установите связь между гипнофонами наших кораблей. Я знаю, что этого никто никогда не делал. Я знаю, что гипнотрансляция на неизученных планетах строго запрещена. Давайте связь, Давид, а всю кару я приму на себя. Гипноатака неэтична по отношению к разумным или хотя бы живым существам, но перед нами только механические крысы, усвоившие всю крысиную психологию: тупую жадность, звериную агрессивность, эту мерзостную тенденцию вцепиться целой сотней в одного... Но у них должна быть и крысиная трусость. Как там с потопом, Воббегонг?

— Ракеты пошли... видимость ни к черту.

— Ладно, не пожалеем предпоследний зонд. А те-

перь — приказ по всему кораблю: всем членам экипажа и экспедиции надеть шлемы и подключиться к ближайшему щитку каналов мнемозаписи. Проверьте мембраны на висках! Готово? А сейчас напрягите воображение: наш корабль затоплен водой. Вода сверху и снизу. Мы тонем. Единственный выход — бежать, бежать, бежать без оглядки... Начали! Представьте картину наводнения! Ужаса! Бегства! Минуту, пять, десять — пока я не дам отбоя. Но ни одной посторонней мысли!

Феврие прикрыл глаза. Он знал, что решение будет гениально простым — оно таким и оказалось. Разбудить присвоенный киберами крысиный инстинкт, попасть ему в резонанс, раскачать его, как бы слабо он ни теплился... На какое-то время инстинкт сильнее разума. А этого времени будет достаточно, чтобы сесть и прикрыться чужой защитой.

А между тем зонд уже спустился над самой тучей, еще более разбухшей от мгновенно сконцентрировавшейся над плоскогорьем влаги. Вот ее плотную массу пронизали первые ослепительные разряды... Потоп начался!

— Трансляцию! — кричал Тарумов. — Давид, дайте тысячекратное усиление шума! Воббегонг, где вездеходы? Есть? На тридцать секунд снимите защиту, чтобы они прошли... Хорошо, восстанавливайте защиту! Никому не прерывать гипнотрансляцию! Вода! Кругом вода! Ничего, кроме воды!

...Вода стремительно подымалась, затопляя все кругом, она уже была выше колен, подбиралась к поясу... Мутная, ревушая, обрушивающаяся сверху и бьющая фонтаном снизу — вода...

Тарумов очнулся. Если и остальным это удалось с такой же силой — это здорово. Он огляделся. На лицах с полуприкрытыми глазами читался и ужас, и напряжение, и готовность сорваться с места и панически бежать... Впрочем, нет, одни глаза не были закрыты. Бессильно прищуренные, слезящиеся, старческие.

— Очень плохо? — одними губами спросил Тарумов. — Сейчас мы сядем. Они же бегут, Дан, они бегут...

Зонд бесстрашно влез в самую тучу, и на его инфразэкране мелькали последние призрачные контуры, напоминающие непомерно разжиревших крыс. Затем мельканье прекратилось.

Командир выждал еще несколько минут. Удирали они на пяти «g», но лучше подстраховаться... А вот теперь пора.

— Отбой по всему кораблю! — он обернулся к Феврие. — Садимся по пеленгу, пока они не опомнились. Садимся, Дан! Мы садимся.

«Мы, — подумал Феврие, — Мы! А что, сказать ему правду? Сказать ему, что все это время он действовал сам, и действовал, по большому счету, как настоящий Командир? Сказать ему, что я сломался в самом начале, после первого толчка, что со мной произошло то, во что я просто не верил, хотя мне про это и рассказывали старики — что ко мне не постепенно, как это бывает на Земле, а разом, в единый миг, пришла глубокая старость, когда не можешь ничего — ни духом, ни телом... Надо бы это ему сказать — заслужил. Собственно, спас всех, не одну только Лору. Но если сказать это ему — он останется командиром. Он ринется во второй рейс, и все будет благополучно. И в третьем ему все сойдет. И в десятом. Такие фантазмагории, как эта, бывают чрезвычайно редко. Но где-то в самом безопасном, неприметном рейсе все повторится. Но рядом может не оказаться старого космолетчика, который поймет, что перед ним — дублер, второй номер, который скажет: считай командиром меня. Действуй так, словно ты находишься за моей спиной. Будь спокоен, первый здесь и до посадки — я, а ты — только второй... Нет. Ничего я ему сейчас не скажу. Мы посадим корабль, твердо зная, что делаем это в последний раз. И, вернувшись на Базу, мы уйдем вместе: я — потому что я кончился как звездолетчик, а он... он больше не сможет командовать кораблями, ни на минуту не забывая, как он сажал «Щелкунчик» на Чомпоте, спрятавшись за мою спину...»

На поверхности плато гигантскими оспинами виднелись воронки. И только за чертой силовой защиты начиналась гладкая поверхность. В иллюминатор влезли оплавленные дюзы «Аларма».

— Отключить защиту! — скомандовал Тарумов.

«Щелкунчик» сел так мягко, что никто этого не заметил.

— Защиту восстановить, наладить связь с Базой... Госпитальный отсек, как там Лора?

— Лора держится, — ответили ему из госпитального.

СОНАТА УЖА

Р а с с к а з

Над Щучьим озером стлался зеленый туман.

С того последнего раза, когда Тарумов был здесь с белой лебедушкой Анастасией, оно обмелело до неузнаваемости, и лобастые, крытые зеленым плющом валуны, на которые так больно было натекать в воде, выползли теперь на берег, но в тумане не сохли — тянулись вдоль самой кромки воды цепью темно-зеленых болотных кочек.

Тарумов приподнялся, опираясь на руки, и пальцы его заскользили по длинным, словно женские волосы, нитевидным водорослям. Дотянуться до глинистой желтовато-непрозрачной воды было нетрудно, но пить не хотелось. Смешанный запах грушевой эссенции и рыбьих потрохов — надо было умудриться так потравить озеро!

Непонятно и неинтересно.

Но главное — как он-то сам попал сюда? Ну, летел бы вертолетом, гробанулся — так помнил бы все, что предшествовало падению. И откуда летел. И кто его должен был здесь ждать. Действительно, кто? Анастасия на Ганимеде, и надолго...

Нет, ничего не припоминалось. Сергей задумчиво наклонил голову, и только тут взгляд его остановился на собственных руках. Даже нет, не руках — рукавах.

Как и следовало ожидать, на нем был летный комбинезон.

Но обшлага разорваны, на запястьях ни часов, ни биодатчиков. Он машинально потянулся к поясу — инструкции он читал и в полете никогда не расставался с легким брезентовым ремнем, на который крепились портативный многощупальцевый манипулятор с одной стороны, а с другой — мелкокалиберный десинтор, достаточно мощный, впрочем, для того, чтобы при надобности вырезать заклинившийся титанировый люк.

Пояса тоже не было.

Он плохо помнил, что именно должно было лежать в его карманах, но и оттуда исчезло все, кроме двух-трех бума-

жек. Даже нагрудный знак почтальона-инспектора сверхдальних секторов и тот был выдран с мясом. Нетерпимый к любому беспорядку в одежде, Тарумов брезгливо оглядывал себя: да, кто-то потрудился над ним на славу. Пластмассовые застёжки-«молнии» не привлекли внимания грабителя, но запонки, металлический колпачок фломастера и даже пистоны на ботинках — все исчезло.

Это не то чтобы удивляло — это ошеломяло.

Между тем туман пришел в движение. Он не клубился, не таял, как это бывает при слабом ветре, — он медленно отодвигался единой массой. Тогда обнаружилось, что левая кромка озера изгибалась, образуя стоячую гнилую бухточку, и на том её берегу круто вздымалась не то насыпь, не то стена, покрытая, как и берег, сплошным ворсом влажных водорослей.

Туман отступал все дальше, являя взору замшелые замковые ворота, легко вскинувшийся виадук на почти невесомых опорах, приземистую башню, напоминающую не то старинное сооружение для силосования кормов, не то огромную шахматную туру...

И на всем — приметы многовековой заброшенности.

Ну, теперь ясно. Не Щучье это. И вообще — не земное озеро. Брякнулся на какой-то шарик, даже не означенный в космических регистрах. Автоматы посадили, а выбрался он почти в бессознательном состоянии, теперь он начинал припоминать. Прежде чем окончательно прийти в себя на этом берегу, побывал в чьих-то руках. Кажется, так...

Стена тумана стремительно откатывалась все дальше и дальше, обнажая поверхность озера и безлюдные берега, и Сергей уже раздумывал, в какую сторону ему податься на розыски своего корабля — ведь должен же, черт побери, быть где-то поблизости его «почтовый экспресс»!

И тут из тумана поднялось нечто, озадачившее даже его, повидавшего не одно чудо на тех пяти или шести десятках планет, куда заносила его беспокойная должность космического почтара.

Прямо из воды вздымалась гладкая зелено-клетчатая колонна, напоминавшая одновременно минарет затопленного храма и шею доисторического диплодока, тщетно пытающегося дотянуться своей непропорционально маленькой головкой до невидимого солнца. Колонна действительно венчалась странным сооружением, которое с большой натяжкой можно было бы назвать головой и даже разглядеть на ней глаза, следившие за человеком в рваном комбинезоне с бесстрастным и неусыпным вниманием.

И с того мига, как Тарумов поймал этот взгляд, зоркие мертвые глаза не упускали его больше ни на час, ни на мгновение.

Кажется, на этом унылом берегу царил вечнозеленый день. Мутноватое небо, изжелта-зеленое, не меняло своего оттенка, хотя с того момента, когда он пришел в себя, минуло часов шестнадцать. Чувство времени у Тарумова было развито очень остро, но если так будет продолжаться, то он потеряет счет дням. С расстоянием тоже обстояло неважно — он шел и шел, с трудом вытягивая ноги из влажных длинноворсовых водорослей, и старался обмануть себя, не оглядываясь по получасу, но когда он все-таки оборачивался, то оказывалось, что он продвинулся едва-едва на сто метров. Сейчас насыпь и башня-тура уже сливались с холмистым берегом, но «зрячий минарет» отчетливо проступал над гладью озера.

Хуже всего при ходьбе приходилось шнуркам — они рвались уже десяток раз. Тогда приходилось ложиться на живот и, разгребая эту, с позволения сказать, траву, выискивать где-то в глубине ботинок. Когда этот периодически повторяющийся процесс осточертел Тарумову до предела, он выбросил шнурки и, надрвав изумрудных «волос» (порвать их посередине было практически невозможно — резали руку; но поодиночке они легко выдирались с корнем, как конский волос), он сплел себе новые шнурки.

Устал он смертельно. Темные холмы с геометрически правильными дугами не то песчаных обрывов, не то зрочных входов в какие-то светящиеся пещеры, до которых он стремился добраться, были все еще на доброй половине пути от озера. Без отдыха он не дойдет. Надо ткнуться носом в первую же кочку посуше и часок-другой подремать. Кто знает — может быть, после сна в голове что-нибудь и прояснится и он припомнит хотя бы зону Пространства, где с ним это приключилось.

Он устроился поудобнее между кочками, зажмурился — уж очень мешал немигающий взор далекого стража — и мгновенно заснул, как мог заснуть только космолетчик, побывавший за свою долгую жизнь не в одной передрыге.

Проснулся он оттого, что в бок его толкали — легонько, словно огромный страусиный птенец неуклюже пристраивался к нему под крылышко. Еще не до конца созна-



вая, где он и что с ним, Сергей инстинктивно отодвинулся, но с другой стороны к нему прижимался еще кто-то — теплый, подрагивающий. Тарумов резко приподнялся и сел, подтянув колени к подбородку, — два черных свернувшихся клубка лениво зашевелились и, не развернувшись, подкатились к нему и снова пристроились слева и справа.

Пинфины? Откуда?

Планета, на которой они сейчас находились, даже отдаленно не напоминала краснотравные саванны обиталища пинфинов — Земли Ван-Джуды. Это он сообразил даже спросонок. Значит, пинфины здесь тоже не по доброй воле.

Или не значит?..

Пинфины, насколько помнил Сергей по двум пребыванием на Земле Ван-Джуды, были отчаянными сонями, и ждать их пробуждения было бы бессовестной тратой времени. К тому же звуковая речь этих маленьких гуманоидов, добродушных, как дельфины, и неповоротливо-куцерикух, так что издали они казались пингвинами-адеями, лежала в области ультразвука, и еще неизвестно, умела ли эта пара пользоваться той примитивной азбукой жестов, которая самопроизвольно возникла в процессе их общения с землянами (возникла гораздо раньше, чем лингвисты Земли удосужились смоделировать научно обоснованный вариант языка-посредника, доступного обмен цивилизациям).

Так что в целях экономии времени разумнее всего было бы взять этих сонь на руки и продолжать свое восхождение к светоносным пещерам. Да, но ведь есть еще и кто-то четвертый...

Четвертый?

Тарумов невольно поискал глазами среди волнистых зеленых сугробов, но ничего не обнаружил. Тем не менее присутствие этого постороннего он чувствовал как бы всей своей кожей.

Он оттолкнулся от пружинящих кочек и поднялся. Острая резь в затекших ногах — этого еще не хватало! Неужели поранился? Сергей с тревогой осмотрел ноги — да нет, ерунда. Травяные шнурки, сплетенные перед сном... Высохли, укоротились и стиснули ноги.

Тарумов ослабил шнурки и выпрямился. Далеко позади тускло посвечивало озеро, из которого торчала не то непомерно вымахавшая камышина, не то вышка для прыжков в воду. Было в этой каланче что-то напряженное, полуживое, полуокостевевшее. Вот он, чужак. Ну-ну, гляди. За погляд

денег не берут, как говаривали в те времена, когда на Земле водились деньги. Он нагнулся и бережно поднял два пушистых теплых шара. Пинфины не шелохнулись — не то действительно спали, не то притворялись.

Он шагал еще медленнее, чем до отдыха, оберегая своих непрошенных пассажиров и стараясь не потерять равновесия. Со стороны, вероятно, он был похож на журавля. Местность слегка подымалась, светлые пещеры располагались на склоне, уходящем в неистребимый зеленоватый туман. Справа этот склон образовывал гигантские уступы, правильная кубическая форма которых не оставляла сомнений в их рукотворном происхождении. Дышать стало чуть труднее, хотя по отношению к уровню озера он поднялся едва ли на пятьдесят метров. И еще хотелось есть.

Когда он подобрался наконец к первой пещере, руки его совершенно онемели. Так нельзя. Должен был бы подумать о том, что в пещере может оказаться какая-нибудь невидаль. А он, между прочим, безоружен. И пинфины ведут себя как-то странно — летаргия у них, что ли?

Но пинфины вели себя как нельзя более естественно, он просто забыл об их привычках. Когда он вплотную подошел к широкой арке, из-под которой струилось ровное золотистое свечение, пассажир, оседлавший его правую руку, мягко развернулся и требовательно ткнул крошечным пальчиком по направлению к той пещере, которая виднелась метрах в ста справа. А затем смуглая ручка и блестящие лемурии глаза снова исчезли внутри черного клубка.

— Что, еще и туда? — возмутился Тарумов, спуская пассажиров на травку. — Бог подаст, как говорили у нас в те времена, когда на Земле еще водились боги. Пошли, пошли ножками!

Пинфины подняли на него темные печальные личики, и Тарумову невольно припомнилось, что кто-то образно назвал эти существа «обиженными детьми Вселенной». Ван-Джуда и вообще-то была дрянной планетой, а для таких крох она и вовсе не годилась. Земляне, едва установив с аборигенами контакт, тут же предложили пинфинам перебраться на соседнюю планету, гораздо более уютную и плодоносную. В распоряжение «обиженных детей» было предоставлено несколько разведочных планетолетов, но природный консерватизм не позволял пинфинам сдвинуться с насиженного места. Несколько совместных экспедиций с землянами они предприняли, но все дальнейшие шаги сводились к многолетней всепланетной говорильне — перебираться или не перебираться?

До чего они договорились, Тарумов не знал, но вот то, что пара пинфинов очутилась здесь, ему очень и очень не понравилось.

Из этого состояния крайней неудовлетворенности его вывел высокий пинфин — даже можно было бы сказать «пинфин-великан», потому что он доставал Сергею до бедра. «Ты всегда носил нас, когда мы были голодны,— показал он на своих почти черных человеческих пальчиках.— А пещера с едой вон там!»

Малыш знал язык жестов, это прекрасно, но откуда эта иллюзия давнего знакомства?

— Я здорово устал, ребятки,— проговорил Сергей и тут же, спохватившись, перевел это простейшими средствами пантомимы — и как это ему повезло, что он дважды побывал на Ван-Джуде!

«Хорошо, хорошо!» — дружно согласились пинфины и резво покатались вперед — как успел заметить Тарумов, они сжимали ступню в комок и на этих пушистых подушечках, совершенно не путаясь во мху, передвигались несравненно легче, чем тяжеловесный землянин.

Тарумов изо всех сил старался не отставать. Кстати, кое-что следовало бы узнать еще до того, как они сунутся в пещеру.

«Кто еще живет в этой пещере?» — старательно объяснился он жестами, больше всего боясь быть неверно понятым. Но пинфины разом остановились и захлопали глазами, выражая крайнее недоумение. Надо сказать, что делали они это с той степенью выразительности, на какую было неспособно ни одно другое существо во Вселенной. Дело в том, что эти малыши от природы были чрезвычайно дальнозорки, и эволюция наградила их, кроме непрозрачных кожистых век, еще и тремя роговыми прозрачными подвеками, которые в силу надобности опускались на глаза и служили естественными очками. Так что когда пинфины начинали «хлопать глазами», зрелище было впечатляющим — особенно для новичка. Но Тарумов новичком не был. «Кто там живет?» — повторил он вопрос.

«Ты сам запретил всем нам жить в пещере с едой!» Гм, а он, оказывается, пользовался тут правом вето.

«Где же живут тогда все?» — машинально задал он вопрос, не отдавая себе отчета в том, что он вкладывал в понятие «все».

«Пинфины живут правее, а выше живут...» — жест означал нечто волнообразное; последнее сообщение рож-

дало надежду на то, что эти синусоидальцы и могут наконец оказаться аборигенами, с которыми он рвался встретиться.

Но это было не все. «Под кубической скалой живут... (ручки обрисовали несколько пухлых окружностей), а в травяных шалашах возле сумеречного пика обитают невидящие».

Много... Слишком много для аборигенов. Хотя — почему же? А если все это — здешний животный мир — ужи, кроты...

Нет. Пинфины не поставили бы их в один ряд с собой. Для этого они слишком рассудительны. Те, что живут в светящихся пещерах, — не коренные жители этой планеты-зеленушки. Это самоочевидно. Тогда кто они? Разумные существа, спасенные во время катастроф, приключившихся с их кораблями?

Или попросту пленники?

«Как вы попали сюда?»

Маленький пинфин, не принимавший участия в разговоре, но все время застенчиво поглядывавший на Сергея снизу вверх, испуганно шарахнулся в сторону и спрятался за своего товарища.

«Мы полетели... большой корабль. Очень большой. Ваш самый большой корабль. Вы научили. Вы послали — попробовать... чужой мир. Пролетели половину. Дальше — темно...»

Пинфин в отчаянье замахал смуглыми пальчиками, исчерпав все известные ему жесты. Но Тарумов уже все понял. Им трудно было решиться на такое путешествие, и в то время, когда он гостил на Ван-Джуде, еще было неясно, поднимутся ли они хотя бы на исследовательскую экспедицию. Им для этого хватало всего — и уровня культуры, и знаний, и умственного развития среднего пинфина — не говоря уже о таких индивидуумах, как этот... горе-путешественник. Недоставало им одного — жадного, инстинктивного стремления к еще не открытому, непознанному, что всегда отличало людей и поэтому самым людям казалось неотъемлемой чертой всех высших разумных существ Вселенной.

Пинфины были робки. Но, как видно, не все — эти вот полетели...

«Сколько же вас было?» — «Семеро. Но двое уже... исчезли».

Исчезли? Удрали? Погибли? Схематический язык жестов, которым оба владели далеко не в совершенстве,

делал эти понятия неразличимыми. А ведь от выяснения этих тонкостей могло зависеть многое... если не все. Ладно. Тонкости — на завтра.

«А где жил... живу я?»

Это ему показали.

Маленькая, идеально правильная полусфера. Такое не могли сделать лапы — только руки. Порода осадочная, тонко-зернистая, люминесцирующая. Впрочем, люминесценция может быть и наведенной. Не это главное. Главное — охалка сухого мха, по-видимому, служившая постелью, невероятной плотности циновка (ах да — здешняя трава, высыхая, сжимается вдвое), и под этим импровизированным одеялом — перчатки.

Обыкновенные синтериклоновые перчатки для механических работ, какими Тарумов страсть как не любил пользоваться. Только вот металлические кнопки на краях выдраны с мясом. Это из синтериклона-то! Но в остальном — заношенные старые перчатки, с некрупной, но широкой руки. В них много работали. Здесь? И здесь тоже — рвали длинноволосый мох-траву. Это видно невооруженным глазом. Тарумов обернулся к своим спутникам, присевшим на пороге, и у него невольно вырвалось:

— А где же... он?

Недоуменное мельканье прозрачных и непрозрачных век. Он спросил вслух — надо было перевести. Надо было показать на пальцах — где, мол, тот, что жил здесь до меня и которого вы из-за своей наивности, а может быть, и просто невероятной дальнзоркости отождествляете со мной? Что с ним? Погиб? Исчез? Сбежал?

Нет. Он был человеком, а значит, не мог сбежать, оставив их одних. Если был человеком — не мог.

Тарумов не стал переводить свой вопрос.

Два бугорчатых «грейпфрута» — один выдолбленный, с водой, а другой спелый, с сытной мякотью, болтались у него за пазухой и отчаянно мешали. Он карабкался по зеленому склону, который становился все круче и круче, и все мысли его были заняты только тем, как экономнее и рациональнее выполнять каждое движение. От малейшего толчка в голове возникали снопы обжигающих искр. Воздуха! Почему так не хватает воздуха?

Он поднялся еще на какие-нибудь двести метров — и желтое озеро уже мертво поблескивает внизу! Каланча выросла еще больше, но все равно отсюда она кажется

тоненькой тростинкой, которую совсем не трудно переломить. Но вот ощущение пристального взгляда несколько не ослабевает. Или это самовнушение? Не думать об этой странной каланче. Не думать и больше не оборачиваться — на то, чтобы повернуть голову, уходит недопустимо много сил. А они — последние. Если он потеряет сознание прежде, чем доберется до перевала, он повторит судьбу своего предшественника, исчезнувшего где-то в этих замшелых уступах, за которыми кроется нечто злое.

Надо сделать последнюю остановку. Еще метров пятнадцать до маленькой седловины между двумя вершинами, которые снизу, от озера, казались головами уснувших великанов. А может, и не пятнадцать — здесь он постоянно ошибался в расстояниях. Да и туман сгущается с каждым пройденным метром, он уже стал почти осязаемым. Атмосферный планктон? Сергей вжался в травяную массу, заполнявшую щель между двумя камнями, нашарил за пазухой булькающий «грейпфрут». Достал фломастер и точным ударом пробил дырочку в твердой огненно-красной корке.

Вода, которая скапливалась в середине еще неспелого плода, поражала своей росной чистотой и тем не менее оказывала сильнейшее тонизирующее воздействие. Спелые плоды воды уже не содержали — их заполняла белковая сердцевина, кроющаяся под невзрачной грязно-лиловой шкуркой. Она могла бы украсить стол античных привередливых богов. Но это — на обратный путь. Вообще-то «грейпфрутов» в низине масса, их раскапывают в траве полюгалы — сомнительно разумные пресмыкающиеся с Земли Кирилла Полюгаева. Сергей раньше не встречался с ними и, естественно, языка их не знал, да и теперь детальное знакомство со всеми обитателями этой замшелой долины он отложил до конца своей разведки. Сейчас важнее выяснить, где они и на каком положении.

Он выпустил из рук опустевшую кожуру, и она бесшумно покатила вниз, почти не приминая длинноволодой, никогда не шевелящейся под ветром растительности, которую Сергей так и не решил, как называть — то ли травой, то ли мхом, то ли водорослями. Она покрывала в этой долине абсолютно все, кроме сухой, светозарной поверхности пещер; сейчас, карабкаясь по склону, который все круче и круче забирал вверх, Тарумов вдруг понял, что поверхность камня под этой зеленью почти повсеместно носит следы прикосновения чьих-то рук: под травя-

ным покровом угадывались то пологие ступени, то идеально обработанная параболическая вогнутость, а то и сидящие рядком, словно древние исполины Абу-Симбела, надменно выпрямленные фигуры, которые он из осторожности определял как условно человеческие.

Но и это на потом, а сейчас главное — добраться до края этой каменной чаши, на дне которой — озерко с мертвоглазым стражем. Добраться и заглянуть за этот край.

Сергей давно уже не карабкался, а полз, ужом извиваясь в нагромождении тупых глыб. Седловина была в двух шагах, а за ней — неминуемый спуск, и там либо совершенно незнакомый мир, либо такая же колония пленников со всех уголков Вселенной. Доползти. Заглянуть. Черт побери, зачем он выбросил пустую кожуру — надо было написать записку пинфинам, которые поджидают его внизу, боязливо поджав человеческие ручки. Но возможность упущена. И потом, знают ли они земной алфавит?

Надо доползти, и надо вернуться.

Эти два последних метра он полз уже с закрытыми глазами. Пальцы нащупали впереди изломанную кромку, едва прикрытую мхом — тонкую, не толще черепицы. Он вцепился в нее, попытался шатнуть — нет, прочно.

Подтянулся.

Перевел дыхание и только тогда позволил себе наконец открыть глаза.

Сначала он ничего не увидел — ступившийся туман приобрел размеры чайнок, которые мельтешили, толклись в воздухе, странным образом не задевая лица. Он помахал перед собою рукой — словно разгонял комаров. Получилось это почти бессознательно. Но «чаннки» разлетелись, и на какой-то миг перед ним открылся сказочный весенний мир, на который он смотрел с высоты птичьего полета.

Этот миг был так краток, что он успел воспринять только свежее многоцветье не то огней, не то просто ярких и нежных красок, разбросанных по солнечной юной зелени, которая не имела ничего общего с угрюмым подколодным мхом, устилавшим долину.

Еще его поразило изящество почти невесомых арок и змеящихся виадуков, из-под которых проглядывало прозрачное небо, и нависшие над этими небесными островами легчайшие каменные стены — причудливая паутина рукотворности, брошенная на этот живой мир

ненавязчиво и органично. И как бы в подтверждение этому возникшему ощущению жизни там, в дымчато-небесной глубине, он уловил вдруг стремительное движение, и ему показалось, что вдоль поверхности виадука легко и непринужденно, как только может это сделать властелин этого мира, скользит гибкое и прекрасное змееподобное существо...

Но в следующую секунду плотная роящаяся завеса снова сомкнулась перед Сергеем, и теперь он чувствовал, как она отталкивает его от края каменной чаши, а затылок уже невыносимо жгло, словно тот взгляд с верхушки озерной каланчи приобрел убойную силу смертоносного теплового луча... Захлебываясь щекочущим жаром, Сергей в последний момент почувствовал, как тугой ком сконцентрировавшегося тумана толкает его вниз, словно кулак в боксерской перчатке, гонит по склону, подбрасывая на уступах, уводя от расщелин...

...Пучок влажной травы осторожно касался его лица, и сразу становилось легче, словно с кожи смывали налипшую тину.

Сергей приоткрыл один глаз — так и есть, над ним хлопотал давешний пинфин. Выпуклые прозрачные веки, опущенные на глаза, как легкодымчатые очки, придавали ему профессорский вид.

— Привет пинфинским мудрецам, — сказал Тарумов, подставляя рот под тонкую струйку воды, которую пинфин выжимал из краснокожего «грейпфрута». — Ты и не представляешь себе, как я рад, что я живой...

Малыш захлопал веками, и пришлось перевести. В общих чертах.

Справа и слева что-то зашелестело, заскользило в траве. Тарумов вздрогнул, припоминая сказочное видение, открывшееся ему с высоты его каменного балкона. Но это были всего лишь полюгалы, спешившие к озеру на водопой. А может, купаться.

Тарумов с сомнением оглядел себя с ног до головы — весь комбинезон был покрыт тошнотворной зеленоватой ряской, словно Сергей побывал в стоячей лесной канаве.

«Не окунуться ли и нам?» — предложил он.

Пинфин радостно закивал и замахал ручками, вызывая из пещеры свою подругу. До озера, хоть дорога и шла книзу, добирались долго — Сергей пока еще не научился беспрепятственно двигаться в этой сухопутной ти-

не, да и последствия путешествия сказывались — если бы не тонизирующая роса из неспелых плодов, у него не было бы сил и пошевелиться. Он шел и раздумывал, стоит ли говорить пинфинам о результатах своей разведки.

Подумав, решил: стоит. Тот, предшественник, ничего не сказал. Может, он никуда и не успел добраться, но если бы успел и передал кому-нибудь, сейчас Тарумову было бы много легче.

Все еще раздумывая, Сергей разделся до трусов, отполоскал в тепловатой воде комбинезон, поплавал, если это можно так назвать — десять саженок туда, десять обратно. Дальше забираться он не рискнул — еще опять шарханут тепловым лучом, в воде не очень-то отдышишься. А пинфины, похоже, плавать и вовсе не умеют — пристроились на бережку, пинфиниха своему благоверному спинку моет — набирает воды в горсточку и трет черную кротовую шкурку между лопаток.

«Вот что, друзья мои, — он присел перед ними на плоский камень, скрестив ноги по-турецки. — Я поднялся на самую высокую гору. Я посмотрел дальше, с горы. Так вот, дальше — обрыв, дороги нет. Отвесный обрыв, примерно... — он посмотрел на неподвижную узорчатую каланчу, возле которой беззаботно плескались полюгалы. — Примерно десять вот таких столбов. А может, и больше. Это вы должны запомнить, если со мной что-нибудь случится. — Пинфины протестующе замахали ручками, зашевелили губами — говорили между собой, а может, и Сергею, от волнения совершенно забыв, что он не может их слышать. — Без паники, друзья, без паники. Со мной уже... случалось. Поэтому запомните: наверх, через зеленые горы над пещерами, дороги нет. Бежать надо каким-то другим путем».

Они недоуменно уставились на него — бежать?

«Да, другим. Вы-то еще туда поднялись бы, но вот эти, которые дышат все телом, словно мыльные пузыри переменного объема...»

Но пинфинов занимало совсем другое: бежать? Зачем? Они трясли ручками — каждым пальчиком в отдельности, и Сергею совсем не к месту подумалось, что с такими гибкими и чуткими пальцами из них вышли бы непревзойденные музыканты...

А пинфины не смели, не хотели, не желали даже думать о бегстве. Здесь ведь они сыты, здоровы...

Тарумов махнул рукой.

«Постерегите вещички, — показал он им, — а я прогу-

ляюсь в сторону этой насыпи. — Он глянул на верхушку пестроклеточного минарета, добавляя про себя: если мне это позволят. — Кстати, из вас никто не боится вот этой штуки?»

«Нет. Она же неживая!»

Ах, как же вы наивны, братцы вы мои плюшевые. Неживая! И я туда же — чего я там боялся, когда обнаружил, что меня обокрали и ободрали? Лап?

Не того боялся. Самое страшное — не руки, не лапы. Манипуляторы.

Кромкой воды он подошел к насыпи. Крутенько, метров пять-шесть, поверхность под вездесущей тиной явно шербатая, с выемками, значит — можно забраться. Но — отложим.

Решетка ворот была покрыта коротеньким буроватым мхом, осыпавшимся под пальцами. Не зелень — забавно, первое исключение. А что там сзади просматривается?

Да то же самое, только... Далеко, не разглядеть. Изумрудно-щавелевая взвесь скрывает очертания, и все-таки там, в глубине долины, строения весьма причудливых очертаний. Даже можно сказать — настораживающих. Они сливаются в один массив, но это явно отдельные башни, напоминающие...

Нет, показалось. И проклятый туман сгустился, проступают лишь неясные контуры, пирамида или целый храмовый комплекс. А может, все-таки...

Он простоял еще минут пятнадцать, всматриваясь в уплотняющийся на глазах занавес. Нет, надо вернуться к озеру и дожидаться прояснения погоды. Похоже, этот флёр опускают перед ним каждый раз, когда он начинает проявлять слишком пристальное внимание к тому, что лежит за пределами отведенной им лужи с прилегающими угодами.

Но башню-то он осмотрит.

Тяжелая дверь — не то камень, не то строительный пластик — подалась на удивление легко. Тарумов боком проскользнул внутрь башни-туры и ошеломленно замер на мгновенье.

Машинный зал. Вернее — распределительный. Трубопроводы, баранки штурвалов, глазастые выпуклые индикаторы, у которых по окружностям бегают разноцветные жучки. Поверхность стен разделена на несколько секторов, каждый окрашен в свой цвет. Все напоминает дешевую бутафорию. Нет, не так просто. Какой-то

неуловимый психологический оттенок... А, вот что: это сделано по вкусу людей — но не человеческими руками. Тарумов глядел на всю эту квазиземную технику, как смотрела бы ласточка на гнездо, сплетенное пальцами людей. Заботливыми, чуткими, но такими неумелыми по сравнению с легким птичьим клювом...

А что касается бутафории, то это нетрудно проверить. Какой цвет воспринимается как самый безопасный? Этот, серовато-лиловый. В этом секторе два рубильника, два штурвала, пять индикаторных плафонов, но светятся только четыре. И что-то вроде реостата. Ну, была не была...

Он повернул правый штурвал градусов на пятнадцать. Пошло легко, и тотчас же мигание световых блошек на верхнем плафоне замедлилось. Так, а теперь выйти вон (если выпустят) и поглядеть, не приключилось ли чего...

Он вышел беспрепятственно, и тут же до него донеслись пронзительные, панические визги — ну так и есть, это полюгалы, которые отменнейшим стилем «дельфин» мчались к берегу и выбрасывались на замшелые валуны.

Сергей подошел к прибрежным камням, осторожно потрогал босой ногой воду — ну, конечно, похолодала градусов на десять. Бедные крокодильчики, не схватили бы пневмонию. Он вернулся и поставил штурвал в прежнее положение. Огоньки забегали проворнее.

До чего же все примитивно! Любое мало-мальски разумное существо может регулировать параметры внешней среды. Хотя, может быть, остальные сектора предназначены для чего-то другого. Но раз сюда впускают и отсюда выпускают, то разберемся в этом в следующий раз. Сейчас — общая разведка. И главное: установить границы запретной зоны.

Он подумал и невольно рассмеялся. Нет, не запретной — дозволенной. Запретной-то как раз будет все остальное.

Он медленно прошел мимо бурой решетки, глянул сквозь переплетение толстенных брусьев. Смутная громада неведомого сооружения едва угадывалась в тумане. Если бы ему не посчастливилось заметить ее полчаса назад, сейчас он вряд ли обратил бы внимание на темное расплывчатое пятно.

Двинуться туда, за насыпь? Так ведь решетку не раскачаешь. Таран? Камень на берегу подобрать мож-

но, но этот процесс слишком шумен — привлечет внимание. Подкоп? Под самой решеткой явная каменная кладка, но если расчистить тину... Так... А теперь обратным концом фломастера (поистине незаменимая мелочь, ставшая единственным орудием производства!) выскрести землю, набившуюся между камнями... Прекрасно. Это просто прекрасно, что они не сцементированы. Вероятно, и стены «туры» сложены так же. Похоже, что каменные — или камнеподобные? — блоки подгонялись друг к другу с точностью до миллиметра, как постройки земного мегалитического ареала. Да, но вот тут, под воротами, почва осела, и расстояние между камнями увеличилось. Ага, зашатался. При желании теперь его можно вынуть. А соседний — и того проще. Блистательно! Прикроем теперь травушкой-муравушкой и оставим до лучших времен.

Спрашивается только, почему все эти, с позволения сказать, гуманоиды до сих пор сидели тут, сложа свои интеллигентские ручки, и не занимались ничем подобным?

Он старательно скрыл следы своей деятельности и пошел обратно, к безропотно дожидавшимся его пинфинам.

— Помыслись? — Он не мог отказать себе в удовольствии иногда сказать что-нибудь вслух. — С легким паром, как говаривали у нас на Земле, пока в моду не вошли ионные распылители.

Пинфины глядели на него грустно-прегрустно и даже не мигали.

«Вы бывали там, за насыпью?» — спросил он уже на понятном им условном языке. «Нет. Страшно». — «Волков бояться — в лес не ходить, как говорили овцы... А вам не удавалось рассмотреть, что это там, в тумане, за насыпью?» — «Это корабли, на которых прилетели все живущие здесь. Там и твой корабль. И наш...»

Сердце в груди бухнуло. Корабли. Так вот почему силуэты показались Сергею знакомыми, он только не позволил себе узнать их... И громада медлительного транспортного тяжеловоза из серии, подаренной землянами «обиженному» народу Ван-Джуды, и его собственный стройный почтарь, птенец по сравнению с этим грузовиком.

А ведь на свой корабль пинфины смогут погрузить всех...

Он старательно оделся, и от влажного комбинезона

озноб прошел по всему телу. Совсем не отдохнул. По-спать бы тут, на берегу... Так ведь некогда.

«Вы не очень проголодались?»

Пинфины смущенно поморгали.

«Тогда подождите меня еще несколько минут!»

Он долго и старательно рвал траву, жгуче сожалея о забытых в пещере перчатках. Пинфины подкатились на коротеньких своих ножках, ни слова не спрашивая, помогли. Когда набрался порядочный стожок, Тарумов подтащил его к подножию насыпи, привычно бормоча:

— Знать бы, где упасть — соломку б подстелил, как говаривали у нас на Земле, пока солома была предметом сельского ширпотреба.

Пинфины по-прежнему молчали, поглядывая на него сочувственно и боязливо.

«Ну, я пошел».

Он тщательно ощупал крутой бок насыпи, нашарил выбоинку и ободрал кругом мох. Поставил ногу, поднялся на полметра. Это ему сошло. Снова нащупал выбоинку, принялся драть скрипучую зелень. Мертвые глаза неотрывно глядели в затылок.

Он поднялся на эту насыпь, и выпрямился во весь рост, и успел прикинуть на глазок, что до смутно чернеющей громады сбившихся в кучу космических кораблей отсюда по прямой метров триста, не более, вдруг затылок резанула знакомая обжигающая боль и мягкая лапа мгновенно собравшегося в один ком исчерна-зеленого тумана швырнула его назад, на столь заботливо подстеленную им самим травку.

Пинфины отливали его долго. Сергей очнулся, лежал с полчасца, набираясь сил, чтобы хоть пошевелить руками, и без лишних слов погнал малышей обратно в пещеры — за обедом и рукавицами. В течение нескольких часов, пока они ходили туда и обратно, плел из уже нарванной травы маскировочную циновку.

Пинфины вернулись усталые, загрустив пуще прежнего — пропал один из тех, «что не видят». Тарумов не успел как следует познакомиться с этими медлительными, тяжелорукими существами, которые не оправдывали своего скоропалительно данного прозвища: они действительно не имели глаз, но зато всей поверхностью лица воспринимали инфракрасное излучение. Он чувствовал, что с этими ребятами договориться будет нетрудно, но вот времени на то, чтобы договариваться, не было.

Сергей только засопел, выслушав это известие. Наспех сжевал лиловатую мякоть, набросил на себя травяную сетку, полез. Наверху насыпи героически выпрямляться больше не стал — вжался в мох, даже зажмурился.

Его сшибли точно так же — безошибочный, беззловонный удар.

Отливали, отмывали. Громадные глаза пинфинов были полны слез. Сергей стиснул зубы, объяснять было нечего — все видели сами. Как только смог двигаться, полез к решетке. На всякий случай циновочкой-то прикрылся, так и ковырялся под ней, согнувшись в три погибели — выскребал один за другим тяжеленные камни из-под решетки, готовя лаз.

Ему не мешали.

Он углубил желоб. Обернулся к пинфинам, помахал им рукой и скользнул во влажную канавку.

Метра три-четыре он полз, не веря себе.

Не пропустили.

Шарахнули липким зеленым комом, так что тело сразу осело.

Пинфины вытащили его, похлопотали — безрезультатно. Наверное, он провалился без сознания больше земных суток. Очнулся, захлебываясь неумолимой дрожью от холода и слабости. Переполз на циновку. Кто-то — кажется, полюгалы — тащили его вверх по склону, повизгивали.

В пещере он отоспался, потом взялся за дело: острием фломастера, а кое-где и замочком от «молнии» выцарапал на гладкой стене краткий отчет о своей разведке — на всякий случай, если уж не придется очнуться. И еще мизерная на первый взгляд проблема не давала ему покоя: а зачем в этой колонии человек? Если верить рассказам, которые передавались из уст в уста, без человека здесь ни дня не обходились. Инопланетянам люди казались на одно лицо, и в горестях вынужденного заключения они не отдавали себе отчета в том, что земляне могли сменять один другого. Исчезал, умирал один — сюда доставляли новенького. Но — поодиночке. Пинфинов, крокодилчиков, инфраков было по несколько особей, человек — один. Но постоянно.

Какую же роль он здесь играл — няньки? Похоже, потому что двери башни прямо-таки дразнили его своей доступностью. Но если кто-то смог построить такую машину, да еще и смог доставить сюда инопланетян со

всех концов Вселенной — на черта ему, такому всемогущему, земной космолетчик на должность необученного гувернера? На роль вселенских переводчиков лучше всего подходят пинфины — они тут живо со всеми перезнакомились и отлично договариваются. А случись что-нибудь — эпидемия, например, и Сергей отлично понимал, что он окажется бессилён.

Так зачем он здесь — крутить колесики, делать водичку в озере то теплее, то студенее? Нелогично. Уж если они тут так настропалились щелкать по затылку тепловым лучом, то проблема дистанционного управления у них должна быть решена.

Так зачем, зачем этим невидимым гадам человек, который к тому же будет постоянно пытаться отсюда удрать? Для чего здесь устроен этот заповедник — этот вопрос он в конце концов запретил себе решать. Даже если и не свихнешься, все равно потеряешь время даром. Нужно четко сформулировать главную проблему и долбить только ее.

Когда-то много лет тому назад, когда он получил под свое командование первый корабль, он чуть не погубил всех людей как раз потому, что заметался в определении главного, а потом еще и не мог решиться на отчаянный шаг — сесть на незнакомую планету, оккупированную лемондами.

Позже он нашел для себя редкую должность почтальона-инспектора. Маленький кораблик, развозящий срочные грузы по дальним планетам, — занятие не хлопотное. Экспедиции снаряжались обстоятельно, и редко случалось так, что на базе забывали погрузить что-то жизненно важное. Но бывало. Тогда и отправлялся почтальон — на маленьком кораблике, в одиночку. Ему не приходилось быть вторым номером, он был единственным членом экипажа. Это и давало ему моральное право летать, потому что после того злополучного рейса он никогда не взял бы на себя ответственность за других людей.

А вот здесь он ничего на себя и не брал — получилось. Само собой легло ему на плечи. И сидят тут эти, с позволения сказать, гуманоиды сиднем, как колоды, под которые ничто не течет, а стоит заговорить о бегстве — и сразу, как страусы, головы в песок. Страшно!

Им, видите ли, страшно, а ему, уже четырежды бигтому, не страшно.

Окрепнув, он пошел вдоль насыпи влево, сделал еще несколько попыток перелезть через нее — результат был однозначным. Били.

Вернулся к варианту башни, перепробовал все рычаги, штурвалы и реостаты. Добился замерзания озера, разрядки воздуха чуть не вдвое, по его прихоти можно было бы учинить в долине бурю, потоп, воспроизвести форменную Сахару и даже, на худой конец, геенну огненную. Разумеется, все эти опыты он проводил с величайшей осторожностью, хорошо помня, как он однажды чуть не поморозил полюгалов.

Опыты ему сходили с рук. Но и за массивными стенами, сложенными из настоящих валунов, он чувствовал пристальный немигающий взгляд. Когда он дошел до регулятора освещенности, он попытался под покровом колодезной темноты снова проскользнуть под решеткой — нет, не дали. Только пинфинов перепугал — после они рассказывали, что с наступлением зеленых сумерек над вершинами гор, образующих их долину (Тарумов уже подумывал — а не кратер ли?), якобы зажглись три полных луны, повергшие обитателей пещер в совершенно необъяснимый ужас. Сергей понял, что и с башней он зашел в тупик — да, он мог бы перевернуть, испепелить, затопить зловонным туманом всю эту лохань — но если бы это решало задачу бегства...

Иногда ему уже казалось, что и его предшественник, вот так же, не найдя способа бежать самому и увести за собой остальных, просто не выдержал и...

Нет. Он вспоминал тонкие пальчики пинфинов, их испуганные пепельные глаза и понимал — нет. Человек не мог бросить их и уйти. Даже в небытие.

Потом он предпринял попытку обойти озеро справа и таким образом подобраться к кораблям — опять ничего не вышло. Километров через шесть берег подымался, сперва исподволь, а потом все круче и круче. Тарумов уже начал прикидывать, а пройдут ли по такому пути инфракрасники, как вдруг скала под ногами оборвалась отвесным срезом — дальше пути не было. Озеро неподвижно замерло где-то в глубине, и только далеко-далеко, в дымке нездешнего, легкого свежего тумана, угадывался другой берег, шумящий позабытыми здесь деревьями...

Традиция была соблюдена и на этот раз — зеленый протуберанец, выметнувшийся снизу, отшвырнул его далеко от обрыва.

Возвращаться пришлось ползком. Он скользил по шелковистой поскрипывающей тине, и в голову так и лезло видение сказочного гада, властно и стремительно мчащегося над каменным виадуком. Царственный уж, атаквистический символ мудрости, доброты и семейного благополучия... Но как связать этот образ с насильственным заточением нескольких десятков гуманоидов здесь, в этой мрачной чаше исполинского кратера?

А может быть, виной всему непонимание? Может, их всех просто пригласили в гости, и нужно только найти общий язык с хозяевами — хотя бы в лице этого пестро-клетчатого телеграфного столба, несомненно, изображающего стилизованного змия? Но как обмениваются информацией обитатели здешнего мира — может быть, на гравитационных волнах? Ну а если у них в ходу гамма-кванты или нейтринные пучки? Что тогда? Гостеприимно, ничего не скажешь. От таких хозяев надо дуть без оглядки, а дружеские отношения налаживать с расстояния в два-три парсека.

Можно, конечно, предположить и совершенно фантастический, архигуманный вариант. Допустим, что все обитатели этой долины — эксмертвецы. Космическая авария, лобовое столкновение с метеоритом при выходе из строя локаторов... И вот — чудеса инопланетной реанимации, воссоздание организма из единственной заледеневшей клетки, выуженной из межзвездного пространства... Ну, как они воссоздавали комбинезон — уже детали. Главное — сама идея всегалактической службы спасения, и тогда эта изумрудная обитель — своеобразный санаторий строгого режима, откуда не удерешь до полного восстановления сил... Но все-таки лучше, если мы будем восстанавливать свои силы где-нибудь подальше отсюда. А если версия вселенского гуманизма подтвердится — ну что же, мы сумеем поблагодарить своих спасителей. Но сейчас нужно думать совсем о другом.

Вот так, невольно залезая во всевозможные нравственные модели этого мира и постоянно гоня от себя эти мысли (все мысли, кроме одной: о способе бегства), Сергей дотащился до пещер.

Возвращение его было ужасным. Обезумевший от горя пинфин встретил его на пороге: пропала его подруга.

Пропала так, как и раньше пропадали здешние обитатели: была где-то рядом, за спиной, он через некоторое время обернулся — никого нет. И ни всплеска, ни шороха.

«Может, ушла вниз, к озеру? Уснула по дороге? Небольшое черное тельце, свернувшееся в плюшевый клубок, легко затеряется на холмистом склоне...» — «Нет. Вся небольшая колония пинфинов, полюгалы и рыбы-пузыри (а это еще кто?) спустились до самого озера, но ее нет ни на кубических уступах, ни в башне, ни за насыпью, ни в воде — полюгалы ныряли...»

Тарумов выпил залпом три полных «грейпфрута» — живая вода сработала, словно он выпил старого доброго коньяка. Ощувив прилив бодрости, он встряхнулся и бросился обшаривать окрестности пещер. Не может быть, чтобы никакого следа. Не может быть. Но ведь было уже. И сколько раз. Значит — может. Значит, они все-таки во власти холонокровных выползней, к которым гуманондная логика неприменима. Он искал, но знал уже, что это бессмысленно, потому что маленького кроткого существа с печальными пепельными глазами нет ни на склоне, ни в озере, ни за насыпью...

ЗА НАСЫПЬЮ?

Он скатился вниз, к пещере, не веря своим ушам, не веря своей памяти.

«Ты был за насыпью?» — «Да, но там ничего нет. Там нет пещер. Там нет камней. Искать негде. Там нет даже плодов в траве, и полюгалы туда больше не заглядывают». — «Значит, и они там были?» — «Когда-то... да». — «Жди меня!»

Он мчался вниз по склону, как не бегал здесь еще ни разу. Травяные кочки упруго отталкивали его, словно легкие подкидные доски. Проверить, проверить немедленно — неужели запретный барьер снят? Неужели дорожка к кораблям открыта?

Еще на бегу высмотрел луночки, расчищенные им в прошлый раз на мохнатом боку насыпи, с разбегу взлетел наверх...

Как бы не так. Липкий зеленый кулак деловито сшиб его прямо в пожелтый стожок, припасенный давно и так кстати...

Когда он пришел в себя, не хотелось ни отмываться, ни шевелиться вообще. Кажется, эти земноводные добились своего — выколотили из него всю волю, всю способность к сопротивлению. У него не было к ним предвзятой атавистической неприязни — отголоска тех незапамятных времен, когда босоногий человек на лесной тропе бессознательно шарахался от ядовитой твари.

В детстве он даже любил возиться с лягушатами, жабами и особенно ужами, и они нагуливали себе подкожный жирок на дармовых кормах в его великолепном самодельном террариуме. А однажды отец даже взял его (потихоньку от мамы, разумеется) в настоящий серпентарий. В загон их, естественно, не пустили, но через толстые стекла, вмазанные в кладку стен, он досыта нагладелся на медлительных и с виду таких же ручных, как и его ужи, щитомордников и гюрз. А потом ему дали погладить великолепного золотоглазого полоза — беспокоеное создание, постоянно мятущееся по загону в поисках лазейки. Уникальное свободолобие этого существа стало для него роковым: он попал в неволю именно благодаря ему и обречен был служить своеобразным индикатором целостности и непроницаемости вольера. Как только эта огромная, почти трехметровая черная змея исчезала из поля зрения серпентологов — значит, надо было немедленно искать и заделывать лазейку. При любой, самой минимальной возможности бежать этот субъект удирает первым.

И попадался — следили практически за ним одним, бедолагой...

За ним одним.

За ним.

Створки детских воспоминаний медленно закрылись, чтобы дать место горестному осознанию настоящего. Мир мудрых, прекрасных ужей... Он исчезал, осыпался вместе с шелухой внешних, поверхностных ассоциаций.

Ведь это он, и только он, был ужом, золотоглазым змеем-полозом, бессильно бьющимся головой о стены этого гигантского террариума. Это за ним неусыпно следило мертвое око озерного стража — за ним, человеком, самым свободолобивым существом Вселенной, за уникальным индикатором возможности побега...

И тогда одновременно с сознанием собственной роли в этом мире перед Тарумовым естественно возник единственный выход.

«...а старт будет тяжелым, уходить надо будет на пределе. — Он не хотел их пугать и скорее занижал реальную опасность, а старт должен был быть чудовищным, неизвестно еще, все ли выдержат. — Нужно только оторваться от поверхности, а там каких-нибудь сорок тысяч метров — и в подпространство, вам ведь не тре-

буется точного выхода из него. Где ни вынырнете — все равно ваш сигнал бедствия экстренно ретранслируют на Землю. Висите себе между звезд, отдыхайте, помощь сама вас найдет...»

«Нет», — сказали пинфины.

«Нет», — повторили за ними и полюгалы, и «рыбьи пузыри», дышавшие всем телом, и инфракрасные неподвижно-напряженными зрячими лицами, и зеркальные сосредоточенные близнецы, о самоуглубленном существовании которых Сергей до сих пор и не подозревал.

Он кричал на них, он издевался над ними, он готов был побить их, связать травяными веревками и таким вот безвольным, тупым косяком гнать их до самого звездолета... Он-то на все был готов, одна беда — дойти до корабля они должны были без него.

Он продолжал убеждать, он рисовал им на стенах пещеры сказочные картины Земли — горы, облака... Теперь он уже не старался убедить их — он просто ждал.

И вот он услышал, даже нет — почувствовал, как снизу, из лабиринта тинных холмов, появился его пинфин.

«Ты дошел?» — «Да». — «И вошел внутрь?» — «Да». — «Ее нет и там?» — «Нет». Об этом не нужно было уже спрашивать.

«Ты пробовал запустить двигатели?» — «Да. Но это никому не нужно». — «Это нужно тебе, потому что у тебя единственный шанс — привести помощь с Земли!» — «Бесполезно...»

Бесполезно!

Как он сейчас ненавидел их — беззащитных, кротких, слабых...

Бесполезно!

Ну нет, это вам так не сойдет, я научу вас свободу любить, младшие мои братья по разуму, так вас и так...

«Переводи. Переводи им всем, и поточнее: огонь спустится с гор, и смрад затопит долину. Спасение — там, за насыпью. Перевел? Все поняли? А теперь пошли вниз, к озеру. До ворот по одному, а дальше к кораблям поведешь всех ты. Дорогу знаешь».

Он двинулся вниз, привычно задирая ноги по журавлиному, чтобы не путаться в осточертевшей тине. Оглянулся — никто так и не пошел за ним. Сергей недобро усмехнулся, вытащил из-за пояса перчатки и принялся на ходу драть длинные влажные пучки.

Он шел медленно, медленнее обычного — плел что-то вроде каната. Пока добрал до башни-туры, сплел изрядно, метра три. Не начало бы сохнуть раньше времени. Поторапливаться надо.

Он ускорил шаг. За бурую замшелую решетку только глянул искоса, но даже не задержал шаг. Влетел в регуляторный зал — все знакомо, опробовано, и слава богу. Этот верньер — до отказа, теперь снаружи темнота. Хорошо, стены башни изнутри попыхивают колдовским сиреневатым светом.

А теперь — канатик. Перекинуть через крестовину красного штурвала и дотянуть до крестовины вон того, пепельного. Дотянул. И — мертвым узлом. Просто-то как, а?

Отступил, прикинул — не надо ли еще чего? Нет, хватит. Чтобы не перебрать. Эти-то два эффекта надежно проверены, не в полную силу, разумеется, иначе в пещерах давным-давно никого в живых бы не осталось. Но сейчас он увидит, каково это — в полную силу!

Хоть это удовольствие он получит.

Он выскочил из башни и начал быстро карабкаться вверх, к пещерам. В сторону насыпи он даже не повернул головы — сгустившаяся по его воле тьма не позволила бы ему рассмотреть даже смутные силуэты кораблей. Вверху тепло мерцали арочные входы в пещеры, три луны приподнялись из-за вершин, опоясывающих долину, и на отвесных гигантских ступенях слабо замерцали полустертые знаки неземного языка. Темнота — это у него хорошо получилось.

А теперь начнет свою работу сохнушая трава.

И началось. Он знал, что не пройдет и часа, как травяной канат, сжимаясь, начнет поворачивать друг к другу два колеса, к которым до сих пор Тарумов едва смел притрагиваться. Да, началось. Кромка гор затеплилась золотистым светом, и пока это было еще не страшно, но полоса огня расширялась, теперь это была не тоненькая нить, очерчивающая контур каменной чаши, теперь это было похоже на огненную змею, устало и мертво распластавшуюся по верхнему краю их долины.

Но полоса огня все росла, ползла вниз, и вместе с ней и опережая ее, вниз устремился удушливый смрад... Апокалипсис, да и только. Долго ли там будут медлить младшие братья?

Они не медлили. Они катились в ужасе вниз, и только

по стремительно мелькавшим мимо него теням Тарумов мог определить, сколько же их спасается бегством. Тридцать... Больше сорока... Больше пятидесяти... Кто именно — этого он определить не мог.

Не узнал он и своего пинфина.

Они промчались мимо него повизгивающей, всхлипывающей стайкой, и, отставая от всех, последними прошагали зеркальные близнецы.

Все. Теперь лучше взять вправо, на гигантский, исписанный магическими письменами уступ. Но, словно угадав его желание, огненный ручей отделился от общей полосы огня и, круто направившись вниз, заструился прямо навстречу Сергею, стекая по ступеням исполинской лестницы. Сергей отпрянул — он знал, что его ждет, он сам выбрал это, но... не так скоро.

Он побежал влево, оскальзываясь на влажной пока траве, падая лицом в пружинистые кочки, задыхаясь, обливаясь потом. Скинул ботинки. Затем на бегу содрал с себя комбинезон. Холодный взгляд упирался в него ощутимо — до мурашек на левом плече и щеке, обращенных к озеру, и впервые он чувствовал не омерзение и даже не безразличие, а острую, злобную радость. Давай-давай, гляди! Гляди и не оборачиваясь, дубина запрограммированная, гляди во все глаза и не отвлекаясь, потому что сейчас только это от тебя и требуется!

Потому что они еще не дошли. Еще не взлетели.

Так он шел и шел, уводя за собой неотрывный взгляд своего стража, и трава, словно чувствуя приближение огня, как-то разом усохла, перестала путаться и пружинить, и идти было бы совсем легко, если б не удушливая гарь, но идти было уже некуда — перед ним открылся давешний обрыв, и свежий воздух подымался толчками из глубины, словно там, в темноте, взмахивала крыльями исполинская птица. Настигаемый нестерпимым жаром, он вскинул руки, ловя губами, лицом, грудью эти последние глотки прохладного ветра, и в это мгновение такой знакомый, такой земной гул стартовых двигателей выметнулся из темноты, и огненные звезды дюз поднялись вверх, в темно-зеленую глубину неба...

Успели.

И последнее, что увидел Тарумов в конусах света, отброшенных уходящим кораблем, было стройное тело сказочного змееподобного существа, промелькнувшего над озером в стремительном и естественном полете. Это

не было погоней за беглецами. Осеребренный светом удаляющихся звезд, этот змей даже не взял на себя труд проследить за их исчезновением.

Он искал не корабль, а крошечную фигурку человека, этого самого вольнолюбивого существа во Вселенной, который должен был бежать отсюда первым, а вместо этого предпочел задохнуться в чаду разожженного им же самим пожара. Так почему же он не бежал?

ПОЧЕМУ?

Медленно, круг за кругом, спускался он к обугленному обрыву, и продолжал спрашивать себя, и по-прежнему не находил ответа. И не мог найти, потому что логика существ, населяющих террариумы, несовместима с логикой тех, кто эти террариумы создает. Он глядел вниз, и взгляд его был полон недоумения и разочарования.

Но если бы Тарумов мог видеть эти глаза, обращенные к нему, они снова показались бы ему мудрыми и прекрасными...

ПЕРУН

Рассказ

Когда он вернулся из своего первого полета, затянувшегося почти на полтора года, его щенячье упоение собственной стремительностью, гибкостью и всемогуществом, которые так легко дались и его телу, и его духу, достигло апогея. И разнокалиберные сюрпризы чужих планет, отличавшихся весьма умеренным с точки зрения Большой Земли гостеприимством, и тягомотина цепочечных прыжков в подпространстве, и отеческая забота всего экипажа начиная с самого Гейра Инглинга и кончая трюмным кибер-уборщиком, его отнюдь не утомили; напротив, он с раздражением обнаружил, что набрал чуть ли не полпуда никчемной плоти, столь обременительной для его профессии. Ему стало стыдно поджарого Гейра, и он вогнал себя в норму методами форсированными и даже несколько жутковатыми.

Положенные сорок пять дней отпуска он решил посвятить восхождению на заповедный Пик Елены, но задолго до половины этого срока полное отсутствие восторга при виде осиянных вершин истинно рериховского ландшафта поставило его перед безрадостным фактом, что восхождения ради восхождений отодвинулись для него в прошлое. Он хлебнул настоящей работы, и игры на свежем воздухе перестали его наполнять. У него хватило мужества признаться в этом открытии своим спутникам, и его милосердно спустили вниз на вертолете.

Еще полтора дня ушло у него на то, чтобы найти Гейра Инглинга.

Командир гостил у папы с мамой на станции региональной метеокорректировки и самым буколическим образом пилил дрова в паре со списанным одношупальцевым кибом, когда новобранец его экипажа свалился на него весь в соплях от собственного комплекса разочарований.

Гейр не впервые возился с новичком и в отличие от него сознавал, что полтора года — это мизерный срок

для действительной акклиматизации в космосе, и что сейчас наступает одна из самых изнурительных, хотя и быстропроходящих фаз — кажущееся отчуждение от Земли. Энергии через край; мускулы, парадоксальные с точки зрения классической анатомии, играют в силу инерции; быстрота реакции настороженно воспринимается как отточенность ума, а его-то и не хватает для того, чтобы не обольщаться по поводу всемогущества эдакого элитного биоробота, скороспело взлелеянного в себе самом во славу инопланетных одиссей. Настоящим зубром дальних зон космоса становишься только тогда, когда вот так тянет поколоть дрова...

Но такие вещи не объясняют на словах.

Поэтому мудрый Гейр, не навязывая сочувствия, но и не впадая в сентенции, тут же связался с Байконуром и отрядил космолингвиста Анохина на нетворческую работу по разборке трюмов. Конечно, правила гостеприимства обязывали его предложить отставному альпинисту отдохнуть на метеостанции, тем более что она располагалась на берегу прелестного малахитового озера, вобравшего в себя разномастную зелень окрестных лесистых холмов. И коль скоро для Анохина сейчас самым полезным было по маковку окунуться в работу, то командир посоветовал ему пуститься в путь засветло, потому как его мать, хозяйка этой станции владетельная Уни Инглинг, в части метеокорректировки несколько дальнзорка, и если во всем регионе поддерживался строго заданный климатический режим, то в окрестностях станции, под самым носом, порой творилось ну прямо черт-те что. А так как до ближайшей вертолетной стоянки километров двенадцать безлюдными прибрежными тропами, то еще лучше попросить рейсовую машину завернуть на минутку сюда. Иначе благополучного возвращения на корабль он не гарантирует.

Как и следовало ожидать, Анохин самонадеянно заявил, что доберется до вертолетной пешком и прибудет на «Харфагр» своевременно. Излишне добавлять, что у такого командира, как Гейр Инглинг, носящего имя древнейших повелителей викингов, и корабль был назван по прозвищу самого прославленного, хотя и не самого добродетельного из этих королей.

Анохин простился с Гейром и владетельной Уни чуть торопливее, чем следовало младшему члену экипажа, и, обогнув стадо противоградовых «кальмаров», запрыгал по узловатым корневищам каких-то реликтовых



великанов, вместе с тропинкой спускающихся к самой воде. Там он свернул влево и пошел берегом, временами выбираясь на крупный буроватый песок, над которым стлались звероподобные вечерние комары; затем тропинка круто брала влево, забираясь на продолговатую гряду, поросшую можжевельником, словно тому, кто проложил этот путь, казалось невыносимым и противостественным все время двигаться по прямой.

Он шел уже около получаса, радуясь обещанной безлюдности, и только искоса поглядывал на густо-зеленую тучу, исполинским жабьим животом навалившуюся на противоположный холмистый берег. Мокнуть не хотелось. Тропинка то и дело ныряла в хаотический лесной молодняк, а когда горизонт открывался снова, становилось ясно, что скорость движения тучи не оставляет ни малейшей надежды на благополучное завершение этого маленького путешествия.

Туча была грозовой, поэтому стоило подумать о чем-то более безопасном, нежели развесистое дерево.

Он ускорил шаг и совершенно неожиданно услышал впереди себя голоса. Он удивился так, словно где-нибудь на Атхарваведе увидел человека без скафандра. Затем рассердился на себя за это изумление, а заодно и на своих непрошенных попутчиков — невидимые за поворотами петляющей тропочки, они явно шли в том же направлении, что и он. Так. Перед ним, сумевшим соскучиться в пламенеющих закатах рериховских Гималаев, были всего-навсего заурядные заблудившиеся дилетанты, после недельного душного заточения в своих лабораториях и информаториях снедаемые мазохистским намерением обязательно преодолеть двадцатикилометровую дистанцию с кострово-котелково-комаринным финалом. Святые люди. Он даже поздоровается с ними. И даже приветливо.

Дорожка выпрямилась и в сотый раз пошла вниз, впереди замаячил последний рюкзак, цепочка людей, предшествующая ему, насчитывала еще не менее двух десятков умаявшихся рюкзаконосцев. Анохин сделал рывок и начал обходить их одного за другим, временами кивая и бормоча нечто нечленораздельное, но дружелюбное; тропинка наконец вылилась на прибрежный песок, цепочка людей потеряла свою четкую последовательность, и Анохин невольно оказался в самой гуще туристов. Он уверенно двинулся вперед, лавируя между людьми даже на них не глядя, но сзади крикнули: «Ки-

ра!» — и он автоматически обернулся, прежде чем понял, что зовут, конечно, не его. Сказалась скорость реакции, совершенно излишняя тут, на Большой Земле.

Кто-то слева от него обернулся с той же стремительностью, но чуть более плавно, и он поднял глаза просто потому, что его поразила точная зеркальность этого движения.

Разумеется, если бы он с самого начала взял на себя труд оглядеть своих попутчиков, он несомненно отличил бы эту тоненькую фигурку от всех остальных — уже хотя бы потому, что она была в каком-то облачно-сером платье и без обязательной ноши. Что-то еще было в ней, что стоило рассмотреть повнимательнее, но он, опять же в силу быстроты отточенной в полетах реакции, проследил за направлением, откуда прозвучал зов и куда естественно потянулась она, а когда взгляд его вернулся на прежнее место, рядом никого уже не было. На то, чтобы произвести это движение — уже не телом, а лишь направлением взгляда, — ему потребовалось две сотые секунды, не более; и все-таки облачно-серое платье плавно очутилось впереди метрах в пяти-шести, ускользая от его внимания. Ассоциации возникли столь же мгновенно, сколь и непрошенно, и Анохин уловил странное сходство с прыгающими бликами на Ингле, в их последнем полете. Световые «зайчики», порожденные нефиксируемым источником, да еще и при постоянно спрятанном за тучами солнце, преследовали группу десанта на протяжении всей экспедиции — холодные, ускользающие, любопытные. Их пришлось оставить вместе с серебряным песком, и прочими немногими радостями этой металлической планеты, совершенно не пригодной к заселению из-за отсутствия кислорода. Серебра, конечно, было навалом, но не тащить же его из девятой зоны дальности... Планета была занесена в каталоги как бесперспективная, и вместе с пепельно-сыпучими воспоминаниями отложились досада на то, что поторопились связаться с Базой и в полном очаровании этим платиновым мерцанием занесли бесполезную тарелку в официальный список под именем Земли Гейра Инглинга, одарив ее звучным именем древних викингов и современных звездных капитанов. Да, поторопились.

Одним из непременных качеств, которое Гейр старательно воспитывал в Анохине, было неукоснительное доведение до логического конца любого начинания, и именно в силу этой звездной, а отнюдь не земной привычки он

догнал обладательницу пепельного нетуристского одеяния. Раз уж что-то показалось необычным и задержало его весьма привередливое внимание, то это надо было зафиксировать почетче.

Она (а если верить обращению, то — Кира) вдруг выбросила вправо руку одновременно плавным и стремительным движением, как это делают любители старинных велосипедов; узкая белая до серебристости ладошка мелькнула перед самыми глазами Анохина, точно уклейка, и, повинаясь этому жесту, брючно-рюкзачная стайка свернула от воды в лошинуку между холмами, где в смутной лиловости предгрозового тумана замаячили торчки плетеной ограды. За торчками угадывался домик, затененный зеленью, и Анохин сразу понял, что она, в отличие от всех остальных, не пришлая, а скорее всего хозяйка этого домика, и вдруг совершенно неожиданно его захлестнула досада от того, что сейчас этот одинокий маленький дом, похожий на заброшенный в сад скворечник, будет переполнен сброшенными рюкзаками и кедами, запахом вывернутых курток и топотом ног в одних носках...

На эту досаду ушло не более полутора секунд, и взгляд, отброшенный уклеечным движением ладони к обреченному скворечнику, вернулся на прежнее место, где только что стояла она.

Ее, естественно, не было. Ускользнула куда-то за спину, и теперь подгоняла увязающих в песке аутсайдеров нетерпеливыми и зябкими движениями плеч и маленького подбородка. Он опять не разглядел того, что хотел, но возвращаться назад, к ней, было по меньшей мере глупо и неестественно, и Анохин решил подождать, когда она пройдет мимо него, но тут первая капля величиной с конский каштан шмякнулась на песок, туристы дружно загалопировали, трюхая снаряжением, и он вдруг поймал себя на том, что уже расстегивает на себе куртку, потому что тому, кто добежит последним, от недосмотра дальнорозоркой Уинн достанется более всего; он вытянул шею, высматривая поверх голов пепельные, как и платье, волосы, и с традиционным недоумением снова ничего не обнаружил. Не было ее на берегу.

Он с трудом углядел ее возле садовой ограды, сквозь плетенку которой цепко лезла на волю одичавшая неухоженная жимолость. Туман сползал по ложине, разделявшей холмы, и вдруг с тою же радостью, уже начавшей его тревожить, с которой отыскивал он серое платье, Анохин

понял, что непрошенные посетители зеленого озера вовсе и не думают оккупировать чужой дом, а, минуя его, ныряют в туман и топочут, как невидимые гномы, к какому-то приюту, ожидающему их где-то среди холмов; приглядевшись, он даже различил смутный огонь, трепетавший в глубине сгущающихся сумерек. Последний топотун исчез, едва окунувшись в туман, и, опережая собственный взгляд, Анохин понял, что возле ограды ее уже не будет.

И ее не было.

Он сделал несколько шагов и взялся за шершавые ивовые прутья заборчика. Из сада тянуло зеленолиственной влагой и пронзительным одиночеством. Он ждал, что в доме зажжется свет, и тогда она глянет в окно, отделенное от него какими-то десятью шагами, и заметит его блестящую форменную куртку, и вернется. Проще простого было бы крикнуть в темноту: «Кира!» — но он знал, что этого он не сделает. Слишком уж примитивно. Перенести его на порог ее дома должно было какое-то волшебство, родственное тому, которое позволяло ей беспрепятственно исчезать в одном месте и являться в другом — вот именно, являться, а не появляться. Он стоял не шевелясь, чтобы не спугнуть это надвигающееся на него наваждение, и уже знал, что простоят тут всю ночь, ожидая своей минуты, и редкие тяжеловесные капли все крепче и крепче прибавали его к ограде, с методичностью, возведенной в степень фатальности. И она стояла перед ним на расстоянии протянутой руки, явившись неизвестно в какой миг, и смотрела на него непомерно расширившимися глазами, как смотрят на добровольного мученика — идиота, с той долей иронии и сострадания, которая была завещана Франсом и утверждена Хемингуэем.

Он увидел эти глаза и понял, что же еще в ней он старался углядеть.

— Все ушли, — проговорила она, хотя и так было ясно, что они тут в полном одиночестве, то есть вдвоем.

— А как же я?.. — проговорил его губами кто-то очень маленький и вконец растерявшийся.

— Ну так догоняйте! — сказала она легко и снисходительно.

Он молчал, ожидая, что она сама догадается хотя бы по его куртке со звездами и молниями — которых, между прочим, в космосе никогда не бывает, — что гномы-топтуны никакого отношения к нему не имеют; но

молчание затягивалось, и он вдруг осознал, на пороге какого дома остановился. Это был дом, где даже не знают, как выглядит форма звездолетчика.

Все, что делало его суперменом в собственных глазах — ну и еще кое для кого из окружающих — все последние полтора года, не имело здесь решительно никакого значения. Он до того растерялся, что толкнул калитку и без приглашения влез в мокрый сад, как буйвол на грядку со спаржей. Она повернулась и поплыла к дому, по пояс в тумане, и совершенно непонятно было, то ли это форма возмущения его бесцеремонностью, то ли приглашение следовать за нею. Как настоящий мужчина, он выбрал то, чего добивался сам.

— Вас ведь зовут Кирилл? — не оборачиваясь, спросила она, подымаясь по ступенькам крыльца.

Значит, она как-то чувствовала, что он следует за ней, хотя двигался он совершенно бесшумно, как учил его Гейр. И отвечать ей не нужно было — она спрашивала не для того, чтобы услышать вежливое «да, вы очень любезны, что сообразовали запомнить мое имя». Или еще что-нибудь столь же изысканное, почерпнутое из юношеского благоговения перед стэндалевским Фабрицио. Он молча поклонился ее узенькой серебряной спине.

Она поднялась на последнюю ступеньку и растворила дверь, пропуская его перед собой. Он вошел в единственную комнату, из которой состоял этот дом, и внезапно понял, что здесь ему делать нечего.

Всю переднюю стену занимало окно — вернее, ивовый изящный переплет, на который была натянута стеклянистая пленка, за которой глухо зеленело озеро, слева и справа очерченное буроватыми лунками пляжа. Правую сторону занимало нагромождение полок и экранов, ваз и шкафчиков, кофеварок и консольных компьютеров, куда скромно вписывался едва ли не детский письменный стол. Два резных стула с очень высокими спинками подчеркивали хрупкость и неприкасаемость всей обстановки, и с этим еще можно было бы смириться.

Но у левой стены снежно белела узенькая постель с кисейным пологом, от которой девственно веяло температурой абсолютного нуля.

В эту комнату она спокойно могла привести озверелого легионера времен Марка Красса, пьяного каторжника или хорошо выдержанного монаха.

Или потерявшего маму олененка.

— Что вас тревожит? — спросила она, переступая

следом за ним порог своей обители.— Сейчас мы свяжемся с вертолетной, и машина будет сразу же, как только утихнет гроза.

— Знаете, я пойду,— поматывая головой, проговорил Кирилл.— В этой комнате совершенно невозможно развалиться, взгромоздиться, швырнуть куртку на пол, сбросить тапочки... Словом, чувствовать себя человеком.

— Действительно,— грустно согласилась она,— не располагает... Но у меня есть кофе и ром, это поможет мне сгладить недостаток гостеприимства.

— Я бы не подумал, что вы грешите недостатком коммуникабельности — волокли по берегу целую ораву...

— А, эти!.. Что ж делать, они относились к той категории людей, которые никогда не знают, где находится то место, откуда надо сворачивать.

— А я? — жадно спросил он.

— Вы, вероятно, интуитивно находите места, куда вам сворачивать не стоит. И направляетесь именно туда.

— Верно! А вы?

— Я... Вы управитесь с кофемолкой?

— Я управлюсь с любым механизмом, от турбогенератора до гильотины. Например, я априорно знаю, что этот стул меня не выдержит. Проверять или не стоит?

— Не стоит, пожалуй. Вот кофе, а я пока вызову вертолетную.

— Я бы в такую грозу вам этого не рекомендовал... Кира! Это действительно опасно.

Она медленно протянула руку и выключила передатчик.

— Вы физик? — спросила она.

Кирилл подумал, что такие вопросы простительны только дремучим гуманитариям.

— Я переводчик,— сказал он, избегая высокой титулатуры.

— С древних языков?

— С инопланетных.

— А.

У него дыхание перехватило от всей безмерности равнодушия, сконцентрированного в одном коротеньком звуке. Так тебе, звездный скиталец! Поделом тебе, покоритель Вселенной!

— Слышали бы вы, как прозвучало ваше «А!»,— проговорил он сокрушенно.— Глубокий финальный аккорд, после которого слушателям остается только пройти в гардероб. И это вместо непринужденной беседы, в ходе

которой я намеревался выведать, чем же занимаетесь вы на этом пустынном берегу...

— Вы неточны: я сказала «А». Без восклицательного знака. Кстати, кофейные чашки вон там, на второй полке.

Он стиснул руки и мысленно поздравил себя с тем, что сумел сдержаться и не грохнуть кулаком по письменному столу. Почему из всех женщин, которые встречались ему и на Земле, и вне ее, именно эта была самой неуловимой, самой ускользающей? Все было, как на Ингле, когда набираешь полные горсти серебряного звенящего песка, и как крепко ни стискивай руки, все равно неуловимые струйки текут между пальцев, и ладони уже пусты, и только печальное, беззвучно тающее облачко маяется на том месте, где ты только что владел целым сокровищем...

— Почему вы не хотите довериться мне? — проговорил он с горьким недоумением. — Так глупо и нескладно, как с вами, у меня ни разу и ни с кем не получалось... Ведь если самому раскрыться, вывернуться наружу той розовой шерсткой, которая внутри у нормальной человеческой души, то тебе обязательно отвечают тем же...

— Зачем, Кирилл?

Эти два слова прозвучали в холодной сумеречной комнате, словно два тихих удара маленького серебряного колокола. Снаружи грохотали почти непрерывные громовые разряды, но они ровным счетом ничего не значили, да скорее всего, они оба их попросту и не слышали, словно звуками на самом деле было только то, что произносилось в этой комнате, а все остальное относилось к иной категории явлений и было яркой, но беззвучной декорацией.

— Действительно, зачем? — отозвался он устало и почти безразлично — эти два серебряных удара вышибли из него весь былой энтузиазм. — Я, конечно, осел. Даже если вы подробно растолкуете мне, кто вы, откуда, и на какой ниве приносите пользу всему человечеству, я все равно не узнаю главного: почему сегодня, двадцать седьмого августа две тысячи девяностого года, в душный, совсем не по-осеннему жаркий вечер вы замерзаете одна в этой ледяной комнате. Я сейчас уйду, и вы замерзнете совсем. А уйти придется, потому что мне здесь делать нечего. У меня уже есть небольшой опыт, мы ушли с целой планеты, когда поняли, что в общем-то не нужны друг другу. А это была сказочная планета, вы уж поверьте

мне на слово. У меня по ней останется тоска на всю жизнь, да что поделаешь...

Он поискал глазами, куда бы поставить так и не выпитые чашечки кофе, и увидел, что она сидит на узеньком своем стуле, от подбородка и до кончиков туфель туго завернувшись в какую-то бесцветную шаль, с безупречно прямым углом согнутых коленок, как у статуэток древних египетских богинь. Он поставил чашечки ей на колени и сел прямо на пол, жадно и безнаказанно глядя ей прямо в лицо.

— Сейчас я уйду, — пообещал он, — потерпите еще немного, я отсчитаю семь зеленых молний и уйду. Честное звездное.

Он обернулся к застекленной стене, и в тот же миг небо над озером раскололось глубокой трещиной, и по обеим сторонам этого провала очертились набухшие темно-зеленые пласты, как будто разомкнулись чудовищные губы нависшего над озером злобного, гневливого духа. Целая обойма ломаных, ступенчатых молний разом саданула в разглаженную дождем поверхность воды, и неистовый грохот немедля вмял в комнату дрожащую от напряжения, пузырящуюся в частых переплетах окна сверхпрочную пленку.

Кирилл вскочил раньше, чем зеленое зарево осветило всю комнату, — молний было ровно семь, и чем бы это ни было — дьявольщиной, совпадением или вмешательством каких-то inferнальных сил, подвластных этой пепельно-ледяной женщине, — его человеческий своевольный дух вздернул тело на дыбы раньше, чем разум смог отдать какой-то обдуманый приказ.

Он схватил ее за плечи и поднял, так что несчастные чашечки покатались в разные стороны, прочерчивая на подоле стремительные траурные траектории, и вместо злости ощутил вдруг неистовую радость освобождения от собственной маяты и беспомощности, словно вмешательство зеленогубого громовержца одним махом отмело все правила, условности и запреты.

Он кричал ей что-то прямо в лицо и понимал, что за несмолкаемой канонадой ничегошеньки не слышно, и смеялся от неожиданно обретенной свободы. Черта с два он теперь уйдет отсюда! Хватит с него прощаний...

Гром поутих.

— Думаешь, я теперь уйду?! — крикнул он, успевая вклинить в образовавшуюся паузу, и голос его прозвучал непомерно резко и нетерпеливо. — Фу, прости за

львиный рык, но в этом грохоте и не сообразишься... Никуда я не уйду. Ты только погляди на него, ишь разевает пасть... Перун. Идолище поганое. И оставить тебя одну — с ним? Не выйдет! Набегался я с других планет. Накаялся. Натосковал. Теперь я на своей Земле!

За окном, уже успевшим зарастить новой пленкой, оглушительно и протестующе громыхнуло.

— Обратила внимание: когда у него молнии свисают с верхней губы, он похож на зеленого моржа? Ну, ничего, дождь сейчас кончится, такие жуткие грозы бывают только всухую, так что я наберу чего бог пошлет и разведу тебе настоящий живой огонь, с треском и гарью, рыжий...

— Уходи, — с неожиданной силой освобождаясь от его рук, проговорила она. — У-хо-ди.

От неожиданности он опустил ее на пол, даже попятился, пытаясь найти нужные слова и не находя их, а она наступала на него, запрокинув голову и зажмурив глаза, и повторяла с яростной настойчивостью:

— Уходи. Уходи. Уходи.

Он наткнулся спиной на дверной косяк, нащупал запоры, распахнул дверь. Ветер, несущий ветки, листву и сырой песок, едва не сбил его с ног.

— Уходи! — крикнула она, стараясь перекрыть вой бури, но все-таки не открывая глаз, и тогда на него снова нахлынула радость, оттого, что она боялась его видеть, оттого, что, кроткая, милосердная и безразличная, она гнала его в грозу, и он замер, боясь сделать что-нибудь не так и спугнуть снизошедшее на нее наваждение.

Не слыша больше его шагов, она по-птичьим настояжилась и боязливо приподняла ресницы.

Он стоял близко-близко.

— Уходи... — угадал он по беззвучному шевелению губ.

Кирилл оглянулся на черные пришибленные кусты, на частые молнии, ядовитыми иглами сыплющиеся с неба.

— Так ведь страшно! — пробормотал он, молясь всем богам вселенной, чтобы ей только не пришла в голову одна простая, очевидная истина — что звездолетчик, побывавший в дальних зонах, органически не может испугаться такой малости, как земная гроза...

Молния впиалась в дерево где-нибудь метрах в тридцати.

— Вот так и убьет, — обреченно пообещал он, пере-

считывая в уме дни, оставшиеся до отлета, и уже твердо знал, что явится на «Харфагр» никак не раньше, чем за три минуты до старта...

Как и бывает с письмами, которые раз в месяц одновременно идут навстречу друг другу, они были наполнены довольно бессвязными воспоминаниями, вопросами без ответов и ответами на еще не заданные вопросы. Получая пакет с информационной точкой, переброшенной через непредставимые разуму протяженности пространства и подпространств, Кирилл мчался к себе в каюту, минуя нелюбопытный взгляд всегда сдержанного Гейра Инглинга. У себя он запирался, запускал точку в дешифратор, и каюта наполнялась ломкими озерными бликами ясного, чуточку печального голоса, исказить который не могла даже непредставимая фантазмагория многоступенчатой галактической связи.

Едва дослушав, он бросался надиктовывать ответ, втайне понимая, что за предстоящий месяц появится еще тысяча поводов для десятков тысяч слов, но он ничего не мог с собой поделать, потому что пока он говорил с нею, она была с ним. И он описывал бесконечные перипетии тяжелого рейса, и свою работу, наконец-то настоящую, когда от его интуиции и опыта зависела судьба контакта с предполагаемой и почти иллюзорной цивилизацией. Экспедиция затягивалась на год, потому что приходилось ждать прибытия комплексников, которые всегда тянули со сборами, и в отчаянье от этой задержки, которая в предыдущем рейсе показалась бы ему просто подарком судьбы, он в который раз уже поминутно вспоминал каждый из двадцати четырех дней, отсчитанных от грозового двадцать седьмого августа до самого отлета «Харфагра», и устраивал ей шуточные сцены ревности к затаившемуся за прибрежной горой Перуну, так старавшемуся с треском выставить его из ее домика; и запугивал ее старинными легендами о феерических супермолниях, которые хорошо видны с космических орбит Приземелья, но почему-то неизвестных на самой Земле, — потоках огненной энергии, из которых, вероятно, и рождались языческие легенды о пылающих копьях мстительных громовержцев...

И, как это всегда бывает с вынужденно затянувшейся перепиской, на исходе полугода одной из сторон стало

просто невыносимо тесно в точечном объеме одного послания, а другой — чересчур просторно.

Он сходил с ума, улавливая эту сдержанность и недоговоренность, он предполагал все, что угодно — естественно, кроме того, что было на самом деле; не в силах этому помешать, он чувствовал, что она снова ускользает от него, и именно потому, что это ускользание было неотъемлемой ее чертой, он любил ее еще неистовее. Она ни в чем не упрекала его, но ничего и не обещала; она не отнимала у него ни грана прошлого, но словно остерегалась говорить о будущем. И с каждым разом он все больше и больше боялся, что следующего письма уже не будет.

В майской почте пакета для Кирилла Анохина не оказалось.

Его спасло только то, что одновременно прибыли корабли группы освоения, приходившие на смену комплексной разведке в том случае, если планета оказывалась перспективной. Суeta передачи дел, погрузки, старта и многочисленных прыжков в подпространстве могли отвлечь кого угодно и от чего угодно; но только не его. Ежесекундно вызывал он в своем воображении толпу пропыленных встречающих, изнывающих под субтропическим космодромным солнцем, и ее, облачно-прохладную, молчаливую, истосковавшуюся от безответного наговаривания писем в пустоту диктофона...

На космодроме ее не было.

— Гейр, — крикнул он, врываясь к командиру, — ты можешь поверить, что мне сейчас нужна самая скоростная машина... и, если возможно, пропуск-аллур?

Гейр посмотрел на него и понял, что это ему действительно нужно. Ни о чем не спрашивая, он выписал ему разрешение на самую быстроходную из машин глайдерного парка и поставил шифр, позволяющий получать преимущество в любых коридорах и на всех горизонтах воздушного пространства.

К вечеру Кирилл уже был над озером. Он посадил машину на песок, осторожно выбрался из кабины и ужаснулся тягостному покою, нависшему над зеленой водой, расчерченной узкими отсветами двух вечерних костров, уже зажегшихся под звероподобным холмом на другом берегу.

Пока он шел к домику, он не спугнул ни одного зверя, ни одной птицы. Он уже ни на что не надеялся и почти

не удивился, когда домик оказался пуст звенящей и прозрачной пустотой стеклянного колпака.

Когда он возвращался назад, к машине, золотоглазый нерасторопный уж пересек ему путь и, скользнув под стабилизатором, бесшумно ушел в воду. Кирилл набрал высоту и безошибочно нашел внизу серебристые ангара метеокорректировочной станции.

Маленькая остроносая Унн Инглинг, похожая на полярную сову, приняла его приветливо и чуточку обиженно — как всегда, ее Гейр задержался на космодроме дольше всех. Разумеется, любой член экипажа ее сына может отдыхать здесь сколько ему вздумается. Озеро... Уединение... Что, домик? Бога ради, он совершенно пуст.

Она тоже не договаривала, тоже ускользала, очевидно, полагая, что все, происшедшее на их берегу, не касается посторонних.

— Там жила... женщина, — проговорил Кирилл, с трудом разжимая губы.

Маленькая полярная сова нахохлилась, раздраженная его настойчивостью:

— Это очень, очень печально. И совершенно непонятно, как это произошло. Нелепая случайность. Был конец мая... Да, совершенно точно: девятнадцатое мая две тысячи девяносто первого года.

В этой точности было что-то ужасающее, и Унн это почувствовала:

— Мы были почти незнакомы... — как бы оправдываясь, проговорила она.

— Нелепая случайность... — повторил он. — Молния...

— Молния? Ну, что вы! — в голосе владетельной Унн послышалась профессиональная гордость. — Как только я узнала, что она ждет ребенка, я оградила берег от малейшего ветерка. Девятнадцатого мая был исключительно тихий вечер. Как сегодня. Нет, нет, Кирилл, никакой молнии быть не могло. Кажется, она спешила на вертолетную, отправить кому-то письмо, а у поворота есть небольшой обрыв, метра два, и тропинка не узкая... Но женщины в эту пору иногда забывают, что прежняя ловкость может им изменить. Она упала в воду, и хотя там было неглубоко... Кирилл?!

Он очнулся в маленькой палате, которую заливало солнце. У окна сидел кто-то, и блестящая звездная куртка натягивалась на его согнутой спине при каждом вдохе.

— Гейр, — позвал Кирилл.

Командир обернулся. Он был очень похож на мать, только ровно вдвое выше.

— Что там? — спросил Кирилл.

Гейр повел носом в сторону подоконника.

— Там море, — коротко сказал он.

Кирилл прикрыл глаза. Мутная темно-зеленая тошнота захлестнула его с головой, как и в тот раз, когда он вдруг пережил весь ужас немгновенности ее смерти.

Несколько минут было тихо, потом послышались шаги — настороженно подходил командир. Кирилл мысленно проверил, может ли он говорить, и только тогда открыл глаза.

— Послушай, Гейр, — проговорил он, глотая слюну, — вытащи меня отсюда.

Гейр втянул голову в плечи и по-птичьи встрепенулся. Вероятно, это должно было означать отказ.

— Вытащи меня, — настойчиво повторил Кирилл. — И засунь на какую-нибудь станцию. Все равно где. Только бы там не было ничего, кроме стен и машин. И чтоб выйти было некуда. Никаких встроенных пейзажей. Никаких озер и морей. Только стены и звезды за окном.

Командир пытливо всматривался ему в лицо — он еще ничего не понимал.

— Да вытащи ты меня! — чуть не плача, крикнул Анохин. — Не может быть, чтобы ни на одном буйке не было свободного места! Я могу работать кем угодно, ведь любой космолингвист — обязательно и связист по совместительству. Пойди, поговори с центральным диспетчером... Ты сам-то скоро уходишь обратно?

— Через неделю. На Шеридан.

— Нет. Это не для меня, — через силу проговорил Кирилл, припоминая пасмурные озера Земли Мейбл Шеридан и снова заходясь от удушья. — Выкинь меня по пути на любом маяке. Только бы отсюда. От этого моря.

Командир наклонился к нему — глаза Кирилла, голубые хулиганские глаза, освещавшие целый корабль или четверть планеты, были подернуты зеленой мутью.

— Что с тобой? — спросил Инглинг, потому что ему необходимо было это знать.

За окном шуршало, наваливая гальку к подножию больницы, теплое лиловое море. Лицо Кирилла снова свело судорогой.

— Не могу видеть воду, — с каким-то недоумением проговорил он. — Море ли, река... Пить могу, не бойся.

Только из глиняной кружки. Ну, иди же, звони диспетчеру. Или я действительно тронусь.

Осторожно ступая, командир вышел. Он пропадал около получаса, и, когда вернулся, вид у него был какой-то неболяничный — как у потрепанного боевого петуха.

— Представь себе, отыскалось место — синекура! Странноприимный дом. И всего один светляк от Большой Земли. Подходит?

Кирилл кивнул. Странноприимный дом — так были прозваны спасательно-аварийные буйки в дальнем Приземелье. Раскиданные на расстоянии светового года от Солнца, что по теперешним меркам считалось уже окрестностями Земли, они были готовы оказать помощь сбившимся с курса кораблям, которые из-за поломки или еще по каким-нибудь причинам выныривали из подпространства слишком далеко для того, чтобы идти дальше на планетарных, и слишком близко от Земли, чтобы манипулировать неисправными гиперпространственными двигателями

— Вызывай машину, я сейчас подымусь, — сказал Кирилл, щурясь от слишком яркого света.

— А вот это не пройдет! Я с трудом уговорил здешних церберов забрать тебя через неделю под личную ответственность, да и при условии...

— Ну и черт с ними, — неожиданно сдался Анохин. — Неделю я продержусь, это я тебе обещаю. Но ни дня больше... И сделай милость, задерни шторы. Раз осталась неделя, тебе пора...

Он методично обходил станцию, свыкаясь с каждым ее уголком. Кольцевой док, куда загоняли покалеченный корабль, — дырка от космического бублика. Сам бублик — машинные отсеки, реакторный зал, оранжереи и жилые корпуса — был смонтирован из двухслойного астролита, без которого немислимо было бы современное строительство в Пространстве. Станции возводились там и тогда, где и когда удавалось подстеречь и, главное, притормозить приличных размеров астероид. Затем к нему на паре сухогрузов перебрасывался небольшой плавильный цех, который превращал бесцельно блуждающую по Вселенной глыбу камня в тонкие полупрозрачные панели, из которых специально выдрессированные для этого кибы возводили висячие сады Семирамиды вкупе с дворцами Аладдина — разумеется, с поправкой

на каноны космической архитектуры. На такой-то рукотворный островок, подвешенный в черноте Пространства, точно елочная игрушка, он и попал по собственной воле и неукротимому желанию.

На станции было все необходимое и ничего лишнего; то же самое можно было сказать и о немногочисленном персонале, принявшем Анохина, как он это понял, с традиционным радушием: все были донельзя приветливы, но никто к нему не приставал. А много ему было и не нужно.

Он заглянул в обе обсерватории, рубку связи, скромные оранжереи, где тоже было только все необходимое — помидоры, клубника, фейхоа — и никакой экзотики. Он миновал только бассейн. Со временем, по-видимому, он и к этому привыкнет, но время это еще не наступило. Мысль о времени заставила его взглянуть на часы — до начала вечерней вахты оставалось пятнадцать минут.

Он направился в центральную рубку. С нехитрыми своими обязанностями он познакомился еще на пути сюда, на борту «Харфагра», и поэтому первый свой рабочий день он начинал без энтузиазма, приличного только новичкам в космосе. Инструкций ему почти никаких не дали; в самом деле, какие тут могут быть инструкции: сиди себе и жди сигнала от приборов, они за тебя все заметят и ничего не пропустят — каждый надежно дублирован; в случае чего решение примет большой станционный вычислитель, тебе придется только проконтролировать это решение. Но такое встречается нечасто, поэтому сиди себе, глядя в черный иллюминатор, или играй с малым вычислителем в тихие настольные игры...

Ему пожелали спокойной вахты, и он остался один. Раскрыл вахтенный журнал, автоматически проставил: «25 августа 2091 года, 19 часов. Дежурство принял Кирилл Анохин».

И только увидев эту дату написанной на бумаге, он внезапно понял, что она означает. Прошел год. Ровно год с того дня, когда он, в полном смятении от бессмысленности своих развлечений, кубарем катился с Гималаев, чтобы вернуться к «настоящей» жизни. Он связался с Инглингом...

Нет. Инглинга он еще не нашел. Сейчас он сидит в нижнем лагере, держа в руках дымящуюся кружку, в которой ром пополам с чаем, и сморщенные ягоды горного можжевельника, и два юнца из спасательной команды презрительно повернулись к нему спиной.

Инглингу он позвонит позже, часа через два, когда в верхнем лагере зажжется нежное и тоскливое пятнышко костра...

Он стряхнул с себя наваждение прошлого и обернулся к дисплейному пульту. Оливковые экраны высвечивали несущественную информацию, все механизмы станции жили своей размеренной машинной жизнью, где любое вмешательство человека — даже элементарное любопытство — было просто нелепо. Да, это счастье, что он догадался захватить с собой незаконченные расшифровки из последней экспедиции.

Он включил ММ — малый мозг — и, задав ему определенную долю кретинизма, сыграл с ним несколько партий в столеточные шахматы. Было интересно, но утомляло. Он запустил на боковом экране короткометражный бестселлер «Из частной жизни комет», не обнаружил и намеков на сенсационность и мельком взглянул на циферблат.

Прошло два часа.

Год назад в этот миг он разговаривал с Гейром Инглингом.

Он грохнул кулаком по панели пульта и заметался по рубке, благо размеры позволяли. Он просто физически чувствовал, как затягивает его прошлое, словно сзади, к затылку, приставили раструб вытяжной воронки, и холод воздуха, скользящего по вискам и утекающего назад, шевелил его волосы. Он противился этому притяжению назад, как инстинктивно сопротивляется человеческий мозг внезапному приходу безумия. Так ведь нет же, нет! С завтрашнего дня по восемь часов в спортивном зале, и даже за обедом — мытарство с дешифровкой, и в форсированном режиме — шериданский язык; здесь, кажется, механик по гипертрансляторам чешет на всей группе альфа-эриданских, как бог. И пора учиться ручному монтажу, не на каждой же планете за спиной будет торчать услужливый киб...

«Прилетай!» — шепнул из прошлого Инглинг.

Кирилл почувствовал, что спина его покрывается холодным потом. Теперь это уже не был только страх потери равновесия во времени и падения в пустоту, которая за спиной; сейчас к этому цепенящему, но уже не новому ощущению примешивалось еще одно: раздвоение воли. Потому что внутри уже проснулся другой Кирилл, так и не пришедший в себя от горя и теперь готовый отдать все свое настоящее за поминутное воспроизведение тех

двадцати четырех дней, которые были отдалены от него целым годом.

«Надо что-то делать, надо что-то делать...» — с тоскливым отчаянием повторял он себе, и выплескивал остатки зеленого чая в костер, и брел к западному склону — ловить ультрамариновый рериховский закат, подалее от высокомерных и ничегошеньки не понимающих юнцов. И еще через час, окончательно замерзнув, возвращался в лагерь, чтобы сразу же влезть в мешок и тихонечко включить незабвенную Сорок девятую Гайдна...

Кирилл рванулся к пульта, с непривычки долго искал каталог станционной фонотеки и, не мудрствуя лукаво, врубил на естественную громкость какую-то из шестнадцати симфоний Шнитке. Могущество музыки, помноженное на непомерную гордыню человеческого духа, эту неотъемлемую черту всего второго тысячелетия, заполнило его целиком, изгоняя и естество настоящего, и иллюзорность прошлого... Кто-то тихонько приоткрыл дверь в рубку, вероятно, встревоженный громовым «Санктус».

— Да? — спросил Кирилл, выключая фонограмму.

— Нет-нет, ничего, — ответили ему из-за двери, и тотчас же в рубку проник отголосок беззаботных, как ласточки, гайдновских скрипок...

Он запустил пальцы в распластанную шевелюру и зарычал. Тогда дверь все-таки распахнулась настежь, и в рубку вкатился коротконогий смешливый механик-полиглот с печальными и внимательными глазами древнего халдея-врачевателя.

— Вам что, нехорошо? — скорее констатировал, чем спросил он.

— Да нет же! — Кирилл с отчаяньем замотал головой — он все силы положил на то, чтобы здесь никто ни о чем не догадался. — Просто воспоминания одолевают...

Механик закивал, словно именно это он и ожидал услышать:

— Придется привыкать, голубчик, придется привыкать. Мы тоже первое время маялись. Каждый. Ну, за исключением особо толстокожих. Надо как-то приспособливаться, экранироваться, а тут вряд ли дашь совет, это — индивидуальное...

— От чего — экранироваться? — ошеломленно спросил Анохин.

— Ну, от того самого, что вас одолевает, как вы изволили выразиться. До Земли-то ведь — ровно свето-

вой год.— Он, мелко перебирая ногами в меховых сапожках, подбежал к иллюминатору, ткнул коротеньким пальцем в бестелесную черноту: — Так что стоит прищуриться, и вы увидите себя самого, в объеме и цвете, и точнехонько на год моложе. Ну, и весь антураж, разумеется.

Кирилл, окаменев, глядел мимо его руки, и мимо стен станции, глядел на крошечную янтарную бусинку, которая на самом-то деле была Солнцем, но на таком расстоянии каждому казалось Землей. И вот на этой, видимой ему Земле все было, как год назад.

Маленький халдей деликатно вздохнул:

— Год — очень точно фиксируемый отрезок, — продолжал он задумчиво, время от времени приподнимая брови и наклоняя голову набок — вероятно, такое движение позволяло ему экономить на произнесенных «понимаете ли», которые были эквивалентны. — Поэтому здесь, на нашей станции, на нас накладывается не просто наше прошлое, долетающее с Земли, а **ОЧЕНЬ ЧЕТКО ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ** прошлое. Наше пси-излучение, пролетающее через глубины космоса, попадает в совершеннейший усилитель — собственный мозг. А он еще и настроен в резонанс — воспоминания-то идут день в день. Вот и начинается твориться с человеком всякая чертовщина, а он еще убеждает себя не верить собственным ощущениям. А его трясет все сильнее и сильнее, и ни в одном медицинском анамнезе такового заболевания не значится. Потому как это не заболевание, а состояние, я его назвал — темпорально-психологический флаттер, точнее — пси-темпоральный, один хрен, меня все равно не слушают, было же время — в телекинез не верили. Видели, а не верили. На психотронную связь перейти не могли, потому что потихонечку пользовались, а с высоких кафедр разыгрывали аутодафеи с вариациями... Теперь в этот пси-темпоральный флаттер не верят, а самих скручивает, вас вот, например. А вы себя, поди, убеждаете, что — грипп. А?

— Не «а». Удивляюсь, как это мне самому в голову не пришло.

— Да вы умница! — восхитился халдей в меховых сапожках. — Может, попользовать вас, повоздействовать на воспоминания? Я в какой-то степени могу... В конечном счете ведь любой усилитель можно сбить с режима.

Кирилл ужаснулся:

— Так топором еще проще. Надежнее, главное.

— Нет, мы определенно найдем общий язык! Тогда, может, просто посидеть с вами?

— Спасибо. Буду искать способы экранироваться.

— Ну, надейтесь, надейтесь. Главное, что могу сказать вам в утешение — что это ненадолго. Через год вы улетите с Земли сюда... то есть обнаружите, что уже улетели — и конец флаттеру. Финита ля флаттер! — крикнул он, исчезая за дверью.

Кирилл, не отрываясь, продолжал глядеть на янтарную крупцу света. Теперь, осознанное и уже не иллюзорное, прошлое вливалось в него без сопротивления его пугливого разума; музыка, правда, исчезла, но он весь был полон странного покоя...

А полон ли? Что-то кончилось. Оборвалось. Зачем он слушал эти объяснения? Они все испортили. Ввели в логические рамки. Обернули наваждение реальностью. Как вернуть это колдовство? Что он натворил?!

Кирилл метнулся к пульту, наклонился над светящимся циферблатом. Было половина двенадцатого. А год назад в это самое время...

Он просто спал. Только и всего.

Двадцать шестое августа он пережил относительно спокойно — лихие перегрузки, которым он сознательно предавался всю половину дня, почти не оставили ему сил на то, чтобы обращать внимание то на промелькнувший из прошлого льдисто-сизый висячий аэропорт Сан-хэба, то на плывущий навстречу пестротканый заповедник реконструированного Багдада, где он год назад имел неосторожность пообедать, чтобы потом мучиться изжогой всю Флоренцию, бесцельно пошататься по которой он позволял себе каждый раз, когда судьба забрасывала его в узкое голенище италийского сапога.

Вечерняя вахта была беспокойна — из подпространства не вышел супертанкер «Парсифаль», и рубка была набита народом до четырех утра, пока неповоротливый гигант не дал о себе знать аж из четвертой зоны, где в благополучном удалении от любого из обитаемых миров он стравливал в пустоту несметное количество жидких соединений ксенона из своих продырявленных метеоритом баков, что грозило Вселенной образованием отвратительной зловонной микротуманности. Смененный наконец с вахты, он вернулся в каюту и уснул, уносясь на

северо-восток в уютном гнездышке трансконтинентальной подземки.

Двадцать седьмого, обессиленный той двойной жизнью, которую взваливал на него проклятый пси-темпоральный флаттер, он едва поднялся с постели и побрел на завтрак, с трудом отличая чьи-то соленые шуточки по поводу вчерашней протечки «Парсифалья» от собственного прошлогоднего голоса, исповедующегося Гейру на пороге метеокорректировочной станции. Он вяло поиграл в баскетбол, отказался от обеда и побрел на вахту, непроизвольно отыскивая в заоконной черноте теплую кроху бесконечно далекого солнышка, отождествляемого не просто с Землей, а именно с круглым, неярко отсвечивающим озером. Грозовая толща набухала там над противоположным берегом, и надо было торопиться.

Он забрался в перелесок, потом выбежал обратно на прибрежный песок и все озирался, настороженно и нетерпеливо — не слышно ли голосов? Вроде бы уже пора...

Но когда они донеслись, и сердце мягко и обморочно запрыгало куда-то вниз, потому что — началось, ему вдруг стала нестерпима эта рабская покорность уже раз прошедшей череде событий.

Нет, не пройдет, ваше сиятельство, громовержец всемогущий, но отнюдь не всеблагий! Представления не будет. Вообще ничего не будет. Он просто не догонит этих перепуганных непогодой горе-путешественников, они свернут себе на боковую тропинку, и встреча не состоится...

Смертная тоска охватила его, когда он понял всю чудовищность своего позднего бунта: ведь он не увидит больше серого платья, ускользающего от него каждый раз, как только он отводит глаза, он не будет прижиматься лбом к шероховатым прутьям мокрой ограды, он не услышит...

Он побежал.

Расталкивая упругие рюкзаки, он ворвался в самую гущу смешавшейся толпы, вздрагивая и озираясь на каждый звук, и внутри него все натягивалось, словно струна, которую настраивают все выше и выше — ну же, ну... «Кира!» — донеслось из-за спины, и он задохнулся, ловя воздух ртом, потому что в следующий миг он должен был увидеть ее.

Он должен был увидеть ее — и отвести взгляд, но он этого не сделал, потому что знал, как мало им оставалось — только двадцать четыре дня; и он с мучитель-

ной гримасой, совладать с которой не мог, глядел ей прямо в глаза, серые огромные глаза, такие светлые, словно миллиарды звездных искр удалось оправить в один темный ободок; и она смотрела на него, и продолжалось это так долго, что она не выдержала и подняла руку, заслоняясь от его взгляда.

Он охнул и закрыл глаза. Не было! Не было этого!!! Да что же это такое?..

Он открыл глаза — она ускользнула, как и должна была сделать, и он ринулся вперед, повинаясь ее уклеечно блеснувшей ладошке, но ее уже не было ни за оградой, ни в кустах, по пояс в тумане, и он — проклиная себя, крича на себя, умоляя себя остановиться — он уже был на пороге ее дома. Все мучительно и сказочно повторялось, но теперь у него появилась надежда на то, что он властен вмешаться в течение судьбы, обрывающейся на мокрой прибрежной тропинке проклятого девятнадцатого мая трижды проклятого две тысячи девяносто первого года. Сегодня он властен над другим числом — над двадцать седьмым августа. Но, изменив то, что произошло в грозовой августовский вечер, он изменит и все последующее. Он станет властелином судьбы, только цена за эту власть будет непомерная: их любовь.

Убить любовь. Силы небесные, как просто! Словно убить что-то живое. Ничего нет проще убийства, и человечество целые тысячелетия жило, и развивалось, и становилось все разумнее благодаря тому, что ежедневно убивало — зверей и птиц, оазисы и прибрежные долины, деревья и собственных собратьев. Теперь же ему предстояло убить что-то эфемерное, бесплотное — любовь. Всего-то. Убить любовь и спасти этим человека.

СВОЮ любовь.

Он бессильно прикрыл глаза, но темноты не наступило — сумерки опущенных век озарялись непрерывными вспышками. И она была здесь, на расстоянии вытянутой руки. Сейчас всего этого не станет. Всего через какое-то мгновение... Нет, через минуту. Через две. Через три. После двух чашечек кофе, которые он поставит ей на колени. После семи молний, ударивших в зеленое озеро. После ее отчаянного, по складам произнесенного «У-хо-ди...».

Он отчетливо помнил, что она повторила это несколько раз — значит, он мог помедлить еще минуту; но тут она сжала губы, и он понял, что она больше не произнесет ни звука — проклятый Перун перехитрил

их, и теперь у него нет повода для отступления, и сейчас повторится все, что было, и двадцать четыре дня бездумного счастья, и сумасшедшие письма, и гиблый берег майского озера... В какой-то миг он почувствовал, что собрал в единый огненный кокон все счастье, все безумие, всю любовь целого года и, поднявшись выше грозовых туч, он швырнул оземь свое сокровище, и оно, вспыхнув подобно молнии, угасло и исчезло, опалив его и выбросив в ночную темноту, в незатихающий грохот и свист бури, и он побрел куда-то в гору, захлебываясь черной дождевой водой, и шарил оцепеневшими руками по какой-то стене, пока ему не отворили, и он ввалился в комнату, переполненную разомлевшими от тепла людьми, где с него содрали мокрое, и напоили, и укрыли, и не приставали, и всю ночь дружелюбно бубнили то тут, то там, перешагивали через него, подталкивали, пристраиваясь теплым боком или шершавым спальником, а он лежал неподвижно и околевал от боли и тоски по всему несбывшемуся; и так же неподвижно, ничком лежала она на своей узенькой ледяной постели, и он угадывал ее боль, и недоумение, и тоску непрерывавшегося одиночества, и неведение собственного спасения...

Маленький механик заглянул в рубку, наклонился, перехватывая немигающий взгляд, что-то забормотал...

— Немедленно. Немедленно! — донеслось наконец до Кирилла.

— Что, — с трудом разлепляя губы, спросил Кирилл, — что?

— Немедленно уезжайте. Когда-то обычный флаттер превращал в прах стальные машины. А пси-темпоральный — с ним не то что бороться, в него верить еще не научились. Противостоять ему могут лишь немногие, и вы не из их числа...

Он вещал, ритмично наклоняясь вперед и прикрывая круглые глаза выпуклыми веками, как это делают птицы, издавая отрывистый крик. Сказать бы ему: мол, я — из того единственного числа, кто не только решился противостоять этому непрерывно мчащемуся потоку прошлого, но и сумел повернуть этот поток в другое русло. Тяжелая это штука — ворочать прошлым. Все мускулы ноют, словно одними руками переворачивал вверх гусеницами десантный вездеход...

— Дурной сон привиделся, — старательно выговаривая слова, проговорил Кирилл. — Подождите меня в столовой, я сейчас подымусь...

Он поднялся, дивясь тому, что смог сделать. Внутри него было что-то тяжелое, мертвое, что теперь постоянно нужно было носить при себе. Господи, тошно-то как! Он оттолкнулся щекой от чьей-то свернутой куртки, подсунутой ему под голову — ушли ведь и забыли... Его одежда, уже высохшая, висела напротив погасшего камина. Он оделся, выбрался из дома. Вчера, в темноте, он не рассмотрел это причудливое сооружение — что-то вроде длинного павильона, с одной стороны ограниченного островерхой колокольней, а с другой — старинной пожарной башней с серебряным шаром на плоской крыше. Что ж, если это все сооружено специально для таких аварийных ночлегов, то, наверное, каждая такая архитектурная причуда имеет строго функциональное объяснение.

Он невесело усмехнулся. Тонкий утренний туман, производное от вчерашнего ливня, слонистой палево-сиреневой дымкой прикрывал выход из лощины. Не задохнуться от этой свежести, этой тишей красы мог только робот... или мертвец. Чем был он после того, как вчера уничтожил то единственное, ради чего и стоило-то жить на белом свете? Ведь она так и сказала ему, расставаясь: «Без этого не стоило бы жить на земле...» Сказала бы. Теперь не скажет.

Он глотнул холодного воздуха, преодолевая боль, — надо было привыкать, теперь ведь боль будет постоянной составляющей всех его ощущений. Сейчас он пойдет вниз, к озеру, пройдет мимо ее дома, и тогда боль разыграет уже в полную силу. Так что держись, Кирилл Павлович!

Я держусь, отвечал он себе, я просто удивляюсь, как это у меня получается. Никогда бы не заподозрил, что у меня столько силы все это выдержать... И что-то будет дальше?

Он тихонечко двинулся в туман, уже угадывая слева очертания маленького дома. Все было тихо, и он, не опасаясь, обошел палисадник и подобрался к окну. И замычал, потому что такой боли он и представить себе не мог: она стояла у письменного стола, во вчерашнем примятом платье, и медленно перекладывала какие-то бумаги. Как он мог забыть, что вот так же побежал к озеру мыться, а потом подобрался к окну, и она так же стояла, перебирая все, лежащее на столе, — искала носовой платок; теперь ему стоило только провести мокрой рукой по натянутой пленке, чтобы та скрипнула и запела под его пальцами, — и все началось бы сначала, словно вчера

он и не бежал с ее порога: она вскинула бы голову и, как это умела она одна, в доли мгновения очутилась бы у окна, прижимаясь щекой к тому месту, где он опирался на тонкую, стремительно теплеющую пленку... Он заставил себя сделать назад шаг, другой; она так и не поднимала голову, и движения ее были замедленны и механичны, словно она и сама не знала, зачем вот так перебирает совершенно ненужные ей бумаги. Было в ней что-то неживое, и от нее — вот такой — уходить было во сто крат тяжелей.

Он пылся, пока не влез в воду, потом набрал полную грудь воздуха, словно собирался туда нырять, круто повернулся и помчался по тропинке, ведущей вдоль берега к вертолетной станции. Когда он позволил себе обернуться, домика уже видно не было.

Через час с четвертью, задыхаясь, он выбрался к вертолетному стойбищу. Ни одной машины, как ни странно, не было. «Когда рейсовая?» — спросил он киба-диспетчера, услужливо выползшего из своей будки. «Часа через четыре». — «А если вызвать?» — «Да вряд ли получится быстрее, в нашем регионе лишних не держат. Чать, не Альпы». Видно было, что беднягу программировал любитель старинной лексики.

Кирилл отошел на кромку поля, присел и натянул куртку на голову. Сердце болело так, что заполняло собой каждый уголок его тела.

Обратно, даже если бегом, — не меньше часа. Это если он совсем рехнется и ринется назад, ополоумев от боли. «Если я куда-нибудь двинусь до прибытия вертолета, — сказал он кибу, — держи меня за ноги и не пускай. Силушки хватит?» — «Не сумлевайся», — заверил его хорошо запрограммированный киб...

Прошлогодня поляна размывалась полусном, выявляя очертания настоящего. Кирилл дожевал кусок омлета, с усилием проглотил. Столовая была пуста, только из-за соседнего столика, страдальчески приподняв брови, с бесконечным сожалением глядел на него маленький механик.

— Знаете, я действительно прилягу еще на часок, — сказал ему Кирилл. — Только сделайте милость, не насылайте на меня во сне кибермедика.

— Клянусь Волосами Береники! — не без аффектации откликнулся халдей. — Но, видит Вселенная, кого боги хотят погубить — лишают разума...

— К счастью — не сердца.

Он добрался до своей каюты и рухнул на койку, уповая не на богов, а на исполнительность киб, который, в случае чего, удержит его за ноги...

Проспал он не час, а все четыре, и проснулся от зудящей тревоги. Зудел вертолет, дававший полукруг над неожиданным пассажиром и примериваясь, как бы подсесть поближе. Но кроме вертолета было и еще что-то, уже пришедшее в голову, но пока не нашедшее словесного выражения. Чего-то он не учел... Недодумал... Ну, хорошо, сейчас он улетит, последняя возможность накликать непоправимую беду исчезнет.

Ну, да. Он-то исчезнет. Но раз несчастье произошло...

То ведь причиной может быть и НЕ ОН!!!

Кирилл вскочил, и тотчас же гибкое щупальце хлестким арканом оплело ему ноги. Он шлепнулся, взыв от бешенства.

— Кретин! Я же тебе велел — до вертолета. До!

— Извиняюсь. Вертолет еще не сел.

Вертолет сел. Щупальце убралось.

— Есть в кабине фон дальней связи? Быстренько законтачь меня с диспетчерской космопорта.

Киб со свистом свернул щупальца, кальмаром метнулся к вертолету и наполовину скрылся в окошечке.

— Сработано! — доложил он через десять секунд.

— Вот и умница. А теперь проинформируй диспетчера, что космолингвист Кирилл Анохин прибудет на «Харфагр» точно к моменту отлета. И не ранее.

Он шагал по тропинке и твердо знал, что оставшиеся двадцать три дня не позволят себе ни одной встречи, ни единой фразы.

Но если возле нее появится хотя бы заходящий турист — он свернет ему шею. Потому что, оставаясь для нее невидимым, он не спустит с нее глаз ни днем, ни ночью.

И, уже подходя к ее дому, он вдруг вспомнил, что за сегодняшний день уже дважды проходил ТО САМОЕ место. И ведь ничего не почувствовал. Даже не заглянул вниз, в воду. Значит ли это, что он сумел обмануть судьбу, или все-таки она обманывала его, и беды нужно было ждать просто в другом месте?..

Его приютил длинный нелепый коттедж, в котором ночевали туристы, — пропахший сеном, шуршащий полевыми мышами, набитый, оказывается, самой разнообразной всячиной. Настоящий странноприимный дом... Не много ли на него одного?

Следить за ней, скрываясь в кустарнике на склонах холмов, оказалось делом несложным — повинаясь каким-то внутренним толчкам, она неизменно приходила туда, где бывали они вместе... где могли бы они быть вместе. Безучастная ко всему, она отсиживала положенное время и медленно брела домой, совершенно не зная, что ей делать по пути, чтобы не вернуться к дому слишком поспешно. Один раз она вдруг запнулась и беспомощно поглядела вправо, словно не зная, как же быть дальше... Кровь застучала у него в голове, и он, перестав владеть собой, вылез из своего укрытия и двинулся ей навстречу: ведь это здесь он взял ее на руки и нес до самого дома, распевая дикую языческую песню собственного сочинения. Какая сила заставила ее оглянуться призывно и растерянно? Или жить не могла она больше вот так, без его рук?

Она увидела его, и лицо ее засветилось. Так освещается озеро, когда ясный костер зажигается под синим утесом и золотая дорожка силится дотянуться до противоположного берега. «Вы не улетели?» — проговорила она тем голосом, каким говорят, пробуждаясь ото сна. Он, полузакрыв глаза, медленно выдыхал воздух, так что внутри образовывалась ледяная пустота, и пока этот холод не заполнил его всего, он не разжал губ. Потом отвел глаза, медленно произнес: «В тот раз я был болтлив и навязчив. Извините». И пошел прочь, с трудом переступая негнушимися ногами.

Больше он не позволял себе забытья.

Дважды проходили толпы — то геологи-практиканты, то просто гуляющие, чудом забредшие в такую даль. Все это не имело значения — она к ним не вышла (да и как могло быть иначе, ведь в эти последние дни они прятались от любого шума, способного помешать им).

Потом к ней, сиротливо сидящей на замшелых мостках, подошел человек, и Кирилл узнал Гейра. Гейр? Неужели — Гейр?..

Он готов был снова ринуться вниз, но в этот миг, возвращая его в настоящее, взвыли оглушительные сирены: совсем неподалеку из подпространства вываливался совершенно истерзанный корабль. И вахтенные, и те, кто был свободен, — все уже через три минуты были в скафандрах, готовые к погрузке на спасательные боты, но станцией недаром командовал Румен Торбов — человек, прошедший в Пространстве в общей сложности четыре десятка лет: буксир-толкач уже мчался к гибнущему

кораблю на добрых пятнадцати «g», ведомый одним киберами, и Анохин, прижатый лопатками к дверному косяку в переполненной шлюзовой, с облегчением увидел на дверном экране, как буксир маневрирует возле корабля с ускорением, которого не выдержало бы ни одно живое существо, — нет, прав был начальник станции. Прав был он и тогда, когда, оглядевшись, рывкнул на весь тамбурный отсек:

— А почему связники в шлюзовой? Марш на место!

На бегу расстегивая скафандры, связники помчались по коридору, как проштрафившиеся пригостишки. Конечно, четкая связь — это сейчас чуть ли не главное, когда надо сбалансировать человеческий разум и скорость, доступную только механизмам. Они мчались галопом, и начальник, гулко фыркая, старался не отстать от них.

— Памва — держать буксир. Маколей — держать Базу, — выпалил он, врываясь следом за всеми в центральную рубку. — Анохин и Нгой — в резерве. И повремените-ка стаскивать скафандры...

Ждать и быть наготове. Нгой гибким и естественным движением скользнул вдоль стены и опустился на корточки, готовый в любой момент оттолкнуться лопатками и в один миг занять по команде нужное место. Анохин покосился на него и присел рядом. Так они все видели и никому не мешали. А на экране у Торбова буксир, лихо тормознув и разбросав во все стороны опоры-захваты, уже присасывался к борту искалеченного корабля как раз в том месте, где смутно виднелись пазы катапультного отсека. Если там есть хоть кто-нибудь живой, то теперь осталось ждать совсем немного...

«Все собирался заглянуть к вам, да как-то не получалось. — долетел из прошлого голос Гейра. — Ну, до будущего лета!» — и пошел берегом, и она стояла лицом к озеру и даже не поглядела ему вслед...

— В шлюзовой, готовить десантный бот! — крикнул начальник станции. — Шесть человек десанта, для связи Нгой.

Нгой вскочил и выметнулся в дверной проем. Гейра тоже уже не было видно.

— Анохин, к пульту — держать бот на связи!

Вглядываясь в экран и с недоумением замечая, как неслышно подобралась осень — вот ведь и зелень на том берегу вся покрылась желтыми и багровыми пятнами, — он вдруг впервые и оттого с особой остротой осознал всю

несоизмеримость того, что долетало до него с берега прошлогоднего посеревшего озера, и той настоящей жизни, движущей частью которой были его руки, его глаза, его мозг.

— Пошел бот! — крикнул начальник станции.

Руки сами собой замерли на верньерах настройки, не выпуская улетающий бот из рамок экрана. «Иди,— сказал он ей,— иди, пожалуйста, мне сейчас будет тяжело сразу в шести измерениях...» Она послушно побрела к дому, ступая неуверенно, как ходят больные или почти незрячие. Буксир, прилепившийся к боку корабля, рванул на себя все щупальца и вместе с выданным кубом катапультной камеры отлетел в сторону. А где-то в самой глубине черного экрана пепельно светящаяся фигурка подошла к изгороди и теперь держалась за прутья, словно у нее не хватало сил добраться до порога...

— Буксиру оставить камеру, уводить корабль как можно дальше!

По-видимому, на дисплее, не видном Кириллу с его места, появились какие-то угрожающие данные, переданные буксирным компьютером. Буксир разжал щупальца, так что камера едва видимым кубиком повисла в черноте, и уверенно боднул громадную тушу гибнущего корабля, как муравей толкает перед собой увесистую гусеницу. Видно, корабельный котел пошел вразнос, потому что снова послышалась отрывистая команда:

— Буксиру развить полную мощность, выбрасывать на ходу кибов!

...Она вошла в сад, и мокрые листья, задевая ее светло-серое платье, оставляли на нем темные пятна и полосы. Сейчас она укроется в доме, и сегодня ей уже ничего угрожать не сможет. «Спокойной ночи тебе, серая ящерка». И она обернулась, словно услышала.

Спасательный бот подлетел к висящему в темноте кубу и слился с ним. В наушниках тотчас же треснуло и заверещало.

— Живы! — крикнул Кирилл. — С бота передают — изнутри доносится стук! Сейчас будут налаживать переходник...

Она кивнула вечернему стылому озеру и затворила за собой дверь.

В рубке, куда набилось уже человек двадцать, стоял радостный гвалт. Живы! И это на корабле, который по меньшей мере вылез из подпространства в кометный

хвост, если только не в ползучую малую туманность... Везунчики!

Кирилл скосил глаза — с момента аварийного сигнала, когда автоматически включается отсчет аварийного времени, прошло ровно сорок восемь минут. Где-нибудь там, на приличном уже отдалении, вскоре беззвучно гроыхнет обреченный корабль. Буксира жалко, да что поделаешь? Главное — живы люди. Сорок восемь минут, и спасательная операция прошла, как будто перед глазами развернулась то ли учебная, то ли приключенческая лента. Работали руки, работали безупречно, и кибер позавидовал бы... Тогда какая же разница между настоящим и тем прошлым, с которым он денно и ночью мыкается один на один?

Да вот в том и разница, что прошлое неразделимо принадлежит ему одному. И только ему.

А в остальном прошлое и настоящее равны — он так же, как и в реальной жизни, спасает человека. Любимого, дорогого, но, если оценивать со стороны, какая разница? Важно, что спасает человеческую жизнь. И не за сорок восемь минут. Девять месяцев надо продержаться под этой двойной нагрузкой, ни на час не отвлечься, ни на день не заболеть. И молчать. Не поверят ведь, помешают. Значит, молчать и делать свое дело — спасти человека.

Экран погас — бот подвалил к шлюзовому причалу.

Три последние дня, которые оставались ему на холмистом берегу, он провел почти спокойно. То, что раньше было болью и страхом, теперь обернулось заботой и делом. Ему даже показалось, что он утратил какую-то долю своего чувства, — что ж, неудивительно: ведь все то, чем он занимался с того момента, как бежал от нее в исполосованную молниями ночь, были не чем иным, как методичным убийством любви. «Во имя жизни, да! — кричал он себе. — Во имя жизни, как убивают колос во имя со-творения куска хлеба...»

И замечал, что логика его безупречна и доводы убедительны.

Он овладел собой настолько, что в последний день позволил себе пройти мимо нее. Она стояла у воды, безучастно глядя на отражение лесистого мыса, который когда-то напоминал им ассирийского царя, омывающего озерной водой свою черную бороду. Услышав его шаги, она не обернулась.

— Кира! — окликнул он ее каким-то чужим голосом.

Она посмотрела на него через плечо, не отвечая.

— Вот я и улетаю... — совершенно потерянно забор-мotal он. — Теперь уже — окончательно...

Он ведь приготовил какую-то фразу, но сейчас ничего не мог вспомнить.

— Живите счастливо! — выдохнул он, хотя смысл имело только первое слово.

В ее широко раскрытых глазах не было ничего, кроме отражения озерной воды.

— А я... не живу, — с каким-то спокойным удивле-нием проговорила она. — Мне просто незачем жить.

На него нахлынул такой ужас, что он закрыл глаза. И он знал, что когда откроет их, ее уже не будет на этом месте.

Он заставил себя глянуть — она стояла все так же, не исчезая, не пропадая, не утекая струйкой серебряного песка. Словно это была уже не она.

Он пошел прочь, все время оглядываясь и ожидая, что не увидит ее на прежнем месте, но она не ушла даже тогда, когда он скрылся за поворотом, и тогда он понял, что из этого потока прошлого исчез он, прошлогодний, а весь берег остался, только виден он теперь не вблизи, а из какой-то дальней точки — то ли сверху, то ли из глубины холмов. И, кроме этого неожиданного видения, осталась спокойная уверенность в своей власти над всем происходящим на этом берегу.

Она теперь редко выходила из своего домика, и когда это случалось, он неотступно следил за ней, готовый оста-новить любой ветер, утихомирить самую неистовую бурю. С первых чисел октября она стала на два дня улетать в соседний городок, где давала какие-то уроки и брала материалы для работы у себя, на берегу. Городок он ви-дел смутно, и это его не тревожило — почему-то он знал, что там с нею ничего не может случиться. Вертолет неиз-менно подлетал к самому ее дому, и эти ее отлучки приходились на вторник и среду.

Девятнадцатое мая было субботой.

Когда выпал пухлый снег — раз на всю зиму усто-явшийся и ни разу не подтаявший, — с того берега стал приходить старик егерь, тот самый, который любил раз-водить костры под «ассирийской головой», и они молча бегали на лыжах — он по своим делам, осматривая зим-ние пристанища знакомых ему зверей, а она просто так,

следом, чтобы не бродить совершенно одной. Это было хорошо, что она каталась под присмотром, и удивляло Кирилла только одно: никакое зверье не подходило к ней и ничего из ее рук не брало.

В монотонной напряженности совершенно одинаковых дней время летело неуловимо, и когда снег разом стоял и холмы подернулись неуверенной прозеленью, он вдруг изумился собственному спокойствию: ЭТО надвигалось, а страха не было.

На девятнадцатое он взял себе ночную вахту, и с первых же минут почувствовал неудержимое желание как-то взбодриться. Кофе выпить, что ли? Ни одним уставом варить кофе на вахте не запрещалось. Но он не пошел на камбуз только потому, что сам сказал себе: рано. Еще, может быть, и не так припечет. Ночные часы текли неторопливо, все световые индикаторы фиксировали тишь и благодать, и серебряной звездочкой тлел ночник в квадратном окне, оплетенном по низу уже набравшим силу плющом.

К восьми утра ночник еще не погас; явился кто-то на смену, и Кирилл, косясь на видимый одному ему огонек, побрел по коридору, чтобы запасть всякой снедью. Желательно было целый день пребывать в собственной каюте, и чтобы никаких авралов. Но настоящее не было в его власти, и это весьма его тревожило. Он наскоро похватал бутербродов, запасся целым пакетом погремущечно дребезжащего кофе и задумался перед редко открываемым баром. В тот первый вечер она пообещала ему кофе и ром. Чашечки с кофе он поставил на ее прямые колени. Рома не было. Значит, и здесь — кофе без рома.

В каюте он обратил внимание на то, что светлячок погас; он забрался с ногами на койку и принялся за дело. В первую очередь он испортил погоду: мелкий колючий дождь и резкие срывы ветра никак не наводили на мысль о прогулке. Легкий озноб заставил ее забраться обратно в постель с прелестной старой книжкой, которая каким-то чудом отыскалась на верхней полке; так прошло время до обеда. Часа в три он что-то отвлекся, и выглянуло солнышко — пришлось срочно подключать вариант «старый егерь». Какая-то мелочь, срочно понадобившаяся старику, обнаружилась цепью воспоминаний, затянувшихся на добрых три часа. Итого — шесть вечера. Начинало темнеть, и Кирилл забеспокоился: сумерки и весенняя пора располагали к порывам необдуманным и трудно

программируемым. Оставалось не очень приятное, но абсолютно надежное средство: легкая зубная боль. Переборщить тоже нельзя — последовал бы вызов врача или обращение к сильнодействующим средствам, а тут чем черт не шутит... А так — это снова постель, и искусственный камин, и таблетка совершенно безобидного болеутоляющего. В половине девятого началась трансляция из Байрейта — давали «Тристана и Изольду», и можно было позволить себе несколько расслабиться. Вагнера он не любил, сейчас же его и подавно интересовала только продолжительность спектакля. Закончился он, хвала обстоятельным классикам, достаточно поздно, чтобы напрягать фантазию в поисках каких-то занятий, — автоматически включился маломощный гипноизлучатель, навевающий мысли о сне, и до полуночи остались минуты.

Кирилл вытянулся на койке, закинул руки за голову. Устал он безумно, и это не было приятной ломотой в меру поработавших мускулов — нет, это было одеревенение тела, слишком долгое время проведенного в полной неподвижности. Вот только какое время — сутки? Или почти год?

Что-то заставило его сесть, напряженно всматриваясь в противоположную стенку, как будто на ней могло появиться какое-то слово. Но слово уже явилось, оно звучало как гонг — год! Год! Добровольно приковав себя к прошлому, он ни разу не подумал, что за это время на настоящей Земле прошел почти год. Свое дело он сделал, уберег ее, ничего не подозревавшую, от всего, что могло быть, и даже от того, чего и быть не могло. Жизнь ее, направленная его волей по новому руслу, безмятежна и безопасна. Во всяком случае, она обещала быть такой год назад. Но что бы ни случилось за этот год — все равно это была жизнь БЕЗ НЕГО! И, шумная или одинокая, счастливая или безрадостная, это была реальная жизнь, а не скрупулезное, поминутное повторение прошлого, к которому он добровольно приковал себя, как когда-то смертников приковывали к пулемету.

Но чем же жила она все эти девять реальных месяцев, промелькнувших на родной планете?

Он поймал себя на том, что сидит, скрестив ноги и обхватив пальцами узкие щиколотки, и непроизвольно раскачивается, как медведь в тесной клетке, и вместо того торжества, о котором он мечтал всю эту зиму, — ведь справился, ведь получилось, ведь поломал он к чер-

товой бабушке ту нелепую трагическую околесицу, которую нагородила судьба, — вместо всего этого он получил в награду один коротенький вопрос: а теперь-то что?

Он глянул на часы — было двадцать минут первого. У него появилось ощущение, что где-то он оступился и беззвучно ухнул в зыбкую, студенистую массу, как герцог Кларенс в бочку с мальвазией.

Он нагнулся и нашарил под койкой тяжелые башмаки на магнитной подошве. Пора на Большую Землю. Справились с прошлым — справимся и с будущим. Хватит с него космоса, и далекого, и близкого. Дождаться первого же корабля, а там будет видно, что-то теперь. И если увиденное будет уж чересчур расходиться с желаемым — что ж, ломаем и это. Опыт обращения с судьбой уже имеется.

Он нарочно подходил к домику справа, по сосновому молодняку, прилично вымахавшему за год... Прошлой осенью он спустился прямо на пляж, а потом бежал к станции Уни, не очень-то глядя по сторонам. Как всегда, пристально глядели на него два ясных костра, зажигавшихся с начала сумерек у подножия «ассирийской головы», что на том берегу. Небо было прозрачно, и он отнюдь не стремился услышать голоса любителей дальних прогулок, спасающихся от напастей погоды. Но ее он должен был увидеть уже сейчас, до того, как тропинка пойдет по песку.

Он замедлил шаг, высматривая впереди светло-серое платье.

Под ногами захрустел песок.

Ну, хорошо. Пусть не светло-серое. И пусть не здесь. Хоть в саду. Хоть на пороге...

Калитка была распахнута. Из окна лился яркий свет, но обходить дом и заглядывать через стекло у Кирилла не хватило сил. Он перепрыгнул через четыре ступеньки, рванул на себя дверь и остановился, не проходя дальше.

Пустые книжные полки, на письменном столе — лампа без абажура и чучело бурундука. На полу — стебли камыша, и коробчатая лохматая шкура, сваленная на топчан, и живой бурундучок, остекленелыми глазами засмотревшийся на чучело собрата, и острый запах полыни и формальдегида.

Здесь ее не было и быть не могло. А где она могла быть? Невероятно, чтобы этого никто не знал!

Сзади, в саду, затрещало, и Кирилл, стремительно обернувшись, увидел старого егеря, который привязывал к колышку двух пестрых коз. Взгляды их встретились, и егерь, оставив вдруг свое занятие, медленно пошел по дорожке, шурясь и явно стараясь что-то припомнить.

— Добрый вечер,— сказал Кирилл, очень стараясь, чтобы голос у него не сорвался.— Вы не пытайтесь меня вспомнить, я ведь был здесь два года назад... Конец августа... Сентябрь... Вы тогда на том берегу жили. А здесь, в этом доме...

Он остановился, потому что, собственно, уже спросил все, что ему нужно было знать, чтобы жить дальше. Старик подходил, отводя руками ветки бузины и жасмина, вылезавшие на тропинку, и по его лицу нельзя было сказать, понял ли он, о чем его спрашивают, или нет. У последней ступеньки он замер и уставился тусклым взглядом в нижнюю пуговицу блестящей Кирилловой куртки. Похоже, что он намеревался молчать долго.

— Вы не помните?..— потерянно пробормотал Кирилл.

Старик вскинул подбородок, и лицо его было неприветливо и замкнуто.

— Так ее давно уже нет,— скупно проговорил он, словно осуждая Кирилла за неуместное любопытство.

Кирилл молчал, словно не расслышал его слов. Нет, этот старик что-то путает. Нужно бежать к Унн. Нужно спрашивать. Нужно искать. Да не может быть, чтобы все пережитое и выстраданное им оказалось напрасным! Он же чувствовал, что ломает прошлое, повертывает, не дает вернуться на прежний путь! Почти год он ворочал эту глыбу, у него все тело ноет от этой текущей на него тяжести — и голова, и руки, и позвоночник... В конце концов существует же какая-то мировая справедливость, какой-то вечный закон, по которому за великую жертву должно следовать и великое воздаяние! Он же отнял любовь у них двоих, и пусть это останется тайной, чем была эта любовь для нее, — но у себя вместе с нею он отнял половину жизни. Так не может быть...

Не может быть, чтобы такой ценой он не купил хотя бы неделю...

Хотя бы день.

— Значит, год назад,— хрипло проговорил он, ожидая, что его остановят и поправят,— все-таки она умерла год назад, девятнадцатого мая...

— Какой год? Какой май? — досадливо прервал его

старик. — Вы что-то путаете, молодой человек. Это случилось два года назад, двадцать седьмого августа две тысячи девяностого года. Была чудовищная гроза. Вы когда-нибудь слышали о молнии Перуна? Поток огня и грохота, в тысячи раз превышающий обычный грозовой разряд... Это считалось легендой. Я и сам не верил, пока...

Кирилл не слышал его бормотания. Два года назад. Дарованная временем и пространством сила, которую он сам, собственной волей и разумом, превратил в черную молнию уничтожения. Точно отражение в озерной воде, возник перед ним зыбкий, пепельно-серый образ. «А я не живу, — услышал он. — Мне просто незачем жить...»

«Это я... — говорил он себе, — это я. Это я был...»

— Это я был Перуном... — бормотал он уже вслух, — это флаттер... удвоивший... удесятеривший... Все, что я видел потом, — только бред, только сны наяву... Я послал эту молнию! — крикнул он прямо в лицо отшатнувшемуся старику.

— Зачем? — недоверчиво спросил тот.

— Чтобы убить нашу любовь...

Старик пожевал губами, но вслух больше ничего не произнес. Горе у этого юноши, не в себе человек. Слушать его дальше — еще и не такого наговорит, да и сам поверит в это. Убить любовь... Эк что выдумал! Разве убьешь любовь, пока жив человек?

И все-таки — что же заставило ту девушку выбежать на берег в такую грозу? Непонятно...

СОТВОРЕНИЕ МИРОВ

Рассказ

Молодежь — Маколей, Поггенполь, Спорышев и Хори Хэ — стала в кружок, положив руки друг другу на плечи и выжидающе глядя себе под ноги. Анохин стоял поодаль, в углу квадрата, и тоже глядел под ноги. Инглинг, командир отряда, вышагивал вокруг центральной группы и глядел под ноги просто из солидарности — он ничего не чувствовал. С фантазиями молодежь, вот и все.

— Ну, так что? — спросил он.

— Я туп и невосприимчив, — сказал Маколей. — Мне просто чертовски хорошо.

— Впечатление такое, словно вдоль тела скользят какие-то прохладные струйки... — Поггенполь блаженно поежился. — Аэродинамический душ. Восходящий.

— Это запах без запаха, — подхватил Хори Хэ. — Он наполняет душу ароматом ожидания...

— Это, конечно, очень близко, — как всегда смущаясь, проговорил Веня Спорышев, — но все это — эффекты вторичные. А в основе — мощнейшее излучение, какое — сказать не могу, земных, да и каких-либо инопланетных аналогий я просто не знаю... Кроме того, у меня такое ощущение... Кирилл Павлович, идите к нам!

Анохин удивленно вскинул седеющую бороду и послушно, как автомат, двинулся на зов. Он и Гейр Инглинг считались стариками.

Спорышев и Хори Хэ расцепили руки и дали ему место.

— Сильнее стало — чувствуете? — негромко проговорил Веня.

— Командир, давайте и вы сюда! — крикнул Маколей.

Гейр поднырнул под их руки и очутился в центре круга. В воздухе разлился аромат цветущей вишни.

— Ух ты! — сказал Гейр. — Кто там считает, что этот запах — без запаха? Плита благоухает, как сад японских императоров!

— Может, станцуем сиртаки? Условия созданы...— Маколей разошелся от радости, что планетку назвали его именем. Земля Маколей. Как мак, аляя. Маковая Аллея.

— Плита здесь ни при чем,— сказал Веня Спорышев, опуская руки.— Здесь излучает каждый камешек, каждая трещинка. На этом месте просто фонтан, но он глубже, под плитой. Может, те для того ее и притащили, чтобы место отметить?

— М-да,— покачал головой командир,— хотел бы я знать, кто они, вышеупомянутые «те», и сколько веков назад они притащили сюда эту плиту. Зачем — это уже не так важно.

Все промолчали, потому что, естественно, не меньше командира хотели бы узнать, кто и когда здесь побывал, да и было ли это посещение? Скорее — было... так притягательно все в этом едва сформировавшемся мирке, пребывающем где-то на заре кембрийской эры. Заря здесь была незабываемой — практически она продолжалась с восхода солнца и до заката. Розовое светило окрашивало белые скалы над морем в пастельные тона, а соцветия лилий разве что в полдень обретали свою снежно-белую окраску.

— Блажен, кто на землю ступил порою внешнего цветения...— задумчиво процитировал Хори Хэ то ли себя, то ли кого-то из классиков.— Маленькая неувязка только в том, что здесь сейчас не весна. Я прикинул: самый конец лета. Правда, мы сели в субэкваториальной зоне, и наш корабельный компьютер дал среднегодовые колебания температуры в пределах двенадцати — пятнадцати градусов, но все равно поведение здешней флоры представляется мне нехарактерным...

...Путь обратно в лагерь был не такой простой штукой, как могло бы показаться на первый взгляд, во всяком случае, ни у кого не появилось желания продолжить разговор по дороге. Камни, причудливо наваленные на этом крутом шестисотметровом склоне, за две ночи поросли накипью лиловато-розового лишайника; идти по этой пенистой массе, состоящей из миллиардов крошечных нитей и зернышек, было сушей мукой.

На середине склона миновали еще две плиты не-здешнего происхождения — лишайник упорно обтекал их стороной. И обе плиты расколоты... Маколей только хмыкнул — ведь их не брал ни геологический молоток, ни лазерный резак. Хори, самый легкий и подвижный,



обогнал всех и уже хлопотал в лиловой тени, отбрасываемой «Харфагром», накрывая на стол. Наконец и все остальные попрыгали с последнего уступа на ровную площадку, облюбованную под лагерь, и, стаскивая комбинезоны, сгрудились у ручья. Струя падала с высоты человеческого роста и образовывала естественный душ. Вода была тепла и пузырчата, как нарзан, и на дне лунки, которую она продолбила за долгие годы своего монотонного падения, лениво шевелила лапами большая зеленая лягушка. Время от времени она приоткрывала рот, и Поггенполь утверждал, что она произносит «bon appetit». Отсюда не следовало, что аборигены уже овладели французским языком, — это было не животное, а комплекс контрольных приборов. Пока лягушка оставалась зеленого цвета, воду можно было пить; перемена оттенка на желтоватый говорила бы о том, что теперь вода годится только для технических нужд, красный цвет вообще запрещал притрагиваться к ней.

Все, кроме, пожалуй, молчаливого Анохина, приветствовали изумрудный индикатор, словно это была знакомая собака. Сказывалось отсутствие на планете животных, особенно заметное при таком обилии растительности.

— Пока мы гуляли, — командир занял свое место во главе складного стола и потянулся к миске с салатом, — этот ползучий цветник забрался вверх еще метров на восемьдесят. Интересно, там, за перевалом, тоже все цветет?

— Судя по снимкам, нет, — вежливо проговорил Веня Спорышев, отрываясь от тарелки. — Распространение цветочного покрова идет от берега в глубь материка. Вы не беспокойтесь, последовательные снимки делаются автоматически.

— Ты ешь, ешь, — сказал командир. — Ботаническая сторона меня волнует менее всего. Растениеведов и так наберется в составе комплексной экспедиции больше чем нужно. Они во всем и разберутся. Тут главное — не забыть затребовать специалиста, о котором на Базе не вспомнят. Вот, например, как с этим излучением. Придется теперь просить консультанта по психотронике. Представляю, какая физиономия будет у Полубояринова.

Гейр спохватился — обсуждение высшего начальства в присутствии рядового состава в его привычки не входило. Но финал каждой разведки всегда способствовал этому: ведь главным в их профессии была как раз не

сама разведка, а составление схемы будущей комплексной экспедиции, которая не должна ничего упустить. Затребуешь лишних специалистов — Полубояринов загрызет: с кадрами туго, планета бесперспективная, а по милости первопроходцев погнали туда целый караван... Недозакажешь — еще хуже: планету обязательно объявят потом чрезвычайно интересной и перспективной, все богатства и прелести которой невозможно было исследовать вследствие нерадивости разведчиков.

Правда, вслед за комплексниками на планету прибывают освоенцы, и тут у них возникает столько претензий к своим предшественникам, что разведке остается только руками развести, потому что накал страстей, сопутствующих комплексно-освоенческим конфликтам, как правило, напоминает стартовый выхлоп крейсерского звездолета.

Между тем за столом наступила пауза — Хори замешкался с супом...

— Салат был преотменнейший, — заметил Кит, — рис, кальмары и яйца — из собственного лабаза. Но откуда такой сочный лук?

— Это не лук, — отозвался Хори, — это лепестки водяной лилии. Мы с Вениамином откушали и проверили индикатором...

— Надеюсь, что в обратной последовательности, — строго вмешался командир. — Хорошо еще, что, по-видимому, здесь не найдется ни трилобитов, ни даже червей, иначе мы рисковали бы вот так, без предупреждения, познакомиться и с ними достаточно близко.

Хори Хэ вытянулся, отдавая честь суповой ложкой:

— Есть, шкип, больше не повторится, шкип, впредь обязуюсь команду местными червяками не кормить...

— Вольно, — сказал Инглинг, — давай харчо. Тем более что появление червей здесь можно ожидать не ранее чем через пару миллионов лет.

— Я... э-э-э... не хотел выступать с непроверенными данными, тем более что мне могло показаться... — Споришев мялся больше, чем обычно. — Короче говоря, вчера вечером на глубине порядка двенадцати метров я наблюдал стаю медуз. Совсем маленьких.

Немая сцена последовала незамедлительно: у одного Хори Хэ хватило чисто азиатского самообладания поставить кастрюлю с супом на землю — у остальных ложки и вилки выпали из рук.

— Великие дыры, черные и белые! — возопил Поггенполь. — Ты камеры-то оставил?..

— Естественно. И на разной глубине. И даже все запасные...

— Пошли, выудим парочку, тут не до супа! — распорядился Инглинг, подымаясь.

— Минуточку, — поднял широченную ладонь Маколей. — Не все лавры Веньке. Я тоже не хотел выступать преждевременно, но в пробах грунта как будто бы прослеживаются остатки беспозвоночных. Более того: моя дражайшая Маковка не менее двух раз заселялась разной живностью, затем до основания вымиравшей.

— Палеокатастрофы? — быстро спросил Гейр, покосившись на скалы и присевший на амортизаторы «Харфагр».

— Не исключаю, — кивнул Маколей. — Маковка — особа спокойная, уравновешенная и отнюдь не первой молодости, как можно судить по первому впечатлению. Ей бы, судя по всему, обзавестись зверинцем и зарастить травой следовало двести — триста миллионов лет назад.

— Откуда такая точность? — ревниво спросил Поггенполь.

— Интуиция. Помнишь первую заповедь космопроходца — «доверяй интуиции»? В данном случае — моей.

Анохин, до сих пор не проронивший ни слова, поднял голову, как будто хотел что-то сказать. Но передумал. Интуиция. Эти мальчишки прочно усвоили и писанные параграфы, и неписанные заповеди. Иначе они не были бы в тактической разведке. Пока они не обжигались. Но говорить об этом бесполезно. Можно научить подстилать соломку, и даже весьма точно рассчитывать — где. Нельзя научить не падать.

— Ну ладно, первооткрыватели, — сказал Поггенполь, — я тоже кое-что приберег для отчета, хотел в последние дни семь раз проверить. Господин председатель, леди и джентльмены, хочу уведомить вас, что посещение этой планеты пришельцами пока не установленного происхождения было отнюдь не единичным. Они прилетали как минимум дважды.

— Все высказались? — спросил командир. — Анохин, ну хоть ты-то убереги меня от сюрпризов, а!.. Ну, спасибо, милый. Теперь слушайте: властью, данной мне инструкцией, продлеваю пребывание на Маковой Ал-

лее еще на десять дней. Резерв командования. Но прошу блюсти четвертую заповедь!

— Находясь на планете, собирай информацию — отчет будешь составлять в карантине! — гаркнул кто-то из молодых.

Десятый день резерва командования подходил к концу. Солнце, оранжевое и беспечное, уходило за поросшие тюльпанами невысокие хребты. У шестерки людей, расположившихся на камнях у самой черты приборя, настроение было неважное.

— Мы так ни до чего и не договорились, — констатировал Инглинг, и подчиненные впервые слышали в его голосе тревогу. — Пора сворачивать лагерь, чтобы не возиться в темноте...

— Это все потому, что мы боимся назвать вещи своими именами. Как бы невероятно ни было то, что думает каждый из нас, — это нужно произнести вслух, и решение явится, — без особой убежденности изрек Поггенполь.

— Вот и выскажись, — буркнул Маколей. — У меня лично не хватает словарного запаса. Потому что признать придется попросту чепуху.

— Хорошо, — сказал Спорышев, — хотя, честно говоря, я не понимаю, что во всем этом особенного. На Радзивилле и похлестче было. И меня лично ничто не пугает, просто я знаю, что должен собрать информацию, но не пытаться ее интерпретировать...

— Ага, — обрадованно воскликнул Маколей, — вторая заповедь космопроходца: доверяя интуиции, не делай выводов — все равно у Базы будет свое собственное мнение.

— Вот-вот! Понимаете, Гейр, — Веня поднялся и зашагал по гальке, усеянной белыми луковичными лепестками, — к сожалению, нас слишком долго приучали собирать факты, сведения, вещественные доказательства... Мы знали, что в любом случае База примет за нас необходимое решение. А тут... Мы прилетели на совершенно безжизненную планету, и на восемнадцатый день зафиксировали жизнь. К моменту отлета — можете полюбоваться, целые плантации цветов.

— Но ведь до нашего прилета этой жизни не было, — растерянно прошептал Хори Хэ.

— Этой — да, — согласился Спорышев. — Если и

можно сказать, что жизнь здесь существовала, то только в неявном, зародышевом состоянии. Как бы приблизительно ни были оценки, полученные нами за эти десять дней, мы должны согласиться с тем, что каждое возникновение — или, если угодно, возрождение — жизни на Земле Маколея совпадает с пребыванием на ней разумных существ.

— Вот уж не ожидал от Спорышева такой категоричности! — фыркнул Кит. — Да что, пришельцы сеют споры, что ли? Теория спазматической панспермии?

— Ну, про всех пришельцев не скажу, а я лично ничего не сеял!

— Не волнуйся, Мак, в этом отношении ты вне подозрений. Речь ведь даже не о первичном возникновении жизни. Что именно ее инициировало — в этом комплексники разберутся... или не разберутся. Для нас проблема состоит в том, что для самого элементарного существования и развития здесь жизни необходимо присутствие разума. Если хотите, в качестве катализатора. Другого сравнения я не нахожу.

Инглинг в буквальном смысле слова схватился за голову:

— Ты представляешь себе, Вениамин, как я все это буду выговаривать перед Полубояриновым?

— Ну, командир, если дело только за этим, то я и сам могу изложить...

Анохин поднялся. Он был на голову выше любого из разведчиков.

— Гейр, — сказал он, — какой Полубояринов? Какой доклад? Разве ты не понял, что мы просто не имеем права отсюда улетать?

Наступила тишина. Крупная белая ветка с ломкими, алебастровыми цветами выплеснулась на берег и зашуршала по гальке. Часа через два она укоренится и, как все побеги, выбравшиеся из моря на сушу, порозовеет, завтра же, к моменту старта, ее гибкие плетевидные ветви вскарабкаются на плоскогорье и, возможно, дотянутся до стабилизатора «Харфагра».

— Кирилл, — сказал командир, — ты же не новичок. Не тебе объяснять, что остаться здесь до прибытия комплексников «Харфагр» не может. Ресурсов не хватит. Не говоря уж о том, что База никогда не позволит. Если бы обнаружили гуманоиды или случилась авария... Но в последнем случае нас отсюда сняли бы, и все. В этом варианте не за что бороться.

— А бороться вообще ни за что не надо. Вы возвращаетесь обычным порядком и столь же обычно и без спешки, приводящей только к конфузам, высылаете сюда комплексную. Насколько я знаю, она может появиться здесь месяцев через семь-восемь. Столько времени я продержусь. Мне одному ресурсов хватит.

— То есть как это — вы?.. — возмутился Спорышев.— Я биолог экспедиции...

— Венечка, а зачем этим лотосам ваша специализация?

— Ну не я, но почему вы?

Гейр с Кириллом переглянулись.

— Дело в том,— сказал Анохин,— что я умею быть один.

Он чуть было не добавил: «У меня уже есть некоторый опыт...»

— Анохин — специалист по дальней связи,— сухо проговорил командир, словно Кирилла и не было рядом.— В данной ситуации это, по-видимому, будет решающим.

Кирилл повернулся на каблуках и, заложив руки за спину, засмотрелся на белые, словно покрытые инеем, скалы, выступающие из воды. Общий разговор он считал бесполезным, а Гейр высказался с максимальной определенностью. Что ж, если Инглинг и не был лучшим командиром разведфлота вроде легендарного Рычина, то друг он был надежный. В сущности, он ведь даже не знал, почему Кирилла потянуло вдруг на добровольный подвиг. Он вообще ничего не знал, кроме того, насколько худо было Кириллу тогда, десять лет назад. Тогда Анохин числился в новичках, но Гейр вытягивал его не только потому, что был его командиром. Уже тогда между ними было то великое, которое не имеет названия, потому что понятие «дружба» непозволительно широко. И это великое заключалось в том, чтобы не знать, но понимать.

В глубине вечерней воды, ленточно извиваясь, прошло змееподобное тело. Кирилл оглянулся — никто, кроме него, в воду не смотрел.

На всякий случай он промолчал.

Он проснулся, повернул голову и глянул на календарь: прошло шесть месяцев и одиннадцать дней его робинзонады. Просыпался он с восходом, ложился с по-

следним солнечным лучом. Получалось это само собой, в ритм он вошел естественно и ни о чем не задумывался — так, наверное, не задумывались цветы над тем, когда им открывать или складывать на ночь свои лепестки. Впрочем, это относилось к земным цветам; здешние, как с некоторых пор начинало казаться Кириллу, могли и призадуматься.

Но вот отмечать прожитые дни — это единственное, что никак Кириллу не удавалось. Если бы он вовремя не перевел календарь на автоматику, то давно потерял бы счет дням.

Он, не одеваясь, выскочил из своего домика, нарвал грибов и швырнул их в приемный раструб автоплиты. Пока та, урча, возилась с грибами, он помчался на свой маленький стадион, раздумывая о том, что весенние дожди унесли изрядную долю песка, поднятого им с пляжа сюда, на плоскогорье (коль скоро ни одного, даже самого захудалого кибя у Кирилла не было, все необходимое приходилось таскать на собственном горбу).

Стадион был залит солнечным светом. Солнца Кирилл не то чтобы не любил, а предпочитал держаться тени, и, словно угадав это, трехметровой высоты цветы — не то маки, не то тюльпаны, — росшие вдоль немногочисленных дорожек, сплелись верхушками и образовали крытые аллеи, а над любимой скамейкой Кирилла вырос целый балдахин метра четыре в поперечнике. И это чудо света отнюдь не было исключением: третьего дня со скалы, из которой бил питьевой источник, свесился толстенный стебель с зеленой «бомбой» на конце. Вчера бомба лопнула, брызнув во все стороны померанцевым соком, и за какие-нибудь полтора часа развернула шестиметровый тент бледно-лилового цвета.

Кирилл привычно вспрыгнул на гимнастическое бревно. С детства у него были нелады с равновесием, и здесь, в уединении, наконец-то можно было наверстать упущенное. Он несколько раз повернулся, с удовольствием отмечая, что вальсирует на узкой поверхности без малейшей опаски, и вдруг его взгляд остановился на площадке, открывшейся с этой небольшой высоты.

Несколько серебристых плит вместо того, чтобы спокойно лежать на тщательно выровненной земле, стояли боком.

Это был беспорядок. Кирилл спрыгнул с бревна и, раздвигая цветочные стебли, которые больше походили на стволы молодых деревьев, добрался до площадки.

Потревоженные плитки были приподняты какими-то странными, буровато-лиловыми витыми стеблями, каждый из которых заканчивался пышной седой метелкой. Нужно было иметь достаточную силу, чтобы поставить на ребро увесистую батарею, и тем не менее ни один из новоявленных стеблей даже не погнулся.

Кирилл побежал в сарайчик за лопатой (все приходилось делать самому!). Потом, осторожно сдвинув плиты, он выкопал винтообразные стебли и, отнеся их метров за двадцать, так же бережно посадил в приготовленные ямки. Всем макам и тюльпанам было достаточно двух-трех аналогичных уроков, чтобы больше никогда не приживаться ни на стадионе, ни в окрестностях надувного домика. Как это у них получалось, Кирилл предпочитал не задумываться.

Он пробежал пятьсот метров, выкупался и легко пошел обратно в гору. Вдыхая запах свежезажаренных грибов, заскочил в кухонный отсек и остолбенел: сковородка валялась на боку, соус растекся по полу.

Первым побуждением Кирилла было заглянуть под стол и кровать — не спрятался ли там некто любопытный, а может быть, и опасный. Словхватившись, он затряс головой, успокаиваясь: разумеется, нет, десантный домик — это ведь не таежная хибарка, куда любой может заглянуть. Сейчас окна и двери настроены только на него: ни одно живое существо, даже муха, сюда не проникнет, отброшенное силовым ударом.

А ползучее растение?

Рассчитана ли защита на такое вторжение? Вот этого он не знал или, точнее, забыл, и нужно было заглянуть в инструкцию. Прижимаясь из осторожности спиной к стене, он нашарил на кухонной полке пластиковый том и принялся судорожно и бестолково его листать — как-никак с начала его добровольного уединения он занимался сим трудом впервые. Непроницаемость стенок и перекрытий... Антисейсмичность... Настройка входного клапана...

Он вздохнул спокойно. И что он всполошился? Должен был бы помнить — ни зверь, ни птица, ни камень, ни былинка.

Его дом — его крепость. И какая!

Ну а с тем, что снаружи, он уж как-нибудь договорится. Полугодовой опыт имеется.

Он, несколько не опасаясь, вылез из домика и пошел к кухонному углу. Так и есть, из-под настила

косо торчал виток новоявленного растительного монстра. Пробить пол кухонного отсека, естественно, не удалось, но удар основательно всколыхнул плиту. Так что от завтрака остались рожки да ножки. А, собственно, почему это его удивляет?

Шесть месяцев он жил в этом саду блаженно и беззаботно. Если бы так можно было выразиться, то в полнейшем слиянии душ — собственной и всех этих лилейно-лиственных и лотосоцветковых. Хотя после того, что произошло десять с лишним лет назад, вместо души у него должно было остаться пепелище. Все, что происходило потом, проплывало мимо на расстоянии вытянутой руки. Так он проходил комиссии, летал, что-то настраивал, законтрачивал, принимал-передавал, а когда особенно везло и натывался на гуманоидную цивилизацию — возвращался к своей профессии переводчика. Он делал все, что от него требовалось, но не более.

Вероятно, то страшное напряжение, в котором он провел самый страшный год своей жизни, взяло у него все силы души на десятки лет вперед.

Вот и здесь, полгода назад, он безучастно слушал споры, пропускал мимо ушей гипотезы, пока вдруг в его сознание непрошенно не ворвалось что-то прежнее, болезненно резонирующее с прошлой болью. Исчезновение жизни, отсутствие человека — это было изящной абракадаброй, проплывшей мимо ума и сердца.

А вот неминуемое умирание — это было не постороннее. Это уже было у него внутри, затаенное и пронизывающее, как застарелый шип, вошедший в нервное сплетение.

Тогда он и сказал Гейру: «Мы ведь не можем улететь, разве ты не понимаешь?»

С тех пор он жил спокойно и просто, в том естественном ладу с шуршащей, но безгласной зеленью, в каком состоял с ней разве что пещерный человек. Он не рвал ничего, кроме грибов, а ягоды сами скатывались к его ногам. Любой первоцвет, по-щеньячьи вылезший в неположенном месте, он выкапывал и переносил на безопасное расстояние. Иногда ему вдруг казалось, что кто-то начинает чахнуть и хиреть; он брался за поливку, даже не думая, а в недостатке ли воды тут дело. Но цветок — если будет позволено так называть трех-четырёхметровую дубину — мгновенно оживал, и было в трепете и плавных изгибах его листьев что-то от ласкающей собаки. То, что листья тянулись к нему, а

стебли наклонялись чуть ли не до земли, Кирилла несколько не удивляло.

Но что произошло сейчас? Какие-то вывертыши взбунтовались, ну и что в этом страшного? Растения подросли — не каждое в отдельности, а все целиком, как коллектив; началась пора самостоятельности. Так подросший щенок рано или поздно рвет любимые домашние тапочки хозяина.

Кирилл во второй раз достал лопату и, осторожно подрывая угол собственного дома, выкопал строптивца. Если урок, преподанный одной особи, как-то идет впрок всему остальному клану, то ее следует наказывать. Вот хотя бы забраться на ту каменистую площадку, где ничего не растет, кроме местного чертополоха, и посадить туда упомянутую особь, чтобы не сбрасывала завтрак на пол. Мысль показалась Кириллу удачной, и он, опираясь на лопату, начал карабкаться по склону на карниз, прижимая к себе холодный и упругий стебель. Если бы не ковыльная метелка, инопланетный цветок более всего напоминал бы гигантский штопор. Вероятно, сила его роста такова, что, не будь экспедиционный домик защищен со всех сторон силовым полем, эта крученая штуковина проткнула бы пол насквозь.

Кириллу пришлось долбить ямку, потом подтаскивать хорошей земли, потом прилаживать бортик, чтобы дождевая вода не сразу стекала с этого карниза — для этого потребовалось часа полтора. Разогнувшись, Анохин глянул сверху на серебрищую крышу своего котеджа, как он его уважительно именовал, — и ему стало не по себе: шагах в десяти от входа, высоко поднимаясь над зарослями молочных лотосов, распускал лепестки оранжевый гигант. С шелестом и мясистым пошлепыванием раскручивались многоярусные лепестки, каждый из которых мог бы обеспечить парусностью небольшую каравеллу; малиновые прожилки натягивались, принимая на себя тяжесть ярко-рыжей массы, и черный подрагивающий пестик нацеливался в зенит, как копьеобразная антенна. Размерами и какой-то одухотворенной чуткостью этот цветок действительно напоминал антенну радиотелескопа.

Кирилл прислушался к собственной интуиции, как рекомендовали неписанные заповеди. Да, конечно, приятно — вроде бы растут дети... И все-таки в глубине зреет тревога. Ее не было, когда цветы доверчиво на-

клонялись к нему — подумаешь, способность к движениям отмечалась даже у земных растений. Но когда вот так, как сейчас... начинаешь с завистью вспоминать о самшите, который и растет-то едва-едва.

Внизу что-то звучно треснуло, и Кирилл увидел второй персиковый парус, раскрывший свое полотнище возле стадиона. Третий лиловел над метеоплощадкой, где приходилось работать ежедневно. Славно... Приближается теплое время, и ему в любом уголке будет обеспечена прохладная тень.

Вот только непонятно, почему ни дальше по берегу, ни вдоль лишайниковых склонов ничего подобного не наблюдается.

Он спрыгнул с уступа, на котором теперь одиноко торчал ссыльный «штопор», поглядел на розовое солнышко и отметил, что становится жарковато для ранней весны. Надо пойти к морю ополоснуться. Правда, если двигаться напрямик, придется продирааться через заросли, но ведь не впервой. Он легким шагом подбежал к первым невысоким — всего в его рост — цветам, как вдруг узкие восковые чашечки разом обернулись к нему, наклонились и угрожающе часто защелкали твердыми лепестками, совсем как аисты клювами.

— Вы что, сдурели? — крикнул Кирилл, отступая и прикрывая лицо локтем.

«Характер показывают», — подумал он, теперь начиная понимать, кажется, почему все предыдущие посетители Маковой Аллен рано или поздно покидали сей райский сад. Если и дальше так пойдет, то придется перебираться в горы, синеющие километрах в пяти от моря, — там еще пока один лишайник. Вымахали, понимаешь ли, с космодромную антенну, а ума ни на грош.

Он вернулся к своему ручью, где беспокойно шевелилась чуть побуревшая лягушка, ступил на тропу, усыпанную принесенной с моря галькой, — тут были одни глуповатые маки. Он задрал голову, удивляясь внезапному ускорению их роста, и не сразу заметил, что ноги его ступают уже не по камешкам, а по чему-то упругому. Он глянул вниз — узкий лист, напоминавший банановый, устлал дорожку, и сейчас его боковые края хищно забились, словно он собирался свернуться в трубочку, заключив внутрь человеческое тело. Кирилл хотел рвануться вперед, но ноги его завязли в клейкой зеленой массе; единственный выход был в том,

чтобы мгновенно сгруппироваться и сильным рывком покатиться вперед; тело проделало это быстрее, чем обдумал мозг, и Кирилл из этой замыкающейся уже зеленой трубы вылетел, точно горошина из стручка. Развернувшись, он помчался вперед со спринтерской скоростью и вылетел на площадку возле домика, несказанно радуясь, что хоть она-то не поросла скороспелыми макозубами и тюльпанозаврами.

Впрочем... да, один-таки пробился.

Возле самого порога торчал новорожденный желтый ирисенок, не достававший Кириллу и до колена. Он еще явно не освоился на белом свете и, запрокидывая нежную головку, отчаянно зевал, оттягивая вниз широкий бородатый лепесток. Кирилл, как ни торопился, не выдержал и присел на корточки — ничего нет забавнее и умильнее, чем зрелище позевывающего или чихающего новорожденного.

— Дыры небесные, черные и белые, — проговорил он, — неужели и ты подрастаешь только для того, чтобы меня слопать?

Желтенькая пасть разинулась снова, и Кирилл не удержался и сунул туда палец. Ирисенок тотчас же палец выплюнул, отчаянно затряс лопушками боковых лепестков и беззвучно чихнул, разбрызгивая медовую слюну. Кирилл фыркнул. Стебель цветка резко отклонился назад, спружинил, бледные лепесточки мигом собрались в щепоть, и Кирилл не успел отдернуть руку, как ирисенок небожно, но обидно клюнул его в ладонь.

— Дурашка ты, дурашка, — проговорил в сердцах Кирилл.

Путь обратно, к источнику и в горы, был перекрыт. Кирилл вошел в домик, схватил рюкзак, швырнул в него несколько пищевых пакетов, кислородную маску, радиомаячок, микропалатку. Включил рацию. Набрал сообщение: «Подвергся нападению хищных растений. Перебазируюсь на восток, шесть километров от стоянки, на чистые скалы. Прошу корабль». Он подключил к аппарату запасы энергии и послал аларм-сигнал. Такая связь существовала для крайних случаев, и сейчас Кирилл справедливо опасался не столько за себя, сколько за комплексников, которые должны были здесь вот-вот высадиться с оправданной беззаботностью. Положим, его действительно съедят, кто ж тогда предупредит целую экспедицию? Беда еще была в том, что по-

слать такой сигнал, собрав всю резервную мощность, он мог, и этот сигнал будет обязательно принят всеми аварийными буйками данной зоны, но вот принять ответ ему не по силам — нужна мощнейшая антенна, соорудить которую экипаж «Харфагра» был не в состоянии. Значит, придется отсиживаться где-то в пещере, жевать концентраты, запивать морской водой и ждать.

Он сунул за пояс десинтор непрерывного боя и, немного помедлив, распахнул входную дверь. Прыжок — и он на дорожке, ведущей к стадиону.

Вряд ли его ждут здесь, потому что сразу за стадионом — крутой спуск к морю, и, по логике вещей, там Кириллу делать нечего. Только бы не сцапали на дорожке. Он мчался сквозь строй гладких и мохнатых стеблей, и у него не было ни времени, ни желания рассматривать, что же такое мельтешит между ними, словно плетется толстая многослойная циновка. Никто ему не препятствовал, и он твердил про себя в такт дыханию — проскочить, проскочить...

Он вскинул голову, повинувшись вновь пришедшей волне опасности, и увидел это. Если до сих пор все растения Маковой Аллен имели определенное и даже подзрительное сходство с земными, то розовое облачно-аэроостатное образование, покачивающееся над стадионом на тонюсенькой ножке, вообще ни на что похоже не было. Покачивается лениво и совсем не агрессивно. Была не была...

Кирилл с разбегу вылетел на стадион, держась левой кромки, прибавил скорость, косясь вверх, и в тот миг, когда он был уже на половине дистанции, гриб-дождевик апатично сказал «пуффф» и выбросил во все стороны целое облако поблескивающих легких спор. Они снежно закружились, опадая, и у каждой по мере падения отрастал едва видный нитяной хвост. Кирилл врезался в это облако, как в паутину, клейкие нити залепили лицо, опутали руки и ноги, при каждом вдохе норовили влезть в горло и нос. Кирилл отчаянно замахал руками, пытаясь содрать с себя эту липкую пакость, а главное — освободить ноги, и тут мягкий, но сильный толчок в спину повалил его на землю. Целый пучок тонких, как парашютные стропы, волокон оплел его ступни и теперь спазматическими рывками втаскивал обратно, в крытую галерею дорожки. При каждом рывке Кирилл проезжал метра полтора-два, и если бы не заплечный мешок, спина была бы ободрана.

Выбрав момент, он оттолкнулся локтями от земли, выхватил из-за пояса десинтор, перевел фокусировку на самый узкий луч и пережег стесняющие движения летучие нити, кое-где прихватив и одежду. Вскочил на ноги. Путь обратно, через открытое пространство стадиона, был отрезан — дымчато-алый дождевик, зорко прицеливаясь, покачивался, сея редкие блестящие споры. Ломиться в обход, через чащу цветочных зарослей, нелепо — изловят. Прожигать коридор — опасно, может не хватить зарядной обоймы, и тогда он очутится в самой гуще хищников. Значит — назад, в домик. Выбора нет.

Он помчался по дорожке, для верности поводя перед собой непрерывным лучом. Никто, однако, его не задерживал. У самого дома он выключил десинтор. Громада рыжего паруса нависла над ним, создавая огненную тень, но он успел перескочить порог и захлопнуть за собою дверь.

Сначала — полная герметизация, автономное кондиционирование, потом — рация... После второго аларм-сигнала копать со сборами спасательной группы не будут, вышлют автоматический скутер. А ему большего и не надо. На третьи сутки он включит маячок, и дальше останется часов сорок восемь, не более. Столько он продержится на полной автономии без малейшего напряжения. Недаром его с такой легкостью оставили одного — сейчас спасение альпинистской самостоятельной группы где-нибудь в Гималаях, учитывая все земные ограничения и сложности, порой проблематичнее, чем снятие одного неудачника с чужой планеты или буйка. Разумеется, в более или менее освоенной зоне дальности.

Он еще раз проверил, все ли меры предосторожности приняты, и вдруг ощутил упругий удар в пол — там мощными толчками пробивался «штопор». Ну, это тебе не по зубам, подумал Кирилл.

Домик ходил ходуном, подбрасываемый дробными ударами, пол пробивали уже в нескольких местах. Не нажить бы морскую болезнь. Кстати, он сегодня так и не позавтракал, а в этой обстановке не пахнет и обедом.

Домик встал на боковую стенку. Кирилл покатился в угол, успел глянуть в окно и сообразил, что его убежище уже оторвано от земли и приподнято витыми колоннами на высоту человеческого роста. Не собираются

ли они поднять его и бросить, как это делают обезьяны, домогающиеся сердцевины лакомого ореха? Веселенькая перспектива, даже если учесть упругость конструкции... Да, возносят. И с приличной скоростью. Ну и жизненный потенциал у этих витых дубин, эдак они его на высоту Исаакиевского собора подкинут...

Ослепительная вспышка, заставившая его отшатнуться от окна, на долю секунды поставила его в тупик, но в следующий миг он понял, что боялся не того, чего следовало бояться. Силовой кабель, соединявший домик с системой батарей... Вот о чем он не подумал. А если подумал бы — так что тут поделаешь?..

Теперь энергия у него только та, что дадут аккумуляторы. Если отключить все, даже кондиционер, то запасов хватит на поддержание силового поля... компьютер и тот не включишь. Правда, можно временно снять защиту с потолка, да и на окнах теперь придется оставить молекулярную проницаемость, иначе задохнуться можно. А вот о втором аларм-сигнале и речи быть не может. Скверно. Одна радость — напуганные возникшим разрядом, столбы вроде бы прекратили свой рост. До земли метров пять, ничего себе свайная постройка... И сбрасывать домик некуда — внизу все поросло витым частоколом, в нем с шипом и посвистом скользили сине-зеленые лианы, сплетая гигантский упругий тюфяк. Если так будет продолжаться, то они просто-напросто передавят друг друга собственной массой.

Глупыша-желторотика, надо думать, уже затоптали.

Он немного подивился тому спокойствию, с которым его мозг отмечал безвыходность положения. А что, собственно, ему оставалось, кроме спокойствия? Распахнуть дверь и палить, пока обоймы не кончатся? Так разве пробьешься через такие-то джунгли! Эх вы, тюльпанчики-живоглотики, да меня ведь со всеми потрохами вам и на зубок не хватит. Напрасно топчетесь, аппетит нагуливаете. Вот когда сказывается недостаток серого вещества...

Он отполз от окна, привалился к перевернутому столу. Да, сидеть вот так, скучая в ожидании, когда тебя отсюда выдернут, точно улитку из ракушки, — последнее дело. Хорошо бы оставить письмо Гейру, но ведь диктофон не включишь... Хотя зачем диктофон? Где-то тут имеется старый добрый карандаш. И рулон перфоленты. Почему бумага розовая?.. Ах да, солнце

пробивается сквозь лепесток «паруса» — и то слава богу, не жарко. Значит, так: «Гейр, дружище! Пишу тебе не столько затем, чтобы заполнить время, сколько для того, чтобы ни в чем себя не обвинял. У меня и раньше было желание сказать тебе несколько откровенных слов, да как-то разучился я пространно выражать свои мысли. Устно, во всяком случае. Так что сейчас я, если обстоятельства позволят, потрачу, наверное, больше слов, чем сказал бы до конца своей жизни, завершившись все это более или менее благополучно...»

Кирилл покосился на окно — алая тень сгущалась, хотя солнце стояло высоко. Значит, кашалотовая пасть приближается. Не торопись, милая, не все сразу. А бумагу можно будет засунуть под столик — когда аккумуляторы иссякнут и домик, вероятно, сомнут, письмо уцелеет.

«Так вот, Гейр, я ни в чем тебя не виню — начиная с того момента, когда ты сманил меня в космос; ты только предложил, а решал-то я сам. Не такой уж я был щенок, чтобы не оценить всю глубину собственной непригодности. Хотя до конца я осознал ее только сейчас.

Дело в том, что на Земле за человека в большинстве случаев решают обстоятельства. Здесь же нужна интуиция. Да, да, та самая, которая в наших заповедях стоит на первом месте. Но интуиция должна обладать одним неизменным свойством — адекватностью. Иначе она и называется по-другому: блажь, фантазия, химера... Моя интуиция меня всегда подводила. Вот хотя бы сейчас: подо мной собрались хищные монстры, не подумай, что какие-нибудь звероящеры или мегамуравьи — нет, невинные на первый взгляд цветочки. И число им — тьма. Надо думать, слопают, потому как уже приноравливались. Если, конечно, скутер не подоспеет.

А мне все равно их жалко, они давят друг друга, калечат. Особенно маленьких. За эти полгода я привык думать о них как о безгласном зверье. Не так уж это смешно, если сейчас глянуть из окна вниз...

Ты несколько не виноват в том, что десять лет назад записнул меня на этот буй — помнишь, в одном светляке от Земли? Все, что я там натворил, было исключительно делом моих рук... вернее, моего ума. Ты не знаешь об этом, да и никто не знает, я и сейчас тебе ничего не объясню, и ты только поверь, что я сотворил нечто чудовищное. Непостижимое с точки зрения здравого разума. И в живых я остался только благодаря какому-

то странному — интуитивному, что ли? — ощущению, что я должен свою вину... искупить? Это было невозможно. Забыть? Смешно. Не знаю, Гейр, слово не находится, а время идет, и я боюсь не то чтобы солгать — создать у тебя неверное представление о той истории.

Короче, что-то я должен был сделать. И десять лет я провел как в спячке — это не приходило, не подворачивалось. Пока мы не забрались сюда, на Маковку. Помнишь, с каким редкостным единодушием мы изобрели красивую легенду — что для существования этого мира необходимо присутствие человека? Не знаю, как ты, а я в нее поверил с первого момента, и не только потому, что красота — почти неопровержимый аргумент.

Дело в том, что мое преступление тогда, десять лет назад, было, если можно так выразиться, уничтожением любви. И теперь я мог рассчитаться той же монетой. С кем? Со вселенной, наверное. Ты уж прости меня за высокопарность.

Я был почти счастлив, Гейр, потому что я полюбил этот мир, и он платил мне тем же. Я, как средневековый философ, уверовал, что моя любовь обращается жизненной силой, питающей моих подопечных. Доказательство было налицо — нигде окрест я не видел столь буйного и радостного цветения. И это зимой!

В хорошенькие дебри завела меня интуиция, а?

А теперь я скажу тебе, если успею, как на самом деле обстоят дела. Помнишь, Веня все ловил какое-то живительное излучение? Мы только отметили, что оно присутствует, хотя и не фиксируется никакими приборами. И забыли о нем.

По-видимому, не гуманоиды, а вот это самое излучение необходимо для существования жизни. А мы и те, что были в прошлом, его только включали, инициировали. Курковый эффект. Сами по себе мы всем этим лютикам нужны не больше, чем статуя Венеры Милосской. А то, что вблизи меня они росли с повышенной интенсивностью, доказывает только наличие взаимодействия между этим пока не опознанным излучением и каким-то из многочисленных полей, создаваемых организмом человека.

Детишки подросли и, как тигрята, переступившие границу млекопитания, «потребовали „мяса“». Все просто, осуществляется закон борьбы за существование, и никаких тебе абстрактных законов всеобщей любви. После меня они начнут с хрустом лопать друг друга. Вот ви-

дишь, как все просто, когда вместо плохой интуиции включаешь хотя и не блестящий, но абсолютно здравый смысл.

Я знаю, что скутер уже идет — наверное, нырнул в подпространство; но он далеко, а этот рыжий кашалот совсем близко. Объем цветочной чашечки таков, что весь мой домик поместится в ней. Сейчас загляну в заднее окно... Так и есть. В комнате все красным-красно, створки лепестков закрываются. В спину мне смотрит здоровенная черная колба — пестик. Как только сядут аккумуляторы, он пробьет окно. Это мне подсказывает интуиция. А вот что так пахнет? Разорвался пакет со специями? Нет. Гейр! Запах, Гейр...»

Лепестки гигантского мака сомкнулись, словно створки алой тридакны, но человек, защищенный такой хрупкой и недолговечной коробочкой, как десантный домик, уже ничего не слышал.

Не слышал он и того, что произошло спустя всего несколько часов.

Он проснулся от солнца, бившего ему прямо в лицо. Поднялся, держась за гудящую голову. Пошел к окну — пол под ногами пружинил, словно домик оседал в болото. Дверь входного клапана покачивалась, аккумуляторы стояли на нуле. С полным безразличием Кирилл глянул наружу — и ужаснулся.

Под ним была мертвая свалка растений. Домик стоял на каких-то бурых пожухлых лоскутьях, под которыми виднелись полегшие витые стволы.

Он перевел взгляд — метрах в пятидесяти высилась гряда свежееотваленной антрацитовый породы, кое-где поднимался фонтанчиками горячий пар. В воздухе было пыльно и пахло ушедшей бедой.

Он кинулся к двери и замер на пороге: местность искажилась до неузнаваемости. Лиловатые лишайниковые склоны исполосовало чудовищными сбросами, а вершина невысокой горы, из которой был источник, раскололась надвое и обнажила блещущую сталактитами пещеру. Гиблые ступени сбросов шли до самого моря, перемежаясь с трещинами уже осыпающихся по краям каньонов. Такая же трещина метров пяти шириной змеилась под самым домиком, и если бы не плотная сетка переплетшихся растений, он ухнул бы в эту пропасть со всею своей хваленной защитой. Но они собра-

лись сюда, сползлились со всего плоскогорья, оберегая его, единственного, как муравьи или пчелы оберегают свою царицу — любой ценой, и теперь умирали с подрезанными корнями, переломанными стеблями.

А письмо к Гейру?.. Уверенный в их кровожадности, он приписывал им сатанинскую борьбу за кусок мяса, а они тем временем плели последние этажи своего геннального амортизатора, нисколько не заботясь о том, что сами будут через несколько часов превращены в крошево.

Господи, стыд-то какой...

Высоко, в зените, возник тоненький вой. В туче пыли, еще не осевшей после недавнего землетрясения, нельзя было рассмотреть — скутер ли это, ведомый автоматом, или крейсер с комплексниками. Надо сразу же дать ракету, а то повсюду трещины, да еще оборванный провод под током... Но прежде всего — письмо.

Он нашарил за столиком рулон перфоленты, оборвал исписанную часть и, торопливо разрывая ее в клочки, стал приглядываться — кто же все-таки пожаловал.

Все-таки скутер... Молодцы буевики-аварийщики, почти не опоздали. Кирилл снова вылез на порог, чтобы лучше видеть, как, разметывая песок и отгоняя воду, садится на самую черту приборя ладный и верткий кораблик.

Двигатели выключились, призывно взывала сирена — отвратительный, неживой звук на этом мертвом берегу. Кирилл, морщась, ждал, когда ей надоест и она выключится, и продолжал машинально рвать свое письмо, и бумажные обрывки падали вниз, в крошево листьев и лепестков, и сразу становились неразличимы.

ЛГАТЬ ДО ПОЛУНОЧИ

Р а с с к а з

Ровная желтизна подымалась выше и выше, пока не заполнила своим теплым сиянием все небо, безоговорочно вытеснив предутреннюю синеву. Стойкость и бесшоропетность этого янтарного зарева порождали сомнение в его правдоподобии, если бы не две инверсионные линии, тянущиеся ввысь за невидимыми точками ракет. Линии пересеклись и стремительно побежали дальше, расплываясь и теряя свою геометрическую безукоризненность.

И все-таки... Белые пушистые нити, перечеркнувшие небо, точно заиндевелые провода, — и жаркая, неукротимая желтизна, какая бывает только над раскаленными пустынями.

Было в этом сочетании что-то от лукавого.

Еще некоторое время Алан лежал, просто и естественно радуясь этому золотому утру, и ничему другому. Потом вспомнил вчерашнее. Припомнилось все разом, и Алан даже тихонечко закричал, как от ощущения реальной физической тяжести, которую он сам навалил себе на горб, и ведь справился... Справился!

Алан упоенно гикнул, вылетел из постели и ринулся к окну, распахнутому от стены до стены. Эвоэ! Да здравствуют сапиенсы! Он прекрасно понимал, что со стороны он выглядит отнюдь не сапиенсом, а форменным орангутаном, золотым орангутаном, купающимся в золотом утреннем воздухе. Но глядеть на него со стороны было некому, и он перелетел через подоконник и плюхнулся в невысокую траву, оступился на чем-то круглом и растянулся во весь рост, благодаря судьбу за то, что здесь отродясь не водилось крапивы. Круглое оказалось теннисным мячом, по нерадивости Ухти-Тухти не разысканным с позавчерашней разминки. День позавчера выдался пасмурный, прохладный, вот он и позволил себе часок попрыгать у стенки.

Зато вчера было не до тенниса... При одном воспоминании о вчерашнем дне на него снова накатил такой вос-

торг, что он схватил мячик и с криком: «Тухти, ищи!» — швырнул серебристый шарик прямо в небо. Мячик угодил точно в пересечение белых линий, упруго скрикошетиловал и исчез где-то за бассейном. Махнув на него рукой, Алан разбежался, прыгнул в воду и дельфином пошел по периметру — бассейн был до безобразия мал, и чтобы получить хотя бы минимальное удовольствие от пребывания в воде, приходилось учинять цунами среднего калибра.

На травку он выбрался ползком, опрокинулся на спину и зажмурился. Никто ведь этого не смог, а у него получилось. Пусть он запустил аппаратуру всего на десять минут, да и то с опаской, что в самый неподходящий момент ему на голову свалится кто-нибудь совершенно посторонний и абсолютно невежественный, до которого с трудом дойдет не суть эксперимента — куда уж! — а только вся его еретичность и несомненная запретность, и тогда — все, такого стечения обстоятельств уже никогда не случится... Но никто не свалился, и он смог в тишине и одиночестве закончить начатое. Смог! При этом коротеньком слове, произносимом даже не вслух, но все же наполнявшем все уголки этой станции, его снова обуял такой восторг, что он свечой взвился вверх, словно обнаружил, что он лежит не на теплой синтетической траве, а прямехонько на заснеженном пляже для моржей.

— Тухти, бездельник! — заорал он во всю мощь своих легких, рассчитанных явно на больший объем, чем скромный свод автономной космической станции, на которой до недавних пор работал гравитационно-нейтринный маяк. — Где мой мячик, дармоед окаянный?

Тухти с победно задранными иглами, нежно-алый, словно недоваренный омар, выкатился из-за угла и внезапно замер, как будто врезался в невидимую стену.

— Вольно, — сказал ему Алан.

Тухти медленно опустил иголки, которые тут же кротко подогнулись книзу. В таком положении он удивительно напоминал маргаритку исполнинских размеров или, на худой конец, розовую волнушку. Мячик нехотя скатился у него со спины и тут же исчез под лопухом.

— Сколько тебе говорить: подавай прямо в руки, невежа, — назидательно проговорил Алан, нащупывая мяч босой ступней.

Тухти выпростал мордочку из-под роскошной шапки своих игл и с любопытством посмотрел на человека. При этом одно ухо у него было поднято, другое — опущено.

— Вот как был дворянгой, так дворянгой и остал-



ся, — ворчливо заметил Алан, и в подтверждение его слов Ухти-Тухти тут же высунул оба свои хвоста и завидлял ими в разных плоскостях.

— Ну, будет подхалимничать-то. — Алан вскинул руки, потягиваясь и, как всегда, жалея, что никто не догадался подвесить прямо к небу пару примитивных гимнастических колец. — Пойдем-ка в помещение, прикроем срам и сочиним добрый завтрак!

Он повернулся к лабораторному домику, подле которого, как часовенка Василия Блаженного, прилепилась кухня. Тело, обмытое морской водой и обсушенное теплым ветерком, положенным к желтому аравийскому небу, двигалось легко и упруго, и совсем не хотелось забираться даже в прохладный льняной комбинезон, а тем более — приниматься за какую-то работу. Но надо было торопиться, потому что по всегалактическим правилам, относящимся к наиболее соблюдаемым, ни на каких космических объектах, будь то станции, буйки, планеты или астероиды, людям не позволялось находиться в одиночку.

В любой момент мог подгрести какой-нибудь скутер, и уж тогда... Он встряхнул головой, отгоняя от себя навязчивое видение чужака, и тут же увидел перед собой Анну.

Она стояла неподвижно и, вероятно, уже давно, прислонившись к стене лаборатории, — тоненькая, словно бледный выюнок, поднимающийся вверх по серой кирпичной кладке.

— Необходимо дополнение, — проговорила она так, словно они расстались только вчера вечером, — срам прикрыть попроворнее, завтрак сочинить на двоих.

— Я тебя когда-нибудь убью, — пообещал Алан.

Он повернулся и пошел к своему коттеджу, тяжело ступая по скрипучей траве и тоскуя по той легкости, с которой он двигался минуту назад. В дверь он не вошел, а перегнувшись через подоконник, стащил с кровати простыню и соорудил из нее подобие тоги. В таковом виде и прошествовал на кухню, но вместо того, чтобы включить пищевой комбайн, принялся демонстративно нарезать антоновские яблоки в Тухтину миску. Потом насыпал в ручную мельницу можжевельных ягод и так же неторопливо перемолол их все, пока изжелта-белые кругляши яблок не покрылись слоем лиловой пудры. Услыхав издали лакомый запах, Тухти примчался со всех ног и ткнулся в миску, победно и небезопасно задрав свои плоские обоюдоострые иглы.

Алан всегда любил смотреть, как ловко и аккуратно насыщается этот зверек, но сейчас за спиной уже позвякивала посуда, утробно урчал и клочкотал комбайн, и оборачиваться — это значило делать первый шаг навстречу. Он сидел, не шевелясь, и только мысленно умолял своего ежа хрупать яблоки помедленнее.

— Вот еще грибы,— сказала из-за спины Анна, и Алан почувствовал, как ему в лопатку уперлась какая-то посудина.— Дай ему грибов, он по своей природе просто обязан их любить. А кстати, это он или она?

— Это кобель,— мрачно констатировал Алан, радуясь тому, что она сама начала разговор и теперь ему не придется как-то выпутываться из безнадежной ситуации, в которую обязательно выливается чересчур затянувшееся молчание.

— Садись к столу, стынет,— пригласили его.

Он присел, словно был тут в гостях. Стол сверкал изяществом сервировки, на тарелках (светло-оливковых, с тоненькой пурпурной каемкой — в тон ее платья) — бледные лепестки тепличного салата и ломтики консервированной дичи. Может быть, она ждет, что он достанет из своих закровов контрабандную бутылку? Не пройдет. Она собирается что-то сказать, так пусть разговор будет деловым.

— Омлет положить?

— Половинку... Спасибо. Так зачем ты пожаловала?

Она поставила на скатерть острые локотки, прислонилась щекой к сложенным ладошкам. Очень спокойное, очень светлое, совсем юное лицо.

— Я хотела немножко побыть с тобой.

Он видел, что это правда, вернее, частица правды, и прикусил язык, чтобы не спросить — а зачем? Потому что тогда она сказала бы уже неправду.

— Спасибо за заботу, но все работы я уже свернул. Не сегодня, так завтра мы с Тухти подсели бы на какой-нибудь сухогруз.

— Но по правилам до этого момента на твоей станции должен находиться еще один человек. Почему не я?

Он посмотрел на нее с нескрываемым отчаянием:

— Потому что ты мне всю душу вымотала. Потому что там, где появляешься ты, возникает вот такой оазис воплощенного женского чародейства...

— Так уж плохо?

— Это не плохо, пока это есть. Но когда потом начи-

наешь вспоминать все это... О, чертовщина, меня уже повело жаловаться!

— Но ведь это ты всегда прогонял меня.

Опять же как спокойно и как безапелляционно! Он, видите ли, ее прогонял. Так ведь и прогонял, именно так, а не иначе. Потому что от скуки и в силу своих колдовских талантов она умудрялась переворачивать не то что вот такие маяковые буйки — целые планеты. Вот и сейчас, спрашивается, каким образом она сюда попала? Ведь ее экспедиция находилась в совершенно другой зоне дальности, никаких транзитных лайнеров из тех краев не прибывает, а это значит, что она подняла шум на все Пространство, и уговорила кого-то сделать чудовищный крюк, чтобы подбросили ее сюда, и ведь надо же — все ее слушались, а кого она не сумела убедить, тот просто дрогнул перед ее напором, и вот она здесь наперекор здравому смыслу и тем более — режиму экономии горючего...

— И тебе снова захотелось побыть со мной, несмотря на опасность, что я снова тебя выгоню?

Она посмотрела на него как-то исподлобья — взгляд был новый, непривычный, как платье после всех бесчисленных комбинезонов, предписываемых космическими традициями.

Он принялся складывать посуду в раковину. М-да, раньше она всегда глядела на него прямо, широко раскрытыми посторонними глазами. А теперь в ее взгляде была и мгновенная оценка всего того, что сейчас с ним делалось, и еще что-то — сострадание? Но она вовремя спохватилась — не нужно было ему этого замечать.

Неужели он уже выглядит в ее глазах жалким? Ну, если и так, то он не даст ей возможности наслаждаться подобным зрелищем продолжительное время.

— Спасибо, — сказал он, резко подымаясь. — Я не задержу тебя. На сборы мне нужно не больше двух часов.

Он прошел к себе, старательно оделся. Никакой небрежности, но и без нарочитой парадности. Вытащил из ниши свои книги, катушки с записями, ракетки. Только личные вещи, а что касается генераторов — станция законсервирована, и весьма возможно, что снова понадобится только через много десятков лет. Кому тогда придет в голову, что аппаратура расставлена и скомпенсирована как-то слишком причудливо? Реле длительности, что вынесено на внешнюю оболочку, вообще не найдут. Как говорится, концы в воду. Сложиться быстренько, и тогда мож-

но дать кодированный пеленг всем проходящим кораблям — кто-нибудь да подберет. Чтобы недолго тут ждать...

— Так я побуду с тобой, раз уж я для этого прилетела?

— Ты прилетела, чтобы быть моим дублером. Так что потрудись пройти в генераторную и проверить режимы защитных блоков.

Она снова быстро и удивленно глянула на него, потом забралась на его аккуратно застеленную постель и, скинув туфельки, подобрала ноги.

— Это ты своего ежа будешь гонять по станции, — сказала она, — в хвост и в гриву. Я просто хочу побыть с тобой. Как раньше.

А вот этого она лучше бы не говорила.

— Как раньше? А ты хоть помнишь, как это было — раньше? Во всяком случае, мы не просто были друг с другом. Не помнишь? Ну, так я тебе напомню, как это было раньше...

Ведь должно же было хоть что-нибудь дрогнуть в ее спокойном лице, но оно по-прежнему было так невыразительно, так безмятежно, что хотелось схватить его в руки, и мять, и ломать эту светлую непроницаемую корку, обнажая то сокровенное, что она привезла с собой и так старательно прятала, — до поры...

До какой поры?

Он жадно всматривался в ее лицо, в то, как медленно, без малейшего трепета опускаются ресницы, как тихо шевелятся чуть подкрашенные губы — «пожалуйста, потуши небо...» Он нашарил на стене выключатель, внезапная темнота полыхнула со всех сторон, и все стало, как раньше.

А потом наступило отрезвление и вместе с ним пришла разделенность, как он понял, теперь уже необратимая.

Он тихонько сполз с постели, ошупью пробрался в ванную, совершенно не тревожась тем, что под ногами может оказаться клубок пронзительно режущих дикобразьих игл. Не зажигая света, он бросился ничком на теплую кипарисовую решетку и пустил воду.

Она всегда была его другом и помощником, эта вода, насыщенная пузырьками веселого колючего воздуха, острого, как можжевельник, и пряного, как слова, которые говорятся в тот миг, когда невозможно сказать ни слова. От начала дней его и во веки веков вода смывала с него всю нечисть, всю горечь, надо было только довериться ей, и она изгоняла из него все, что не было так же чисто и свежо, как она сама. Но сейчас вода утекала в душистую

кипарисовую глубину под решеткой, а горечь оставалась. Уже начав задышаться, он дотянулся до двери и чуть-чуть приоткрыл ее.

Прозрачно-золотой клин разрубил парную темноту, и Алан прикинул, что времени прошло более чем достаточно для того, чтобы подняться, прибраться, застелить постель и вообще повести себя так, словно ничего и не было. Ну, хватит же у нее если не ума, то хотя бы жалости, чтобы это осознать?

Он выключил воду, нашарил в шкафчике какую-то одежду, натянул ее прямо на мокрое тело и вошел в собственную спальню, как в старые времена подымались на эшафот.

Она так ничего не прибрала. Она даже с постели не поднялась, а лежала на краю, свесив руку, разметав короткие, развившиеся прядки волос, и негодяй Тухти, лежа на спине, пытался подпрыгивать, пружиня и отталкиваясь от пола иголками, и когда это ему удавалось и он дотягивался до свесившейся руки, он покусывал кончики пальцев, что было щекотно и безболезненно.

— Зверь, уберись, — шепнула она, когда услышала приближающиеся шаги. — И уберись побыстрее, а не то тебя сочтут ренегатом...

Тухти послушно испарился.

Алан подошел к постели, присел на корточки, стараясь заглянуть в ее лицо, но светлые жесткие прядки прятали от него глаза, и щеки, и нос, оставляя для обзора лишь изящно очерченный, своенравный подбородок. Это Алана отнюдь не устраивало, и он протянул руку, чтобы отвести от лица эти прядки.

— Если ты полагаешь, что твои наполеоновские манеры дают тебе право дергать меня за косички, то ты ошибешься, — донеслось из-под тускло-золотой шапки.

После таких вот скоростных сцен она и раньше дразнила его Наполеоном, вкладывая в свои слова затаенную, понятную ей одной насмешку, и он каждый раз не решался спросить ее, что именно она имеет в виду, опасаясь услышать, что-де не что иное, как Ватерлоо. Сейчас он также меньше всего хотел бы углубляться в исторические аналогии, но просто нужно было от чего-то оттолкнуться, и он сказал:

— Я в Наполеоны экстерьером не вышел, да и ты ведь не мадам Рекамье. Ты моя жена, ты моя беда...

— Слышу что-то новенькое! — изумилась она, приподымаясь на локте и отводя назад свои волосы, так что на

какую-то минуту превратилась в маленького алебастрового сфинкса с огромными удлиненными глазами. — Я сейчас быстренько оденусь, и мы вплотную займемся сборами, а ты тем временем докажешь мне свою гипотезу о шашнях прелестной Юлии-Аделаиды. Ведь до сих пор как-то считалось, что с Буонапарте она ни сном, ни духом... Туфельки дай. Да не на ту... Ага. Первая леди твоего королевства благодарит тебя, ясновельможный сэр. А что до того, что я — твоя беда, то это было очевидно с самого первого дня нашего бесподобного супружества. Платье, пожалуйста... По-моему, я достаточно просидела голой, чтобы чувствовать себя отомщенной за твой утрешний костюм. Ой... Меня еще в жизни не одевали с такой ненавистью.

И снова его ужаснуло то спокойствие, с которым она произнесла эту фразу, — спокойствие, которое не позволяет ничего обратить в шутку. Но до шуток ли было ему...

— Анна, — проговорил он через силу, — почему ты говоришь о ненависти, когда видишь сама, что я просто и бессмысленно продолжаю тебя любить?

Она долго и внимательно смотрела на него, и снова он не мог понять, что же кроется за этой паузой, потом сказала:

— А если любишь, то зачем мы сейчас говорим все это друг другу? Пойдем работать, я уверена, что у тебя в блоке обеспечения еще полнейший бедлам.

Она встала, деловито затянула поясок и направилась в блок обеспечения — разгребать полнейший бедлам, и он обреченно поплелся следом, зная, что там все в порядке, и приборы зачехлены, и киберы размонтированы, и анализаторы обесточены, придаться не к чему, но она критически скользнула светлым оком по синтериклоновым чехлам и постучала носочком плюшевой туфельки по лежащему на полу теченскателю:

— Год-два он проваливается в безопасности, а вот три-четыре десятка лет — вряд ли. Станцию может прошить, при спадении давления синтериклон выдержит, но вот застежки... У тебя есть под рукой хотя бы гипоцем в азрозольной тубе? Залить все швы — пустяковое дело, до обеда управимся, только зверюгу своего убери, нюх у него тонкий, еще зайдетса...

Ни в какой инструкции о заливании швов вакуумным пластиком и речи не было, но Алан послушно приволок коробку с яркими тубами, и они добрых два часа предавались этому занятию, и она действительно хорошо знала свое дело — неплохой химик-аналитик, она, как и все чле-

ны комплексных экспедиций в Дальнем Пространстве, умела и могла непредставимо много для хрупкой и взбалмошной молодой женщины. Он, не пряча жадного взгляда, неотрывно следил за ее движениями, за тем, как острые коленки обрисовываются под светло-зеленым платьем, заляпанным пенными кляксами, как дисгармонично розовеет ободранный правый локоть, и, боясь до конца признаться себе в том, что только такая и только сейчас она и близка ему по-настоящему, он молился теперь об одном: только бы она не устала, потому что когда кончится эта суета — еще черт ее знает, что Анна выкинет...

Устала она неожиданно, и присела прямо на какой-то зачехленный прибор, и сказала:

— Ну, вчерне вроде все дырки заткнули, а если где и осталось, то гори оно синим огнем, ладно?

— Ладно, — восторженно согласился он. — А хочешь, я тебе настоящий синий огонь учиню?

— Пунш? — живо заинтересовалась она.

— Почему это — пунш? Вот уж, действительно, чисто женские ассоциации... Просто у меня небесный свет в семидесяти вариантах. Для себя я полагаюсь на случайный выбор, но если ты хочешь, я покопаюсь в катушках и найду настоящее северное сияние. Хочешь?

— Ты мне найди лучше кусочек хлеба с маслом...

— Господи всевышний, творец черных дыр и прочего космического непотребства! Да я тебе сейчас такого наготовлю... Иди, мой руки.

— Иди, иди... А если у меня ножки не ходят?

Он схватил ее на руки и, не вполне соображая, что делает, потащил не в душевую, а через всю лужайку, к бассейну. Бесцеремонно потряс, освобождая ноги от туфелек, и когда они шлепнулись на траву, усадил ее прямо на низенький барьерчик, так что босые ступни окунулись в теплую воду.

— Тухти! — крикнул он и, когда еж примчался, виляя хвостами и тем выражая предельную готовность к выполнению приказов, велел:

— Отнеси эти плюшевые галоши в комнату и не смей их приносить, как бы тебя ни обхаживали. Будут взятки совать — попробуй только дрогнуть!

— Обречена на босоножество? — с любопытством спросила Анна. — Ножки наколю. Белые.

— А ты вообще больше не будешь ходить. Отныне и во веки веков. А токмо пребывать у меня на руках.

— Отныне. И во веки веков. — Она произнесла это с

таким спокойствием, что снова у него всколыхнулось что-то внутри.

Не к добру...

— Ты поплещись,— крикнул он как можно веселее, отгоняя эту непрошеную тень,— ты побрызгайся, а я уж что-нибудь приготовлю. Ты ведь у меня не привереда?

— Я у тебя не привереда,— проговорила она так спокойно и так обстоятельно, словно после каждого слова ставила точку.

Он отмахнулся от этого спокойствия, как от наваждения, и помчался на кухню. Врубил комбайн на сверхскоростной режим. Бросился обратно, к теплой раковине бассейна, отражавшего безоблачное золотое небо.

— Страшно окунаться,— призналась Анна.— Такое впечатление, что по поверхности разлилась какая-то тонюсенькая пленочка. Вылезешь из воды — и на тебе все цвета побежалости, как на придорожной луже.

— Почто так непоэтично? Сказала бы — как на венецианской майоликовой чаше...

— Точно. Как на майоликовой лоханке!

— Анна, фу!

— Как на майоликовом урыльнике. Знаешь такое слово? Нет? Напрасно. Ты только вслушайся: ур-рыльник!

— Анна!

— А как звучит! Это же серебряный взлет фанфар под барабанную дробь! Ах, Алька, не умеем мы слышать... Урыльник!!! Да с этим словом надо бросаться на подвиг, в битву...

— Ежа постеснялась бы.

— Ах да, братья наши меньшие... Между прочим, это у меня голодный бред. Где обещанный кусочек хлеба с маслом?

— Ой, бедная моя, я сейчас...

— И с икрой!— крикнула она ему вдогонку.

Он слетал на кухню и тут же вернулся, нагруженный, как гобийский дромадер. Край скатерти, перекинутой через плечо, волочился по траве.

— Замори червячка, а там и картошка спечется.

— Это какой такой червячок имеется в виду?— подозрительно спросила она.

— Не знаю... Фольклор,— растерялся он.

Она посмотрела на него и фыркнула:

— Знаешь, какой ты сейчас со стороны? Как будто опустил все иголки и подвернул их под себя.

— И стал нежно-сиреневым.

— А что, эти твари еще и цвет меняют? Ты, между прочим, стели скатерку, раз принес.

— Меняют, куда же им деться. В зависимости от настроения. Подержи-ка хлебницу... А знаешь, перетащу-ка я тебя во-он туда, у меня там две грядочки — одна с зеленью разной, петрушкой да кинзушкой, а другая — с клубникой.

— Живые? — восхитилась она.

— А как же? Пока я по другим маякам шастал, у меня тут специальная программа работала, поливально-светоносная. По точнейшему субтропическому графику. Зато всегда на столе — свежая закуска.

— Закуска! А...

— «А» тоже имеет место. Контрабандой, разумеется, но ты моя законная жена, а посему не можешь свидетельствовать против меня на суде.

— А что, были такие правила?

— Ага. Когда были суды. Ну, посиди еще немного, моя умница, я все устрою.

Он наклонился, привычно поцеловал ее в теплый золотой висок и помчался все устраивать. Все или не все, но пушистое ложе с банкетным столом он учинил в полминуты — для этого пригодился вигоновый плед, брошенный в ложбинку между грядками.

— Это — старый-престарый коньяк, — предупредил он, отвинчивая крышку на причудливой, антикварного вида фляге. — Пожалуйста, не обманись в его крепости.

— Цхе-цхе-цхе, какая забота! А что, старая алкоголичка тебе сегодня не требуется?

Он знал, что Анна не умела пить вино — в Пространстве такое случалось слишком редко, а на Земле хватало удовольствий и без этого. Он налил совсем понемножку.

— За то, что ты пришла, — сказал он.

— Короче — со свиданьем!

— Нет, — повторил Алан. — ЗА ТО, ЧТО ТЫ ПРИШЛА.

Он не старался придать своему голосу особую благоговейность, просто так получилось, и он наконец заметил, как дрогнули у нее глаза — не ресницы, а именно глаза. Что-то с ними произошло — то ли сузились зрачки, то ли цвет мгновенно потемнел...

— Ты знаешь, — поспешно проговорила она, словно стараясь снять этот невольный налет высокопарности, — мы лежим нос к носу, как два крокодила.

Он вытянул шею и постарался посмотреть на нее сверху.

— А ты действительно похожа на маленького светло-зеленого крокодилчика, и быть вблизи такого носа я отнюдь не возражаю. Только не болтай задранной ногой, босой притом — это нарушает сходство.

— А ты ожил, как рептилия на солнце. Изъясняешься высокопарно. А когда я прилетела, ты только и мог, что обещать меня прибить.

— Убить. Это разные вещи — вернее, разные обещания. Кстати, почему ты появилась так незаметно?

— Я прилетела где-то ночью, свет был погашен, небо темное, вот я и задремала на каком-то диванчике там, в закутке у шлюзовой. Проснулась — небо золотое...

— Я уже запрашивал диспетчера, нас подберут не раньше, чем утром, так что завтра я сотворю тебе самое синюшее на свете небо — эдакое сапфировое яйцо изнутри...

— Выведенное. Спасибо. Не скажу, что оно очень пойдет к моему оливковому платью, да еще и мятому. Нет уж, если хочешь быть до конца галантным, то раздобудь мне нежно-яблочный оттенок — ну, как шкурка у спелой антоновки.

— Будет тебе шкурка спелой антоновки. И серединка будет. Все тебе будет, моя умница, совушка моя ночная перелетная...

— Что касается ночных тварей, то предпочитаю жабу.

— Про жаб ты рассказывала мне в ночь с восемьдесят четвертого на восемьдесят пятый день нашей супружеской жизни. Подумать только, с какими тварями ты меня примирила! Тухти вот таскаю с маяка на маяк. Как по-твоему, он хорош?

— Бесподобен. Тухти, не лижи мне пятку, подхалим несчастный!.. Ой! Алька, заberi его немедленно, иначе я...

Алан осторожно подsunул руку под теплое, безопасное брюшко и, размахнувшись, швырнул ежа прямо в бассейн. Раздался специфический звук — сумма плюханья и хрюканья.

— Ну вот, и я, как мрачный зандовский Альберт, пожертвовал ради тебя своим единственным другом.

— О, господи всемогущий и всепространственный! Обереги нас от черных дыр и сентиментальной старухи

Жорж. Ты что, совсем свихнулся в своей глуши, что читаешь эту бретонскую корову?

— И не токмо. А все, что вольно или невольно ассоциируется с тобой. Вот, например, Саади...

— Который целовал исключительно в какое-то хрестоматийное место.

— Ну, конечно, ты всегда была нетерпима к традиционализму. Но тысячу лет назад не было ни традиций, ни штампов, и вот как разговаривали с любимой, только послушай: «...и зубами изумленья небо свой прикусит палец, если ты с лица откинешь...» Ну, в общем, что-то там откинешь.

— И что-то обнажишь.

— Анна, ты опять?

— Вот до этих самых пор.

— Дразнишься?

— У-у-у! Провоцирую! Да еще как.

— Анна! Анна, я...

— Алька, ты меня не любишь, ты меня только хочешь!

Ох, как он ненавидел эту ее формулу!

— Если бы ты только могла представить себе, что это такое — столько времени мотаться с маяка на маяк и любить тебя платонически, на расстоянии в десятки парсеков...

— Точнее — ненавидеть.

— На таком расстоянии это одно и то же. Но теперь ты пришла...

Она проворно перевернулась на спину и приподняла руку ладонкой вверх. На ладони стоял пустой стакан.

— Налей-ка мне еще этого дивного пойла и не жадничай. А пока мы будем пить, придумай мне какую-нибудь сказочку поправдоподобнее, почему это вчера вечером, когда мы подлетали, твоего маяка не было на месте.

Вот этого он никак не ожидал. А он-то наивно полагал, что его эксперименты останутся тайной для всей Вселенной! Сердце колотилось так сильно, что в такт ему подрагивали руки. Чтобы как-то скрыть эту дрожь, Алан пошарил вокруг себя — наткнулся на флягу. Снова свинтил крышечку и старательно отмерил ей полстакана. Подумав, добавил еще. Ну и вопрос! Хотя что — вопрос. Знала бы Анна ответ...

— То есть как это — маяк пропал? — спросил он вполне естественным тоном.

— А вот так. По координатам выходило, что он должен был торчать у нашего крейсера прямо под килем, а ни гравилоратор, ни визуальные приборы ничего не показывали. Пеленга, естественно, тоже не наблюдалось. Мы

уж думали — прямое попадание. Разнесло какой-нибудь праздношатающейся глыбой, хотя это и архималовероятно. А через пару минут глядь — все на месте. И пеленг исправный. Бывало у тебя подобное?

— И не такое бывало,— равнодушно проговорил Алан, делая вид, словно задерживает дыхание исключительно из любви к неповторимому букету.— Я давно уже замечал, что на корабле, который почтен твоим присутствием, половина команды автоматически теряет способность логически мыслить. Вероятно, теперь твое очарование распространилось и на приборы.

— Складно врешь,— удовлетворенно проговорила она, приподымаясь на локте, чтобы отпить из своего стакана. Просто удивительно, до чего же она спокойна! У любого другого человека в таком положении неминуемо начала бы дрожать рука. А эта — нет, и тонкая лабораторная посуда безмятежно поконится на узкой ладшке.

Он тоже сделал глоток, заел краснобокой недозрелой клубничиной.

Он ничего не хотел ей рассказывать, хотя трудно было удержать все это в себе — то, что до сих пор, наверное, не испытал ни один человек на Земле... И не на Земле — тоже. Ведь что бы он ни вкручивал сейчас Анне, а станция-то действительно пропадала, исчезала из реального континуума на несколько заданных минут (и надо ж было этому крейсеру подгрести именно в это время!), и что самое страшное — это то, что Алан наблюдал все это со стороны.

Он заблаговременно облачился в скафандр и выплыл в пространство, нетерпеливо поглядывая то на ручной секундомер, то на матовый гигантский пузырь станции, серебрищийся точно кокон водяного паука. Алан прекрасно знал, что именно должно произойти, он был подготовлен к этому и не испытывал ничего, кроме естественного любопытства, и все-таки ужас, который охватил его в тот момент, когда этот кокон превратился в НИЧТО, был просто ни с чем не сравним. Может быть, что-то подобное он ощущал в самой первой своей экспедиции, когда впервые в жизни увидал человеческий труп.

Но тогда это была смерть человека — в сущности, явление страшное, но реальное, если не сказать более. Каждому человеку предстоит умереть.

К тому же тогда вокруг него были другие люди.

А сейчас рядом с ним была временная смерть мате-

рии, и такое даже представить себе было невозможно, настолько это было нереально. Алан предусмотрительно держался поодаль, и тем не менее у него возникло ощущение, словно у него выдернули опору из-под ног. В стремительно навалившемся на него оцепенении Алан осознал, что на миллионы километров вокруг не существует ни одной материальной пылинки, и, прежде чем он успел что-нибудь обдумать, руки его уже сами собой нащупали кобуру реактивного пистолета, и мягкий толчок отдачи бросил его прямо на то место, где совсем недавно была станция.

Там была преграда. Нечто. От него можно было оттолкнуться, и оно тотчас же исчезало, и сознание снова мутилось от ужаса, так что Алан даже не мог потом припомнить, просвечивают ли звезды сквозь это нечто или нет.

А потом станция появилась, как ни в чем не бывало, но даже сейчас при одном воспоминании об этих минутах на Алана накатывал такой ошеломляющий страх, что делиться им с Анной он не мог и не хотел.

Вместо ответа он в третий раз отвинтил крышечку с заветной фляжки и, пока темно-золотая струйка мягко вливалась в согретый ладонями стакан, лихорадочно придумывал, на что бы такое перевести разговор, чтобы уйти подальше от таинственного исчезновения станции.

Он чувствовал, как деревенеет его тело в вязкой тишине непомерно затянувшейся паузы. А может, все-таки сказать правду? Иначе с какой-то периодичностью вопрос этот будет повторяться, и каждый раз вот так же неметь, маясь от неумения соврать... Сказать?

Черта с два. Ничего он ей не скажет, и промолчит он вовсе не потому, что не хочет делиться с ней кошмаром пережитого.

Он уже догадывался, почему он промолчит...

— Ирод!— вдруг завопила Анна тоненько и оглушительно.— Утопил зверя!

Она взвилась вверх, словно ленточка светло-зеленого серпантина, и Алан глядел теперь на нее снизу, помаргивая от перекрестного эха, рушащегося на него со всех сторон.

— Зверь!— кричала Анна, и уже было совершенно непонятно, кому адресуется ее крик.

— Прекрати вопли,— попросил Алан.— Перед ежом стыдно. Он же водоплавающий, я его на дно раз пять окунаю. И вообще, кто тебе позволил стать на ноги?

Я же сказал — все твое дальнейшее существование будет проходить у меня на руках.

Она задрала подбородок и принялась разглядывать небо, словно голос доносился именно оттуда.

— А мне уже не позволяют?... — тихонечно, как бы про себя, удивилась она. — Ну, ладно, тогда лови.

Он едва успел приподняться и протянуть руки, как она обрушилась на него.

— Сорок шесть килограммов, — доверительно шепнула она, — это все-таки слишком много для одной клубничной грядки, не так ли? Сорок шесть килограммов бабьей плоти и двести граммов коньяка.

Она лежала у него на руках, и ему совершенно безразлично было, что она будет говорить.

— Твой утопленник явился, — обрадовал ее Алан тоже шепотом.

Анна приподняла ресницы и скосилась на Тухти, который сидел на краешке грядки, оглаживая свое брюшко сверху вниз — сгонял остатки влаги, и сдержанно облизывался.

— Ладно, доедай, пока я добрый, — сжалился Алан, — все равно ведь завтра улетим, никому это будет не нужно.

Вместо того, чтобы порскнуть в клубничник, еж вдруг как-то недоуменно оглядел Алана, все еще державшего Анну на руках, и вдруг разом посветлел, зайдясь бледными перламутровыми бликами.

— Это он так смущается? — спросила Анна.

— Замерз, наверное, — буркнул Алан. — Ну, пошевеливайся, баловень, скоро стемнеет.

— Он боится темноты?

— Это я его боюсь в темноте. А посему загоняю в закуток.

Тухти перестал чесать белое брюшко, опустился на четыре лапки и, скорбно подрагивая хвостом, исчез за грядкой.

Алан знал, почему еж побледнел: каким-то загадочным образом этот зверек угадывал ложь, которую он органически не переносил. Стоило Алану солгать, и Тухти тут же стремительно утрачивал свой великолепный марсианский багрянец.

Но вот таким обесцвеченным, до лягушачьей прозелени, как сегодня, Алан не видел его ни разу.

Анна же знать этого не могла, и не нужно было ей это знать.

— Темнота,— повторила она.— Поскорее бы. Устала я от твоего золотишка. Думала, оно сгинет куда-нибудь, так ведь нет, весь день сияло, как проклятое. Одно спасенье — на коньяк похоже. Вот и вечер пришел, и теперь оно...— Она задышала прямо в ухо Алану, так что у него защекало где-то возле барабанной перепонки.— По закону сохранения материи оно исчезнет с неба и перельется — в меня. Погляди, я стала тоненькая-тоненькая, аж прозрачная. И позваниваю тихонько. Не слышишь? Странно. Я ведь превратилась в тонюсенькую золотую пластинку. Подними меня повыше и посмотри сквозь меня на что-нибудь — я ведь просвечиваю... Ну, поднимай, поднимай, не бойся, только не отпускай — я улечу...

Она вдруг оборвала свое полусонное бормотанье, и он с ужасом понял, что она совсем не пьяна, а просто расслабилась, чтобы позволить себе отдохнуть, отключила все тормоза; но когда усталость пройдет, она деловито поднимется, кликнет Тухти, чтобы принес ей туфельки, и все кончится.

— Анна,— потерянно зашептал он,— Анна, Анна...

Он твердил только это, целуя сонное лицо, но тут увидел ее глаза, зеленые колодезные глаза, распахнувшиеся так широко, что он невольно поперхнулся и смолк.

— Господи, да почему же — нет?— проговорила она с безмерным удивлением.— Ну почему — нет?..

И он понял, что она говорит не ему, а самой себе. И еще на него вдруг напал (вот уж совсем не к месту!) приступ глобального виденья, и он разом представил себе ту вселенскую даль, из которой она прилетела к нему, и всю ту массу занятых людей, которых она оторвала от дела, перевернула все их планы и все-таки убедила в правомочности своего каприза, и все это вместе было сущим пустяком по сравнению с тем, что она сумела-таки прийти к согласию с самым взбалмошным, непостоянным и несговорчивым существом во всем Пространстве.

Она о чем-то договорилась сама с собой.

Что-то промелькнуло в душе Алана, какой-то мгновенный всплеск, но она попросила тоненьким детским голоском:

— Алька, да заслони ты от меня это окаянное небо!— И он больше не мог ни думать, ни взвешивать, ни сомневаться.

И они больше не видели, как медленно коричневеет и угасает это небо, как стихает ветер, и не было им дела до

того, что земной вечерний запах петрушки и тмина лениво ползет в ложбинку между грядками и безнадежно запутывается в ворсинках лилового пледа.

А потом совсем стало темно, и зажглись звезды, такие яркие, что можно было уже посмотреть на часы. Алан осторожно освободил руку, оттянул рукав и глянул на циферблат.

Было без двадцати двенадцать.

День остался позади, день, полный отчаянья и блаженства, надежд и разочарований, полный ее голоса, яблочных бликов ее платья, нежного угара ее волос, перемешанного с домашним огородным духом, застоявшимся между грядками. И другого такого дня никогда не будет, потому что это был самый счастливый и прекрасный день его жизни. И этот день прошел.

Он наклонился, осторожно просунул руки под плед и поднял Анну. Она не проснулась, только беспокойно завила щекой по грубому ворсу, отыскивая, куда бы ткнуться носом. Ни секунды не колеблясь, он отнес ее в лабораторный корпус, в маленькую комнатку рядом со шлюзовой. Опустил на диван. Она и тут не проснулась, пробормотала что-то невнятное, в чем он очень постарался услышать собственное имя. Он торопливо поцеловал ее, и тогда она повторила отчетливей, так что он сумел разобрать: «Разбуди меня... сразу после полуночи...»

...Ровная желтизна заполняла собой все небо, и две белые инверсионные линии, забираясь все выше и выше, усугубляли правдоподобие этого земного утра.

Анна потянулась, дивясь редкой крепости своего сна, но тут же вспомнила все свои многочисленные пересадки: с грузовика — на заправочный буюк, с буйка — на лайнер-подпространственник, и так далее. А время везде местное, корабельное, из утра окунаешься прямо в вечер, или ночь следом за ночью, и ни поспать толком, ни пообщаться, хотя на каждой посудине как минимум два-три знакомых. Но вот после сегодняшнего блаженного сна и тело, и нервы пришли в норму, и теперь она лежала, глядя вверх и тихонько расправляя на себе не снятое почему-то платье. Поначалу ей казалось, что сквозь тонкую ткань ее ладони вбирают всю свежесть, молодость и независимость, которые прямо-таки излучались ее телом и до обидного бесполезно рассеивались в Пространстве.

Потом поняла — нет. Не тело. Это было блаженство

ощущения теплой живой ткани, из которой было сшито ее платье — именно платье, маленькое, удивительно женственное, облежавшее ее, как лягушачья шкурка бедную заколдованную царевну. Земное платье, а не осточертевший космический комбинезон. Но с комбинезонами будет покончено. И не когда-нибудь, а через десять минут.

Итак, короткий разговор с Аланом — такие сцены не должны быть ни длинными, ни эмоциональными. Факт в чистом виде и классической формулировке. И все. За день мимо пройдут два лайнера, это она выяснила, кто-нибудь из них да подберет. Разумеется, одну.

Она упруго поднялась, в последний раз пригладила свое многострадальное платье, и тут только до нее дошло, как же она будет смотреться в своем светло-оливковом кимоно с карминным кантом — и под этим ослепительно желтым небом! М-м-м...

Цветовые диссонансы она воспринимала болезненно, до стога, до одури, мгновенно впадая в смятение или бешенство. А багаж уже на Большой Земле, и с собой решительно ничего!

Закутаться в простыню? У нее не античная фигура.

Раздеться совсем? Поймут неправильно.

А вообще-то на этих маяках имеется переключатель погодно-световой программы. Так что не надо ждать милостей от природы. Нужно только незаметно выбраться, пока Алан не проснулся...

Она нашарила туфельки, отворила дверь и очутилась нос к носу с абсолютно голым супругом.

Ну, что тут будешь делать? Оставалось только стоять и любоваться. Благо было на что. Нет, без шуток, здесь решительно было на что посмотреть. Мало того, что сложен он был как юный и неспорченный еще сатурн — в этом золотом сиянии он и сам, казалось, светился ровным светом одухотворенности. Одним словом, аура.

«А ведь я его действительно нисколько не люблю, — подумала Анна. — Ничутьеньки. Иначе мне стало бы больно от того, что без меня ему и не грустно, и не холодно. Даже напротив. Вон ему как привольно живется! И дышится. И прыгается. И дурачится... господи, да с каким же это розовым чудом? Вероятно, это вместо кошки или канарейки. Или вместо меня... Но мне ведь не больно. Мне — никак. Хотя нет, вру. Я ведь стою и люблю, да мне просто радостно, что этот дивный мужик был моим господином и повелителем... То есть не то, чтобы был — а бывал. Ну, вот я его таким и запомню. Только

нужно побыстрее сказать все, что я собиралась, и поставить точку на нашем... на моем космическом бродяжничестве. Вот так. Я, Анна Первая и Прекрасная, возвращаюсь в свои земные владения, дабы царствовать там одиноко и радостно. Такова моя королевская воля».

Она знала, что надо торопиться, потому что при первых же ее словах этот сказочный золотой мальчик, которым она любовалась беззастенчиво и безразлично, исчезнет, и останется только раб, который будет заглядывать ей в глаза снизу вверх, стараясь угадать, что же такое сделать, чтобы заслужить подачку ее ласки.

Поэтому она страшно обрадовалась, когда он сказал что-то своему рыжему чуду, что-то про срам и про завтрак. С набитым ртом разговор получается всегда как-то непринужденнее, можно будет обойтись без вступления и улететь сразу же, встав из-за стола.

— Необходимо дополнение, — сказала она, даже не здороваясь, устанавливая на весь последующий разговор дружеский и непринужденный тон. — Срам прикрыть попроворнее, завтрак сочинить на двоих.

Так и полыхнуло от него темным светом, и кулаки сжались с такой силой, что волна напрягшихся мускулов побежала вверх по обнаженным рукам, взметнулась на плечи и пропала за спиной, сойдясь между лопатками. На какой-то миг ей показалось, что над ней навис альфа-эриданский пещерный медведь.

— Я тебя когда-нибудь убью, — пообещал он и, повернувшись, пошел прочь, голый и невообразимо дикий.

Вот тебе и на! Именно сейчас, когда нужно было начинать свою программную речь, он вдруг предстал перед нею таким, каким она его в жизни еще не видела.

Но ведь она еще не начала.

«В конце концов, — сказала она себе, — от объяснения все равно не уйти, поскольку я не собираюсь отступать от своего решения. Пусть фавн, пусть бог, пусть золотой зверь — все равно это ненадолго, а затем я начну его угнетать, отвлекать от, заводить на, приводить в... короче, придется перебираться в другую зону дальности. Конечно, он никогда не спросит, как я развлекаюсь в этой самой зоне — ну не настолько же он атавистичен. Но все-таки я связана. И не ощущением своего замужества — за последние полтысячи лет брак наконец-то стал тем, чем и должен был всегда быть, то есть состоянием удобным, как хорошо сшитая перчатка: греет, но не давит. Нет, пока я связана с Аланом, меня гнетет имен-

но мое положение властительницы. Какой чудак в глубокой древности умудрился во всеуслышанье изречь, что мы в ответе за тех, кого приручаем? Четвертовать надо за такие светлые мысли. Привязывать к четырем астероидам... Потому что услышишь такое — и привяжется на всю жизнь. Но теперь с этим покончено, покончено, покончено... будет покончено — часа через два. А два часа — на любованье этой неожиданной дикостью. В конце концов, могу я позволить себе такой каприз? Могу, потому что хочу. Такова моя королевская воля».

И она направилась своей королевской поступью к кухонному комбайну.

Акт принятия пищи необыкновенно сближает, если, естественно, едят не тебя, — это знает каждая настоящая женщина. Кормление любимой собаки сближает вдвойне. Это знает каждый настоящий человек. Следовало провести совместное кормление розового ежа, и надо сказать, что Анна вклинилась в этот процесс просто мастерски. Накормить затем мужа уже проблемы не составляло. Но плавность сближения была резко нарушена чудовищно некорректным вопросом Алана:

— Так зачем ты пожаловала?

Хм, зачем... Она смотрела ему прямо в лицо, опершись на стол острыми локотками, словно ножками циркуля. Если сказать ему, зачем она действительно сюда прилетела, то это значит провести магическую черту, которую никто из них уже не переступит.

— Я хотела немножко побыть с тобой.

Это не правда и не ложь — это частичка правды, начало объяснения. «Побыть с тобой, чтобы сказать тебе...» Пока она еще не солгала ему, пока она просто не сказала правды.

«Ну-ну, — прикрикнула она на себя, — самой себе-то и совсем незачем врать. Да, я уже лгу. И буду лгать до полудня. Пока не налюбуюсь. Уж очень ты, оказывается, хорош, когда у тебя шерсть дыбом».

И, как назло, шерсть начала опускаться — тут тебе и измотанная душа, и оазис женственности, и воплощенное чародейство...

«А вот уж нет, — сказала она, теперь уже обращаясь к нему, — и не подумай возвращаться к своему номинальному состоянию. Потому что я тебя все равно сейчас вздерну на дыбы! Раз уж я пожелала, то быть тебе золотой гориллой до тех пор, пока будет на то моя воля».

— А не ты ли сам всегда прогонял меня? Не ты ли

вышвыривал меня в Пространство, как шелудивого котенка? Не ты ли...

Впрочем, кажется, этого она уже не говорила.

Но и реакция получилась не та. Он весь сжался, втянулись щеки и почти сошлись ноздри, он сказал что-то ледяным тоном и ушел одеваться. Вернулся подтянутым, тщательно одетым, но ничего в его внешнем виде не было сделано для нее.

«Ну погоди же, — усмехнулась она, — что-то ты совсем забыл, на что я способна...»

Она скинула туфельки и совершенно однозначно забралась на постель. Когда-то он называл ее веточкой оме-лы на первом снегу... Когда-то. Но тогда он был совсем ручным, домашним.

— Я просто хочу побыть с тобой, — ужасающе спокойно проговорила она. — Как раньше.

И тогда бывшее бешенство снова накатило на него. Раньше... Да он, кажется, зарычал... Нет, он что-то крикнул, а потом захлебнулся, а потом она и вовсе не слышала ничего, потому что все ее силы уходили не на сопротивление — избави бог, столько добиваться! — а на то, чтобы сохранить свое лицо совершенно спокойным, ибо инициативу со стороны женщины она почитала не просто грехом, а грехом смертным, и теперь надо было держаться изо всех сил, чтобы ни губы, ни ресницы не выдали упоения этим грехом. И когда она поняла, что дальше держать себя в шорах уже нет никаких сил, она шепнула: «пожалуйста, погаси небо», и свет погас, и Алан ничего не увидел.

А когда она смогла приоткрыть глаза, в комнату снова вливался медовый свет, и где-то неподалеку журчала вода. Итак, ей дано время на то, чтобы одеться. Она подняла руку, закинула ее за голову. Одеться... Вот уж нехвати! Тело стало по-птичьему легким и по-змеиному гибким... Змееящерка...

Она потрянула кудряшками и заставила себя сесть. Все это чушь и чепуха. Птицеещеры не были ни легкими, ни гибкими. И главное — бесперспективными. И вообще — полдень уже миновал.

В комнату бесшумно вкатился пурпурный еж, весь в мелких завитках, как актиния; не сбавляя скорости, перекатился на спинку и блаженно представил для всеобщего обозрения атласное брюшко. Господи, да почему же она должна быть несчастнее этой скотинки, которая делает что хочет и тем живет?

Ведь впервые ей так легко, так солнечно, что потом, через десятилетия, не будет ни горько, ни стыдно вспомнить эти часы. Так почему же не позволить всему этому продлиться еще ненадолго... до обеда? А после десерта сказать правду.

Но ведь для того, чтобы не было горько и стыдно, надо еще и Алана удержать в должных рамках. Что его всегда выводило из себя? А, сравнение с Наполеоном. Прелестно! Правда, до сих пор она действительно не терпела куртуазных сцен посреди рабочего дня, и каждый раз, когда на ее супруга нападал несвоевременный бзик, она с неподдельной ненавистью вспоминала французского императора, который, по преданиям, хранимым мстительной женской памятью, в таковых ситуациях даже не отстегивал сабли.

Но сейчас-то все было совсем иначе. И даже весьма... Вот только теперь уже не надо про жену, и про беду... и про бессмысленную любовь... Нет, положительно, надо в авральном темпе одеваться, иначе вся станция превратится в болото из розовых слюней. И как это трудоемко — постоянно удерживать мужчину, сползающего на четвереньки! Ну не хлестать же на каждой фразе. Остается единственный способ приведения его в состояние равенства — работа.

«Ну, тогда поехали», — сказала она себе и натянула ставшее ненавистным зеленое платье.

Аврал был абсолютно не нужен, но тем интереснее было доказывать его необходимость и затем учинять. Возня с аппаратурой, пусть тяжелая и грязная, не вызывала у Анны отвращения, а наоборот — заставляла почувствовать себя эдакой Золушкой. Она двигалась легко и стремительно, сознательно добиваясь изнеможения и отупления, которые позволяют Алану снова и не менее упорно стать ее властелином, но вместо усталости с каждой минутой обретала все большую свободу и непринужденность. Она с удивлением наблюдала за собой, понемногу понимая, что все это потому, что впервые она была с Аланом уже свободной, и эта большая независимость спасла ее от той маленькой отчужденности, которая, как рыбья косточка, всегда присутствовала в ее отношениях с мужем.

«Наверное, я старею», — сказала она себе, естественно, и мысли не допуская, что так оно и может быть на самом деле, — иначе откуда бы взяться сразу такому количеству мудрых мыслей? Если бы я улетела сразу же после за-

втрака, я бы не открыла для себя, например, четкой аксиомы: для того, чтобы быть счастливой, надо стать ни капельки ничем не связанной... Хотя, по правде говоря, одна тоненькая ниточка на мне еще осталась: это даже не то, что я буду говорить, а то, о чем я собираюсь молчать. Долго ли еще? Да до первых сумеречных теней. До первой звезды. Не длиннее. Такая паутинка не мешает мне плавать и кувыркаться в невесомости собственных капризов. До первой звезды я буду вольна, как летучая рыбка. Вот сейчас мне уже надоело играть в работу, мне угодно просто-напросто распусться, так почему же нет? Честное слово, я сделаю это восхитительно!»

И она распустилась, и была так восхитительна, что не заметила первых вечерних теней, и не было классического обеда, а были клубничные грядки с теплой ложбинкой между ними, и было упонительное пойло, и откровенная чушь, которую они оба несли в полное свое удовольствие, а когда она уже не в силах была произнести ни слова, она должна была сознаться себе, что еще ни разу в жизни не испытала такой полноты подчиненности.

«Ну, вот теперь и можно сказать то, зачем я прилетела, — спокойно подытожила она свои мысли. — Беда только в том, что губы не слушаются. Придется лгать до полуночи. Я немного вздремну, а потом проснусь, я это умею, и все скажу, и начнется новая жизнь, с незапрограммированным цветом неба и немагнитофонным криком птиц, и еще с кем-то, кого я обязательно найду хотя бы по той простенькой примете, что он будет всегда, при любых обстоятельствах, немножечко выше меня... А пока — немножко поспать на этих руках. Они заслужили. И потом — ведь это только до полуночи. Господи, и зачем я попросила на завтра яблочно-зеленое небо?..»

Она уже спала и не слышала, что ее поднимают, и несут, и опускают на узкую койку возле шлюзовой камеры — абсолютно точно на вчерашнее место, на котором она проснулась, чтобы увидеть над собой проклятое янтарное небо. Последнее, что еще пробилось сквозь ее сон, был торопливый поцелуй, а вот удаляющиеся шаги — уже нет.

А он уже бежал в генераторную, не разбирая дороги, и даже не боясь наступить на ежа, потому что до полуночи оставалось совсем немного, но он уже знал, что успеет, что не позволит навсегда уйти этому сказочному, самому счастливому в его жизни дню. Все складывалось само собой — и то, что именно вчера ему наконец уда-

лось превратить станцию в камеральную машину времени, работающую в ограниченном цикле, и уверенность в успехе — ведь пропадала же она на его глазах на те десять минут, которые он установил на временном реле. Если бы он остался внутри, он их попросту бы не заметил, но он вышел в Пространство и умудрился стать свидетелем первого во Вселенной чуда — двукратного повторения коротеньких десяти минут. Именно на такой срок станция и исчезала из реального бытия.

А теперь будет двадцать четыре часа. Целый день, который будет повторяться вечно, потому что каждый раз без нескольких минут двенадцать он будет срывать с приборов синтериклоновые чехлы, радуясь тому, что ничего вчера не переставил, не разъединил, не порушил, а сегодня мешает только вязкий вакуумный клей на приборных чехлах. Утром его не будет... Не будет и обещанного яблочного неба. Будет тот же самый — самый счастливый день.

Он включил циклическое реле, вылетел из генераторной, в несколько прыжков пересек лужайку и, срывая на ходу одежду, успел кинуть в рот шарик быстродействующего снотворного. Еще через секунду он лежал ничком на постели — совсем как вчера, и в последний момент на него накатила ужас: а вдруг это все происходит уже не в первый, а в сто тридцатый или в десять тысяч шестой раз? Что если это — всего лишь бесчисленное повторение однажды прожитого счастливого дня?

Да и счастливого ли? Он вспомнил ее незамутненно-спокойное лицо, выражение которого столько раз ставило его сегодня в тупик. Что укрывалось за паутинкой этого бесстрастия?

И вдруг с изумляющей отчетливостью пришел ответ: ложь. Весь этот сказочный день ей угодно было лгать. До завтрака, до обеда. До полуночи. Почему же он поверил? Да потому, что за все эти годы ему досталось так мало тепла и доброты, что он просто ошалел от ее сегодняшних даров да еще и уверенности в том, что больше это не повторится никогда.

Он захлебнулся от ощущения малости того, что было отпущено ему судьбой, и устыдился жалости к самому себе, а пуще всего — своего нежелания схватить какой-нибудь брус потяжелее и разнести вдребезги проклятое циклическое реле. В конце концов это ведь несонизмеримо — быть счастливым целый день, и всего несколько се-

кунд осознавать, насколько призрачным было его счастье.

Но до полуночи не осталось уже никаких секунд, и он ощутил легкое головокружение и услышал легонькое «пок!», словно вылетела пробка от шампанского. И он очутился уже во вчерашнем сне, не подозревая, что ему предстоит прожить ослепительный, невероятный день, наполненный страстью и отчаяньем, любовью и ложью...

Внутри станции ровная желтизна послушно заливала условное небо, а снаружи, легонечко помахивая крылами в абсолютном вакууме межзвездного пространства, неторопливо пролетал ангел. (Ольга Николаевна, да вы что? У вас же типичная сайнс фикшн, какие тут, к чертям, ангелы? — Ах, да не придирайтесь, пожалуйста, ангел тут никакой роли не играет, просто мне нужен некто, всеведущий, но отнюдь не всемогущий — взгляд со стороны. Так что оставьте его в покое, пусть поглядит.)

Да, так вот. Пересекая отдаленный сектор космического пространства, ангел вдруг наткнулся на невидимую, но абсолютно непроницаемую преграду. Звезды сквозь нее не просвечивали. Он потрогал ее перламутровым перстом и задумался. Неужели шеф сотворил? На него не похоже. Ангел напрягся и мгновенно уяснил суть происходящего. Вот оно что: вечное заключение и попытка пожизненным счастьем. Господи, жестокость-то какая, и за что?

Ну, ей-то поделом. Лгать в любви — это такой грех, что пусть теперь и занимается этим, пока звезды не потухнут.

А он? Ангел долго и печально взвешивал на сухоньких ладошках липкий ком вины. Да, пожалуй, и ему в самый раз. Потому что тот, кто позволяет себя обманывать, виновен в той же самой мере, как и тот, кто лжет.

И, утерши руки о хитон, ангел последовал дальше.

СОЛНЦЕ ВХОДИТ В ЗНАК ВОДОЛЕЯ

Р а с с к а з

— Ты с ума сошел, — сказал Фасс.

Сутулая спина, нависшая над пультом управления, не шевельнулась.

— Там же первобытные орды, в лучшем случае — раннее рабовладение!

— Вспомни легенду о Марле, — отозвался наконец Сибл.

— Легенда о Марле! — Фасс хлопнул себя по брючным карманам с такой яростью, что одна из сигнальных лампочек на теченскателе, перед которым он сидел на корточках, судорожно замигала. — Легенда о Марле!.. Да хочешь, я скажу тебе, сентиментальному старому дураку, как в действительности кончил Марль? Его попросту съели. Потому-то наши и не смогли обнаружить эту легендарную могилу Марля, хотя перерыли сверху донизу всю ту обетованную планетку, которую ему заблагорассудилось выбрать в качестве приюта своей романтической старости!

— А ты-то что бесишься? — спросил Сибл.

— Да то, то и еще раз то, что тебе девяносто три и в любом оружии рано или поздно кончаются заряды — это не в переносном смысле, а в прямом. И на что ты способен, если тебе не останется ничего, кроме рукопашной?

— А оружия я с собой не возьму. Вообще.

— Ну знаешь...

— Дай мне только одноместную ракетку, которую ты загробил на Сирре. Тормозные двигатели у нее в порядке, стабилизаторы горизонтального планирования — тоже, а большего мне и не надобно.

— Как же, дал я тебе этот гроб!

Сибл ссутулился еще больше.

— Неужели за семьдесят два года полетов я не заработал даже этой вагонетки, годной только на переплавку?

— Да не устраивай мне этой мелодрамы с космическими жертвоприношениями!— крикнул Фасс.— Уж если тебе так приспичило кончать свой век на этой захоластной тарелке, леший с тобой — я спущу тебя вниз на экспедиционном катере, мы построим тебе вполне комфортабельную берлогу «Отель питекантропус», настреляем и накопим дичи, а потом...

— Не суетись,— сказал Сибл примирительно,— полечу я все равно один, а что касается берлоги — не в ней дело, или построю собственными силами, или примошусь где-нибудь под...

Он оттолкнулся руками от пульта и нервно зашагал по рубке, досадуя на то, что чуть было не проговорился.

— И вот что, Фасс, пожалуйста, не следи за моей посадкой. Мне будет проще, если с самого начала я буду надеяться только на себя.

— Очень мне нужно за тобой следить!— буркнул Фасс.

Он помнил об импульсном передатчике, которым были оснащены решительно все виды вспомогательного космического транспорта. Так что местонахождение ракеты Сибла все равно можно будет фиксировать автоматически.

Сибл же об этом не думал, так как давно уже прикинул, что при всем желании Фасс сможет засечь только точку приземления его кораблика; но дальше он воспользуется левитром-вездеходом, а с его помощью даже за сутки можно забраться так далеко в глубь горного массива или непроходимых тропических зарослей, что для его розысков потребовалось бы снаряжать целую спасательную экспедицию. Так уж пусть Фасс с самого начала смирится с тем, что Сибл навсегда исчезнет в дебрях этой первобытной планеты, которая пепельной неживой тьмой давила на иллюминатор нижнего обзора.

— В конце концов,— произнес он вслух,— каждый из нас волен выбрать себе планету, на которой ему хочется окончить свою жизнь. Так вот, я выбираю ту, на которой меня оставят одного. Это мое право, и ты знаешь, что оно свято.

— Ты погоди, Сибл.— Фасс перешел на просительный тон.— Покрутимся возле нее еще один день — при внимательном рассмотрении некоторые вещи перестают казаться привлекательными...

— И минутная блажь пройдет, так? И я выберу то, что выбирали все и всегда — почти все и почти всегда... Возвращение домой! Но ведь я возвращался бесчисленное число раз, и что было моим домом? Маленький кабачок возле Четвертого континентального космопорта. В этом маленьком кабачке каким-то чудом помещалась уйма народу, — во всяком случае, я там наблюдал не меньше двух десятков таких бравых отставников с пожизненным космическим загаром и неистребимой тягой к воспоминаниям. Я прилетал через полгода — воспоминания не иссякали. Я отсутствовал год — и возвращался к самой кульминации очередной серии... Я боюсь этого, Фасс. Я боюсь, я не хочу себя — вот такого, окруженного почетом и сопливыми курсантами, с кружкой безалкогольной шипучки и фонтаном воспоминаний о наших с тобой приключениях... Ты понимаешь, я хочу, чтобы в том моем настоящем, которое еще мне осталось, было еще хоть что-нибудь, кроме прошлого.

— А ты уверен, что тебе гарантировано настоящее, после того как ты врежешься на этой развалюхе в самые настоящие первобытные джунгли?

Сибл промолчал. Они и так говорили слишком долго, хотя обоим было ясно, что все обдумано давным-давно, слишком давно, чтобы сейчас вот отступать.

— Ну ладно, — сказал Фасс, — кончили на этом. Я ведь знал, что ты нанимаешься в свой последний рейс, и должен был подготовиться к любым сюрпризам. Но сейчас я прошу тебя об одном: если по мере приближения к поверхности ты почувствуешь, что твои фантазии начинают блекнуть, немедленно возвращайся.

— Фасс, это не фантазии.

— Ну да, это мечта твоей жизни. И именно с этой дурацкой мечтой ты выбивал себе разрешение на последний рейс. — Фасс всеми силами старался сдерживаться, но с каждой минутой у него это получалось все хуже и хуже. — Скромная мечта о тихом уголке, где ты будешь царем и богом. Спокойно, спокойно, не бросайся на меня — диспута не будет. Я только четко сформулирую, о чем ты мечтаешь. Иногда это очень полезно — услышать со стороны выказанные за тебя мысли. Итак, принимаю возражение — ты не собираешься быть ни царем, ни богом. Тебе нужен всего-навсего определенный контингент слушателей — небольшое племя, желательно патриархального уклада и минимально кровожадное, которое ты одарял бы малыми благами нашей цивили-

лизации в объеме курсов арифметики, физики и домоводства начальной школы... Что, не так?

— Так, — согласился Сибл.

— Ты, старина, в перерывах между полетами не удосужился обзавестись теми, кто мог бы тебя любить, — семьей или приемным, на худой конец. Я тебя не осуждаю — многим из нас это кажется чересчур хлопотным делом. И долгим. А сейчас ты решил добиться всего этого очень быстрым и результативным путем: ты покажешь этим аборигенам, как гнуть колесо, как лепить глиняный горшок, как сбивать сливочное масло. И они полюбят тебя — за твои колеса, за твои горшки, за твоё сливочное масло.

— Знаешь, что забавно? — прервал его Сибл. — Твоя весьма живописная речь — не экспромт. Ты сам об этом долго думал — о туземцах, горшках и масле. Ты ведь ненамного моложе меня, Фасс.

— Я запретил себе об этом думать. Согласен: за всю свою неприкаемую жизнь мы заслужили сомнительное счастье спокойной старости. Но ты идешь за своим счастьем как незванный гость!

— Я думаю, что этот термин родился на более позднем этапе развития цивилизации. Тем же, кто прост духом, как правило, свойственно безграничное гостеприимство.

— Но до этих людей нужно еще дойти, чтобы воспользоваться их гостеприимством. Ты идешь незванным, Сибл, и чужими будут для тебя вода и земля, воздух и огонь...

— Я знаю это. Но все-таки это лучше, чем стать чужим себе самому...

Сибл вжался в сиденье, оттягивая на себя рычаги горизонтального маневрирования. Дело было хуже, чем предполагал Фасс. Гробанул он ракетку капитально, и теперь Сибл даже не мечтал о том, чтобы посадить кораблик по всем инструкциям — маневренность его была практически равна нулю.

Конечно, в его жизни бывали ситуации и посложнее — ведь сейчас дело облегчалось тем, что не надо было заботиться о последующем взлете. Но и садиться где попало Сибл не собирался: этот уголок незнакомой планеты он выбрал сразу же, как только увидал его на корабельном экране вчерашним ранним утром. Ему по-

везло: в это время Фасс возился в камбузе, и диковинное видение проплыло в предрассветном зеленоватопепельном мареве, слишком неправдоподобное, чтобы о нем рассказывать.

И Сибл промолчал.

Что это было? Причудливое естественное образование, скальный массив, обточенный ветрами? Четкий трезубец с золотыми наконечниками, бородатый профиль сидящего старца в могучей тиаре... Или скала, хранящая следы человеческих рук, — горный храм, выполненный в виде фигуры мудреца... Вчера не было времени разбираться.

И тем более нет его сейчас. Кораблик кувыркается, а внизу — горная гряда, она должна вот-вот кончиться именно этой исполинской скульптурой, а дальше — зеленые равнины и прозрачный ручей, струящийся от подножия каменного старца к незамутненному спящему озеру... Ракетка срывается в штопор, зеленоватобелая громада закрывает весь иллюминатор и тут же пропадает, и еще несколько раз мерцающее небо сменяется диоритовой темнотой земли, и вот теперь самое время включить воздушную подушку — оп! Чуть поздноватое...

Удар отбросил Сибла от пульта, но, видимо, ему удалось-таки в последний момент врубить алый клинышек системы аварийного крепления, и сквозь лиловую муть нарастающей боли он услышал, как гибкие щупальца, лязгая и срываясь с камней, пытаются остановить скольжение ракеты. Кораблик, задрав кверху кормовые дюзы, замер в нелепой, но достаточно устойчивой позе.

Сибл, неуверенно пошевелив руками и ногами, с удивлением убедился, что все в порядке. Просто поразительно, как ему сегодня удастся со всем справиться. Сначала он справился с Фассом, теперь вот с этой проклятой развалиной. Сибл расстегнул пряжки ремней, выполз из кресла-амортизатора. Справился. Справился!!! Он потянулся, изгоняя из тела боль финишного удара, и только тогда, запрокинув голову, увидел, как единственный уцелевший индикатор радиации стремительно наливается отравным лимонно-желтым огнем.

От удара самопроизвольно включился на разогрев ядерный десинтор. Сибл рванулся к пульта, — ах ты, совсем забыл, что здесь десинтор на автономном управлении, а это значит, что, для того чтобы выключить его, надо проползти во второй кормовой отсек, а люк сейчас оказался прямо над головой, и его, конечно, заклин-

нило... Сибл всей тяжестью тела повис на скобе люка, тот не поддавался. Он бросился к шлюзовой камере — найти там хоть какой-нибудь инструмент, ломик, топор... Когда был на пороге, обернулся — с гнусным чавкающим звуком крышка только что не поддававшегося люка отпала, и из щели хлынула бурая маслянистая жидкость — топливо из резервных баков.

Сибл выскочил в шлюзовую и защелкнул за собой замок. Попытаться спасти эту скорлупу? Риск велик, а зачем? Он вывел из ниши маленький одноместный левитр, прыгнул на сиденье и негнушными пальцами набрал код выхода из корабля. Левитр двинулся вперед и тупым рылом вжался в контактную клавишу герметизации. Если и этот люк заклинило...

Нет. Створки с готовностью разомкнулись. И с этим он справился. Легонькая капсула левитра уверенно взмыла вверх. Ориентироваться было легко — впереди, в тающем тумане, высилась размытая сумерками громада. Сейчас она казалась изваянной из цельного куска льда, но Сибл прекрасно понимал, что это мог быть только камень, а значит — надежное укрытие, и он погнал машину вперед, лишь бы уйти подальше от своей ракеты, и уступы каменной террасы, на которую он плюхнулся, сменились травянистой — а может быть, просто малахитовой — равниной, и можно было врубить двигатели на воздушной подушке и дать максимальную скорость. Прямо перед ним, на темной ладошке долины, уместились овальное озеро и ручей, и через это нетрудно будет перемахнуть, а дальше — сидящий испоин с протянутой рукой, из которой, как прозрачный посох, обрывался вниз тугой жгут падающей воды. Добраться хотя бы туда, не говоря уже о том, что дальше начинаются невысокие горы, поросшие пушистой зеленью, и долины между этими горными грядами, несомненно, заселены людьми... Сибл скрипнул зубами. Еще несколько минут — и ему самому уже ничто не будет грозить, машина выйдет из зоны возможного взрыва. Конечно, если повезет, десинтор может и медленно разрядиться, только слегка загадив каменистое плато — безлюдное, к счастью. Сегодня ведь Сиблу везло, так везло, что можно было надеяться: повезет и еще раз. Ведь так чертовски не хотелось связывать свое появление с такой грандиозной катастрофой, как ядерный взрыв! Даже если исключить возможность облучения — ведь не планетарный двигатель, а всего-навсего десинтор среднего

боя,— то первобытные племена, населяющие окрестности озера с исполинской фигурой над ним, непременно узрят в происшедшем руку карающих богов, и потом поди докажи им, что ты хочешь добра и мира. Хорошо еще, в непосредственной близости от места посадки злополучной ракеты не просматривалось ни одного селения.

Сибл успел еще заметить, что неподвижная кромка озера уже совсем близко, в каких-нибудь двух-трех минутах полета, и правее — змеящийся светлый ручей, а за ним — как будто нацеленный в рассветное небо трезубец, уже освещенный первыми лучами невидимого отсюда солнца... И в следующий миг ослепительная беззвучная вспышка прижала его машину к земле, и еще немного левитр полз на брюхе, пытаясь зарыться носом в неподдающийся грунт.

Потом навалилось все остальное — грохот, нестерпимый жар и беснующиеся потоки воздуха. Все произошло так быстро, что Сибл даже не почувствовал, как его вышвырнуло из машины и покатило по земле.

Очнулся он от жары. Солнце стояло прямо над головой, в глазах было зелено от зноя и жажды.

Пить.

Он слегка повернул голову, стараясь отыскать свою машину, но лицо свело от боли,— по-видимому, вся кожа, не прикрытая комбинезоном и шлемом, была сожжена. Но боль можно было перенести, жажду — нет.

Стиснув зубы, он перекатился со спины на живот. Отдышался. Приподнялся, опираясь локтями в землю,— озеро было уже слева, а ручей — прямо перед ним. И за всем этим, не оставляя места ни небу, ни скалам, высился сверкающий под солнцем исполин, выточенный из полупрозрачного кварца. Он один хранил прохладу в своей пронизанной солнцем глубине, и оттуда рождалась вода, маленьким нескончаемым водопадом срывающаяся с его протянутой прямо к Сиблу руки.

Глаза заслезились от каменного блеска. Он лежал еще немного, уткнувшись в спеченную зноем землю. Надо было собраться с силами, но как это сделать, если резь в глазах все острее, мозг заплывает густым пульсирующим гулом... Еще раз потерять сознание под прямыми лучами солнца — это конец. Надо заставить свое тело двинуться вперед.

О том, чтобы подняться, не могло быть и речи. Ползти.

Он мысленно представил себе, как выносит вперед руку — вон до той трещины, дальше не надо; нога сгибается, и тело само собой перемещается вперед, пусть ненамного, но все-таки вперед. Ты должен с этим справиться, сказал он себе. И ты справишься, потому что так уже было однажды. Теперь, правда, и не вспомнить, в какой это было экспедиции. Давно. Ты так же полз, только вдобавок ко всему в скафандре, и кислород кончался, и нужно было тащить на себе что-то чертовски тяжелое и неудобное, и все-таки ты тогда справился. Ну, давай!

Он протянул руку и вцепился в край трещины. Теперь ногу. Ногу! Кажется, он кричал вслух. Кричал на собственное тело. Кричал, словно поднимал в атаку отряд десантников.

Тело не повиновалось.

Он все-таки заставил себя сесть — рывком; наклонился, чтобы тут же не опрокинуться навзничь. Медленно ощупал ноги — все было в порядке, даже комбинезон не порван, но он не чувствовал прикосновения собственных пальцев. Ноги были мертвы, как протезы. Это его почему-то не испугало. Наверное, и такое было, — впрочем, чего только не было за десятки лет нескончаемых полетов! Было все что угодно, и в лежащем вне времени ворохе самых невероятных событий он уже не мог отличить, что же было с ним самим, а что — с его товарищами, потому что последнее переживалось подчас острее и болезненнее, чем собственное. Все было, и со всем удавалось справляться.

Он полз. Ноги волочились по земле, словно это был ненужный и несоразмерно тяжелый хвост; боли они не причиняли, одно неудобство. Боль была ближе, она захватила руки, шею, лицо, она раздирала кожу и вырывалась наружу бурными брызгами мгновенно запекающейся крови. Время от времени Сибл приподымал голову и пытался определить, сколько он прополз. И каждый раз оказывалось, что остается больше половины. А сил уже не было, боль в створе с солнцем становилась все яростнее и нестерпимее, хотя в каждый миг Сибл был уверен, что ничего страшнее нет и быть не может. И все же каждое последующее мгновение было ужаснее предыдущего.

Он положил голову на черные, кровоточащие руки, давая себе минутную передышку. Щека его коснулась земли, и ему показалось, что боль исходит именно от

этого жесткого, покрытого белым слюдяным налетом грунта. «Ты идешь туда незванным, и чужими будут для тебя огонь и земля...» Эта чужая земля прожигала его ладони до костей, словно была полита серной кислотой. А спасение было уже близко, в каких-нибудь пятидесяти шагах, — рожденная в камне вода, золоченная тропическим солнцем, ледяная в придонной своей глубине...

Сибл сделал еще один рывок вперед. Сердце ответило бешеным толчком, швырнувшим в мозг волну перегретой черной крови. На секунду Сибл ослеп. Потом отошло. Нет, это еще не конец. Не может это быть концом. Десятки лет сверхдальних полетов, десятки новых и чаще всего нечеловечески жутких миров, и после всего этого сдохнуть, не дотянув нескольких шагов до какой-то лужи? Ну нет!

Ноги тянут его обратно, как будто он ползет вверх по крутому склону. Он выбрасывает вперед руки, судорожно цепляясь за малейшую неровность почвы, он медленно подтягивает тело, но бесформенная масса гигантского чешуйчатого хвоста тянет его вниз, в пропасть; Сибл пытается удержаться на ее краю, но хвост перевешивает, и он все быстрее и быстрее скользит назад и вниз...

Сибл ударяется головой о землю. Вспышка зеленых искр разгоняет пелену бреда, и снова впереди только вода, подернутая маревом испарений. Только бы не сойти с ума! Только бы не сойти с ума! Еще двадцать шагов, на которые надо любой ценой сохранить разум. Лучше всего подчинить свой мозг какой-нибудь мысли, но не желанию, а тревоге. Хотя бы о безопасности. Вот так: впереди — вода. И к этому привычному ручью неведомые тебе звери бесшумно направлятся на вечерний водопой. Опережи их, ведь оружия нет, оно осталось во внутренних гнездах разбитого левитра. Ты беззащитен перед зубами и когтями...

Снова рывок вперед, и снова нечеловеческая боль, и смешно бояться клыков и когтей, которые перед этой мукой кажутся детской забавой.

Впереди не больше десяти шагов. Почему так много? Ведь он ползет уже целый день! Может быть, вода отступает перед ним? Каменная рука, простертая уже почти над его головой, едва заметно поворачивается, и струя, падающая с вышины, уходит, уходит в золотое марево, она уже вообще не течет вниз, она струится по небу, и контуры ее волны очерчиваются внезапно зажи-

гающимися звездами, а впереди — один раскаленный камень...

Если бы он мог, он закричал бы от ужаса. Но в этот миг упругая волна раскаленного воздуха ударила ему в лицо. Беззвучный шквал, остановивший дыхание. Сибл прижался к земле, чтобы его не отшвырнуло обратно. Ничего страшного. Было бы даже удивительно, если бы чудовищный взрыв не породил ответных явлений в атмосфере. Вот только глаза уже почти ничего не видят — тонкая жгучая пыль хлещет по векам и, кажется, пробивает их насквозь. Сухая кристаллическая пыль. А чего ты ждал? «Ты идешь туда незванным, и чужими будут для тебя земля и воздух...» Воздуха нет. Одна горькая, тошнотворная пыль.

Ураган прекратился так же внезапно, как и возник. Сибл чуть поднял лицо от земли — вода была уже совсем близко, в каких-нибудь пяти шагах. Только пять шагов! Но не повиновались уже и руки. Руки. Пять шагов, и он окунет их в воду, он будет переливать ее из ладони в ладонь, он плеснет ею себе в лицо, он будет фыркать и разбрызгивать ее по камням, обесцвеченным зноем...

Он уже не полз — не было силы, которая могла бы сдвинуть с места его громадное, налитое страданием тело. Он не полз, а, цепляясь обнаженным мясом ладоней за режущие края трещин, подтаскивал к себе береговую кромку; не в силах сдвинуть себя самого, он поворачивал под собой все огромное тело планеты, с каждым усилием приближая к своим губам зеленоватое лоно ручья, высланное невидимыми отсюда лениво шевелящимися водорослями...

Вода возникла чуть ниже его лица, у подножия низкого плоского камня. Сто самых долгих в его жизни шагов. И с этим он справился.

Он свесился с камня и зачерпнул две полные тяжелые горсти. Вероятно, солнце нагрело воду почти до кипения, потому что он ощутил ожог более страшный, чем от прикосновения разъедающей земли или раскаленной пыли. Но это была вода, какая бы ни была, но вода, вода, вода, и, цепenea при мысли, что руки, сведенные судорогой, могут разомкнуться и пролить хотя бы каплю, он одним глотком выпил все, что только смог зачерпнуть.

И в тот же миг он почувствовал, как все его внутренности выворачиваются наружу, чтобы выбросить то,

к чему он так долго и мучительно стремился. И то, что никак не могло быть водой.

И беспамятство. Не спасительное. Милосердное.

Он пришел в себя, в последний раз удивляясь тому, что еще жив. Он знал, что осталось совсем немного. До сих пор перед ним была вода, а значит — непоколебимая уверенность в том, что он справится. Справится не с чем-то конкретным, а вообще.

Теперь не было ничего, только бессильное, какое-то детское недоумение, обращенное к бородатому исполнцу, изваянному, наверное, из гигантского кристалла каменной соли. В памяти Сибла проходили ледяные сосульчатые капилляры, принесенные разведчиком с поверхности планеты. Озерная, речная, родниковая вода — бесчисленные серебряные капли, звонко цокающие о прозрачные чашечки анализаторов. Вода дождевой чистоты. Он же видел ее, держал в руках, пил!

Он вспомнил воду морей — терпкую, с непривычной горчинкой, годную для питья только тем, кто привык к ней, породившую жизнь на этой планете в древности и питающую добрую половину органической жизни и теперь. Но здесь была не морская вода.

Он заставил себя глянуть вниз. Голое безжизненное дно, ни травинки, ни козявки. Только жуткие кровавые пятна, осевшие у подножия камня.

Он сам выбрал себе это место для посадки, сам выбрал этот водопад, ручей и озеро — единственные среди тысяч других.

Единственные — и мертвые.

«Ты идешь туда незванным, и чужими будут для тебя воздух и вода...»

Вода... Сколько воды...

Он лежал на пороге этой влаги и свежести — и мир этот был закрыт для него. Он лежал, не шевелясь и не отрываясь от бесшумно плывущей глади ручья. Если бы он мог закрыть глаза — он бы этого не сделал. Если бы он был в силах отползти от берега — он не пошевелился бы.

Все-таки это была вода. Проклятая и прекрасная — вода.

Он знал, что ее нельзя коснуться — и тянулся к ней.

Если бы губы повиновались ему — он молился бы на нее.

Если бы у него был ядерный десинтор — он бы ее уничтожил.

Но пить он уже не хотел.

Единственное, чего он мог еще желать, — это перестать видеть, чувствовать, мыслить. Но мера его страданий была безгранична, и поэтому он умирал в полном сознании.

Он ни о чем не жалел — путь, приведший его к мертвой воде, был добровольным.

Солнце стояло еще высоко, когда он умер. Неподвижен был воздух, неподвижна поверхность озера, неподвижно тело человека, распятого отвесными лучами на камне, белом от соли. Его руки тянулись к воде, его губы были обращены к воде, его незакрывшиеся глаза смотрели на воду, и когда на следующее утро Фасс все-таки разыскал его, он подумал, что Сиблу повезло и он умер, так и не дотянувшись до этой воды.

**ВАХТА «АРАМИСА»,
ИЛИ
НЕБЕСНАЯ ЛЮБОВЬ
ПАОЛЫ ПИНКСТОУН**

П о в е с т ь

...Можно спасти человека от любой неважной беды — от болезни, от равнодушия, от смерти, и только от настоящей беды — от любви — ему никто и ничем не может помочь.

*Аркадий Стругацкий,
Борис Стругацкий*

На своей земле

Был конец августа, когда не пала еще на траву непрозрачная бисерная изморозь, но уже отовсюду, и вдоль и поперек, тянулись ощутимые лишь руками да лицом — когда попадут невзначай — паутинки, накрученные и наверченные по всему лесу толстопузыми травяными паучками. В лесу было прохладно и несолнечно, но не было в природе щедрой, осенней пышности. Увядание еще не пришло, но в чем-то, невидном и неслышном, сквозила уже грусть примирения с грядущим этим увяданием.

Тропинка выходила на опушку. Иранда Васильевна задержала шаг и свернула правее, где сбегали с поросших сосною невысоких холмов серебристые оползни оленьего мха. Но внизу, в ольшанике, темнела канава, полная до краев зеленоватой кашицей ряски.

Иранда Васильевна кротко вздохнула и вернулась на тропинку.

За спиной безмятежно, по-весеннему, запела малиновка. Был конец августа, вечерело, и никто еще ни о чем не догадывался.

Митька, сопя в розетку короткого фона, уверенно вел своего кибера по футбольному полю. С шестью минутами до финального свистка 2:1 — это еще не блеск. Так ведь и проиграть можно. Металластовый верзила по диагонали пересекал пронумерованные квадраты поля, под-

крадываясь к релейному капкану ворот. «Тихо, не зарывайся...» — шептал Митька, хотя его «четверка», передвигавшаяся по стадиону в строгом соответствии со звуковыми командами, выполняла лишь его, Митькину, волю, и «не зарывайся» — это скорее всего относилось к самому себе.

Митька прижался лбом к передней дверце игровой кабинки. Сквозь толстое стекло было видно, как внизу, под самыми ногами, плясали над мячом двое: своя, оранжевая «двойка» и голубая неповоротливая «шестерка». Все было правильно. Сейчас голубые будут в луже.

Теперь можно было ждать отпасовку. Митька сунулся носом в микрофон:

— Миленский, не зевай, смотри на Е-6, смотри на Е-6, смотри на Е-7... возьмешь мяч и пробьешь на Б-13...

А на Б-13 — самая сила: Фаддей. Митька мог положить голову под мобиль, что Фаддей разгадал всю комбинацию и настраивает своего кибера именно на Митькин пас. Митька приподнял плечи и навис над игровым пультом. Сейчас...

— Бери мяч! Бей на Б-13!

Поздно, голубенькие! Надо уметь манипулировать! Влетели в квадрат вшестером, как жеребята, а мяч-то — у Фаддея. Митька локтем отодвинул фон, вжался в стекло.

— Тама! Тама-а-а! — раздался из фоноклипа дикий рев несуществующих трибун.

Значит, мяч коснулся сетки.

Эти вопли были последним достижением пятых классов: как-то ночью на сетки ворот, кроме судейских датчиков, были подключены магнитофонные рамки. Очевидцы утверждали, что тренер по кибернетическим играм долго смеялся, но — ничего, не запретил.

Митька откинулся назад и потянулся сидя. Три с половиной минуты можно просто так поболтаться по полю. Теперь уже ничего...

Рев трибун разом оборвался.

В фоноклипе щелкнуло, и металлический голос кибер-судьи произнес:

— Мяч забит из положения «вне игры».

Митька остолбенел. Медленно потянул с себя фоноклипс. Потом резко толкнул стеклянную дверь кабинки и вывалился прямо на поле.

— Да не было же!.. — заорал он отчаянным голосом.

Рядом с ним тяжело плюхнулся Фаддей. Он сжал кулаки и, распахивая попадающиеся на пути угловатые металлопластовые фигуры, пошел через все поле туда, где на противоположной галерее тихохонько сидели в своих кабинках «голубые». Он остановился и, расставив ноги, мрачно оглядел ряд белых носов, приплюснутых к стеклу:

— А в чьей палатке хранился судья?..

«Голубые» помалкивали.

— На мыло! — взревели «оранжевые».

Митька оглянулся: у кого мяч? Над мячом враскорячку, точно краб, застыл Фаддеев «третий». Митька с трудом вытащил зажатый в ногах мяч и, сложив ладошки рупором, закричал:

— А ну, давай на поле! Переигрываем второй тайм!

«Голубые» посыпались из своих кабинок. Киберигра шла прахом.

Митька уже пританцовывал, — как бы это сподручнее ударить (не кибер ведь — можно и промазать), но вдруг над полем раздался звонкий голос:

— Митя-а! К тебе мама пришла-а!

Митька сожалительно глянул на мяч и, махая на бегу запасному — подай, мол, за меня, раз тебе такое счастье, — помчался к выходу, где терпеливо стояла Ираида Васильевна.

— Что? Уже? — спросил он, переводя дух и поматывая головой.

— Отдышись... Уже.

— С нашей взлетной? Лагерной?

— С вашей, сынуля. С вашей.

— Я тебя провожу, а?

— Спросись только.

— Я знаю — можно.

На взлетной было пусто — вечерний рейсовый мобиль еще не прибыл. По площадке лениво трусил Квантик, приبلудная дворня чистейших кровей. А у самой бетонной стенки, бросив на траву невероятно яркий плащ, лежала невероятно большая женщина с копной невероятно черных, отливающих синевой волос.

— Тетя Симона! — крикнул мальчик и побежал к ней.

Симона подняла руку и помахала ему и, глядя не на него, а над собой, на кончики своих пальцев, которые летали вверху от одного облака до другого, так же звонко крикнула в ответ:



— Салюд, ребенок!

Митька плюхнулся рядом с ней и вытянул ноги.

— Ну и как? — спросила Симона, закидывая руки за голову.

— А всё так же, — сердито отозвался Митька. — Второго судью за эту неделю. И все пятый «б».

— Умелые руки. Ну а вы?

— Мы — ничего. Мы не портим. Мы же знаем, сколько труда нужно затратить, чтобы создать один такой кибер, — важно проговорил мальчик и косо глянул на Симону, ожидая, что похвалят.

— Фантазии у вас не хватает, вот что, — сказала Симона. — Явление тяжелое и в наши дни — редкое. Добрый вечер, Ираида Васильевна. Садитесь.

Ираида Васильевна кивнула, но на траву не села, — было уже сыровато, или просто постеснялась. Митька, опустив голову, запихивал травинки в дырочки сандалий.

— Ничего не не хватает, — сказал он хмуро. Симона засмеялась. — Просто мы не хотим.

Симона засмеялась еще пуще:

— Совсем как моя Маришка.

— Митя, не трогай руками сандалики, — заметила Ираида Васильевна.

Митька сердито глянул на мать и подтянул колени к подбордку.

— Ну а вы? — спросил он с вызовом. — Ну а вы-то? Когда были в пятом?

«Задира», — подумала Симона и тоже села, так что получилось — нос к носу. Митька смотрел на нее в упор своими чуть раскосыми, как у матери, сердитыми до какой-то зеленоватой черноты глазами.

«Какие странные, совсем не славянские типы лица встречаются иногда у этих русских, — думала Симона, глядя на мальчика. — Этот неуловимый взлет каждой черты куда-то к вискам... Это от тех, что шли великой войной на эту страну около тысячи лет тому назад и маленькими смуглыми руками хватали за косы больших русских женщин... А этот мальчик взял от тех диких кочевников только самое лучшее, потому что если природа хранит и передает из поколения в поколение какие-то черты, то лишь потому, что они стоят этого».

Митька дрогнул ноздрями, нетерпеливо засопел. Рассказать бы этому дикаренышу...

— Честно говоря, — проговорила Симона, — я не

помню толком, что было именно в пятом. Помню только наш город. Нант. Проходил? Летний полосатый город, весь в тентах и маркизах.— Симона снова улеглась на спину, полузакрывает глаза и стала смотреть на небо сквозь длинные прямые ресницы.— Вот сказала тебе: «Нант» — и сразу все небо стало полосатым — такие бледные желтые и чуть голубоватые полосы... Подкрадется кто-нибудь, дернет за шнурок — и все эти полосы начнут медленно-медленно падать на лицо...

— Тетя Симона, — сказал мальчик, — вы не хотите улетать с Земли, да?

Симона быстро посмотрела на него:

— А ты знаешь, что такое — улететь?

— Это значит — подняться в воздух.

— И нет. Это значит сказать: «Ну, поехали» — и больше не быть на Земле. А ты знаешь, что такое — Земля?

Мальчик посмотрел на нее. Симона раскинула руки и набрала полные горсти травы; трава, смятая сильными ладонями, терпко и непонятно запахла.

— Знаю, — сказал Митька и еще раз посмотрел на нее — до чего же огромная, как две мамы сразу.— Земля — это очень-очень большое, но все-таки «Арамис» — это не Земля.

Симона усмехнулась.

— Знает.— Она поднесла ладони к глазам — трава оставила резкие белые и красные полосы.— Ну, а самое главное: что такое — хотеть?

Митька смотрел круглыми глазами и молчал.

Иранда Васильевна испытывала какое-то мучительное ощущение, — будто эта женщина делала с ее сыном что-то, не принятое у людей, словно она поставила его голышом на свою огромную ладонь и не то сама рассматривает, не то показывает его самому себе в зеркало.

— Ну, ладно, — сказала Симона примирительно, угадывая мысли Иранды Васильевны.— Не знаешь — потом узнаешь. А улетать с Земли мне действительно не хочется: уж больно она громадная, не везде порядок. Вот приложить бы руки...

— Как это — не везде порядок? — подскочил Митька.— Значит, мы еще сможем...

— Симона, — сказала Иранда Васильевна умоляюще, — я прошу вас, Симона, все-таки у них в школе даются определенные установки...

«О господи, — подумала Симона, — да неужели же она не понимает, что одной такой фразой — об опреде-

ленных установках — она заронит в этого умного детеныша больше сомнений, чем я со всеми своими открытиями?»

— Сможете, сможете, — поспешила она заверить мальчика. — На ваш век приключений хватит. Вон, на острове Врангеля кто-то систематически ворует пингвины яйца, а ведь туда эвакуировали самую крупную колонию аделей. На Мадагаскаре кислотные дожди выпали — значит, на экваторе кто-то из сталелитейщиков хулиганит. Да мало ли что... Так что кончай биофак — и в экопатрульную службу.

Митька как-то поскуцнел, и Симона его поняла: в пятом классе окончание вуза — это где-то в следующем столетии.

— Да-а, — протянул он, — вам-то хорошо, а тут пока выучишься, все будет нормально, как в ботаническом саду.

— Марс останется... Ганимед.

— А туда можно? Добровольцем?

Симона почувствовала, что пора над ним сжалиться, да и над Ираидой Васильевной тоже:

— Вот не могу тебе пообещать определенно. Но ты не горюй, мы ведь еще до звезд не добрались. Пока только свою Солнечную приводим в порядок. А представляешь себе, сколько дел прибавится, когда свяжемся с другими планетами? Ведь там еще столько революций впереди. Прилетишь к каким-нибудь таукитянам или альфа-эриданцам — а у них рабовладение. Или первобытное общество.

Глаза у Митьки разгорелись еще пуще:

— Это уже не экопатруль, — сказал он, почесывая ладошки, — это уже Спартак или Че Гевара, язык только выучить...

Симона развела руками:

— Увы, вышеозначенные товарищи были, так сказать, аборигенами Земли.

— Жалко, — вырвалось у Митьки.

— Жалко, — согласилась Симона. — Такое удовольствие — подражаться, когда это официально разрешается.

Ираида Васильевна закашляла.

— Мама, — сказал Митька, — ты не волнуйся, я же понимаю, что тетя Симона все шутит.

А Симона вовсе не шутила. Просто с тех самых пор, как завернутые в шкуры дикареныши перестали заниматься только тем, что сторожили огонь и играли в об-

глоданные косточки, с тех самых пор, как первые человечки потопали к первому учителю, прижимая к животу глиняные таблички,— люди берегли своих детей от излишних раздумий и дружно говорили им, что все на свете хорошо, справедливо, и пятью пять — двадцать пять.

— Ну, и последний вопрос: сколько будет пятью пять?

— Это как посмотреть,— сказал Митька, потому что этой тете нельзя было отвечать, как в школе.— Если в десятичной системе и на Земле, то — двадцать пять.

Симона опять рассмеялась:

— А в другой Галактике? На Сенсерионе, скажем?

— Это надо подумать,— солидно сказал Митька.

— Ну вот,— Симона сделала руками — «ну вот»,— ему «надо подумать» — а вы всё чего-то бонтесь. И вообще мобиль летит.

Она легко поднялась.

— Ну, сынуля...— сказала Ираида Васильевна и, опустив руки, вся как-то наклонилась и подалась вперед.

Митька простодушно повис у нее на шее, чмокнул где-то возле уха. Потом смутился и боком-боком пошел к Симоне.

«Неужели же и я с моей Маришкой — такая клуша, если смотреть со стороны?» — подумала Симона.

— Ну, человеческий детеныш, следи тут без нас за Землей, чтоб порядок был. А до звезд мы с тобой еще доберемся.

Митька еще раз скопился на мать и с неожиданной степенностью изрек:

— Звезды — звездами, а сперва надо в Солнечной освоиться. Фаддей говорит, на Ганимеде пещеру открыли, там волосатики живут, инертными газами дышат.

— Что за глупость,— устало проговорила Ираида Васильевна,— инертные газы не могут участвовать в процессе обмена веществ. А что касается Ганимеда, то на его поверхность еще никто не спускался, только кибывразведчики. Берут пробы грунта, льда и все такое. Вот когда высадутся люди, тогда и начнется исследование пещер, глубокое бурение и детальное картографирование. Так что тзой Фаддей большой выдумщик.

Симоне стало обидно за Митьку, Фаддея, Ганимед и инертные газы в придачу. Она протянула мальчику

широкую ладонь, всю в белых и розовых полосочках — отлежала на траве:

— Ты не горюй, тем более что с этими инертными газами и в самом деле что-то нечисто. Сейчас над этим бьются специалисты из «Независимой компании», а там ведь сплошь сливки научного мира. С пенками. Так что не исключено, что и докопаются, откуда на Ганимеди соединения инертных газов, которых и в природе-то не должно существовать. Ну, салют!

Митька благодарно взглянул на нее и тоже протянул смуглую, всю в цапинах, руку. Сунул жесткую ладонь лодочкой — и тут же потянул обратно.

— Счастливого пути, тетя Симона, — нерешительно проговорил он, видя, что Симона стоит над ним в какой-то совсем неподходящей для нее задумчивости. — И спокойной работы... — добавил он, чувствуя, что говорит уже что-то совсем несурзное.

Симона фыркнула, тряхнула головой и легонько щелкнула мальчика по носу:

— Заврался, братец. Спокойной... Приключение-ев! Прронсшестви-ев! Стррашных притом. Космические пираты, абордаж, таран, гравитационные торпеды к бою!

— Всё сразу? — невинно спросил Митька.

— Только так. — Симона оглянулась на Иранду Васильевну, шедшую к мобиле, и неожиданно вдруг сказала: — И почаще вызывай маму... Длинный фон у нас освобождается после девяти. — И побежала догонять Иранду Васильевну.

Мальчик отступил на несколько шагов, стащил с головы синюю испанскую шапочку и стал ею махать. Мобиль задрал вверх свой острый прозрачный нос и полез в небо.

Домой, на «Арамис»

Симона посмотрела вниз. Уже совсем стемнело, и сквозь дымчатое брюхо мобилы было видно, как медленно возникают и так же медленно отступают назад и растворяются цепи немерцающих земных огней.

— Аюрюпинская дуга, — сказала Симона, чтобы оборвать их бесконечный, не в первый раз начатый и не в первый раз кончающийся вот так, лишь бы кончить, разговор. — Значит, через двадцать минут Душанбинский космопорт.

— И все-таки,— упрямо продолжала Иранда Васильевна,— и все-таки я не представляю себе, что вы стали бы рассказывать своей Маришке о различных системах счисления перед тем, как заучивать с ней таблицу умножения.

— Уже рассказала. В общих чертах, разумеется.

— Зачем?

— Да затем, чтобы ей не казалось все это так просто! Умножение у них в ночном курсе, утром встают — и всё так легко, весело, и весь мир ясен, как пятью пять.

— Симона, дорогая, а разве вам не пришло в голову, что Митя ответил так только потому, что с ним говорили именно вы? Ведь во всех других вариантах — со всеми остальными людьми на Земле — он ограничился бы элементарным ответом. Вы не учите его мыслить — вы учите его оригинальничать, и еще учите его выбирать людей, с которыми приятно пооригинальничать, и еще даете ему почувствовать вкус своего одобрения. Разве вы не знаете, как он ценит малейшее ваше расположение? Да в следующий раз он будет готов отрицать все на свете, лишь бы угодить вам.

Симона вдруг представила Митьку и себя сидящими нос к носу у бетонной стенки взлетной площадки. И Иранду Васильевну, сиротливо стоящую как-то сбоку от них. «Ревнует она его ко мне, что ли? — неприязненно подумала Симона.— Ну и пусть, сама виновата». А Иранда Васильевна продолжала говорить, словно сейчас, здесь, в рейсовом мобиле, на подлете к Душанбинскому космопорту, можно было заставить Симону изменить свои взгляды на воспитание детей вообще, и Митьки в частности.

«Мы просто говорим на разных языках,— с тоской думала Симона,— «учет возраста», «логическое переосмысливание понятий в детском аспекте» — бр-р-р... и еще это — «индивидуальный подход». Ей кажется, что это — хорошо. А меня при этих словах охватывает такая тоска, словно каждому детенышу подобрана своя, индивидуальная клетка, только отделана она не по-зоо-садовски, а со вкусом,— скажем, окрашена точно в тон глаз».

— Допустим,— продолжала Иранда Васильевна,— что семилетней девочке и можно популярно рассказать о различных системах счисления, хотя я сомневаюсь в необходимости таких преждевременных знаний. Но зачем

поддерживать миф о «ганимедских волосатиках», дышащих инертными газами? Теперь Митя поверит во что угодно, аж в Космического Вурдалака. Вот чего вы добились. А ведь через каких-нибудь два года он будет проходить все это в школе и ему немалых трудов будет стоить борьба с собственными неверными представлениями, которые складываются вот из таких случайных бесед.

Симона упорно смотрела вниз. Что за странная магия — делать из своих детей дураков? А может быть, это — инстинктивное желание, скорее всего даже — неосознанное, чтоб рос потише, поглупее, грубо говоря; чтоб не стал, как отец, одним из тех космолетчиков, которые улетают так далеко, что не возвращаются.

И хотя это было всего лишь предположение, Симона вдруг стало мучительно жаль эту женщину, со всей ее формальной правотой, которая рано или поздно оттолкнет Митьку от нее.

— Да, наверное, вы правы, — примирительно сказала она. — Моя Маришка первый год в школе, я не пригляделась. Вам виднее — Митька-то в пятом. А у меня еще слишком свежи воспоминания о нашем нантском колледже. Тогда только-только закрыли все частные школы и построили этакне гигантские комбинаты-инкубаторы. Мы бодро топали по традиционным туристским маршрутам, где через каждый километр были спрятаны пункты медицинского обслуживания, мы пели у костров песни, разученные на уроках, мы познавали романтику будней посредством не слишком утомительного физического труда, с невероятными усилиями измысленного специально для нас в условиях современной автоматизации хозяйства. И знаете, о чем я мечтала в Митькином возрасте? Попасть на самый настоящий античный пир. Потанцевать на королевском балу. Я терпеливо смотрела в рот моим учителям истории, когда они рисовали грандиозные картины нашего Конвента, вашего Смольного, наших и ваших гражданских войн, — и мечтала о сусальном принце, потому что он был мой, только мой, от серебряных шпор до соколиного перышка на шапочке. — Симона прикрыла глаза и ясно представила себе черного, обожженного Агеева, каким она впервые увидала его после катастрофы на этой чертовой голубой сигаре «Суар де Пари».

«Я знаю, что она мне сейчас возразит, и она будет, как всегда, формально права, права обидной правотой

азбучных истин. А истина все равно будет не на моей и не на ее, а на третьей, Митькиной, стороне, потому что даже я, при всем желании, не могу до конца быть такой, как он, хотя мне все время кажется, что я — еще мальчишка, первый хулиган Нантского политехнического колледжа. А она сейчас авторитетно заявит, что...»

И действительно, Иранда Васильевна ухватилась за несчастного принца и начала доказывать, что нельзя преподавать в школах волшебные сказки только для того, чтобы отдельные индивидуумы получили возможность самостоятельно изучить революционное прошлое своего народа и тем самым удовлетворить свою тягу «к чему-то своему, только своему».

— Не пройдет и двух-трех лет, — безапелляционно заявила она, — как на примере своей дочери вы убедитесь, что современная школа может воспитать полноценного и развитого ребенка, не ущемляя его тяги к самостоятельной романтике.

— Ну и слава богу, — отозвалась Симона. — Жаль только, что она у меня не мальчишка. Меня так и тянет к вашему Митьке. Хотя, впрочем, еще не все потеряно: подрастут — мы их и женим, а?

— Ну, Симона, с вами просто невозможно говорить серьезно.

— Да вы не отмахивайтесь, Иранда Васильевна. Маришка у меня вырастет девкой что надо. Так что вы подскажите Митьке, чтобы он женился на ней, если со мной случится какое-нибудь там чудо.

Иранда Васильевна наклонилась вниз и стала смотреть на быстро несшиеся навстречу игрушечные домики космопорта.

То, что эта большая, славная и не всегда тактичная в своей нерусской живости женщина назвала «каким-нибудь чудом», случилось совсем недавно, каких-нибудь десять лет тому назад, с Митькиным отцом, и еще пройдет десять раз по десять лет, и каждый раз, когда вспомнится, вот так же захочется согнуться и спрятаться от всех от них, даже таких, как Симона, и остаться наедине со своей болью.

— Ну, вот и прилетели, — сказала Иранда Васильевна, поднимаясь.

— Ага, — отозвалась Симона. — А вон там, в красном, — кажется, наша Ада.

Мобиль подрулил прямо к длинному, похожему на пляжную раздевалку, зданию космопорта. Ираида Васильевна и Симона вошли в соседние кабинки, привычно сунули свои жетоны в узкие прорезы на приборном щитке и встали на середину пола, где были нарисованы две белые аккуратные ступни — пятки вместе, носки врозь. И снова, как и каждый раз до этого, их охватило ощущение чего-то неприятного, в какой-то степени даже унижительного. С напряженным и сосредоточенным лицом они стояли каждая посередине своего бокса и не знали, что же с ними происходит, какие лучи ощупывают их лица и тела, какие приборы регистрируют что-то, присущее только этому, и никакому другому, человеку, и это что-то выбито на личном жетоне, отчего он похож на кусочек хорошего дырчатого сыра.

По всей стране уже давно были сняты все аналогичные посты, но в Душанбинском космопорте, как, впрочем, и в других космопортах Международной службы, всяческие строгости из года в год не уменьшались, а увеличивались.

Ираида Васильевна услышала, как в соседней кабинке хлопнула дверь, — Симону почему-то всегда пропускали первой. Ираида Васильевна постояла еще секунд пятнадцать, пока наконец не оборвалось разом сиплое гудение аппаратуры и из щелки не выскочил жетон. Ираида Васильевна спрятала его и неторопливо вышла на бетонированное поле.

Вокруг Симоны уже стояла небольшая толпа — голубые комбинезоны Международной службы вперемешку с пестрыми летними костюмами, — по всей вероятности, это уже собирались пассажиры, которые должны были лететь на «Первую Козырева» утренним рейсом.

Черная лохматая голова Симоны возвышалась над всеми, нередко в каком-нибудь затейливом жесте взлетали ее большие и легкие руки. Ада как-то заметила, что жестикуляция Симоны страдает излишней иллюстративностью.

Говорила не Симона, как показалось Ираиде Васильевне издали, а конопатый Тимка Бигус, старший механик-наладчик идентификатора. Как всегда, к нему приставали с различными предположениями о принципе работы киберконтролера. В свое время это было излюбленной игрой сотрудников космопорта: начали с примитивов — с грима; аппарат исправно поднимал тревогу, и патруль в голубых мундирах рысью мчался к злополучному зданию — извлекать из автоматически захлопнувшегося бокса очередного

экспериментатора, пытавшегося пройти на территорию космопорта по чужому жетону.

Затем делались бесконечные попытки подставить вместо себя лицо с точно таким же весом, ростом, кровяным давлением, объемом легких, размером обуви и т. д. и т. п.

Автомат безукоризненно поднимал вой из всех своих сирен.

Вскоре такие дилетантские попытки были оставлены, так как стало ясно, что, коль скоро жетоны выдаются на неограниченно долгий срок, то в основу опознания, вероятно, полагался какой-то постоянный и неизменный признак каждого индивидуума, а может быть, и сочетание этих признаков.

Игра значительно усложнилась, приобрела высокотехнический уровень, но тут весьма кстати начальник космопорта, выведенный из терпения, обратился к своим сотрудникам с краткой, но выразительной речью, в которой он излагал свои представления о том, чем следует и чем не следует заниматься работникам международного космопорта, да еще в рабочее время.

Страсти поутихли — во всяком случае, в среде космонавтов и наземных служащих. Пассажиры же продолжали играть в тайну знаменитого «Сезам, откройся».

— Простите, а вы не пробовали вариант идентичных близнецов? — слышался звонкий девичий голос, и Иранда Васильевна увидела Аду, — только она была не в красном, а в строгом светло-сером костюме.

Тимка Бигус замахал руками:

— Да уж сколько раз. Последняя попытка была позавчера. Честное слово, попрошу начальника не брать на работу сотрудников, у которых есть близнецы или просто двойники. Так их и тянет в бокс, как мышь на валерьянку.

— Кошку! — закричали все хором.

— Ну вот, всё вы лучше меня знаете. Так что хватит гадать — прошу до утра в гостиницу.

— А все-таки? — сказала Симона.

— Мадам, для вас — готов на преступление. Не дрогнув, разглашу государственную тайну; но — строго конфиденциально. — Он вытащил Симону за локоть из толпы и повел в сторону.

— Болтун, ох, какой болтун, — приговаривала Симона, но шла за Тимкой, а потом безудержно хохотала и махала руками, а он все шептал ей на ухо, а когда она

начинала смеяться уж очень громко — переставал, и смотрел, как она смеется, немножечко снизу.

«Совсем как мой Митя», — подумала вдруг Иранда Васильевна, и ей стало вдруг так одиноко, как бывает только на вокзалах, когда никто не провожает здесь и никто не встретит там.

— Девочки, — закричала вдруг Симона издалека, — девочки, мы имеем начальника!

Ада обернулась и пошла навстречу Иранде Васильевне, и тут же из толпы высунулась смуглая мордочка Паолы и улыбнулась так искренне и, как всегда, по-своему застенчиво, что чувство одиночества ушло, и Иранда Васильевна тихонько сказала: «Ну вот...» — как обычно говорят: «Ну вот я и дома».

Паола, в какой-то нелепой красной курточке, которая еще больше делала ее похожей на обезьянку, вприпрыжку побежала к Иранде Васильевне, обгоняя Аду, и Симона тоже бросила Тимку и пошла к ним.

— Как славно, Паша, что ты с нами, — сказала Иранда Васильевна. — Только что ж ты не со своего космодрома?

— У нас будет ракета только в четверг, — сказала Паола и покраснела.

Все смотрели на Паолу и улыбались, потому что было ясно: к Земле подходит «Бригантина».

На «Первой Козырева» просидели полдня: Холяев, железный человек и бессменный начальник, никак не хотел выпускать их на одной патрульной ракете, — ее грузоподъемность не превышала двухсот пятидесяти килограммов. Симона виновато притаилась в уголке салона, ибо не в первый раз всему виной были ее габариты. В конце концов она сама отправилась к Холяеву, чтобы найти компромиссное решение, и не прошло десяти минут, как она уже вернулась и объявила, что начальник разрешает взять не патрульную, а буксирную ракету, поэтому все поместятся и смогут сегодня же сменить персонал, замещавший их на время отпусков. Паола радовалась молча, потому что на носу был подход «Бригантины», и ей пришлось мчаться через океан, чтобы лететь с русскими. Симону, бывшую замужем за знаменитым Агеевым, она тоже считала русской. Симона тоже так считала, и только иногда, когда ловила себя на невольном: «эти русские», — вдруг не то чтобы огорчалась, а ско-

рее — удивлялась, что она вроде бы ничья, никакая, на-верное — просто космическая (когда-нибудь введут такое подданство для тех, кто, так же как они, живет на вне-земных международных станциях), и слава богу — хоть не просто мужняя жена.

Действительно, при всем уважении к Агееву, та сим-патия, которой обычно все окружающие волей или нево-лей проникались к Симоне, была только ее, Симоны, опять же вольной или невольной, заслугой. Что же каса-лось Агеева, то у всех, начиная с Иранды Васильевны и кончая Пасолой, вертелся на языке вопрос: была ли связь? Но Симона ничего не говорила, а по какой-то мол-чаливой договоренности никто не задавал вопросов о тех, кто находился в полете.

Не спрашивали об Агееве; не спрашивали о «Кара-Бугазе», на котором штурман Сайкин — с некоторых пор Ада начала его называть «мой Сайкин» — ходил к Марсу и обратно довольно регулярно; не спрашивали и о «Бри-гантине», — впрочем, сведения о ней поступали в офици-альном порядке.

И никогда не спрашивали Иранду Васильевну. Ни о чем.

А чтобы не почувствовала она, что ее обходят мол-чанием как-то по-особенному, Симона с присущим ей тактом шутила: «Королям и начальникам космических станций вопросов не задают».

И тогда Иранде Васильевне хотелось нагнуться — как тогда, в мобиле.

Собственно говоря, небольшой искусственный спутник, которым командовала Иранда Васильевна, не был само-стоятельной космической станцией, как гигантская «Пер-вая Козырева», предназначенная для приема кораблей, крейсировавших между искусственными спутниками Зем-ли, Марса, Венеры и Сатурна, а также планетолетов-раз-ведчиков, ходивших в сверхдальные рейсы с научно-ис-следовательскими целями. Лет сто тому назад, когда кос-мическое пространство только начинало осваиваться, было создано около десятка неуклюжих сверхмощных ра-кет, способных преодолевать расстояние между планета-ми с одновременной посадкой на них. Но после заклю-чения Мельбурнской конвенции, по которой все освоение космического пространства шло под контролем Комитета космоса ООН, всем космическим державам было предло-жено перейти на создание кораблей двух типов: одни, межпланетные, могли летать только в Пространстве, дру-

гие, маленькие, но с чудовищной грузоподъемностью, словно муравьи, перетаскивали на Землю все то, что составлялось межпланетчиками на промежуточные околоземные станции.

«Муравьи», как их прозвали и даже стали официально именовать, имели строго ограниченные зоны посадки. Огромная сеть радарных установок службы космоса немедленно засекала бы любого «муравья», если бы он попытался сесть в какой-нибудь отдаленной зоне, дабы миновать контроль.

Такие меры действительно были необходимы, и не только потому, что бесконтрольный вывоз сокровищ с других планет противоречил принципам, согласованным между странами. Биологическая угроза, которая неминуемо нависла бы над Землей в случае хаотических межпланетных рейсов, тоже была немаловажным фактором при подписании Мельбурнской конвенции.

Камнем преткновения была бесконтрольность посадок на других планетах и их спутниках. Автоматика, разумеется, вела регистрацию всех операций, но, как говорила Симона, «на каждую гадюку найдется розовый скворец».

Несколько десятков лет система околопланетных станций вполне оправдывала себя, и космическое строительство было направлено исключительно на увеличение числа межпланетных грузовиков и «муравьев».

Ракеты прибывали непосредственно на космические станции, где проходили карантин, проверку двигателей и досмотр грузов сотрудниками Международной службы. Но однажды, почти одновременно, на «Первой Козырева» весь персонал, а также экипажи трех швартовавшихся ракет были поражены Цестой аробирой, занесенной, по видимому, с Марса; а «Линкольн Стар» едва не погиб от взрыва вышедшей из управления ракеты, которую вовремя не успели отвести подальше. Тогда-то и было решено около каждой космической станции создать группу вспомогательных спутников, играющих роль таможенных станций.

Несмотря на то, что сооружение спутников обычно велось объединенными силами космических держав, строительство станций вокруг «Первой Козырева» почти целиком осуществлялось французскими инженерами.

Поэтому и названы они были по-французски: «Атос», «Портос» и «Арамис».

«Атос», самый малый из этой группы спутников, при-

нимал пассажирские ракеты, «Портос» — грузовики, «Арамис» же, как наиболее оснащенная станция, был универсальным и поэтому контролировал нетиповые, очень устарелые или, наоборот, совершенно новые грузо-пассажирские и исследовательские корабли.

«Бригантина» была из числа новейших американских моделей и принадлежала НЭК — «Независимой экогосударственной компании».

Краса и гордость

Собственно говоря, «Бригантина» и не могла быть иной, — породистая титанировая лошадка, «моя серая в яблоках», как говорил капитан; высокоманевренный грузовой планетолет с активной тягой в семьсот пятьдесят мегафорс. Она не могла не быть красой и гордостью всего космического флота, потому что кроме ее собственных достоинств ее капитану, тридцатидвухлетнему Дэниелу О'Брайну, «джентльмену космоса», сопутствовала неизменная удача, удача ровная и не бросающаяся в глаза, как и положено быть судьбе истинного джентльмена.

Что же касается удачи второго пилота, то ее можно было назвать просто дьявольской, — вряд ли какой другой выпускник школы космонавтов мечтал в свои двадцать два попасть сразу на трассу «Первая Козырева» — Ганимед-2, да еще и на красавицу «Бригантину», да и еще к такому капитану, как О'Брайн. Но Александр, или попросту Санти Стрейнджер, был чертовски удачлив и принял все сыпавшиеся на него блага как должное.

Что же касается Пино Мортусяна, то плевать ему было на все достоинства «Бригантины», потому что ему по горло хватало своих обязанностей бортового космобиолога, и даже больше чем хватало. В течение рейса он брюзжал и ругался так, что можно было с уверенностью сказать: этот человек никогда больше не подойдет к ракете ближе чем на четверть экватора. Но «Бригантина» готовилась к очередному рейсу, и за день до отлета на борту исправно появлялся Пино со своей традиционной воркотней. Впрочем, ворчал биолог не постоянно: ступая на твердую почву — будь то Земля или один из спутников, — он становился нем, как карп. По всей вероятности, именно этого качества и не хватало предыдущим космобиологам «Бригантины».

— К сведению экипажа, — сообщил капитан, — через четыре часа — генеральная уборка. Всем надеть биологические скафандры. Вам тоже, Санти, хоть вы и возьмете на себя управление. Еще через шесть часов — торможение и одновременно — дезинфекция.

— Охо-хо... — Мортусян оттянул крепежный пояс и перевернулся на другой бок. — Опять этот винегрет из кошмаров. Ну начали бы дезинфицироваться на два часа пораньше, как будто от этого что-то изменится...

Капитан и головы не повернул.

— Есть генеральная чистка, капитан, — бойко отозвался Санти и звякнул серьгой.

Мортусян прекрасно помнил, как появилась эта серьга: в самом начале рейса, как только корабль взял разгон и было снято ускорение, капитан, по обыкновению, стянул с себя обязательный синтериклоновый комбинезон. Пино забрался в уголок и потихонечку сделал то же самое, так как все это повторялось каждый рейс и капитан ни словом не обмолвился по поводу такого нарушения инструкций сектора безопасности. Но в секторе — кто? Космодромные крысы. Их бы сюда, в сладковатую, душноватую невесомость, когда на вторые-третьи сутки появляется ощущение такой легкости, такой отрешенности от каких бы то ни было тягот, что вдруг возникает мысль: так может быть только перед концом. И вдруг теряется направление полета, и уже все равно, куда лететь — вверх, вниз, вбок, потому что все равно летишь прямо к тому, последнему, самому страшному, что бывает у каждого, но о чем никто не рассказал просто потому, что рассказать не остается времени; и это самое страшное — не какое-то чудовище, как в детстве, когда свет погасили и кажется, что разинется огромная пасть и — ам! — тут тебя и слопали, — нет, это обязательно что-то неживое, нетеплокровное, безжалостное в своей механичности, в неминучести той ослепительной вспышки, до которой еще три секунды... две секунды... одна...

Какой тут, к чертям, скафандр.

Пока Мортусяна мучили все эти ужасы, — он всегда препогано чувствовал себя в самом начале рейса, потом это проходило, а если и возвращалось, то лишь в виде короткой, мучительной спазмы панического страха, — так вот, этот новичок, этот салажонок в первом рейсе тотчас же принялся стаскивать с себя скафандр, словно так и должно по инструкции. Скафандр поплыл по кабине и остановился возле пульта, медленно путаясь в стойках ак-

кумуляторного стеллажа. Санти и не подумал его догнать, а неторопливо полез в карман и извлек из него великолепную золотую серьгу ручной работы, а за ней — алый платок, достойный самого капитана Кидда. «Ах, какой мальчик, какой хорошенький мальчик, — с отчаяньем думал Пино, — ведь О'Брайн этого мальчика — в три шеи...»

Не было ни малейшего сомнения в том, что в первую же минуту по прибытии в порт назначения капитан со всей присущей ему корректностью укажет этому красавчику на грузовой люк (как известно, космонавт, покинувший корабль через грузовой люк, обратно уже не возвращается).

Но капитан осмотрел своего подчиненного почти приветливо и пробормотал себе под нос что-то по-русски. Пино русского не знал и поэтому предположил, что капитан попросту выругался. Но Санти, как девочка, передернул плечиками и засмеялся, а потом сделал зверское лицо и запел старинную пиратскую песню:

Мы ковали себе богов,
Осыпали их серебром,
И рекою текло вино по столам.
Это был настоящий бог,
Это был настоящий ром,
И добычу делили мы пополам.

Санти пел, и выражение шутовской свирепости сменялось спокойной уверенностью, и чертовски вкусный, персиковый баритон наполнял все пространство между приборами, щитами и экранами, и стройная, еще совсем мальчишеская фигура в черном комбинезоне и алом разбойничьем платке, непринужденно висевшая в полуметре от пола каюты космического грузовика, почему-то совсем не казалась противоестественной, и пиратские куплеты не рождали никакого недоумения. И Мортусян, скорбно покачивая головой, пришел к выводу, что есть люди, которым от самого господа бога разрешено почти все, ибо то, что они делают, всегда прекрасно.

Черт знает что творилось на старухе «Бригантине».

— Еще три часа пятьдесят минут, — сказал капитан. — Вы бы поспали, ребята.

Мортусян заворочался в своем гамаке, устраиваясь поудобнее, — в свободном полете ему всегда плохо спалось. Санти помахал ручкой и подплыл к самому пульту, расположившись в полуметре над О'Брайном. Вообще-то в каюте было тесновато, и забраться под потолок, несо-

мненно, имело некоторый практический смысл, но укладываться над самим капитаном — это мог себе позволить только такой человек, как Санти. Потому что ему от самого господа бога позволено все, даже это.

Было неудобно в гамаке, в голове тоже было как-то неуютно от всех этих мыслей, и Пино разворчался несколько громче, чем он всегда это себе позволял:

— О господи, неужели так трудно погасить общий люминатор? Ведь не пикник же нам предстоит, честное слово...

Не заснуть будет даже на полтора часика, перед тем как приниматься за дело.

— Разумеется, если вам угодно, — приветливо отозвался Санти и переместился к энергетическому щиту.

Щелкнул тумблер, стало уютнее, но одновременно словно плотнее сделался воздух, словно жарче стало, словно южная ночь пришла откуда-то в каюту летящего так далеко от Земли корабля.

«Что это я? — перепугался Мортусян. — Что это со мной в этом проклятом свободном полете? Укачивает, что ли? Тоже загадка природы. Наверное, от безделья. И мысли от безделья. И страх. Надо работать, надо быть внизу...»

— Перебирайтесь-ка сюда, Санти, — сказал он виновато. — Подремлем рядышком.

— Спасибо. (Ох, и ангельская же улыбочка у этого мальчика.) Мне уже не уснуть. Земля.

— Еще не Земля, — как-то устало проговорил капитан. — Земля — это «Первая Козырева». А до нее еще «Арамис».

Санти посмотрел на него без улыбки, посмотрел сверху вниз:

— Ничего. «Арамис» — это недолго. (Так спокойно, словно это он был командиром корабля и успокаивал разнервничавшегося новичка)

«Ах ты, — продолжал маяться Пино, — да мы все вместе взятые не стоим пряжки от скафандра этого мальчика. Пусть он ничего еще не сделал, но все-таки это мужество, без рисовки, без бравады, — оно пока проскальзывает в каких-то интонациях, что ли. Но его у Санти не отнимешь. Смелый, умный волчонок. И красивый. Такой красивый, ах ты боже мой...»

Санти положил голову на руки, словно валялся на пляже, концы его знаменитого платка, завязанного причудливым узлом над левым ухом, плавали перед лицом, и

Санги ловил их губами; они становились влажными, темнели.

— Вас встретят? — неожиданно спросил Дэниел.

— Вряд ли. Мне ведь еще не даровано родительское прощение... — Санги улыбнулся застенчиво, совсем по-детски. — Я все равно сразу не полетел бы домой. Ведь до самой Земли, до космопорта, мы доберемся вместе?

— Да, — сказал капитан.

«Так казалось каждому из нас, — подумал Пино, — что из первого полета нас встретят цветы, ковровые дорожки и девочки...»

— Вы проститесь с нами и помчитесь домой, капитан. И вы тоже, Пино. А я пойду в кабак. Тут же, в порту. И я напьюсь, капитан... — Он снова улыбнулся и глянул на Дэниела, словно спрашивая: «Можно?» — и опять тихо заговорил: — Я буду пить и ждать, когда обратно, на станцию, пойдет ракета. Ее будет хорошо видно. И тогда я снова захочу в космос. Не так просто, как все хотят, а до смерти, до собачьего воя... Смешно, капитан?

— Нет, — сказал Дэниел, — нет, не смешно. А напиваться зачем?

— Действительно. — Санги взмахнул руками, отлетел к стене. — Зачем напиваться? «Не пей, Гертруда» — как говаривал один мой знакомый король своей жене.

— А что, пила? — заинтересовался Мортусян.

— Как лошадь. — Санги сокрушенно покачал головой. — Плохо кончила. — Он помолчал. — И все равно напьюсь.

— А знаете что, — сказал Дэниел, — посажу-ка я вас на «Арамисе» под арест. Скажу, что наблюдались первые признаки космического психоза. Спокойная обстановка на станции, женское общество...

— Если б только они там не были все такие черномазые... — неожиданно подал голос Мортусян.

Наступила пауза. Почему-то всегда, когда в разговор вмешивался биолог, всем становилось как-то неловко.

— Четыре черненьких чумазеньких чертенка, — неожиданно сказал Санги по-русски. — С тремя из них я однажды столкнулся на практике. И тоже — на «Первой Козырева».

— И вам до собачьего воя захотелось в космос, — захихикал Пино.

— Мортусян, сделайте милость, уймись. Все три показались мне весьма почтенными дамами.

— Вы были им представлены? — быстро спросил Дэниел О'Брайн.

— К сожалению, не имел чести; встреча была столь мимолетной, что я не успел даже обратить внимание на одинаковый цвет волос. Уж очень разные были типы лица. Старшая — деревянный идол, эдакая на редкость плоская и деловая рожа.

— Ой, — сказал Мортусян, — это же и есть миссис Монахова.

— Русская? — удивился Санти.

— Полукровка. Все они там в той или иной мере русские.

— Затем, — сказал Санти, — следовало нечто классическое. Не лицо, а классная доска после урока геометрии: овал лица, брови, губы — как циркулем вычерчены. Даже смешно. Совершенно несовременная красота.

— Ага, — хмыкнул Пино, — Ада Шлезингер.

— А я было принял ее за испанку какого-нибудь древнего, вырождающегося рода. Жаль. И последняя — это буфет черного дерева. Гога и Марога.

— Это француженка, — сухо заметил Дэниел. — Симона Жервез-Агеева.

— Ну уж нет! — возразил Санти. — В этом-то я разбираюсь. Моя бабка была француженка. А это — всего-навсего марокканка.

Капитан промолчал. По-видимому, ему было неприятно, что второй пилот оказался столь компетентным в подобном вопросе.

— Моя последняя надежда — на нашу соотечественницу, — сказал Санти, переворачиваясь на спину и закидывая руки за голову. — Я слышал, что она мала, как возлюбленная Бернса, невинна, как филе индейки, и ее глаза — как две чашки черного кофе.

Пино густо захохотал:

— Это Паола-то? Две чашки... Горазд был врать старик Соломон.

— Это Гейне, — возразил Санти, поморщившись. — И не смейтесь, как объевшийся людоед. После всех наших концентратов такой смех несколько раздражает.

— Все равно, — сказал Пино, — все равно. Две чашки... При всем уважении к звездам и полоскам, наша дорогая соотечественница — форменная обезьяна. И к тому же... — Пино снова запрыгал в своем гамаке, — к тому же она... уже... по уши... И-аха-ха...

— Мортусян, — сухо заметил Дэниел, — информации

подобного рода не входят в обязанности бортового биолога. К тому же сейчас будет связь. Потрудитесь помолчать.

— О господи,— заворчал Мортусян,— да пожалуйте ста...

Он отвернулся к стене, полежал немного и начал отстегивать крепежный пояс. Освободившись от него, он перевалился через край гамака и опустился на пол.

— А ну вас всех. Объявляется кормление зверей,— буркнул Пино и пошел к стеллажу с контейнерами, придерживаясь за ремни и поручни. Плавать в свободном полете он терпеть не мог.

— Рановато,— сказал Санти.— Вроде бы еще полчаса...

— Это уж мое дело.

Капитан обернулся и внимательно посмотрел на Пино. Пино остановился и тоже посмотрел на него.

— Выкиньте меня в Пространство, капитан,— проговорил он,— но этот рейс добром не кончится.

Санти оттолкнулся от потолка и ловко спланировал прямо в гамак:

— Худшее, что могут сделать с честными пиратами — это повесить их на реях. У нас для этой цели могут служить внешние антенны. Так что гарантирую вам вполне современный финал. И беспрецедентный притом.

О'Брайн медленно проговорил:

— Не болтайте лишнего, мой мальчик. Даже здесь.

Санти улыбнулся, пожал плечами и пристегнулся к гамаку. Во время свободного полета спать разрешалось только в закрепленном положении.

Дела домашние

Пол под ногами слегка дрогнул,— это значило, что буксирная ракета отошла от «Арамиса». Симона поколдовала еще немного у пульта,— Паола знала, что это убираются трапы, соединявшие ракету со станцией. Симона включила экран обозрения, и все принялись искать крохотную удаляющуюся звездочку. Паола покрутила головой, но не нашла. Ракета была небольшой, шла почти без груза,— увозила всего четырех человек и кое-какие их вещи,— и поэтому, пока включили экран, она была уже далеко. Ираида Васильевна и Ада смотрели внимательно,— наверное, они-то ее видели. Паола поверну-

лась, пошла к двери и услышала, что Симона тоже поднимается. Если Симона вставала или садилась, то это было слышно в каждом уголке станции.

— Ну вот,— сказала Ираида Васильевна (она очень любила это «ну вот» и даже Симону приучила),— теперь, девочки, до следующего отпуска.

И кому только он нужен, этот отпуск? Симоне все равно,— Агеев вернется не раньше чем через два года, если вообще... Ада видится со своим Сайкиным чуть ли не каждые три недели, и тогда они находят самый неподходящий уголок на станции и целуются там, как дураки. А для Паолы эти отпуска...

Навстречу из коридора выполз «гном» с коричневыми плитками аккумуляторов. Паола подставила ему ногу. «Гном» подпрыгнул и шарахнулся в сторону. «У, тварь окаянная»,— с ненавистью подумала Паола.

— Ну вот,— сказала за спиной Ираида Васильевна,— а теперь будем чай пить.

— Сколько по-здешнему?— спросила Паола.

— Двадцать сорок две,— ответила Симона, и Паола перевела часы: «Атос», «Портос», «Арамис» и «Первая Козырева» отсчитывали время по Москве.— А теперь попрошу минуточку внимания. Мои пироги!

— Ваши пироги?— поразились Ираида Васильевна.— Я допускаю, что вы можете собственноручно смонтировать универсального робота, но испечь пирожок...

— Знают ведь,— засмеялась Симона,— как облупленную знают. Ну, признаюсь. Не я. Мама. Сунула на космодроме.

Мама — это была не совсем мама. Это была мать Николая Агеева. Все невольно перестали жевать.

— Ешьте, медам-месье, ешьте,— сказала Симона.— Связь была.

И каждому показалось, что именно это и было самым главным за последние несколько дней. Вот это далеко не достоверное известие, что агеевцы живы.

— Связь была великолепна. Приняли целых полслова: «...получ...» По всей вероятности, «благополучно».

— Строго определяя, это не связь, а хамство,— сказала Ада.

Ираида Васильевна улыбнулась и кивнула: ну конечно же, «благополучно». Другого и быть не может. Для таких людей, как Симона и Николай Агеев, все всегда кончается благополучно. Потому что они умеют верить в это неизменное «благополучно». И хотя сидящие за столом пе-

ребирают сейчас десятки слов, которые могли быть на месте коротенького всплеска, чудом принятого Землей,— все равно для Симоны из всех этих слов существует только одно.

«Если бы так было с ними... — думала Паола, подпершись кулачком. — Если бы два года не было связи с «Бригантиной»... Она не любит своего Агеева. Она просто относится к нему, как жена должна относиться к мужу. Странно, для всего люди напридумывали разных слов, даже больше, чем нужно, а вот для самого главного нашли одно-единственное; называют этим словом все, что под руку попадет, — даже обидно... А может, пришлось бы придумывать для этого самого главного столько слов, сколько людей на свете — нет, в два раза меньше: для каждого двух... А то ведь, наверное, всем кажется, что только у тебя настоящее, а все остальные — это так, привычка, или делать нечего, или, как говорит Симона, «сеном пахло»... — чушь всё. Всё чушь и всё — неправда. А правда начнется тогда, когда дрогнет пол под ногами и замурлыкают огромные супранасосы, и бесшумно, незаметно даже, снизу или сверху, появится синтериклоновая перегородка, и снова все качнется, и еще, и еще, и когда остановится — это будет значить, что «Бригантина» приняла трап».

— Чай стынет, — сказала Симона, — можно приниматься за пироги.

— С чем бы это? — любопытствовала Иранда Васильевна.

— Великорусские. Посконные. Сермяжные. Что, я не так сказала? — Симона умудрялась выискивать где-то совершенно невероятные слова. — Вот, убедитесь. С грибами и с визигой.

— Да, — задумчиво сказала Ада, — эпоха контрабанды на таможенной станции. И много их там у тебя?

— Хватит, — сказала Симона и ткнула кнопку вызова дежурного робота. — Надо припрятать на черный день — имею в виду гостей.

Дверь приподнялась, вкатился «гном». Он бесшумно скользнул к Симоне и остановился, подняв свой вогнутый, словно хлебная корзиночка, багажник. Симона принялась перегружать туда свои пакеты.

— Снесешь в холодильник, киса, — приговаривала она вполголоса, — да чтобы через неделю можно было достать не раскапывая лопатой. А то всегда завалишь...

Паолу немного раздражала манера Симоны говорить

с роботами. Ну зачем это, если они все равно ничего не слышат?

Видно, и Симона думала о том же:

— Эх ты, черепаха навыворот. И когда я вас переведу на диктофоны?— Она нагнулась и стала набирать шифр приказа.— Говоришь с ним, как с человеком, а он — ни уха ни рыла. Кстати, какой у нас номер очереди на универсальный?

Паола вскочила:

— Я сама.

Схватила пакеты в охапку, побежала на кухню. Универсальный...

Когда-нибудь его доставят на станцию, и тогда — «благодарю вас, мисс, но услуги стюардессы на станции больше не нужны».

Паола вернулась к столу, села пригорюнившись, — одной рукой подперла подбородок, другой поглаживала скатерть.

— Ну что, Паша, взгрустнулось?— Иранда Васильевна наклонила голову, одним глазом глянула Паоле в лицо. «Словно большая, добрая кура», — подумала Паола. — Или, может, обленилась за отпуск? Работа в тягость?

— Да разве я работаю? Смеетесь!— Паола судорожно сдернула руки со скатерти, под столом стиснула кулачки. — Разве так должна работать стюардесса? Вот на пассажирских ракетах, если что случается — стюардесса разве с командой? А? Она с пассажирами. До самого конца. (Ада улыбнулась, — еще ни на одной пассажирской ракете до «самого конца» не доходило.) Я, конечно, мало что могу, но ведь главное, чтобы люди чувствовали — о них заботятся, с ними рядом живой человек, а не такой вот паразит. — Паола кивнула на «гнома», все еще покачивавшегося за креслом Симоны.

Симона взорвалась:

— Прелестно! Господа, бумагу мне с золотым обрезом и лебединое перо. Мы пишем рекомендацию мисс Паоле Пинкстоун на предмет ее перехода на рейсовую космотрассу. И чтоб там без паразитов. Мисс не выносит представителей металлической расы.

«Ну зачем она так?— подумала Иранда Васильевна. — Она же знает, что на пассажирские ракеты берут только самых хорошеньких... Даже у нас. Уж такая традиция. А на «Бригантине» за стюардессу этот Мортусян.

Так что никуда Паша не уйдет. Что же обижать девочек?»

— Трогательно,— сказала Ада,— а мы, выходит, не люди? Нам не нужно человеческой заботы?

Паола вспыхнула.

— Ох, глупости вы все говорите.— Иранда Васильевна подошла к Паоле, тяжело опустила руки ей на плечи.— Счастливая ты, Паша.

Паола вскинула на нее глаза, но Иранда Васильевна молчала, да говорить и не надо было,— все и так поняли, что, собственно говоря, осталось досказать: «Счастливая ты — тебе есть кого ждать». Все это поняли, и наступила не просто тишина, а тишина неловкая, нехорошая, которую нужно поскорее оборвать, но никто этого не делал, потому что в таких случаях что ни скажешь — все окажется не к месту, и всем на первых порах станет еще более неловко. И только потом, спустя несколько минут, все делают вид, что забыли.

— А знаешь, откуда твое счастье?— Иранда Васильевна стряхнула с себя эту проклятую тишину, но не захотела, вовсе не захотела, чтобы все забывали, и улыбнулась грустно, и сложила руки лодочкой, и поднесла их к уху, словно в них было что-то спрятано, малюсенькое такое.— Вот когда мы были маленькими, играли в «белый камень»:

Белый камень у меня, у меня,
Говорите на меня, на меня...

А что, Маришка у тебя играет в белый камушек?— обернулась она к Симоне.

— Да вроде бы — нет.

—...Кто смеется — у того, у того,
Говорите на того, на того...

— И какие льготы предоставляло наличие белого камня?— осведомилась Ада.

— Уже не помню... Кажется — счастье какое-то.

— Да...— задумчиво сказала Паола.— До счастья я немножко не дотянула. Пинкстоун — это не белый камень. Розовенький.

— Все равно,— сказала Иранда Васильевна,— все едино — счастье,— и улыбнулась такой щедрой, славной улыбкой, будто сама раздавала счастье и протягивала его Паоле: нá, глупенькая, держи, всё тебе — большое, тяжелое; а та боялась, не брала, приходилось уговаривать...

— Вызов,— сказала Симона и резко поднялась.

Все пошли в центральную рубку. Паола собрала со стола, понесла сама,— здесь, с половинной силой тяжести, все казалось совсем невесомым. Шла мурлыкая, песенка прилипла, потому что была такой глупенькой, доверчивой:

Кто смеется, у того, у того...

Симона вышла из центральной, остановилась перед Паолой. Блаженная рожица, что с нее возьмешь?

— Дура ты, Пашка, вот что,— сказала она негромко.

Паола остановилась и уж совсем донельзя глупо спросила:

— Почему?

— Долго объяснять. Просто запомни: со всеми своими распрекрасными чувствами, со всей своей развысокой душой один человек может быть совсем не нужен другому. Вот так.

«Зачем они все знают, зачем они все так хорошо знают...» — с отчаяньем думала Паола.

Тут взвыли генераторы защитного поля, но сигнала тревоги не было,— вероятно, подходило небольшое облачко метеоритной пыли.

— Не осенний ли мелкий дождичек...— сказала Симона и побежала в центральную.

Паола повела плечами, словно действительно стало по-осеннему зябко, и пошла по коридору, как всегда, по самой середине, где под белой шершавой дорожкой — узенький желобок. Приоткрыла дверь своей каюты — потолок тотчас же стал затягиваться молочным искристым мерцанием. Не думая, протянула руку вправо, почти совсем приглушила люминатор. Оглянулась. Напротив, поблескивая металлопластом,— дверь одной из кают, что для «них».

Гулкое ворчанье под ногами усиливалось. Паола перешагнула через порог, неожиданно подпрыгнула,— видно, Симона сняла энергию с генераторов гравиполя, и тяжесть, и без того составлявшая что-то около шести десятых земной, уменьшилась еще наполовину. Она знала, что ничего страшного нет, что Симона напевает себе за пультом и ничего не боится, и Ада ничего не боится, и Ираида Васильевна боится только потому, что она всегда за всех боится,— но внизу, в машинно-кибернетической, рычало и потряхивало, и ноги невольно подбирались куда-нибудь подальше от этого низа.

Паола подняла руку к книжной полке, не глядя вытянула из зажима алый томик Тагора. И книга раскрылась сама на сотни раз читанном и перечитанном месте:

«О мама, юный принц мимо нашего дома проскачет — как же могу я быть в это утро прилежной?

Покажи, как мне волосы заплести, подскажи мне, какие одежды надеть.

Отчего на меня смотришь так удивленно ты, мама?

Да, я знаю, не блеснет его быстрый взгляд на моем окне; я знаю, во мгновение ока он умчится из глаз моих; только флейты гаснущий напев долетит ко мне, всхлипнув, издалека.

Но юный принц мимо нашего дома проскачет, и свой лучший наряд я надену на это мгновение...»

Страху уже не было, а было повторяющееся каждый раз ожидание какого-то чуда, вызванного, как заклинанием, древней песней о несбыточной — да никогда и не бывшей на Земле — любви.

«О мама, юный принц мимо нашего дома промчался, и утренним солнцем сверкала его колесница.

Я откинула с лица своего покрывало, я сорвала с себя рубиновое ожерелье и бросила на пути его.

Отчего на меня смотришь так удивленно ты, мама?

Да, я знаю, он не поднял с земли ожерелья; я знаю, в красную пыль превратили его колеса, красным пятном на дороге оставив; и никто не заметил дара моего и кому он был предназначен...»

А станция все летела и летела вокруг Земли, и вместе с Землей, и вместе со всей Солнечной, и вместе со всей Галактикой, и вместе с тем, что есть все это — все галактики вместе, и то, что между ними, и то, что за ними; и только, затихая, мурлыкали сигматеры первой зоны защитного поля, и только чуть посапывал регенератор воздуха, и только жемчужным, звездным блеском мерцал люминатор, и никаких чудес не могло быть на этом белом свете... «Но юный принц мимо нашего дома промчался, и драгоценный камень с груди своей я бросила ему под ноги».

Встреча в Пространстве

— «Арамис», «Арамис», я — «Первая Козырева», связь, связь...

— Есть связь. Ада, возьми-ка связь, надоели до чертиков со своими информашками...

— Подтвердите готовность к приему грузового планетолета НУ-17 «Бригантина».

Ираида Васильевна оперлась на Адино плечо, наклонилась над чашечкой короткого фона:

— Вспомогательная таможенная станция «Арамис» к приему планетолета НУ-17 «Бригантина» — готова. Начальник станции Ираида Монахова.

— «Бригантина» легла в дрейф на расстоянии шесть с половиной тысяч километров от вас, геоцентрические координаты...

— Сейчас соврут! — шепнула Симона и заслонила своими плечами широченный экран гравирадара. Радужная мошка выползла на его сетчатое поле.

«Первая Козырева» выдала координаты, и, как всегда, приврала. Симона отошла от гравирадара и наклонилась над Адой с другой стороны, так что все три женщины легонько стукнулись головами.

— Ламуйль, котик, это ты там порешь?

«Первая Козырева» невозмутимо продолжала:

— «Арамис», «Арамис», передаю вам связь с «Бригантиной». Корабль идет без повреждений, дополнительной бригады на прием не запрашивалось. Дежурный диспетчер Шарль Ламуйль, — и уже другим, сердитым голосом: — Да, это я. А что?

— С тебя пол-литра «московской», за вранье. Когда Колька приземлится.

— А что, действительно была связь?

— А ты не знал?

— Знал, да как-то не верилось... Ну, берите «Бригантину».

«Первая Козырева» сошла со связи, из фона понесло пискom, визгом и улюлюканьем.

— Чистый зверинец. — Симона подтолкнула Аду плечом, чтобы та освободила ей место. — А еще — Пространство! Всего две сотни лет тому назад здесь была тишь да гладь да божья благодать.

— Симона, — мягко сказала Ираида Васильевна, — может быть, Аде пора самой принять хоть один корабль?

— Нос не дорос.

Иранда Васильевна тихонько вздохнула, — нервничает человек. И еще сколько кораблей ей принять, прежде чем вернется — или совсем уже не вернется — Николай Агеев.

И Симона понимала, что Иранда Васильевна жалеет ее, как всегда, и боится за нее, как за всех, и поэтому предлагает — слава богу, что еще не приказывает! — передать прием «Бригантины» Аде, дублеру по кибернетике и механизмам. Симона фыркнула, как сердитая лошадь, и тотчас же из коричневого овала возник негромкий, тоже темно-коричневый баритон:

— ...пеленг... Я — «Бригантина», я — «Бригантина», прошу пеленг.

Симона оглянулась — Паола сидела в дальнем углу, руки подложены под колени, а ноги до пола не достают. Ишь как трогательно.

— Иди-ка поближе. Тоже мне — Золушка.

Паола легко перебежала через всю центральную, ткнулась носом в лохматый затылок Симоны. Та одной рукой включила тумблер автопеленга, а другую закинула за голову и поймала Паолу за короткую жесткую прядку; больно дернула — «ой!».

— Девочки! — строго сказала Иранда Васильевна.

Точка на экране двинулась и поползла к центру, увеличиваясь и теряя радужные оболочки. Корабль подходил к станции на своих маневровых двигателях. Планетарные были уже застопорены, потому что на них не только станцию проскочить можно, но и всю систему «Первой Козырева», и очень даже просто; а во-вторых, планетарное топливо стоило ой-ой-ой сколько, надо было беречь. «Независимая компания» дрожала над каждым килограммом.

— Дорогие космонавты, — обратилась Симона к вновь прибывшим с традиционной формулой приветствия, — рады поздравить вас с благополучным завершением рейса.

— Благодарю вас, мадам, — ответил красивый коричневый баритон. — Идем на сближение по пеленгу. Через четыре минуты начну торможение.

— Рановато, — сказала Симона. — Подойдите поближе. Как слетали?

— Благодарю вас, как всегда — без происшествий.

— Везет. Занудное благополучие. А нас одолевает пыль.

— Рад за вас, мадам, если все обошлось без последствий. Одному из наших кораблей не удалось избежать некоторых неприятностей.

— А, «Киллинг». Слыхала. Сами виноваты. Курицы.

— Симона,— сказала Иранда Васильевна.

— Не знаю подробностей, мадам. Это случилось вчера.

— Зато я знаю. Тормозите. Покруче.

Симона оглянулась на экран. Точка была у самого центра.

— Потише, рыбонька,— сказала она шепотом этой самой точке и положила руки на пульт управления.

— Стоп, стоп, капитан.— Симона повернула рычаг энергораспределителя и одновременно повела влево контактер гравитационного поля. У всех появилось ощущение, что они приподнимаются вверх,— Симона снизила поле гравитации до двух десятых земной. Мягко, пухло, словно разрастаясь в объеме, возник ухающий, вздыхающий гул. Это заработали на холостом ходу маневровые двигатели самой станции.

— Легли в дрейф,— доложили с «Бригантины»,— расстояние до «Арамиса» восемьсот двадцать семь метров.

Ну, ясно, опять влетит от диспетчера. Хорошо еще — свой. Так что неизвестно, кто кому будет «московскую» ставить.

— Восемьсот пятнадцать,— сказала Симона с легким вздохом.— И не кричите на все Пространство.

Пол дрогнул, поддал по пяткам, вильнул туда-сюда,— и стало непонятно, куда летишь, но было ясно, что летишь очень быстро.

Станция шла к планетолету. Он уже был виден сквозь толстый иллюминатор, и Симона взяла вверх, чтобы особенно долго не крутиться вокруг него, а сесть прямо ему на хребет. С каждой минутой становилось ясно, какой это гигант, и когда станция пошла над ним, то со стороны могло показаться, что эта маленькая проворная каракатица пристраивается на спину мирно отдыхающего дельфина.

— Подержитесь, бабоньки,— сказала Симона, но все и так знали, что сейчас сила тяжести будет уменьшена до одной десятой земной.

Паола схватилась за чеканную титанировую раму иллюминатора. Вот опять промелькнула обшивка плането-

лета,— заходили с кормы, где всё еще светились чудищные раструбы дюз. Так было удобнее сесть на люк.

Симона включила круговой экран обозрения. Ага, уже совсем близко. Станция пошла на тормозном, замерла, немного поерзала, словно примериваясь, и уже на кибер-абордажере, потому что никакой человек не мог бы сделать этого с требуемой точностью, плавно скользнула вбок и присосалась к двум четким овалам грузового и пассажирского люков.

Крепежные лапы выползли из открывшихся пазов и цепко обхватили темно-серое, тускло поблескивающее тело планетолета. Теперь он и станция представляли собой единое целое. Оставалось только выдвинуть герметический трап.

Симона нагнулась над сетчатой плоской фона:

— Ну, как вы там?

— Надеваем скафандры,— лаконично отозвалась «Бригантина».

— Подаю трап. Всем покинуть шлюзовую камеру.

— Есть покинуть шлюзовую камеру.

Симона перекинула маленький тугой рубильничек вверх, и тотчас же из шлюзовой послышалось легкое шуршание. Станцию еще немножечко качнуло, на обзорном экране было видно, как куций гофрированный хобот протянулся к люку и плотно обхватил его. Проворный, словно белочка, кибер уже выскочил в Пространство и побежал по спирали вокруг переходника, добрался до места стыка и стал придирчиво тыркаться, проверяя надежность крепления.

— Экипаж планетолета НУ-17 «Бригантина» к выходу готов.

Паола переступила с ноги на ногу.

Симона включила тумблер под знаком «С», и тонкая прозрачная пленка опустилась с потолка и разделила шлюзовую, коридоры, салон и биологическую на территорию хозяев и территорию гостей.

— Выход разрешаю,— сказала Иранда Васильевна, нагибаясь над плечом Симоны.

Два золотистых краба, выставив перед собой инструменты, ринулись по переходнику — помогать снимать люк.

Симона поднялась, повела плечами — чертовски нелеп был на ней форменный голубой костюм Междуна-

родной службы,— и в последний раз протянула руку к пульту — восстановила привычную на станции силу тяжести.

— Ну, пошли делать реверансы! — И, пропустив вперед Иранду Васильевну, все двинулись в шлюзовую.

Слева уже чернела изготовившаяся к нападению на чужой корабль беспристрастная армия кибер-контролеров; направо, к жилым отсекам, уходил белоснежный коридор, а прямо, так близко, что казалось: сделай два шага — и ты там,— зияла дыра герметического перехода.

Но сделать эти два шага было никак нельзя, потому что невидимая пленка немислимой прочности поднималась у самых ног выстроившегося экипажа «Арамиса» и уходила в узкую щель темно-синего потолка,— люминаторами в шлюзовой служили боковые стены. За дырой была темнота, из которой доносилась металлическая возня.

И вот там, впереди, показалась полосочка света, потом щит люка стремительно опрокинулся внутрь перехода, подхваченный присосками киберов. На фоне желтого овала мелькнули силуэты этих киберов, втаскивавших щит внутрь корабля, потом свет усилился, и вот стройная фигура в черном синтериклоновом скафандре показалась в конце перехода.

Паола снова переступила с ноги на ногу, и даже вздохнула, и даже тихонечко потрогала упруго подавшуюся под ее пальцами переборку, но никто на нее не оглянулся.

Показалась еще фигура, и еще, и трое космолетчиков, чуть пригнувшись, вышли из темного коридорчика на белый свет.

Они остановились напротив команды «Арамиса», тоже почти у самой перегородки, только по другую ее сторону и на таком расстоянии, чтобы можно было сделать один маленький шаг вперед; и тот, что вышел первым, сделал этот шаг и чуть усталым голосом проговорил:

— Экипаж грузового планетолета «Бригантина» в составе Дэннела О'Брайна — командира (он с каким-то врожденным достоинством слегка наклонил голову), Александра Стрейнджера — второго пилота (поклонился незнакомый, сразу бросающийся в глаза удивительно красивый юноша) и Пино Мортусяна — космобиолога (Пино, старый знакомый, мотнул головой) прибыл в сис-

тему космической станции «Первая Козырева» и просит произвести досмотр грузов.

Ираида Васильевна тоже сделала маленький шагок ему навстречу:

— Команда вспомогательной станции «Арамис» в составе Ираиды Монаховой — начальника и космобиолога, Симоны Жервез-Агеевой — кибер-механика, Ады Шлезингер — уполномоченного по досмотру грузов и Паолы Пинкстоун — стюардессы рада видеть вас у себя на борту. Сейчас прошу всех пройти в боксы биологической обработки, после чего прошу вас в салон. — И Ираида Васильевна улыбнулась так по-домашнему, по-земному, что гости не могли не ответить ей тем же, и тоже улыбнулись: капитан — сдержанно, второй пилот — ослепительно, а Пино — криво, как всегда.

— Нет ли у вас на борту живых существ, капитан? — задала Ада традиционный вопрос.

— Нет. Груз — контейнеры с кормонилитом. Все данные о характере груза, в том числе и о его активности, в бортовом журнале.

Формальности были окончены, космолетчики поступали в распоряжение Ираиды Васильевны, теперь уже не командира, а врача.

— Прощу вас. — Она повернулась и пошла в правый коридор, и трое в скафандрах тоже повернулись и послушно затопали рядом с ней.

Симона щелкнула пальцами по синтериклону:

— Что новенького, Мортусян?

Тот поотстал, поднял руку к затылку и почесал гермошлем.

— Да вот говорят — на вашей «Аляске» клопов развели...

Симона махнула рукой, устало промолчала — редкий случай, и, проводив глазами космолетчиков, пошла снимать глупый, небесного цвета, костюм. Когда эти парни вылезли из своей телеги, все стало на свои места, и пропало то смятенное, неразумное и тревожное наваждение, что «Бригантина» — вовсе не «Бригантина», а другой, оплавленный и изуродованный корабль, вернувшийся вопреки всякой логике и математике и благодаря какому-то парадоксу Пространства, который должен же, черт побери, существовать для таких людей, как ее Колька...

День первый
Слова, слова, слова

Два одинаковых золотисто-коричневых «гнома», работающих по зеркальной программе, подали фрукты. Дэниел отказался; Мортусян потянул огромную кисть винограда, которая позволила бы ему до конца вечера не вступать в разговор. Санти выбрал на редкость аппетитный персик и, живо обернувшись влево, хотел было предложить его Паоле, но наткнулся на синтериклоновую пленку и так естественно упомянул чертей в количестве что-то около четырехсот штук, что все засмеялись.

— Простите, мисс,— проговорил он, великолепно смущаясь,— надеюсь, вы дадите мне возможность загладить мой промах где-нибудь на Земле?

«Вот как славно,— искренне порадовалась Ираида Васильевна,— и голубой «космический» костюм Паше к лицу, и этот румянец... И сам О'Брайн улыбается. Все будет хорошо, все еще будет хорошо».

«А что,— думала Симона,— пусть не журавль в небе, зато синица в руках. И какая синица!»

Ада смотрела на них, безмятежно приподняв брови: «А ведь это — игра. И игра на самом высоком уровне. Только — зачем? Не ради же интрижки с маленькой стюардессой?..»

В салоне было не слишком светло и удивительно уютно; невидимая пленка синтериклона, разделявшая стол, не мешала общей беседе, так как была абсолютно звукопроницаема. И сама беседа была уютной, неторопливой, домашней. Говорили о Венере, к которой здесь, у «Первой Козырева», относились несколько снисходительно, по-соседски, словно она находилась в той же системе вспомогательных станций и была притом не лучшей из них, говорили о Марсе, Ио и Ганиমেде.

— А марсианские рудники, вероятно, придется прикрыть,— сказала Симона, возвращая разговор к прерванной теме.— Это возле Сахарского хребта, ваш кормонилит как раз там и добывают. Так вот, за прошлую неделю туда пожаловало уже два браконьера. А охрана там — из «Независимой компании». Хорошо, что ваши ребята вовремя спохватились, выволокли их из зоны действия машин.

— А вы не знаете подробностей?— почтительно спросил Санти.

— Ну?— Симона приготовилась слушать, хотя с недавнего времени у нее появилось подозрение, что этот мальчик врет, как в худшем случае — Мюнхгаузен, а в лучшем — Ийон Тихий.

— Так вот. Смены на Марсе долгие, работа тоскливая — наблюдай за роботами да поджидай браконьеров. Естественно, ребята развлекаются, кто как может — в дозволенных рамках, мадам. Иногда к концу такой смены устраивается маленький кутеж — лимонадный, мадам,— с маскарадом, поэтому никто не удивился, когда один верзила приволок с собой невероятный карнавальный костюм: длинношерстная пиявка, но вместо морды — масочка Шэды Рорахер. Это мисс Галактика прошлого сезона,— пояснил он, заметив недоумение Ираиды Васильевны.— И когда эта пара сосунков вошла в зону действия добывающих машин и поднялась тревога, дело, как всегда, чуть не дошло до стрельбы. Юнцы готовились увидеть серебряные комбинезоны охраны, а вместо этого на них двинулось чудище с ликом Шэды... В результате — мгновенное обалдение, полные штаны и ни одного выстрела. Наш парень попросту сгреб их в охапку и вынес из рабочей зоны.

— Вполне правдоподобно,— сказала Симона.

Оно действительно было вполне правдоподобно, это маленькое происшествие, описанное вторым пилотом, но вот фигура бравого стража, выносящего на своих руках из опасной зоны пару недотеп-браконьеров, была явно рекламной.

А если врет, то зачем?

Симона глянула на Аду — ага, и та не верила.

— До чего же все это надоело — замаскированные станции, телепередатчики, охранники, ворюги, и вся эта мышьяная возня вокруг кормонилита... А я бы сейчас собрала всех браконьеров — и к ним, воспитателем в колонию.

— И воспитала бы из них головорезов,— засмеялась Ада.

— А вы считаете себя вправе учить их жить так, как живете вы сами?— спросил О'Брайн.

— Упаси боже,— замахала руками Симона,— совсем наоборот! Я учила бы их жить, исходя из собственных ошибок.

— Собственных — это в частности,— заметил Санти,— но нужно учитывать и более существенные заблуждения, свойственные не отдельному человеку, а...

— Начинается,— сказала Симона.— Вижу, что в ближайшие десять лет мне не быть воспитательницей.

— А кстати,— как всегда некстати подала голос Ада,— с чего это вся несусветная возня с кормонилитом? На Марсе его достаточно, так нет же — вашей компании понадобилось доставлять его аж с Ганимеда. И браконьеры как с цепи сорвались... Ума не приложу, откуда на Марсе браконьеры?

— Детишки распушенные,— буркнул Мортусян.— Из Марсополиса. Угоняют родительские вездеходы и прочую технику.

— А вы что, Пино, не любите детей?— как бы невзначай спросила Симона.

— Нет, почему же,— как-то гаденько улыбаясь, проговорил Мортусян.— Только... постарше.

Возникла неприятная пауза.

— Коллега не совсем прав,— быстро включился Санти.— Два последних юнца объяснили свою акцию оч-чень даже благородно: у одного из них на Большой Земле заболела знакомая девушка. Подчеркиваю: не возлюбленная, не невеста — знакомая. Друг. И диагноз абсолютно безнадежен. А тут пошла гулять легенда, будто в кормонилите встречаются пузырьки какого-то газа — не то перекись ксенона, не то криптоводород. Фантастическая безграмотность, одним словом.

— Я же говорила вам,— не выдержала Ираида Васильевна, оборачиваясь к Симоне.— И как только людям не стыдно разносить такую примитивную чушь!

— На примитивах весь фольклор держится,— недовольно поморщилась Симона.— Особенно сказки о чудесных исцелениях, вроде наложения королевских рук как средство от золотухи.

— Вы правы, мадам,— неожиданно поддержал ее капитан «Бригантины».— Кормонилит неожиданно приобрел статус философского камня двадцать первого века. Вот потому-то наша компания и предоставляет этот минерал для любых исследований, и по самым умеренным ценам.

— Гм,— вырвалось у Ады, знакомой с этими ценами.— Хорошая реклама — половина успеха.

— «Независимая компания» не нуждается в рекламе, мадам,— с неподражаемым высокомерием проговорил Санти — а действительно, стоит ли быть учтивым с какой-то марокканкой?— Под ее вымпелами ходят лучшие

корабли как на Большой Земле, так и в космосе. Члены компании не подчинены никому, потому что каждый, кто в нее вступает, отказывается от подданства своей страны и приобретает независимость, до сих пор просто невозможную на нашей планете. Наши заказы выполняют лучшие умы человечества. Мы арендуем вычислительные мегацентры, космодромы и планетолетные верфи. Мы — везде, и мы — нигде, потому что единственный мозговой центр расположен на плавучем острове в нейтральных водах. Мы...

— Вы напрасно называетесь «членами компании», — довольно бесцеремонно перебила его Симона, — здесь больше подошло бы выражение «рыцари ордена», а вы пытаетесь обратить нас в свою веру. Не так?

— Ну естественно, — пылко воскликнул Санти, — ведь экипаж «Арамиса» так украсил бы нашу компанию!..

И он так недвусмысленно улыбнулся Паоле, что Ираида Васильевна поднялась:

— Очень жаль, господа, но мы не хотели бы, чтобы корабль задержался на «Арамисе» по нашей вине. Салон и библиотека в вашем распоряжении. И, разумеется, буфет. Паша, займи гостей.

Мужчины поднялись вместе с ней. Паола улыбнулась, как и подобало хозяйке, вступающей в свои права, спросила:

— Может быть, еще кофе?

Санти опустился на свое место и положил ноги на кресло Мортусяна, приняв естественную и непринужденную позу усталого человека:

— Если это вас не затруднит, мисс, то еще чашечку.

Паола побежала на кухню.

— Отдыхайте, ребята, — сказал капитан и направился в свою каюту.

Мортусян подошел к Санти, перегнулся через спинку его кресла, выплюнул абрикосовую косточку:

— Мне смыться?

— Как знаешь.

— Развлекаешься с девочками?

— И другим советую.

Мортусян как-то неопределенно хмыкнул, нежно погладил Санти по голове:

— Ну, ну, пайныка, — и тоже направился к себе.

Паола с чашечкой на подносе впорхнула в салон. Увидела Санти. Одного только Санти. Значит, снова до утра...

И — приветливым тоном хорошо вышколенной стюардессы:

— Кофе, мистер Стрейнджер... — и загнулась: между ними был синтериклон. Такой промах для опытной стюардессы...

Она так и стояла, мучительно краснея все больше и больше, хотя давно уже могло показаться, что дальше — уже некуда; но особенностью Паолы было то, что она умудрялась краснеть практически беспрестанно. И эта глупая, ненужная чашка в руках...

— Бог с ним, с кофе, — ласково проговорил Санти, поднимаясь. Он подошел к перегородке и прижался к ней щекой. Перегородка была чуть теплая. — Мисс Паола, вы скоро вернетесь на Землю?

Паола подняла на него глаза и не ответила. Санти засмеялся:

— Держу пари, что я таки добился того, что вы считаете меня самым навязчивым из всех ослов. Ну, ладно. Чтобы доказать обратное и заслужить вашу дружбу, открою вам один секрет: если вы хотите завоевать симпатии мистера Мортусяна — пошлите ему в каюту целую гору сластей. Знали бы вы, какой он лакомка! Это верно так же, как и то, что капитан любит только одну вещь: легкие вирджинские сигареты.

— Но у нас на станции никто не курит... — Паола растерянно оглянулась по сторонам.

Господи, какая дура!

— К счастью, в моем личном саквояже вы можете их отыскать. Пошлите на корабль «гнома», как только закончится дезактивация и дезинфекция.

— Я не имею права...

— О, разумеется, разумеется... — Санти чуть заметно усмехнулся: не пройдет и трех минут, как «гном» поползет на корабль за сигаретами. Ну что же, начинать надо с малого. — А жаль! — добавил он вслух.

Паола улыбнулась дежурной улыбкой стюардессы:

— Пойду поищу чего-нибудь для мистера Мортусяна...

Санти проводил ее взглядом, вытянулся в кресле, закинув руки за голову, негромко прочитал:

Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры,
С твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого...

Дэннел закрыл за собой дверь каюты, устало опустился на край койки. Ну что, капитан, где твое хваленое ТО, ради

чего ты живешь именно так, как сейчас живешь, и не стоит жить иначе?

Раньше оно, пожалуй, было ближе, достижимее. А сейчас оно где-то рядом, но невидимо и неощутимо, как грань между будущим и прошедшим. Увлекательная это игра — ловить настоящее. Хотя бы — ощущение. Кажется, что оно вполне реально, но когда стараешься подстеречь его — оно становится всего лишь ожиданием; оно приходит, спешешь зафиксировать его в памяти — а оно уже там, потому что оно стало воспоминанием. И так всегда и во всем его настоящее распадалось на прошедшее и будущее, ускользало, и вся жизнь, если смотреть на нее с точки зрения разложения бытия на две эти иррациональные составляющие, расплзалась, расплывалась, теряла привычные контуры, и в мерцании равновероятных правд и неправд рождалось желание совершать что-то недопустимое, невероятное; ведь не все ли равно было, что делать, если не успеваешь осмыслить каждый миг — а он уже перелетел грань будущего и прошедшего.

Это стремление и привело его к Себастьяну Неро, и тогда жизнь стала действительно таинственной и желанной, и была она такой до конца прошлого рейса, пока снова не появилось недоуменное, тревожное смятение — а есть ли во всем этом ТО, ради чего вообще стоит жить?

Сначала он думал, что ТО — это ожидание полета. Но ожидания не было, была переполненная формальностями суeta проверки и отладки двигателей. А потом компания погнала «Бригантину» раньше расписания, и он даже не успел как следует познакомиться со вторым пилотом. Потом был полет туда — нудная канитель с вышедшими из управления супраторами, и бормотанье Мортусяна, и лучезарные улыбки Санти. И в этом уж никак не могло быть ничего святого. И погрузка над Ганимедом, истерический вой в фонах, роботы-грузчики, бесконечные контейнеры и «быстрее, быстрее» — из экспортного управления с Земли.

И вот самое интересное — «Арамис», где наконец он мог в полной мере быть «джентльменом космоса», непроницаемым и безупречным.

Но опять не было ощущения того, что вот именно сейчас и наступило ТО, ради чего живешь именно так, как живешь, и не стоит жить иначе.

«А, к чертям, — безнадежно подумал Дэннел, — пока я — первый пилот нашего флота, и я независим, и счет

в банке, — лет десять сносной жизни, а потом... час общественного труда и гарантия, что не умрешь голодной смертью».

За дверью послышались легкие шаги, хлопнула соседняя дверь. О'Брайн потянулся и включил экран внутреннего фона. Каюта второго пилота. Ага, Санти уже делится впечатлениями с Мортусяном.

— Ну и как? — послышался жабий голос Пино.

— Как и должно быть, — скромно ответил Санти.

— А как тебе мадам?

— Бр-р-р... мечта пьяного Делакруа. Марокканская лошадь.

— А мамаша?

— Сами русские о таких говорят «чуч-мэк»...

— Мистер Стрейнджер! — Дэниел почувствовал, что необходимо немедленно вмешаться. — Я попросил бы вас на будущее — как и вас, Пино, — не устраивать в салоне патриотических дискуссий.

— Бога ради, капитан, разве был серьезный разговор? — Санти поднял ангельские глазки на экран Дэниела. — Мне казалось, что я только исправляю нашу общую бестактность, стараясь привлечь к беседе мисс Паолу.

Дэниел побледнел. Еще никто не смел с такой бесцеремонностью указывать ему на то, как следует вести себя за общим столом.

— И попрошу вас внимательнее следить за своей речью, — словно не расслышав ответа Санти, продолжал капитан. — Слова «чуч-мэк» нет в русском языке.

— Прошу прощения, капитан, — живо возразил Санти, — это жаргонное выражение, вышедшее из употребления в конце двадцатого столетия. Оно встречается у очень немногих авторов.

— Не слишком ли хорошо вы знаете русский, мой мальчик?

Санти вскинул руку — отключил фон Мортусяна.

— Язык врагов нужно знать так же хорошо, как свой собственный, — негромко проговорил он. — И даже лучше.

— Вы с ума сошли. Вы же на...

— В каютах пассажиров нет наблюдательной аппаратуры.

— Вы уверены?

Санти шагнул вперед, так что губы его очутились у самого экрана и зеленоватое стекло подернулось легкой

дымкой дыханья. И еще он засмеялся, так откровенно и высокомерно, как только он один позволял это себе по отношению к О'Брайну.

— Я это просто знаю, капитан. Они создавали эти станции, дьявольски уверенные в том, что только они будут здесь хозяевами. Себя им не нужно было контролировать. А мы — только пока. Мы — потенциальная часть их самих. Мы — хорошие парни, только по недомыслию не понимающие, что рано или поздно мы будем обречены на ту рабскую уравниловку народов, которую они считают светлым будущим человечества. А мы не хотим! И не позволим! Мы — это не вы, капитан. И не этот застенчивый висельник Мортусян, которого мистер Неро — да-да, собственноручно Себастьян Неро — вытащил из мельбурнской тюрьмы и засунул на наш корабль. Ах, вы этого не знаете! Естественно, ведь вам на все плевать. Да не возражайте, капитан, нас ведь никто не слышит, и престиж «джентльмена космоса» не пострадает от того, что я вам скажу. Мы будем драться за тот путь, который мы сами выберем. И, может быть, нам придется уничтожить тех, кто стоит на дороге. А те, которым плевать на все, — они тоже стоят. А нам нужно, чтобы с нами вместе шли. Бежали. Дрались. Но не стояли. Мы...

— Кто же это — мы? — спокойно проговорил О'Брайн.

И снова Санти улыбнулся, как улыбаются люди, настолько сильные, что им можно уже ничего не скрывать.

— Мы — это пока я один, капитан. Прежде чем научиться драться в стае, каждый должен отточить свои когти в одиночку. Вы думаете, что этот корабль — мое первое поле боя? Нет, капитан, это еще учебный ринг. Только поэтому я и здесь. Пока я честно могу вам признаться, что не знаю, что я буду делать дальше. Сначала — искать таких же, как я. И если я найду человека, которого признаю сильнее себя, — я буду выполнять его приказы слепо и фанатично, как иезуит. А нет — буду командовать сам. Разумеется, это будет трудно, и не только потому, что миновали те золотые времена, когда мы, свободные люди — я снова говорю «мы», потому что все время чувствую себя частицей какого-то вечного братства непокоренных, — когда мы заставляли дрожать президентов, а тех, которые обладали излишком самостоятельного мышления, попросту убирали с пути; ког-

да мы вздергивали на фонарях этих черномазых, которым сейчас позволили забыть, что они — все-таки не люди.

Трудно нам будет потому, что слишком многим на все наплевать. А ведь так гибнут целые государства. Древний Египет, Рим, Греция — они погибли, когда их обожравшимся жителям стало на все плевать. И еще нам будет трудно потому, что слишком давние ошибки нам придется исправлять. Ошибки древние, но столь страшные, что мне порой кажется, что это я сам допустил их: это я в девятьсот четвертом не вступил в союз с Японией, чтобы помочь ей захватить всю азиатскую часть России; это я в семнадцатом году не объявил тотальной мобилизации всего мира, чтобы задушить новорожденную гидру социализма; это я в сорок пятом...

Дэнниел выключил фон: он не хотел видеть, как сейчас вот эта одухотворенность борьбы, этот взлет юношеской непримиримости перейдут границы прекрасного и опустятся до чего-то истеричного, маниакального, жалкого.

И уже совсем бессознательно пожалел, что нет на этой станции аппаратуры подслушивания, — пусть все слышали бы Санти, золотого мальчика, не сумевшего родиться в эпоху конкистадоров. И пусть запоминали бы его, потому что этот мальчик рожден необыкновенно жить и необыкновенно умереть. Вот почему с «Бригантиной» никогда и ничего не случается: потому что на ней Санти, хранимый судьбой для своего небывалого, нечеловеческого конца. Ох, как чертовски жаль, что вы не слышали его. И ты не слышала его, проклятая марокканка. Жаль.

День второй

Пир Вальсара

— Чисто? — в сотый раз спрашивала Ада.

— Чисто, черт их дери, — в сотый раз отвечала Симона и в сто первый раз запускала на просмотрном столике какую-нибудь диаграммную ленту. Формально все было чисто. Одни подозрения — как и в прошлый их приход, впрочем.

— Значит, опять пропустим их?

— Черта с два, — сказала Симона. — Ищи.

И снова киберы, чмокая присосками, шли по сумрачному переходу, чтобы передвинуть и «прозвонить» каждый контейнер, чтобы обнюхать каждый квадратный сантиметр поверхности стен и горизонтальных переборок, и Ада сидела перед экранами внешнего обозрения до самого обеда, и после обеда, и снова ничего не было заметно, и Симона наконец оттащила ее от просмотрового пульта, потому что и завтра будет еще целый день.

— Чисто? — еще раз спросила Ада.

— Пока да. Но видишь этот штрих?

— Царапнуло перо.

— А тут?

— М-м-м... Тоже.

— И здесь — тоже?

— Честное слово, Симона, это слишком уж микроскопические придирки.

— А почему они идут через определенный промежуток времени?

— А почему бы им и не идти? Механические неполадки.

Симона запустила еще одну ленту:

— Ну, а здесь? Этот легкий зигзаг — всплеск радиации. Вот еще — весьма регулярные всплески. Помнишь, я тебе говорила о них в прошлый приход «Бригантины»?

— Но им так далеко до нормы!

— Не это важно. Важно то, что по времени они совпадают с первыми штрихами.

— А первая лента — откуда?

— С регенерационной машины. Словно ее останавливали или переключали на другой режим.

— Ну, знаешь! Какая тут связь?

— Да никакой, — сказала Симона.

Ада направилась к двери, но Симона продолжала упорно смотреть на легонькие лиловые загогулилки.

— Как ты думаешь, — спросила она вдруг, — что будет делать нормальный космонавт, если в кабину проникнет излучение?

— Такое?

— Такое — наплюет. Мощное.

— Усилит защитное поле. Ну, полезет в скафандр высокой защиты, если успеет.

— Ну, а ненормальный космонавт?

— Ненормальных не бывает.

— Ненормальный космонавт заранее наденет скафандр, а потом...— Симона еще раз посмотрела на рисунок ленты и пошевелила пальцем в воздухе, повторяя кривую,— потом возьмет дезактиватор и накроет его рас-
трубом датчик прибора. Прибор трепыхнется и как паничка покажет нормальную активность.

— Зачем?

— Не имею представления. Ну, пошли.

— Последние известия,— сказала Симона голосом кибер-информатора, входя в салон.— Большой океанский лайнер доставил из Чикаго в Москву тысячу триста актеров, статистов и специалистов-антигравитаристов «Беттерфлай-ревю». Гастроли продлятся четыре с половиной месяца.

— Ох,— сказала Ираида Васильевна,— никогда нельзя спокойно приехать в Москву попить чайку. На первом же перекрестке в тебя вцепятся —«нет ли лишнего билетика?»

Вот когда Санти брякнет: «И это — каждому по потребности».

Но Санти молчал.

— Во-вторых, десятого сентября ожидают извержения какой-то сопки. Разумеется, весь институт имени Штейнберга на ногах. И, в-третьих, двоих ваших опять попросили с Марса: что-то они регулярно стали носить на руках браконьеров.

Гости невозмутимо промолчали.

— И вот-вот будет спецсвязь с Землей.

Санти поднял пушистые каштановые ресницы.

— Чья-нибудь мама,— пояснила Ираида Васильевна.

Но это оказалась не мама, а Митька, и Симона с Ираидой Васильевной, извинившись, пошли в центральную, и Митькина голова уже сняла на экране, и по этой голове было видно, что сидит он на самом кончике стула.

— Здравствуй, мама,— сказал Митька и тыркнулся в самый экран.

— Здравствуй, Митя,— ответила Ираида Васильевна так строго, что Митька даже растерялся:

— Мама, а ты ни на что не сердишься?

— Что ты, сынуля. Я просто устала. А как у тебя с отметками?

«Господи, что она вынимает из него душу?» — с тоской подумала Симона и постаралась боком-боком двинуться в сектор передачи.

— Это вы, тетя Симона? — закричал Митька, и глаза его сделались узенькими и совершенно черными — никакого белка, просто черная шелка. Вот так дикареныши радовались, завидя добычу. И бросались на нее. Этот еще не умеет бросаться — этот пока только радуется.

— Ну, что тебе, человеческий детеныш?

— Теть Симона, а я узнал: волосатики все-таки инертными газами дышат. К Фаддею братишка приехал из Бордо — там все только об этом и говорят.

— А не путаешь, дикареныш? В нашем воздухе ведь тоже присутствуют инертные газы, — не в таком, конечно, количестве, как на Ганимеде, но всё же есть. Мы их и вдыхаем, и выдыхаем, и даже заглатываем. Но ведь мы ими не дышим и не питаемся. Понимаешь разницу или объяснить?

— Да тетя Симона же, — с отчаяньем проговорил Митька, — ну как вы не хотите понять? Я же вам говорю — дышат. Ну, вдыхают там аргон или ксенон, а выдыхают уже совсем другое. Соединение. У них внутри соединяется.

— Фантастика, — пожала плечами Симона. — И потом, откуда французские ученые это взяли? Ведь никто еще не видел живого волосатика. Как и черта.

— Не знаю... — растерянно протянул Митька.

— Никогда не говори ничего такого, что тебе самому до конца не ясно, — терпеливо проговорила Иранда Васильевна. — Вероятно, очередная байка о наличии в ганимедской атмосфере различных соединений инертных газов. Поговорим об этом на Земле. А сейчас нам пора, сынуля. У нас гости.

— «Кара-Бугаз»?

Всё, чертенята, знают — даже примерное расписание рейсовых планетолетов.

— Нет, — сказала Симона, — «Бригантина». Воинствующие рыцари «Независимой компании».

Митька внимательно посмотрел на Симону. Скулы, обычно скрытые мальчишеской округлостью щек, проступили четко и тревожно.

— Познакомиться хочешь? — спросила Симона, улынувшись.

Иранда Васильевна недовольно обернулась к ней, но Симона как ни в чем не бывало уже успела щелкнуть

тумблером. Ираида Васильевна только пожала плечами,— собственно говоря, передача из салона в присутствии экипажа какого-либо корабля никогда не запрещалась.

— Господа,— сказала Симона, переходя в салон,— это — Митя Монахов.

Космолетчики как по команде обернулись сначала к ней, а потом к фону дальней связи.

Митька увидал гостей и машинально поднялся. На экране, четко деля его на белое и черное, были видны теперь только чуть примятая рубашка и трусы на трогательной резиночке.

— Сядь, Митя,— просто сказала Симона.— Это — экипаж «Бригантины»: капитан Дэниел О'Брайн (Дэниел кивнул почти приветливо, и Митька ответил ему сдержанным кивком, исполненным достоинства), космобиолог Мортусян (Пино мотнул головой — Митька тоже мотнул) и второй пилот Стрейнджер (Санти привстал, улыбнулся).

Митька кивнул без улыбки и исподлобья глянул на Симону; та едва заметно прикрыла глаза, но это был целый разговор, понятный только им двоим: «Ты, дикареньш, не ожидал, что они такие. Да, капитан — по-видимому, герой и дельный парень. Мортусян — парень не дельный, не герой и, вообще на планетолете фигура странная. А третий — настоящий враг. Это ты правильно угадал, дикареньш. И что не подал вида — правильно. И что не улыбнулся ему — тоже правильно. Молодец».

— Не буду вам мешать,— Митька явил весь свой такт,— до свидания.

Ираида Васильевна немножко растерялась, перебирая привычные, но неподходящие в данном случае слова, а тем временем экран погас, и гости по очереди стали говорить то хорошее, что всегда говорят матерям про детей, а Ираида Васильевна все думала, что про отметки он так и не успел рассказать,— не вовремя всегда вмешивается эта Симона.

Ираида Васильевна вернулась на свое место. Все молчали.

— А что,— Симона потянулась за леденцами,— завидно, да? Хочется еще в футбол погонять и девчонок за косы?

— Подумаешь,— сказал Санти.— Вот прилечу и пойду играть в футбол. И за косы кого-нибудь тоже можно.

— Черт побери.— Симона высунула кончик языка с леденцом, скосила глаза и посмотрела на конфету — она была зеленая.— А вот я — уже старуха.

Дэниел медленно поднял на нее глаза. О чем она говорит? Почему он перестал понимать, о чем она говорит?

— Ну да,— протянул Санти,— а меня так и подмывает спросить вас, в котором вы классе.

— В пятом,— с готовностью отозвалась Симона.— Лучше всего — в пятом.

Все, естественно, выразили на своих лицах необходимое недоумение — почему, мол, обязательно в пятом классе.

— А меня в пятом три раза из школы выгоняли. Бесповоротно. И обратно принимали. Скучал без меня директор. Одна библейская эпопея чего стоила.

Иногда во время разговора Симона делала небольшие паузы и подносила пальцы левой руки к губам. Казалось, что она затягивается из невидимой сигареты. Но это только казалось,— Симона вообще не курила, и привычка появилась неизвестно откуда.

— Мы тогда только-только начали курс классической физики. Поначалу это всегда впечатляет — первые настоящие приборы, опыты, лабораторные... Тихие радости — погладить стрелочку от демонстрационного амперметра и сунуть палец в соленоид. А в соседнем кабинете обособились старшие. Физическое общество «Единица на т». Это было как раз то время, когда интерес к космосу резко пошел на убыль и все кинулись решать проблему машины времени. Развлекались на этой почве и стар и млад, вплоть до трагедии в Мамбгре, после которой подобные опыты были строжайше запрещены.

Старшие были настоящими вундеркиндами, имевшими на своем счету портативный манипулятор, работавший на биотоковых командах,— краса областных выставок детского творчества. Нам его не разрешали даже трогать.

Так что когда по школе разнесся слух, что старшим удалось создать модель машины времени, мы вынуждены были махнуть рукой на дисциплину и ночью, в одних трусах и майках, совершить беспримерный переход с балкона на балкон (на высоте, кажется, одиннадцатого этажа) и таким образом проникнуть в запретный кабинет.

Знаменитая машина напоминала огромную этажерку, и ребята, бывшие со мной,— звали их Поль и Феликс, ка-

жется, у меня совсем никудышная память на мужские имена,— так вот, Поль и Феликс бросились к этой этажерке и залезли в ее плекситовые кабинки. И тут посыпались невероятнейшие проекты. «Хочу быть на турнире, где Генрих Второй получил в глаз!» — кричал Поль. «Пустите меня на каравеллу капитана Блада!» — вопил Феликс.

«Дураки,— сказала я,— сегодня на ужин опять была овсяная каша и мармелад из морской капусты. Сытно и питательно! Так что если мы действительно попали в машину времени, то пусть она доставит нас на самый роскошный пир, который был на Земле с момента возникновения человечества».

Не знаю, кто и что сделал, что машина приняла мою команду, но в тот же миг я почувствовала... сейчас-то я знаю, что это попросту ощущение невесомости; а затем все кругом — сама машина, мальчишки, стены, потолок — стали прозрачными, неосязаемыми, они надвинулись на меня, и я очутилась как бы внутри всех их — одновременно.

Это было не тяжело, а просто так страшно, что я уже перестала что-либо различать. Ну что вы хотите, конечно, перепугалась. А потом — правда, я не знаю, как скоро наступило это «потом», — вдруг стало легко и уже совсем темно. Я выползла из своей мышеловки. Пахло подземельем и еще чем-то благоуханным, маслянистым, священным...

Симона сделала паузу и быстро, пряча глаза под невероятными своими ресницами, оглядела слушателей. Встретилась взглядом с Дэниелом, усмехнулась одними уголками глаз.

«О чем это она? — снова подумал Дэниел. — «Пахло чем-то священным...» Но Симона органически неспособна произносить подобные фразы. Она должна была сказать: воняло машинным маслом с ванилью...»

— Темнота низко нависала надо мной, — продолжала Симона, — откуда-то доносилось приглушенное бормотанье — всего три или четыре слова, которые повторялись с небольшими паузами и сопровождались звоном чего-то тяжелого. «Молится», — прошептал над моей головой Поль, и мальчишки, производя по возможности меньше шума, плюхнулись на пол. «Нет, считает», — возразил Феликс. Гадать было нечего, мы двинулись на голос. За поворотом узкого прохода мерцал жиденький свет. По каменному полу ползали три человека, заку-

танные в какие-то хламиды. И тут же, на полу, поблескивали груды каких-то деталей. Приглядевшись, мы заметили, что один из этих закутанных вытаскивает из колодца тугие мешочки, другой их взвешивает на палочке с двумя чашечками — допотопный такой прибор для сравнительного определения массы; третий же раскладывает содержимое мешочков на кучки, приговаривая какие-то слова, наверное — «мне, тебе, ему». И тут я догадалась: «Ребята, это же деньги!» Тот, что делил, вздрогнул и лег животом на свою кучу. Мы затаили дыхание. Тот лежал-полежал и снова принялся за дележ.

«На пир не похоже», — прошептал Феликс. Мы, не сговариваясь, поползли в противоположную сторону. На наше счастье в карманчике трусов у Поля оказался люминесцентный мелок, и он, как Мальчик-с-Пальчик, оставлял на стенах крошечные светящиеся точки, которые позволили нам потом найти дорогу назад. Несколько витых лестниц с осклизлыми ступенями, и мы очутились в галерее, наполненной людьми. Все они были полуголыми и какими-то маслянистыми. Словно их рыбьим жиром мазали. Они бегали взад и вперед с факелами, горящими чадным багровым пламенем, и медными блюдами, которые они несли над головой. Что там лежало, мы не могли видеть, но на пол капал остро пахнувший бараний жир, и весь пол поблескивал расплывшимися тошнотворными пятнами.

Никто не обращал на нас внимания. В дымной сумятице мятущихся огней наши трусики и майки ни у кого не вызывали недоумения. Феликс, предусмотрительно захвативший с собой знаменитый биоквантовый манипулятор, шел впереди. На него налетел один из этих полуголых и, выбросив руку вперед, прокричал что-то гортанным голосом. Там, куда он показывал, виднелась покосившаяся дверь. Мы осторожно вошли в нее.

Неуклюжие колонны беспорядочно торчали по всему залу. А возле них прямо на полу полулежали люди. Тупые горбоносые рожи истекали жиром; иссиня-черные, завитые мелким бесом бороды двигались вверх-вниз с монотонностью поршневых двигателей. И какое количество еды! И вся несъедобная. Какие-то рваные куски мяса, лепешки с отпечатками чьей-то пятерни... И этот жир. Бр-р-р...

Мы присели на корточки у стены. Шагах в двадцати от нас, на возвышении, возлежал пожилой человек. У него было откормленное, в лиловых жилочках лицо, и чер-

ные волосы, убранные мелкими белыми цветочками. Он то и дело бросал еду и хватался за сердце, отчего на белой его одежде оставались салные пятна. «По роже видно, что предынфарктное состояние», — заключил Феликс, и Поль приснул. «Дураки, — сказала я, — его пожалеть надо. Ему бы сейчас морковную котлетку и капустный салат. А он вон как обжирается».

Мальчишки посмотрели на предынфарктного царя и тоже пожалели его. Но тут в зал ворвались полуголые девчонки лет так по десяти и начали такое вытворять...

«Пошли отсюда, — сказал Феликс. — Какой-нибудь великий царь, а вон чем занимается. А самого внизу обкрадывают». — «Кто?» — удивился Поль. «А ты что думаешь, те трое — что, в двенадцать камушков играют? Они крадут. И делят».

«А ведь нехорошо, — сказала я. — Мы знаем — значит, вроде бы покрываем. Надо сказать этому дураку. Или написать на стенке — манипулятор есть, люминесцентный мелок — тоже».

Симона замолчала. Все слушали, как маленькие, — раскрыв рты.

— Ну, а остальное вы уже знаете, — закончила она. — Манипулятор был белый, по форме напоминал человеческую руку, и, когда он стал писать оранжевым мелком светящиеся слова: «Взвешено, сочтено, разделено», — тут-то и был с великим царем инфаркт.

Санти наклонил светлую голову к самому столу, восторженно посмотрел на Симону снизу.

— Мадам, — проникновенно проговорил он, — куда бы вы еще ни полетели — возьмите меня с собой. Готов следовать за вами в качестве оруженосца, раба, робота...

— Идет, — Симона тряхнула лохматой гривой, — идет. Только это будет пострашнее... Не боятесь?

— Нет, мадам.

— Молодец, мой мальчик. Но мы пойдем сквозь пояс чудовищной радиации... И все-таки не боятесь?

— С вами, мадам?

— Правильно. Чего же бояться? Мы просто наденем антирадиационные скафандры, возьмем дезактиватор и... накроем его раструбом бортовой дозиметр. Здорово?

Лицо капитана, застывшее в снисходительно-насмешливой улыбке. Круглеющие от страха глазки Мортусяна. Санти поднял пушистые девичьи ресницы — хлоп, хлоп, — пленительно улыбнулся:

— А зачем?

— Это-то я и хочу узнать: зачем?

Казалось, Симона сейчас протянет свою огромную лапу, словно папиросную бумагу прорвет синтериклон и накроет маленького Санти, и он трепыхнется под ней — и затихнет, пойманный...

И тут вскочила Паола. Ничего не понимая, но инстинктивно предугадывая надвигающуюся на Дэнниела опасность, она бросилась вперед, словно воробышка, растопырив перышки:

— Ой, не отпускайте мистера Стрейнджера, капитан. Честное слово, это плохо кончится. А если он вам не нужен, то лучше оставьте его здесь, на станции...

Все дружно рассмеялись. Все, кроме Симоны. «Господи, да что же я делаю? — неожиданно подумала она. — Что делаем мы с Адой? К чему вся эта мышиная возня с предполагаемой контрабандой, которую мы, наверное, не найдем, потому что ее попросту не существует. А потеряем мы Пашку. Потеряем нашу Пашку. А нашу ли? Нам казалось, что достаточно прожить вместе несколько лет, как она автоматически станет нашей. А вот вышло — она чужая, и мы для нее враги. Понимает, что мы что-то затеяли, и готова на все, именно на все, на драку, на предательство, лишь бы защитить тех, своих. Так что же вы смотрите, Ада, Иранда, куда вы смотрите? От нас же уходит человек...»

А Иранда Васильевна с Адой смотрели на Санти. От него действительно трудно было глаза отвести.

— Очень-то нам нужны тут на станции такие — рыжие, — медленно проговорила Симона.

Санти прищурил глаза, поднялся, потянулся — чуть заметно, и все-таки вызывающе неприлично — и, глядя на Симону сверху вниз, ласково сказал:

— Будьте добры, мадам, разрешите мои сомнения: ведь вы во время вашего путешествия думали по-французски или, в лучшем случае, по-русски. Так как же оказалось, что надпись на стене была сделана на арамейском языке?

«Дурак, — подумала Симона, — самоуверенный красавчик. Всем вам наша Пашка совсем не нужна. И все-таки она уходит к вам».

— О черт, — сказала она вслух и резко встала. — И надо же было вам все испортить этим дурацким вопросом. Никуда я вас с собой не возьму.

Ираида Васильевна быстро вошла в центральную:
— Симона, может быть, вы мне объясните?..

А что объяснять? И как это объяснить — что Пашка, теплый маленький человечек, который умел так незаметно и преданно заботиться обо всех; некрасивый, почти уродливый чертенок — неопытный еще, застенчивый, — с каждым часом становится все более чужим, и еще немного — и этот процесс отчуждения станет необратимым, потому что в каждом уходе одного человека от другого — или от других — есть такой предел, после которого возвращение уже невозможно.

— Ираида Васильевна, — устало сказала Симона, — мы имеем основания полагать, что контрольная регистрирующая аппаратура не полностью и не всегда точно записывала процессы, происходящие в кабине корабля.

— Ну, Симона, голубушка, чтобы так говорить, надо действительно иметь веские доказательства.

Симона промолчала. Какие тут, к черту, веские доказательства — несколько мизерных всплесков на диаграммах да интуитивная уверенность в том, что «Бригантина» — посудина нечистая.

— Мы располагаем несколькими фактами, каждый из которых сам по себе вполне допустим, но все вместе они наводят на некоторые подозрения, — четко, как всегда, проговорила Ада. — Во-первых, тяжелые антирадиационные скафандры. Как вам известно, эти неуклюжие сооружения на других кораблях используются сравнительно редко — в случае непосредственной опасности. А на «Бригантине», на этом благополучном корабле, скафандры надевают в каждом рейсе. Хотя бы раз, — ведь пломба со скафандра снимается лишь однажды, и мы не можем проследить, сколько раз он был в употреблении — два или двадцать два.

— Но ведь каждый раз на это имеются причины? — строго проговорила Ираида Васильевна. — Или в бортовом журнале...

— А, бортовой журнал, — махнула рукой Симона. — Там всегда какая-нибудь липа. «Обнаружили в кабине кусочек неизвестной породы». Со страха полезли в скафандры. Это было во втором рейсе, я, естественно, попросила показать — обыкновенный кварц. Даже слишком

чистый для тех, что прямо на дороге валяются. Похоже, из коллекции сперли. Смешно. Кварц в кабине корабля, который никогда в жизни не опускался на поверхность какой-либо планеты. Тоже смешно.

— А сейчас что? — быстро спросила Ираида Васильевна.

— Якобы получили сигнал с «Линкольн Стар» о полосе радиации.

— Допустимо, — степенно проговорила Ираида Васильевна. — Блуждающее облако. Вполне вероятно. А «Линкольн Стар» запросили?

— Они сигнал подтвердили. Но...

— Но?

— «Чихуа-Хуа» шел в том же секторе. А вот ему сигнала не дали.

— Ну, это их семейное дело. Там, может, защита сильнее.

— Ну да — это же кроха, космический репинчер. И не в этом суть. Подозрительно то, что все эти происшествия случаются только в обратном рейсе. И примерно двенадцать часов спустя после старта с «Венеры-дубль».

— Все четыре раза? Совпадение.

«Вот уперлась, — с яростью подумала Симона, — и как только ей вдолбить...»

— Да поймите же! — она стукнула кулаком по плексовой панели просмотрного столика, так что он загудел. — Таких совпадений в природе не бывает! Исключено.

Ираида Васильевна флегматично пожала плечами:

— Но я вижу — вот здесь, под плексом, который уцелел каким-то чудом — ведь это лента с дозиметра? Всплеск радиации налицо. Так что не исключено, милая Симона, с фактами надо мириться. Радиация, по всей вероятности, внешняя.

— Нет, — сказала Симона. — По величине пика и по характеру затухания — не внешняя. И уж если вы хотите исследовать эту диаграмму, то обратите внимание на вот эти довольно периодические пички. Помехи? Нет. Законные пички. Малюсенькие только. Откуда бы им взяться, таким стройненьким? При внешнем потоке они были бы горбиком — вот такие размазанные. А они — как иголочки. И двойные. Словно что-то делали. Делали два раза — туда и обратно. Что?

— Ничего, — так же невозмутимо произнесла Ираида

Васильевна.— Хотя, конечно, вы имеете право на любые предположения. Но задерживать корабль, обвинять команду в контрабанде из-за таких микроскопических штрихов на ленте — это абсурд, мания преследования, извините меня. Единственное, что мы вправе сделать, это составить докладную на имя Холяева, а после разгрузки корабля запросить бригаду на дополнительную выверку приборов.

— Иранда Васильевна,— отчеканивая каждое слово, проговорила Симона,— команда «Бригантины» систематически открывала люк грузовой камеры. Вернее, люк в тамбурную между пассажирским и грузовым отсеками. Первый всплеск радиации отмечен дозиметром во всей своей красе. Все последующие глушились дезактиватором — им просто закрывали дозиметр.

— Доказательства.

— Вот, полюбуйте. Я послала кибера в каюту, он приподнял люк. Ровно на то время, которое требуется человеку, чтобы спуститься в тамбурную камеру, не правда ли? А вот — то же самое, но дозиметр закрыт раструбом дезактиватора. Убедительно?

— Похоже,— как-то чересчур быстро согласилась Иранда Васильевна.— Но помните старинную геологическую притчу о лягушке, которая прыгнула в ямку с сейсмографом, отчего тот зарегистрировал землетрясение в десять баллов? Между прочим, над незадачливым прибористом, который думал, что он проспал такое землетрясение, все смеялись. Мне что-то не хочется, чтобы вся система «Первой Козырева» потешалась над тем, как на «Арамисе» тоже открыли несуществовавшее землетрясение.

— Все равно,— упрямо проговорила Симона,— моей визы на разгрузку «Бригантины» не будет.

Иранда Васильевна только руками развела:

— Чего же вы требуете?

— Вскрыть контейнеры с грузом.

Тут даже Ада разинула рот.

— Симона,— проговорила она,— ты... это же двести восемьдесят штук!

— А что делать? Где искать?

— Что искать? — буквально застонала Иранда Васильевна.— Если бы хоть вы сами могли предположить, что искать?

— Причину, по которой американцы спускались в тамбурную камеру.

— Так и ищите в тамбурной.

— Голые стены. Голые титанировые стены. Титанир в тридцать миллиметров толщиной, хотя они именно в нее и ползали.

— Наденьте антирадиационный скафандр и сами идите в камеру, — решительно распорядилась Ираида Васильевна. — Если вы там ничего не обнаружите — сегодня вечером «Бригантина» уйдет на «Первую Козырева».

— Надо думать, не уйдет. А тебе, Паша, что?

— Ничего, — кротко сказала Паола. — Прибраться хотела.

«Слышала, радуется», — подумала Симона.

— А, иди спать. Третий час. Только притащи нам сифончик, мы ведь тут до утра. Если не до вечера.

— Сейчас.

Паола застучала каблучками по коридору. Но Симона ошиблась — радости не было. Что-то случилось. Что-то нависло над ними. Просто так корабль не задерживают.

А знают ли они?..

Паола тихонько ахнула, сифон упал на пол, как мячик. Никогда еще она сама не включала каюту капитана. Она убирала ее перед приходом корабля, и приготавливала земной костюм, и ставила четыре махровых мака — но никогда не включала сама фон его каюты.

Паола оглянулась — никого. Щелкнула тумблером.

Дэниел стоял у иллюминатора. Сейчас из его каюты нельзя было увидеть Землю, и он смотрел просто в темноту, и Паола вдруг поняла, как же худо ему, и как она ничем, никогда не сможет ему помочь. Потому что она никогда не будет нужна ему.

— Капитан, — сказала она шепотом.

Дэниел обернулся. Увидел Паолу. Всего только Паолу.

Паола проглотила сухой комочек.

— Не хотите ли какую-нибудь книгу, мистер О'Брайн?

— Благодарю. Я не люблю читать урывками.

— А если вы здесь задержитесь, мистер О'Брайн?

Дэниел долго и очень спокойно смотрел на Паолу. Смотрел так, как нельзя смотреть на некрасивых.

— Благодарю вас, мисс, — сказал он просто. — Пришлите что-нибудь по вашему выбору.

А Симона с Адой действительно просидели до утра, и Си-

мона в тяжеленном скафандре облазала всю тамбурную, и когда утро наступило, не оставалось ничего, как сидеть до вечера, и Симона с Адой снова сидели, и до слез вглядывались в желтовато-оливковый экран, на котором было видно, как всеильные киберы обнюхивают и простукивают каждый контейнер, и каждую пядь стен, переборок и люков, и каждый паз, и каждую заклепку, и — ничего.

Белый камень у меня, у меня...

— Вот так, — сказала Иранда Васильевна. — Не вижу оснований продолжать карантин. Киберы и механизмы с «Бригантины» убрать, в помещениях станции поднять синтериклон.

Симона свесила лохматую голову на правое плечо, пошла выполнять приказание. Хорошо, что успела обо всем доложить Холяеву еще утром, — сейчас уже было бы поздно, уже вечер.

Этот прощальный вечер за общим столом, не разделенным на две половины, всегда носил отпечаток торжественности. Сама церемония поднятия перегородки уже символизировала объединение со всеми людьми Земли. Обычно незадолго до нее командир станции вызывал с «Первой Козырева» буксирную ракету, и таким образом первый общий ужин превращался в прощальный. Паола, побледневшая и повзрослевшая, бесшумно наклонялась над креслами — по традиции, установленной ею самой, в этот прощальный вечер никакие киберы в кают-компанию не допускались. Официально это подчеркивало уважение хозяев к гостям, на самом же деле позволяло девушке хотя бы невзначай подойти к капитану О'Брайну. И когда ей удавалось обменяться с ним парой ничего не значащих фраз, Иранда Васильевна радовалась за нее, Симона посмеивалась, а Аде было за нее немножечко стыдно. Но так или иначе — ничего не было для Паолы желаннее и печальнее, чем эти прощальные вечера.

Симона, так и не ложившаяся в эту ночь, сидела, подпершись рукой на манер Иранды Васильевны, а за столом царствовал неугомонный Санти, который, притворно вздыхая и чересчур демонстративно добиваясь всеобщей

жалости, рассказывал горестную историю своего детства, прошедшего в унылой и академической обстановке роскошного дворца его папочки, миллиардера старого закала, который довел своего единственного сына до необходимости сбежать в школу космонавтов, за что последний был пр-р-роклят со своей корректностью выходца из викторианской Англии.

Санти пожалели и накормили манговым джемом.

Иранда Васильевна качала головой, простодушно удивлялась:

— Прямо не верится, что у вас так не жалуют космолетчиков. Вон у нас — Костю Агеева каждый школьник знает.

— Тем не менее это действительно так. Интерес к межпланетчикам угас сразу же, как прекратились сенсации. Установление же регулярных рейсов между Венерой, Марсом, Землей и астероидами низвело космолетчиков до положения шоферов или даже кучеров. Не смейтесь. Это печально, потому что такое отношение к нам господствует не только в высших кругах, но распространилось на все слои общества.

— Да,— вставила Паола.— «На своей Земле» — помните?

— «На своей Земле»...

Это была модная песенка, и написали ее явно не профессионалы,— это чувствовалось и по довольно примитивной мелодии, и по словам, неуклюжим и грубоватым, и все заставили Санти ее спеть, и Паола согласилась подпевать, и только капитан немного нахмурился, когда Санти затянул, отбивая такт тонкими и аристократическими (теперь-то это сразу бросалось в глаза) пальцами:

Пусть другие оставят родной порог,
Уходя на космическом корабле,—
Нам хватит забот и хватит тревог
На своей Земле, на своей Земле.

Пусть другие целуют своих подруг,
Унося тоску о земном тепле,
Нам хватит нелегких своих разлук
На своей Земле, на своей Земле.

Пусть других погребает навек Луна,
Пусть другие сгорают в межзвездной мгле,
Но горя и так мы хлебом сполна
На своей Земле, на своей Земле...

— А песенка-то с душком,— сказала неожиданно Симона,— и порочит славное племя межпланетчиков. Так что ты нам ее больше не пой, Паша. Одно верно: мы еще хлебнем горя на собственной матушке.

Она постучала костяной ручкой ножа по столу, словно под его ножками действительно была Земля. И тут раздался сигнал вызова. Симона с Ирандой Васильевной переглянулись. Похоже, что на связь выходил сам Холяев. Они извинились и прошли в центральную.

Паола присела на ручку опустевшего кресла. Ну, вот и всё. Ничто их не задержит. Можно уже не стесняться и смотреть, смотреть, и так до тех пор, пока не войдет эта Симона и не скажет, что буксирная ракета подходит.

— Джентльмены,— сказала Симона, быстро возвращаясь в кают-компанию,— вынуждена сообщить вам, что «Бригантина» задерживается на нашей станции на неопределенное время,— и оглянулась на Иранду Васильевну.

Холяев разрешил задержать «Бригантину» только на двенадцать часов.

— Миссис Монахова, — капитан поднялся, — я прошу предоставить мне фон для переговоров с правлением компании.

— Прямая связь завтра в девять пятьдесят. Но если вы настаиваете...

— О нет, это время меня вполне устраивает. Тем более что характер груза допускает и более длительную задержку.

Сантс, поднявшийся было вместе с капитаном, плюхнулся обратно в кресло.

— Ну, а что касается меня...— он запрокинул голову, глянул на Паолу и почти счастливо засмеялся,— то я ни о чем ином и не мечтал.

Капитан сдержанно поклонился всем присутствующим и повернулся, чтобы идти в каюту. Но Симона стояла у двери, ведущей в коридор, и ему пришлось поклониться ей отдельно, и она ответила ему приветливым кивком, даже слишком приветливым для того, чтобы не быть насмешливым. Чертова баба. Все они чертовы бабы.

Дэнниел уперся лбом в холодное стекло иллюминатора. Все они... Ёрунда. Вовсе не все. Их и нет — всех. Су-

ществует только одна — эта проклятая Симона. Северо-африканская лошадь. Вонючая марокканка.

Что бы там ни пел этот красавчик Санти про то, что космонавты утратили свою былую популярность, — все равно Дэниел чувствовал себя вне конкуренции; «джентльмен космоса», черт побери, — такие титулы остаются пожизненно и чего-то стоят. И если в промежутках между двумя рейсами прихоть толкала его к какой-либо женщине — он легко добивался своего, будь она хоть дочерью президента, а не такой вот желтой образиной... Ведь каких-нибудь сто пятьдесят — двести лет назад в таких стреляли, и не из лучевых — из обыкновенных допотопных пистолетов, выстрел которых упруго, по-игрушечному булькает в предрассветной голубизне белых песков пустыни...

— Капитан, — раздался голос, не похожий на все те голоса, которые могли обращаться к нему просто так, — капитан.

Дэниел включил экран.

В каюте теперь были двое — капитан «Бригантины» Дэниел О'Брайн и Санти Стрейнджер, мальчишка, второй пилот в первом рейсе.

— Капитан, — и снова этот удивительный голос, звенящий, как труба, подающая сигнал к началу военных действий, наполнил маленькую каюту, — «Бригантина» не идет на «Первую Козырева» — значит, у нас не будет предлога, как всегда, включить регенератор. А дыхательной смеси хватит лишь на полдня. Если этой ночью кто-нибудь из нас не попадет на корабль и не наполнит резервуар — груз погибнет. Есть один-единственный выход, поэтому вы сделаете вот что, капитан...

Он не предлагал и не приказывал. Он просто сказал: «Вы сделаете, капитан».

Когда Дэниел вернулся в кают-компанию, Симоны там уже не было. И этой, с геометрическими бровями, тоже, Дэниел облегченно вздохнул. Главное — никто не посмеет следить за ними...

— Мисс, — сказал он, обращаясь к Паоле, — не будете ли вы любезны провести меня в библиотеку?

Иранда Васильевна вдруг улыбнулась так широко и недвусмысленно, словно О'Брайн обратился именно к ней.

— Да, конечно, конечно,— закивала она,— Паша с радостью...

Паола, потерявшая дар речи, стояла перед ним и все дергала свою голубую форменную курточку, и он улыбнулся своей сдержанной улыбкой «джентльмена космоса», и тогда Паола, словно ее подтолкнули в спину, засемила по коридору к библиотеке, даже забыв пригласить Дэниела следовать за собой.

— Вот,— сказала она, когда дверь за ними закрылась и они очутились в тесной комнатке, заставленной книгами и ящиками с обоями микрофильмов.

«До чего же не хочется»,— подумал Дэниел и, протянув руку, взял первый попавшийся пухлый том, «Атлас цветов и растений». Чуть какая. Станция, летящая в Пространстве,— и «Атлас цветов и растений». А то, что он сейчас сам делает,— это не чуть?

— Вы изучаете цветы? — медленно (до чего же не хотелось говорить!) произнес он.

— Нет.— Паола прижала руки к животу, смотрела на него снизу вверх, благоговейно хлопая ресницами.— Я просто их люблю.

— Любить — это прежде всего знать,— так же медленно и прекрасно понимая, что он говорит откровенную ересь, заметил О'Брайн. Было все равно, что говорить. Нужно было только дать себе время на то, чтобы побороть естественную гадливость, внушить себе, что ты солдат, а не кисейная барышня; солдат добровольный, чье жалованье — относительная независимость на время полета, а долг — вот это. А потом прикрыть глаза, задержать дыхание и сказать: «Иди сюда».

— Любить — это знать,— еще раз повторил О'Брайн, только чтобы не говорить того, что нужно сказать.

— И нет,— сказала Паола,— и не обязательно. Вот самые мои любимые цветы — глицинии. Это огромные лиловые колокольчики, глянцевые, словно сделанные из восковой бумаги, и листики малюсенькие, темно-зеленые, и тоже словно восковые. Если цветок в воду бросить — он потонет, тяжелый такой. А под водой засветится лиловым светом. Это — мои глицинии. Я их такими люблю. А какие они на самом деле — не знаю. Никогда не видела. Но ведь это не важно, правда? Важно, какими я их люблю...

Дэниел не отвечал ей. «А я никогда не был на севере Африки,— думал он.— Для меня Марокко — это тонкий

белый песок, и не холмами — ровной пеленой, как снег. И эта огромная женщина с копной жестких, звериных волос... Чтобы схватить за эти волосы, бросить на песок и видеть глаза, черные до лилового блеска, остекленевшие от ужаса, как замороженные сливы, и живой хруст ломающихся пальцев...»

— Поди сюда, — сказал капитан О'Брайн, и Паола не шагнула — качнулась навстречу ему, — просто ноги не успели сделать этого шага.

Марсианин сидел, бесстыдно выставив заднюю ногу пистолетом, и вылизывал ее, так что розовая шерсть ложилась лоснящимися влажными дорожками. Когда Симона подошла, он опустил ногу и с убийственным акцентом сказал:

— Бынжюр.

— Привет, — сказала Симона, присаживаясь перед ним на корточки, — ты Аду видел?

— Не видел, — сказал марсианин.

— А Ираиду Васильевну видел?

— Не видел, — снова сказал марсианин. — А вот Кольку твоего видел. Он сюда летит. Скоро будет.

— Где же скоро? — вздохнула Симона. — Еще два с половиной миллиона лет ждать.

— Больше ждала, — наставительно заметил марсианин и почесал пушистое кремовое брюшко. — И еще подождешь.

— А Паолу видел?

Марсианин томно потянулся и откопал в красной марсианской траве старенький транзисторный приемник. Поились сладкие звуки Свадебного марша Мендельсона.

— Счастливая Паша! — патетически воскликнул марсианин голосом Ираиды Васильевны.

— Что-то ты врешь сегодня, — заметила Симона, — всем счастья наобещал.

— А я так и должен, — сказал марсианин. — я розовый.

Симона рассердилась на него — и проснулась.

Еще не вполне сознавая, что к чему, она подняла руку и шелкнула тумблером.

— Пашка, — позвала она, — Пашка!

Экран фона упорно оставался темным, — видно, Паола еще не приходила в свою каюту. Симона мельком

глянула на часы — крошечный такой кружочек на огромной смуглой ручище. Скверно — половина двенадцатого, проспала больше, чем собиралась. Но где же этот чертенок? Просила ведь по-человечески разбудить через час.

Защелкали тумблеры короткого фона: кухня, коридор, кладовая, салон... Пусто. Симона вскочила. Последние кнопки, судорожные вспышки контрольных лампочек: кибернетическая — ванная — шлюзовая — библиотека, — всё.

И — каюта начальника станции.

— Паша... — выдохнула Симона, словно всю станцию она сейчас обежала бегом.

— Это я разрешила, — каким-то деревянным, без жизненным голосом произнесла Ираида Васильевна.

Симона сунула босые ноги в туфли, вылетела в коридор и ворвалась в каюту своего начальника:

— Пашка что — у него?

Ираида Васильевна, прямая как палка и застегнутая на все пуговицы, стояла посреди каюты:

— Час тому назад Паола Пинкстоун попросила разрешения вместе с капитаном О'Брайном осмотреть «Бригантину».

Симона села на ее аккуратно застеленную постель:

— Какого черта?

— Симона, — отчеканила Ираида Васильевна, и Симоне стало до отчаяния ясно, что ничему уже не помочь, и вовсе не потому, что в Пространстве приказы начальника не обсуждаются (именно за этим она сейчас и прибежала), но уходит время, и вместе с ним — возможность вытащить эту дурочку из всей этой помойки, — как начальник станции, я несу ответственность перед Комитетом космоса...

— Ай, да при чем здесь Комитет! — Симона запустила пальцы в волосы, потом откинула их, чтоб не мешали смотреть, и тихо, глядя в упор в раскосые, как у Митьки, глаза, спросила: — Послушайте, а вы вообще разбираетесь в мужчинах?

Ираида Васильевна побледнела до желтизны.

— Нет, — сказала она, — ну и что же?

— А вы можете мне поверить, что это — всего лишь забава, случайная ночь на станции, эдакая перчинка после президентских дочек и грудастых фоновозвезд.

— Да, — сказала Ираида Васильевна, — ну и что же?

Тут даже Симона оторопела.

— Пусть вы опытнее меня, — продолжала Иранда Васильевна, — охотно вам верю (Симона тихонько вздохнула — о том, что было до Николая Агеева, по всему Пространству мифы ходили, один только Колька их не слушал). Пусть вы даже не ошиблись. Ну и что же? Пусть — забава, случайная ночь, перчинка и все прочее, и все-таки это может стать для нее счастьем на всю жизнь. Чудес не бывает, Симона, и капитан этот, баловень, никогда не поймет, что за невзрачной рожицей — человек. Не без глаз я, вижу, что не пара они. Ну и что же? Уйдет. Бросит. Забудет. Но для нее-то — на всю жизнь, да так, чтобы каждую ночь вспоминать и молиться — как сейчас она богу молится. Старому богу, маминному да бабкиному. Потому что нет счастья горше и священнее, чем счастье памяти. Только откуда вам про такое счастье знать? У вас-то оно всегда при себе... А если и бедою обернется для нее эта ночь — все равно это будет ЕЕ горе. И чем бы это ни было — все равно для нее это слишком большое, чтобы чужими руками заслонять...

Симона поднялась, пошла к иллюминатору. «Это я-то не знаю, что такое счастье памяти?» — и задыхнулась вдруг, потому что так вот иногда не хватало его, как в миг смерти не хватает жизни.

Было слышно, как Иранда Васильевна тяжело опустилась на стул.

— Паша — девка взрослая, — сказала она уже другим голосом. — Не Митя же, в самом деле. А вообще странно, что не вы мне, а я вам все это говорю. Вроде бы вы должны были взять Пашу за руку да к капитану ее свести — люби, мол, покуда любитесь... Вы уж простите меня, Симона, только странно мне как-то, что на любовь-то вы только для себя щедрая.

Симона повернулась и вихрем вылетела в коридор. Сзади, в аккуратной маленькой каюте Иранды Васильевны, что-то валилось и рушилось.

— Ты знаешь?.. — спросила Ада.

Симона кивнула.

— У них там три кибера, не успели еще вывести. Все на контроле приборов. С передачей в центральную. О'Брайн включил только регенератор воздуха.

— Естественно,— сказала Симона.

Некоторое время обе они молчали, невольно прислушиваясь, словно из планетолета могли донестись какие-нибудь звуки.

— Знаешь, я много раз думала,— продолжала Ада (эти ночные бдения в центральной удивительно располагали к неторопливым беседам),— когда наша Иранда решится хоть на какой-нибудь самостоятельный шаг, хоть на вершок выходящий за рамки инструкций. Но уж никогда не предполагала, что это может случиться по такому поводу.

— А что? — устало возразила Симона. — Все правильно. Хороший повод — счастье человеческое. А ты еще не думала, почему именно она — начальник нашей станции? Именно поэтому. Потому, что она всех нас человечнее. И спокойнее. Дай нам с тобой волю — мы бы эту несчастную «Бригантину» по винтикам разнесли. А потом неизвестно кто платил бы штраф в пользу этого Себастьяна Неро. Потому что нет ничего. Это нам только хочется всяких таких чудес. Приключений.

— А ты устала,— спокойно заметила Ада.

— Ничего не устала,— фыркнула Симона. — Просто она права. Плевать надо на все инструкции и заботиться об одном — как даже самую маленькую, самую ненужненькую любовь вынянчить, вылизать, отогреть. Как слепого звереныша. И потом только любоваться, как она вырастает в могучее, прекрасное чудище.

— Чудо или чудовище? — скептически ухмыльнулась Ада.

— Чудище. Невероятное и каждый раз — доселе невиданное.

— Ерунда,— решительно заявила Ада,— вот меня занимает один вопрос: почему из пассажирского отсека в тамбурную сделан узенький люк — ровно на одного человека, а из тамбурной в грузовой отсек — широченный, как раз такой, что целый контейнер пролезет?

— Заскоки конструкторской мысли,— махнула рукой Симона и потянула к себе план расположения контейнеров в грузовом отсеке.

Над этим планом, накануне уже изученным вдоль и поперек, они и просидели до утра, до пяти часов, когда дверь в центральную неожиданно откатилась и на пороге появилась Паола. Она вошла и остановилась, потому

что не ожидала встретить никого, да и не могла ожидать просто потому, что не помнила ни о чем, и шла, как пьяная, шла тихонечко-тихонечко, словно то, что было, еще лежало на ее руках и губах, и это надо было не стряхнуть, уберечь... И когда увидела Симону и Аду — вдруг не расплылась, как должна была бы, в своей детской улыбке, а посмотрела на них спокойно и чуть-чуть горделиво, как равная на равных.

Все молчали, и вдруг Ада, может быть немного ошавшая после второй бессонной ночи, спросила:

— Ну и что?

Паола некоторое время молчала, видимо соображая, о чем ее спросили, потом ответила — опять очень спокойно, без улыбки:

— Вполне современный корабль. Душно только. — И вышла, бесшумно притворив дверь.

— Ты что, обалдела? — спросила Симона.

— Обалдеешь, — ответила Ада. — Двести восемьдесят. Почти три сотни титанировых бегемотов.

— Вот именно, — задумчиво проговорила Симона, — почти три сотни. Почти. На «Первую Козырева» их будут перегружать прямо на «муравьев», и кто заметит, если их вдруг окажется двести восемьдесят один... Грузит-то персонал «Компании».

— Ну знаешь, спрятать целый контейнер — это невероятно.

— Вот это мы сейчас и проверим. Кстати, есть у нас обыкновенная рулетка? Не кибер-измеритель, а просто рулетка? Чудно. Подними-ка заслонку.

Ада подождала, пока Симона наденет лиловый скафандр, поблескивающий морозной пылью, словно очень спелая виноградина; потом нажала молочную клавишу, и прозрачная пленка, закрывавшая трап, перекинутый на корабль, поднялась и пропустила Симону. Ада включила шлюзовую «Арамиса»: было видно, как Симона, пригнувшись, входит в черную дыру перехода.

Около девяти часов, наскоро позавтракав в своих каютах — вместе все собирались только за ужином, — экипажи таможенной станции и американского корабля сошлись в кают-компании. Все подтянутые, корректные, сдержанные. Симона, нагнувшись над межпланетным

фоном, старательно настраивалась на Землю, — пусть этот джентльмен поговорит со своим Вашингтоном. Все равно в двенадцать часов придется их отпустить, и международного скандала не получится. В крайнем случае, Холяев принесет извинения.

Космолетчики расположились возле двери. Может быть, разговор примет такой характер, что присутствие кого-либо, кроме капитана, будет нежелательно. Тогда легче будет встать и покинуть помещение, подав пример всем остальным. И что это вообще за глупое правило — не допускать гостей в центральную рубку? В конце концов такие же планетолечики, как и мы. Хотя — какое сравнение! Мы — действительно планетолечики, а это — так, таможенные крысы... Санти осмотрел «этих крыс». Хорошо держатся, даром что бабы. Заварили кашу, задержали разгрузку планетолета, а теперь — пожалуйста, в луже. Сейчас капитан свяжется с самим Себастьяном Неро...

«...продукцию «Независимой компании». Мы далеки от мысли выдать нашим слушателям секрет синтеза белковых веществ; скажем больше — мы сами его не знаем. Чудодейственный катализатор, известный только самому Себастьяну Неро, этому знаменитому бизнесмену, выдающемуся политическому...»

Симона приглушила звук, обернулась — уж очень это противно, когда у тебя между лопатками ползает вот такой взгляд. Хотя бы ради приличия смотрел на Паоло... Ага, догадался, гад. И то хорошо.

На экране фона замелькала зеленая вспышка — сигнал того, что обе стороны вышли на связь. И тотчас же экран озарился малиновой апopleксической лысиной знаменитого ученого и крупнейшего бизнесмена, единовластного хозяина «Бригантини».

Дэнниел О'Брайн вытянулся по-военному, заслонив собой остальных:

— Сэр, доверенный мне корабль задержан на таможенной станции «Арамис» без указания причин.

— Знаю, — сказал Себастьян Неро и, приблизив к экрану бесцветные глаза, медленно добавил: — Инструкции вам известны.

Экран погас.

Собственно говоря, ничего не было сказано, но тем не менее у Симоны осталось ощущение, словно американцы получили какой-то приказ, причем в такой форме, которая исключала неповиновение.

— Мне очень жаль,— поднялась Иранда Васильевна,— что из-за кратковременности связи мы не могли уточнить причину вашей задержки, и мистер Неро оказался не полностью информированным. Дело в том, что мы запросили разрешение на вскрытие контейнеров с грузом здесь, на нашей станции.

Космолетчики поднялись и подошли к своему капитану.

— Имеете ли вы основания для такого требования? — спросил О'Брайн.

Симона из своего угла встала:

— Оснований, которые мы могли бы предъявить вам здесь и сейчас, мы не имеем.

Все, как по команде, повернулись к ней.

— И все-таки вы настаиваете на вскрытии всех двухсот восьмидесяти контейнеров?

— Да,— сказала Симона и с откровенным любопытством поглядела на них снизу вверх,— но особенно интересует меня двести восемьдесят первый контейнер — тот, который лежит на полу промежуточной тамбурной камеры между грузовым и пассажирским отсеками.

Санти небрежно повел плечиком:

— В том, что эта камера пуста, мы легко убедимся, если свяжемся с ней по короткому фону.

— Короткий фон для связи с вашим кораблем находится в центральной рубке, о чем я весьма сожалею,— не вставая со своего кресла, проговорила Симона.— А то, что пол тамбурной камеры — это верхняя крышка плоского контейнера, можно доказать простым вскрытием пола.

— Я прошу немедленно послать на базу наш протест против незаконной акции таможни. А пока — весьма сожалею.— Дэннел сдвинул каблуки.

Симона в ответ свесила голову набок. Но Дэннел уже не смотрел на нее, а шел к Паоле. Он остановился, не дойдя одного шага, и наклонился над ней так бережно, что все отвели глаза, что-то очень тихо сказал ей, и она подняла к нему свою обезьянью мордочку, ничуть не похорошевшую, как почему-то всем хотелось, и с каким-то безнадежным спокойствием, потрясшим Симону, ясно, на всю комнату, сказала:

— Да.

Капитан обернулся к остальным межпланетчикам, и они, не произнеся больше ни слова, вышли из кают-компания.

«Кажется, я порядочная дубина», — почти без тени сомнения подумала Симона.

Паола легко, как-то плечами оттолкнулась от стены, неслышно пересекла комнату и исчезла за дверью, ведущей в центральную.

— Ну, Симона, ты сегодня... — Ада только головой pokrutila, — фантастика на грани техники.

— Да, — согласилась та, — насчет контейнера, что в промежуточной камере, я малость перегнула. Хотя это не исключено: размеры совпадают, там на полу как раз поместится контейнер. Пошлю на «Первую Козырева» частное заключение — пусть еще раз проверят, прежде чем ставить «Бригантину» на перегрузку.

— Да, Симона, — сказала Иранда Васильевна, — я вам не советую показываться на глаза этой троице, когда в двенадцать за ними придет буксирная ракета. А пока...

Но Симона уже бежала к центральной, еще не сознавая, что там случилось, гонимая тем шестым чувством каждого межпланетчика, какого, может быть, объективно и не существует в природе, но которое все-таки подняло ее и бросило вслед Паоле; и в проеме распахнувшейся двери все увидели голубую фигурку, лежащую на пульте внутреннего управления, чтобы всей тяжестью тела, всей силой маленьких рук вдавить в гнездо выпуклую, словно белый камушек, клавишу перекрытия трапа.

Синтериклоновая заслонка была поднята, проход на «Бригантину» открыт.

Пятый акт

— Сюда! — крикнула Симона и, когда Иранда Васильевна с Адой вбежали в центральную, сорвала предохранительную сетку и замкнула цепь герметизации всех отсеков.

И только после этого подняла огромную руку и смахнула Паолу с пульта.

Паола упала на колени и некоторое время так и лежала, не шевелясь, потом подняла лицо — спокойное лицо человека, который сделал все, что должен был и что мог, и увидела на экране черную кишку трапа, и поняла, что там, на «Бригантине», уже успели задрать

люк; потом всю станцию потряхнуло, и Симона вцепилась в верньер генератора силы тяжести, и на миг стало легко, а потом станцию бросило в сторону и завертело, и Паола не могла понять, что же происходит, и хваталась за металлические коробки приборов, но руки соскальзывали с покатых, крытых серебристым лаком плоскостей, и все это было еще не так уж страшно, пока пол вдруг не вздыбился вверх, и нечеловеческий ужас крушения мира, взметнувшийся, как веер взрыва, заслонил собой и гибнущих рядом людей, и гремящий водоворот неподвижных доселе вещей, и даже мысль об уходящей «Бригантине», оставляя крошечному, сжавшемуся в комок телу только маленький страх собственного бесследного исчезновения.

А потом все вдруг разом остановилось.

И Симона, висевшая каким-то чудом на пульте, сползла на пол.

— Едва вырвались из-под дюз,— хрипло сказала она лежащей рядом Ираиде Васильевне и вытерла лицо рукавом свитера.— Хотели сжечь двигателями, сволочи.

Свитер был грубый, из распухших губ пошла кровь. Симона поднялась на колени, включила экран внешнего обзора.

— Уходят...— и резко поднялась.— Ада, на лока-тор! — И еще одна предохранительная сетка полетела на пол — сетка, не снимавшаяся еще нигде и никогда.— Торпеды, Ада!

Это жуткое, древнее, как сама война, слово подняло Паолу, и она, перескочив через Ираиду Васильевну, все еще лежавшую на полу, повисла на руке Симоны:

— Не смейте! Там же люди! Слышите? Не смейте! Это же убийство!

Симона стряхнула ее, и, видя, что Ада поднимается с трудом, сама потянулась к локактору, и Паола снова бросилась на нее, и вцепилась мертвой хваткой, закрыв глаза и хрипя, захлебываясь, задыхаясь, цепенея:

— Не дам... Убийцы...

Пол снова наклонился, радужная точка на экране локатора нырнула под перекрещение черных нитей, и тогда Симона, не пытаясь больше отделаться от Паолы, двумя руками врубила четыре маленьких красных рубильника.

Станцию трянуло в последний раз, четыре ракеты вырвались вперед из невидимых до сих пор гнезд и помчались к уходящему кораблю, расходясь, чтобы не попасть под огонь его дюз, и вот они уже обогнали его и снова сошлись, и Паола уже просто смотрела на экран и молча ждала взрыва, а его не было, потому что ракеты создавали только тормозящее поле, в котором корабль неумолимо терял скорость, пока не останавливался совсем; но Паола еще этого не знала, и с безучастностью все потерявшего человека смотрела куда-то мимо экрана, мимо невероятного хаоса разгромленной центральной, мимо спокойного лица Ираиды Васильевны, почему-то все еще лежавшей на полу, и смотрела, и смотрела, пока в это оцепенение не ворвался страшный гортанный вскрик Симоны.

Стены огромного — не в пример уютным помещениям «Арамиса» — кабинета Холяева были сплошь покрыты картами и экранами; но светился только один, — не диспетчерская же, в самом деле, — и на этом экране было видно, как два тяжелых буксира подтягивают «Бригантину» обратно к «Арамису». Патрульные ракеты, как мальки, стайкой шли поодаль. Вот буксиры отцепились, и Симона увидела, как Ада повела станцию на соединение с кораблем. Хорошо повела. Очень хорошо для первого раза.

Затем Холяев включил шлюзовую «Арамиса», и было видно, как маленькие киберы безуспешно пытаются навести трап, искалеченный и смятый, когда корабль американцев в чудовищном выраже стряхнул со своей спины маленькую станцию; на помощь киберам уже спешили люди в скафандрах, те самые, которые только что прибыли на «Арамис» и сняли Симону, и они подняли там возню, в которой разобраться было невозможно, и Симона не стала больше смотреть, и снова спросила Холяева:

— Ну, так ты дашь ракету?

Холяев постукивал карандашом по столу и, чтобы не смотреть на лицо Симоны с разбитыми лиловыми губами, смотрел на ее юбку, по которой, узкий, как царапина, тянулся след крови, и думал, что кровь, наверное, и на свитере, только не видно — черный, и сказал:

— Переоделась бы. Нет ракеты.

— Жуткое дело.— Симона запустила пальцы в спутанные волосы.— Ты только представь себе, Илья: сейчас же грохнут всеми фоновстанциями Советского Союза, и под траурный марш... Ты представляешь, услышать это по фону! Ей-богу, ты дубина, Илья, или ты просто не хочешь понять, что ребенку оказаться один на один с таким горем...

— Он там не один,— терпеливо произнес Холяев.— И притом он не просто ребенок. Он мальчишка.

— Знаю. И что мальчишки ох сколько могут — тоже знаю. Но я знаю также и то, что Митьке будет легче, если это скажу ему я. Или просто буду с ним тогда, когда он услышит.

— Да пойми ж! — Холяев стиснул кулаки, и полированная крышка стола скрипнула под его руками, но казалось, что это пискнул кто-то, зажатый в его кулаках.— Пойми, Симона, у меня всего один «муравей», готовый к рейсу, и «компания» уже запросила своих бандитов, если только они будут транспортабельны.

— А, ерунда какая,— отмахнулась Симона.— Пусть сами присылают специально оборудованный корабль со всякими решетками и полицией. Дай эту ракету мне. Ты же понимаешь, ты же человек, Илья: мне нужно к этому мальчику! Дай мне ракету до Душанбинского, ее тотчас же вышлют обратно.

— Не могу. Специальный запрос, подтвержденный приказом из нашего центра.

Симона встала и пошла прямо на Холяева, но между ними был большой, привинченный к полу письменный стол, и Холяев без особого восторга стал думать, что же она сейчас будет делать, но Симона просто перегнулась через стол и вдруг взяла обеими руками его голову и, приблизив к нему свое оливково-смуглое лицо с разбитыми губами, стала говорить, не переставая, монотонно, словно ставя точку после каждого слова:

— Мне нужно на Землю мне нужно на Землю мне нужно...

— Черт,— сказал Холяев и, перехватив руки Симоны выше запястий, с трудом отвел их от своего лица.— Вражья баба. Через три часа пойдет грузовик, весь рейс в скафандре, и до семи «g». Довольна?

Симона только усмехнулась какой-то дикой усмешкой, и из ее губ сразу же начала сочиться кровь, и Хо-

ляев смотрел на эти капельки крови, проступившие на трещинах, и бледнел, потому что он и был одним из тех, о которых по всему Пространству ходили мифы, пока не появился Агеев; но Симона уже сделала несколько шагов назад, примакивая губы рукавом своего невозможного свитера:

— Спасибо, Илья. Если что — вызовешь.

— Посиди еще, — сказал Холяев, — только молча. Сядь вот туда и протяни ноги.

Симона послушно села, и протянула ноги, и снова стала смотреть на экран, и на «Арамисе» наконец наладили трап, и вот из его дыры показалась одна фигура космолетчика, другая, и головы их были опущены, так что Симона с трудом узнавала, кто же это может быть; некоторое время никто больше не показывался, и вот наконец вынесли третьего. Третьим был капитан.

Симона пожала плечами и отвернулась.

Дэнниел О'Брайн пришел в себя, — пришел так, как будто действительно уходил куда-то очень далеко от своего тела, и вот теперь пришел обратно и влезал в свое тело, как в скафандр — по частям, только начал не с ног, а с головы. Прежде всего возникла тупая боль, словно огромная клешня обхватила сзади затылок. А потом, когда сквозь эту боль начали пробиваться воспоминания, перед глазами с забавной пунктуальностью поплыли кадры побега с «Арамиса», и Дэнниел удивлялся, как это он с такой точностью умудрился запомнить и лихорадочную дрожь куцых рук Мортусяна, этого застенчивого висельника, и закушенные, как у взбесившегося жеребца, безобразные губы Санти, и собственное безразличие, неожиданно и безраздельно овладевшее им, когда люк наконец был задраен и ощущение первой легкой удачи наполнило всех.

И тогда Санти, поняв его состояние, оттолкнул его от пульта управления и сам запустил маневровые двигатели; «Бригантина» ринулась в чудовищный вираж — Санти стряхивал с себя станцию. Но когда вслед за этим Санти врубил запуск планетарных двигателей, Дэнниел вдруг понял, что сейчас «Арамис» окажется под огнем дюз, и, превозмогая навалившуюся на него тяжесть, он бросился на Стрейнджера, но тот, не отрывая рук от рычагов управления, крикнул:

— Пино!

Этот крик, хлесткий, как плетью — по собачьей спине; преданное сопенье Мортусяна где-то сзади, и сквозь лиловую муть перегрузки — страшный удар по затылку, бросивший его в невесомость беспамятства. Последнее, что он помнил, — это смех Санти. Все, что произошло сегодня, было страшно. Но самым чудовищным был этот смех.

А смеялся Санти потому, что инструкция приказывала: в случае неизбежной опасности корабль взорвать или увести на бесконечность. Об этой инструкции Мортусян не знал. Поэтому Санти оглянулся на него и засмеялся.

Потом он снял ненужное теперь ускорение и заклинил рули. «Бригантина» уходила в Пространство. Но этого Дэниел уже не помнил. Не очнулся он и тогда, когда с кораблем начало происходить то, чего никогда еще не было: казалось, что он зарылся носом во что-то вязкое — словно лодка, на полном ходу врезающаяся в илистый берег. И снова толчок, и снова, и вот эти ритмичные броски назад слились в непрерывную пульсацию, и Мортусян, с ужасом глядевший на Санти, словно тот был виновником всего происходящего, понял по его лицу, что с кораблем случилось что-то сверхъестественное, с чем он не в силах справиться. На самом же деле ничего сверхъестественного не было, — просто «Бригантина» тормозила в силовом поле посланных Симоной торпед.

Дэниел очнулся, когда его переносили обратно на «Арамис». Тугая, независимая от его воли спираль воспоминаний стремительно развернулась в его мозгу и, выбросив острия своих концов в бесконечность прошлого и будущего, упруго подрагивала, превращаясь в жесткую и однозначную реальность. Он открыл глаза и увидел себя в шлюзовой «Арамиса».

Кто-то нес его, но даже не видя — кто, О' Брайн чувствовал, что это — не Санти с Мортусяном, и это было хорошо; он ничему не удивился, хотя «Арамис», казалось бы, должен был превратиться в ком оплавленного железа. Но этого каким-то чудом не произошло, боль в голове тоже утихла, и все было хорошо. Все было хорошо и чертовски спокойно, пока где-то вверху не раздался шорох поднимающейся двери, и в открывшемся прямоугольнике, как на экране фона, за-

стыло затравленное, уже совсем не похожее на человечье, личико маленькой стюардессы.

О' Брайн понял, что еще через мгновение она закричит и, расталкивая окружающих его людей, ринется к нему; он не знал этих людей, и все же его обуял безудержный стыд перед этими людьми за то, что вот *эта* имела право на жалость к нему, капитану О' Брайну.

Он сделал усилие и отвернулся. И тогда с другой стороны увидел настоящий экран, и на нем — усталое, осунувшееся лицо Симоны. И снова он не удивился, хотя Симона должна была быть здесь, на «Арамисе», а не где-то далеко и рядом с начальником русской станции, и снова он подумал, что все хорошо, раз эта женщина жива, и, сам удивляясь тому, что он говорит, он с трудом разжал губы и произнес:

— Я командовал кораблем до последнего момента и один несу ответственность за все, что произошло на его борту.

Гримаса отвращения пробежала по лицу Симоны, и она выключила экран.

— Все еще играет в джентльмена, — сказала она Холяеву. — Ну, скоро твой грузовик?

— Посиди, посиди. — Холяев наклонил голову, прислушиваясь к щебету, доносившемуся из фоноклипса. — Сейчас будет самое интересное: приступили к вскрытию пола в тамбурной камере. Похоже, что это действительно тайник. А до грузовика еще час двадцать.

Симона уселась и стала безучастно глядеть на экран: два кибера на присосках кромсали титанир, с трудом отгибая тридцатимиллиметровый слой сверхпрочного сплава. Они ползли, сантиметр за сантиметром, пока не наткнулись на какое-то препятствие, и начали возиться на одном месте, но тут сработал какой-то скрытый механизм, который они обнажили, и вдруг вся плоскость пола поехала вбок, и киберы испуганно подбежали к стенке и полезли на нее, присасываясь губчатыми лапками, но пол отъехал только наполовину, и в открывшемся прямоугольнике показалось что-то бесформенное, светло-желтое, слипшееся в комок, как лапша... Холяев, бледнея, потянулся к верньеру четкости, и тут этот комок зашевелился, закопошился, распался на ряд отдельных тел, и одно из этих тел, во-

лосатое небольшое существо, величиной с новорожденного ребенка, на четвереньках поползло в сторону, и лапки его дрожали и расползались в стороны, и оно добралось до стены и стало беспомощно тыркаться в нее, ослепленное прожекторами киберов.

Симона схватилась за ворот свитера — комок подымался в горле.

Алое снянье

Было прохладно и безветренно, и желтые кленовые листья, занесенные из соседнего леса, редкими созвездиями лежали на темно-синей посадочной площадке. Симона посмотрела на Митьку, который сидел у ее ног, обхватив побитые коленки, и вдруг поймала себя на мысли, что сама почему-то не села рядом и стоит сейчас и вроде бы стесняется, как в тот раз — Ираида Васильевна. Ни плаща, ни сумки не было, и она опустилась прямо на траву, по-осеннему клочковатую и пожухлую.

Остаток вчерашнего дня они провели вместе. Вчера Митька плакал. Дело было в лесу, и Симона отвернулась от него и присела на пенек. Сидела она долго, вертя в руках скрипучую коробочку переносного фона. Наконец услышала за собой шорох — Митька уходил.

— Митя,— тихо и почти жалобно попросила она,— закинь мне антенну на дерево: надо с Холяевым связаться.

Этот странный, необычно мягкий голос остановил Митьку. Он вернулся, не глядя взял тонкую синтериклоновую нить и полез на дерево. Это действительно было необходимо, потому что установить связь с космической станцией по переносному фону было делом далеко не элементарным. «Первая Козырева» упорно не ловилась. Митька стоял, бездумно глядя на коричневую плюшку микродинамика, из которой доносился разноязыкий щебет.

— А ведь это — про них,— неожиданно сказала Симона и вполголоса стала переводить. Все заокеанские станции взахлеб передавали подробности о подземных заводах (уже успели пронюхать!) покойного (уже успели убрать!) Себастьяна Неро. Это для них «Бри-

гаптина» переправляла на Землю контрабанду, это на них получали синтетический белок, используя в качестве катализаторов неизвестные доселе соединения инертных газов, которые каким-то чудом выдыхали обитатели неисследованных еще пещер на Ганимеде...

— Гады! — отчетливо проговорил Митька. Это были первые слова, которые услышала от него Симона за сегодняшнее утро. — Все нормальные люди столько мечтали, чтобы нашелся хоть кто-то живой на других планетах, хоть козявка...

Симона молчала — пусть выговорится, это хоть как-то отвлечет его. Снова закрутила верньер настройки. И снова — они. Их правительство разыгрывало шикарное неведение. Себастьян Неро — бизнесмен, конгрессмен, политикан, интриган, выдающийся ученый — оказался выгодным козлом отпущения. Космолетчики по сравнению с ним выглядели всего лишь мелкими козлятами. И все-таки фоны захлебывались, требуя для космических пиратов достойного конца: восстановить древний закон о смертных казнях, вот уже сто лет как преданный забвению на всей Земле, и выбросить их в Пространство. Без суда и следствия, как работоторговцев, захваченных на месте преступления.

Все эти сообщения Симона прослушала спокойно, — в голове не укладывалось, что сейчас возможно так — «без суда и следствия». Промелькнуло коротенькое сообщение о том, что Комитет космоса еще до предварительного разбора дела стюардессы Паолы Пинкстоун лишает ее права работать когда-либо в системе Комитета. И это было не страшно, — разумеется, частные компании наперебой начнут приглашать Паолу работать стюардессой на каком-нибудь межконтинентальном мобиле. Реклама!

Этого Симона переводить не стала, — ведь она коротко, но довольно точно передала Митьке все, что произошло на станции, и ему была известна роль Паолы в том, что все вышло именно так.

Да Митька ее и не слушал. Сил не было. Он просто чуть покачивался, сидя на корточках над плоской коробочкой фона, одуревший от горя, непривычности собственных слез и бесконечной маелы холодного вечернего леса. Он вздрогнул, когда Симона схватила вдруг фон и поднесла к губам.

— Илья,— закричала она,— Илья, «Первая Козырева», Илья! А, черт...— И она заговорила, быстро называя какие-то цифры и буквы,— наверное, позывные. Фон замолчал, и вдруг сказал немного удивленным мужским голосом:

— Ага, нашлась.

— Ну, что там, Илья? — спросила Симона и осторожно покосилась на Митьку — не сказал бы Холяев чего лишнего, мальчишке на сегодня и так хватило.

— Да ты что, передач не слышала? — сердито спросил голос из коробки.

— Нет,— коротко сказала Симона, потому что честно не могла бы сейчас повторить, о чем кричали дикторы за несколько минут до этого.

— Так вот, они не приземлились.— Холяев засопел.— Стартовали сразу за твоим грузовиком, и уже несколько часов петляют по самым невероятным орбитам. Я имею в виду ракету, взявшую на борт троицу с «Бригантины»! — почти закричал он.

— А экипаж этого «муравья»?..— тихо спросила Симона.

— Аргентинцы. До сих пор ни в чем...

Фон опять захлебнулся помехами, издали донеслось что-то похожее на «слушай...». Симона глянула на Митьку — как там он, можно ли еще слушать? И совсем рядом с собой увидела недоуменные, расширенные вечерней темнотой глаза мальчика.

— О чем они? — с тихим отчаяньем проговорил Митька.— О чем они все?..

Спал палаточный городок Митькиного школьного лагеря. Спал и Митька в самой крайней, Симониной палатке, с головой завернувшийся в лётную куртку, подбитую мехом россомахи. Под головой у Симоны попискивал вечный ее переносный фон. Ракета с экипажем «Бригантины» все еще кружилась над Землей, и горластые представители мировой общественности хорошо поставленными голосами зывали к пресловутой демократии, требуя удовлетворить «волю народов всего мира»: не допустить на Землю космических пиратов, поправших, опозоривших, предавших, опустившихся, докатившихся и т. д. и т. п. Короче говоря — слишком много знавших. Старинный прием. Раньше это прохо-

дило как «убит при попытке к бегству». Но вот уже сто лет, как никого не убивали. Официально, во всяком случае. Автомобильная катастрофа, так кстати происшедшая вчера с мистером Себастьяном Неро, не вызвала ни соболезнований, ни подозрений. После первого сообщения об этом инциденте старались просто не упоминать.

Симона выключила фон. И не верилось, и было противно. Митька прав, о чем они все, если погиб такой человек, как его мама? А они — о чем угодно, только не об этом.

У нас — не так. О гибели Иранды Васильевны — случайной и совсем не героической — сообщили все фоновстанции Советского Союза.

Говорили очень хорошо — без ненужных славословий, тепло, по-человечески. И все-таки Митьке не нужно было всего этого слушать. Потому и пришлось увести его в лес и ждать, пока всё хоть немного уляжется, приутихнет.

Да вот — не утихало.

Симона вынула из-под головы руку, — светящийся пятачок часов повис в темноте. Полночь. День, жуткий и нелепый, как пятый акт средневековой трагедии, миновал. Удивительно много вошло в этот проклятый день. И каждый раз, когда что-нибудь еще происходило, казалось: ну, это уж всё. На сегодня хватит.

И снова захлебывался фон, сообщая о чем-нибудь страшном.

Вот и сейчас, всего за несколько минут до полуночи, было передано сообщение о взрыве на подземном заводе. Правительственная комиссия, видите ли, отправилась выяснить, что там делали с «волосатиками». Кого за дураков считают? Совершенно очевидно, что, коль скоро командир «Бригантины» имел инструкцию взорвать корабль при опасности разоблачения, то уж завод — самое пекло, туда и людей-то не допускали, во избежание сентиментальных сцен, а все делалось киберами — не мог гостеприимно принимать любого ре-визора.

Надо думать, что «правительственная комиссия» — мелкая сошка из полупрогрессивных, безжалостно посланная на убой. Глухо ахнула цепь чудовищных взрывов — и никаких следов, и только мучительно стыдно

за все человечество, хотя никогда не бывало так, чтобы виноваты были все.

И кроме всех этих мыслей о всеземной вине поднималась нестерпимая жалость, даже не человеческая, а сугубо материнская, женская, которая возникает при мысли о гибели кого-то маленького и беззащитного.

И никакой жалости не было при воспоминании о тех, кто был повинен во всем этом. Так им и надо. Пятый акт, повинуюсь классическому единству времени, места и действия, не упустил никого: мистер Неро, главный дежурный злодей, брыкнулся со сцены под одобрение публики; второстепенные злодеи — исполнители — фактически обречены. В Пространство их, разумеется, не выкинут, но и в живых вряд ли оставят. Маленькая субретка, вольная или невольная их пособница, наказана пожизненным одиночеством. Справедливость торжествует. Занавес.

Над всем этим можно слегка поиронизировать.

Пока не застонет по-взрослому во сне Митька, черным зверенышем свернувшийся под лохматой лётной курткой.

Мы создали космические станции. Мы летаем на Венеру, Марс, и вообще к черту на рога и даже дальше. Как Николай. Да что там говорить...

Но что можно сделать для этого мальчика? Взять на руки, и качать, и греть своим теплом. И всё.

Симона шумно вздохнула, тяжело, как тюлениха, перевернулась на другой бок.

Проснувшись она от шороха занудного осеннего дождя. Митька смотрел из-под куртки раскосыми маминими глазами.

— А вы ведь голодная, тетя Симона, — сказал мальчик, и Симона поняла, что за эту ночь все самое больное он запрятал так глубоко, что чужими руками уже не дотронешься.

— Ничего, — ответила она, — до завтрака дотерпим.

Верх наспех натянутой палатки захлопал, — поднялся ветер. Тучи провисли над самой землей, лопнули и стали расползаться кто куда. В трещинах заалел рассвет. Митька вылез из палатки и поставил голые плечи последним каплям дождя.

Когда он вернулся, Симона сидела, положив подбородок на колени.

— Ракета приземлилась,— сказала она.— А экипажа «Бригантины» на ней нет. Выбросили.

Митька бездумно пожал плечами,— так им и надо. Симона тоже не сомневалась, что это — по заслугам, в конце концов сами знали, на что шли. Не давало покоя другое, и Симона уже крутила фон, выжимая из него все возможное и невозможное.

— Диспетчер...— И снова цифры и буквы, скороговоркой, так что не разобрать.— Диспетчер... Шарль? Дай мне «Арамис». Я должна... Что? Я — это я. Ага. М-м. Давай «Арамис», тебе говорят!

«Арамис» посвистел, погукал и вдруг ответил мужским голосом. Это было так непривычно, что Симона даже головой помотала.

— Аду,— сказала она,— Аду Шлезингер.

Передача вдруг стала на редкость чистой, было даже слышно, как Ада, стуча каблуками, подходит к фону.

— Что с Пашкой? — закричала Симона, не дожидаясь, пока Ада отзовется первой.

— Улетела,— немного помолчав, спокойно проговорила Ада.

— Как?..

— Подвернулся попутный «муравей», и улетела. Она ведь у нас больше не работает.

— Ты с ума сошла! Неужели нельзя было ее задержать до моего возвращения...

— Буду я такую удерживать! — красивым, чуть грациозным голосом звонко сказала Ада.

Симона выключила фон.

— Дура,— негромко проговорила она,— дура, смазливая кукла... Ты не знаешь, Митька, когда над вами пройдет трансокеанский?

— В пять пятьдесят, кажется.

— Сбегай к шиту обслуживания, закажи спуск.

И вот Митька сидел на краю взлетной, завернувшись в Симонино пальто и выставив коленки.

— А это обязательно — улетать сегодня? — неожиданно спросил он.

Симона на какой-то миг помедлила — что ответить; но Митькин взгляд был короток, короче протянутой руки, и под этим взглядом Симона снова подумала:

как же легко с этим мальчишкой — только говори правду, одну только правду, чтобы потом и в воспоминании нельзя было бы отыскать ни одной крупинки лжи, и она ответила:

— Нет, необязательно. Потому что скорее всего — уже поздно.

И вдруг почувствовала, что своим отлетом она отнимала у него последнюю крупинку реального существования его мамы.

И Митька это понял.

— Теть Симона,— сказал он, и голос его непрощенно задрожал,— но ведь могло же, могло же быть все как-то по-другому?

— Да,— ответила Симона,— могло. Это был случайный удар. Нелепо так. Кажется, об угол регенератора.

— А разве мама была не у пульта?

— Нет,— сказала Симона,— она и Ада только успели вбежать.

Глупый, ох какой глупый. Героическая смерть у пульта станции. А может, не стоит — что об угол регенератора и прочий натурализм? Мальчишка все-таки, ему нужно сказать: «При исполнении служебных обязанностей, на своем посту...»

Митька вовсе лег на живот, ткнулся носом в траву и тихим, отчаянным голосом проговорил:

— Ну как же это, тетя Симона, что мамы нет? Что совсем-совсем ее нет? Ну что-то должно остаться?

Симона неслышно подвинулась ближе, но не стала ни трогать, ни гладить; она и сама толком не знала — что осталось, такое ведь только чувствуешь.

Мобиль запаздывал, и солнце вставало из-за края посадочной площадки, как из синего моря; огненный диск его был не по-утреннему багров и неослепителен, полосы рваных туч, нависая над ним, придавливали его к земле, и, не зная времени, трудно было бы сказать, что это — восход или закат.

— «...и на том месте, где оно закатилось,— тихо прочитала Симона,— так же спокойно, как спокойно взойшло на небо, алое сиянье стоит еще недолгое время над потемневшей землей...»

— Спокойно? — Митька взвился на месте, лицо его совсем почернело.

Симона прикрыла глаза, представила себе сейчас Паолу... Или то, что осталось от Паолы. Нет, рано

еще об этом говорить Митьке. Он по-звериному сверкнет глазами и снова скажет: «Так ей и надо».

— Когда человек умирает, выполнив свой долг, он всегда умирает спокойно,— сказала Симона, и по передернувшемуся лицу мальчика поняла, что вот в первый раз сказала не то, что надо. Это не было неправдой, но не такой разговор был сейчас, чтобы кончать его хрестоматийной истиной.

А тут, как на грех, из-за леса вынырнул мобиль. Симона тяжело поднялась.

— Симона...— сказал Митька и запнулся, потому что вдруг обнаружил, что не знает ее отчества. Но он упрямо мотнул головой и продолжал:— Возьмите меня с собой. На станцию. Я буду вместо этой... Пинкстоун. Были же юнги на кораблях. Вот и я... пока не пришлют замену — я буду как юнга. А? Теть Симона, вы возьмите меня, я все равно сейчас тут в школе торчать не буду, я все равно убегу, мне нужно что-нибудь делать, понимаете? Я найду себе дело, но только лучше, если вы меня по-хорошему возьмете.

Симона и так понимала, что он прав, и стиснула зубы, и сказала:

— Учись, несмышлениш, это для тебя сейчас важнейшее дело. А вместо... Вместо выбывшего члена экипажа мы кибера приспособим. Или ты всерьез хочешь — чашечки с кофе подавать?

Митька поковырял носком сандалии землю, сказал уже совсем тихо:

— Это вы всё только говорите. А сами вы на моем месте — вот вы, что бы вы делали?

«Ну, это уже легко,— подумала Симона.— Как это легко — говорить с человеком».

— Я бы собрала ребят, выкрала ракету и перехватила этого «муравья» с арестованными космолетчиками. Пусть они — убийцы и работоторговцы, и все-таки их надо было судить. Я отбила бы их и доставила в наше отделение Комитета космоса. Вот так.

У Митьки загорелись глаза.

— Так, тетя Симона...

— Поздно,— сказала Симона.— Они же передали, что приговор приведен в исполнение. Вчера нужно было думать.

Мобиль, тихонько ворча, подполз к ним и оста-

новился в полутора метрах. Казалось, еще немного, и он подтолкнет их своим носом — пора, мол.

Симона протянула руку:

— Салюд, человек.

Митька ничего не сказал, только пожал протянутую ладонь так, что даже Симоне стало больно.

Мобиль качнулся, когда Симона, пригнувшись, влезла внутрь, и резко взмыл вверх. И пока сквозь прозрачную стенку корабля были видны фигуры сидевших там людей, Митька отчетливо видел Симону, — она была слишком большая, чтобы ее можно было с кем-нибудь спутать.

ФОРМУЛА КОНТАКТА

Повесть

1

Город спал дурманным, жадным сном, как можно спать только в последние мгновения перед насильственным пробуждением; спал так, как вот уже много столетий спали все города этой несчастной, едва родившейся и уже угасающей разумной жизни.

Впрочем, нет — двое уже бодрствовали. Один — вот ему бы спать да спать, благо выше его в городе никого не было, да и быть не могло; но свалилась на город напасть, хотя, может, и не напасть, а благо, только поменьше бы таких благ, с которыми не ведаешь, что и делать, — и вот не идет предрассветный сон, подымает зудящая тревога с постели намягчайшей, гонит по закоулкам громадного Храмовища, неприступной стеной окольцевавшего всю плоскую вершину городского храма. Сойдясь к востоку, эти стены стискивали с двух сторон глухую каменную глыбу, сложенную из серого плитняка, — Закрытый Дом, обиталище жрецов, именуемых в народе Неусыпными. По торжественным церемониям их надлежало титуловать и еще пышнее — Возглашающие Волю Спящих Богов. Спали Неусыпные истоиво, самозабвенно, так что храп нечестивый летел через все Храмовище и достигал черных смоляных ступеней зловещей пирамиды, вписавшейся в стенное кольцо со стороны заката. Но не далее — ни звука не перелетало ни через слепые стены, ни через Уступы Молений, липкие от жертвенной копоти. И Закрытый Дом не выпускал ни стога, ни шороха — снаружи он напоминал исполинскую бочку, которую только расшатать, и покатится с пологого холма вниз, на город, круша хрупкие строения и подминая сады.

Время от времени подрагивали, натягиваясь, тугие канаты, идущие поверх стен из Храмовища вниз, в городскую чернь садов, набухших ночью влагой, — но рано еще было, хотя край неба на восходе заяснился. А вот арыкам, выбегающим из каменных жерл через равные

промежутки где из-под стен, а где и из-под страшных Уступов, не было определено времени ни для сна, ни для бодрствования — журчали себе едва слышимо и днем, и ночью.

Край дальних гор, хорошо видный отсюда, из открытой галереи, затеплился золотой каемкой. Первый из идущих придержал шаг, засмотревшись, и второй тоже был вынужден остановиться в тесном проходе. Вот сейчас заблажит, зайдется — мол, рассвет проспали, и обратно же звонобой нерадивый виноват, а ведь самому лишь бы от зудящих мыслей отвлечься, на кого ни попало желчь ночную выбрызгать. И верно, завелся старец:

— Гнида подзаборная!.. Курдюк шелудивый!.. Ох, грехи наши совокупные... — Через каждые три-четыре шага Восгисп останавливался, закидывал за плечи непомерно отращенную левую руку и растирал позвоночник шершавой волосатой ладонью.

В такие минуты лопатки его убирались куда-то, хотя поместиться внутри такого тщедушного тельца они никак не могли и неминуемо должны были бы выпереть наружу спереди. Выпрямившись, он доставал Уготаспу до подбородка, но когда снова сгибался, то был ему уже ниже груди, и чудовищные лопатки снова выпирали из-под наплечника, и тогда Уготаспу казалось, что верховный жрец вот-вот захлопает этими лопатками, совсем как делают это невиданные звери — угольный и золотой — в обители Нездешних Богов.

— У, выползок навозный! — голос старца сорвался на визг. — Рассвет воссиял, а он распустил брюхо над передником, точно кротовица беременная! Пшел звонить!

Уготасп и сам знал, что надо идти, но ведь без дозволения старейшего не обгонишь. А он чешется на каждом шагу. И беснуется с прошлого вечера. Вот и терпи его, пока он не скукожится совсем, что не подняться будет.

Он подтянул живот и постарался протиснуться между стеной и Восгиспом так, чтобы не задеть ни того, ни другого. Не получилось — мазнул спиной по стене, благо она давным-давно не белена. Но старец улучил-таки момент, лягнул его острой пяткой в голень. Уготасп припустил по коридору иноходью, вынося вперед не только ногу, но плечо, руку и даже бок. Так вот, пританцовывая, но не от излишней резвости — куда уж там при таком брюхе! — а едино чтоб согреться, пересек храмовый двор, весь застроенный, засаженный купами кустов плодоносных, рассеченный ребристыми трубами, несущими в себе воду

арыков. Пробегая мимо водоема, успел плюнуть на водоросль и, кряхтя и печатая сырые шлепки потных с ночи косолапых ступней, вознес тучное тело по круговой лестнице на верхушку утренней звонницы. Сорок тугих крученых веревок сходились к ее островерхой крыше и, проскользнув через сорок вошечных отверстий, свисали вниз, стянутые там одним заскорузлым узлом. Узел недвижно млея над широким мелким колодцем. Уготасп опасливо приблизился к самому краю — дыра была ничем не ограждена, а края покаты — сглажены многолетним топтанием в ожидании рассвета. Подавляя ежеутреннее томление, в котором он даже перед собой не признавал недостойного страха, толстяк подтянул к себе узел и неторопливо разобрал веревки на два почти равных пучка. Еще немного он постоял, шурясь на убегающие вдаль однообразные черепичные крыши, сбрызнутые доброй крупной росой; затем, как всегда, подивился, что изрядный кусок пока еще блеклого солнца успел-таки протиснуться между темным грибом последней крыши и купой бобовых деревьев, и, зажмурившись, прыгнул в круглую дыру, разводя пучки веревок в стороны и налегая на узел грудью.

Гулкий певучий удар наполнил пробудным звоном все внутренние дворы, помещения и закоулки Храмовища, и пока он еще отдавался каркающим эхом в каменных галереях, Уготасп мягко спланировал на дно колодца, щедро устланное свежим сеном. Он разжал руки, и веревочный узел стремительно унесся ввышину, и словно в благодарность за освобождение со всех сторон разом откликнулось сорок звонких «нечестивцев» — в каждом из сорока домов первого ряда, опасливо подступивших к священным стенам, уступам и воротам необозримого храмового массива.

Если первый аккорд был единозвучен и приятен на слух, то все последующее всегда производило на Уготаспа удручающее впечатление. Услышав звон своего «нечестивца», хозяин каждого из ближайших к храму домов спешил нащупать конец веревки, свисавшей с потолка его спальни. Веревка натягивалась, громыхал колокол в следующем доме, подымая главу семьи и заставляя его спросонок ловить пустоту над кроватью слабой старческой рукой. Вот и выходило, что второй круг уже не отзывался столь дружно, как первый, и сигналы пробуждения летели все дальше вдоль улиц, разбегающихся от Закрытого Дома, становясь все беспорядочнее и неблагозвучнее. Шагах в пятистах вниз от Храмовища ютились



сквернорукие гончары, ткачи, землерон, плодоносы и просто таскуны — голытьба, одним словом; там вместо колокола вешалась гроздь выдолбленных пальмовых орехов, хорошо прокаленных и смазанных для звонкости белком змеиных яиц. Такая гигантская погремушка производила невероятный шум, слагающийся из шелканья, клецанья и треска.

Уготасп еще некоторое время просидел на охалке сена, дожидаясь, пока стихнет мерзкий грохот, доносящийся с окраин. Вот еще где-то запоздало треснули погремушки, и наконец-то стало тихо. Ни шагов крадущихся, ни шорохов. Грех, конечно, спать после восхода, но ведь сколь сладостно... Уготасп завалился навзничь, поерзал жирной спиной, зарываясь поглубже в душистый ворох. Прохладно было, сыровато. Он заворчал в полусне, приращивая себе шерстку подлиннее, засопел. Сны — сладкие, игривые — обступили его разом, путаясь друг с другом, переплетаясь и теснясь гораздо забавнее и прихотливее, чем это бывало ночами. Утреннее солнце, стремительно набирающее жар и силу, начало прогревать стены звонницы, и в укрытии, набитом свежим сеном, сразу стало душно. Духота сдавила горло, рождая прихотливый сонм видений, и первой в этом хороводе явилась ему горная синеухая обезьянка — предел недозволённости...

Немилосердный грохот над самым ухом заставил его вскинуться. Ну, так и есть, барабанили по дверце лаза, через который он выбирался из своего колодца. И производить сей мерзкий шум мог только Чапесп, это убожество, хутородок. Благодать Спящих Богов излилась на отца и мать, когда зачинали они своего первенца, родившегося с сильными и длинными ногами, за что и даровано ему было имя, обрекающее его на почетное, но многотрудное служение богам — Уготасп, Угождающий Танцами Спящим. Родители, конечно, могли бы придумать имя и поскромнее, ибо с годами первенец разжирел непомерно, и все танцы его сводились к равномерному колыханию складок на животе. А тут еще прежний звонобой переселился в чертоги Спящих Богов, и дабы не поощрять лености и праздношатания, старейший приспособил его звонарем к храмовому «нечестивцу», благо должность сия требовала именно такой необъятной массы — иначе сорок веревок одновременно не натянешь. Сигать ежеутренне на влажное от росы сено — работа не хлопотливая, но то, что приходилось вставать раньше всех, чтобы не пропустить зарю, доводило Уготаспа до иступления.

В надежде передать свой пост младшему брату, Уготасп за каждой трапезой ревностно следил за тем, чтобы младшенький, неровен час, не получил куска попостнее, и нередко, скрепя сердце, перекладывал ему на ореховую скорлупу часть своей доли. Чапесп ел покорно и безучастно, а такая еда, без чавканья, без смака, разве она пойдет впрок? Вот и бродил младшенький по храму, не толстый и не тощий, и грамоте вроде обученный, и не приспособленный ни к какому делу, ибо нарекли его, тихонько себе попискивавшего при рождении, — Чарующий Пением Спящих. Голоска тоненького и сладостного ждали. А он так на всю жизнь и остался с писком и меканьем — ничего другого сказать не мог, нем был от рождения, аки гад водяной.

И то сказать, повезло отцу с матерью, немного и к едальне приставить можно, и таскуном в хранилище. А другие уж если худородков производят, то либо с двумя головами, либо без рук, а то и вовсе без кожи — гад на линьке, да и только. И года не проходит, чтобы в храме таких сокровищ два-три не появилось. Поговаривают, правда, что ежели жену из другого семейства взять, то уж худородков точно не будет. Но чужую жену отрабатывать надо, вдвойне спину гнуть. А из собственного дома — это даром. И обычаи все знает, возиться с учением не надо. Нет, хлопотно чужую брать. Детей-то нарожать бабе — раз плюнуть. А худородка — придавить, пока не вырос.

Стук, размеренный, настойчивый, возобновился. Думал — уйдет Чапесп, решив, что нет здесь старшего. Ан нет. Не ушел. Выползай теперь, позорься.

Уготасп на четвереньках выполз через лаз, выпрямился, выбирая соломой из рыжей шерсти, густо покрывшей руки. Младший смотрел укоризненно. Уготасп замахнулся, но Чапесп легко и, как всегда безучастно, отклонился, и сырой тяжелый кулак старшего просвистел мимо.

— К отцу сперва или прямо жрать? — буркнул Уготасп.

Младший неопределенно повел головой куда-то влево.

— Что, стряслось еще что-нибудь? Божий пузырь лопнул, или у Нездешних Богов рога повыврастали?

Чапесп покачал головой — смиренно так, богобоязненно. Нашел кого бояться — Нездешних! Мало им поклонялись, торжественным ходом все их обиталище обошли, половину всех запасов благовоний стравили... Ноги после того шествия неделю не гнулись. И все ведь

даром. Как стояла стена незыблемая, невидимая, так и осталась. Не снизошли боги. Слова не молвили.

Тогда, на первом же святожарище, когда перед Уступами Молений собрался весь город, наивысочайший Восгисп, глаз и око Спящих Богов, во всеуслышанье объявил: те, что обитают за стеной прозрачной и нерушимой, есть небесные гости. Так вот и понимай — гости. Вроде бы и Боги, но не совсем. И потом, что есть гости? Гость — он приходящ и уходящ. Значит, надо надеяться...

Нет, что и говорить — мудр был Восгисп, наипервейший из Неусыпных. Не каждый бы так посмел. Хоть и стар до дитячьей придурковатости, хоть и брызжет слюной, как ядом, и от немощи своих лет на ветру шатается и от духа жертвенного с Уступов падает, едва ловить успевают, — да, видно, и вправду доходит до его слуха по ночам мудрый шепот Спящих Богов. Так что поутру вещает он всему народу божью волю, Неусыпным на радость, народу подлому — на покорство. А то всколыхнулись уже, нездешних гостей завидя, нашептывать стали, сказки да предания припоминать — было-де предсказание, что явятся Боги воочью, пробудит их небесный «нечестивец», и пойдет с того новый порядок жизненный.

Только смутное это пророчество, понимай его как хочешь. Боги — но какие? Старые, Спящие, которых никто еще на земле не видал, или эти, из прозрачного пузыря? «Нечестивец» небесный — и вовсе непонятно что. А порядок новый — к добру ли? По старому порядку он вот младшенького может по ряшке съездить, чтобы вбок не косил, а тот его в ответ — ни боже мой. Хороший порядок, что менять-то? Другое дело, ежели жену можно будет без спросу и выкупа взять, а натешившись, бросить — вот это да... За такой закон он бы Нездешним Богам в ножки поклонился. Но молчат себе Нездешние, живут в божьем пузыре, и уходить не собираются, оттого и беснуется наивысочайший. Ночей не спит.

Младший между тем посматривал искоса, вроде мысли прочитать тшился. У, немочь бледная, чтоб тебя посеред ночи поросячьим визгом будили! И за что его Восгисп к себе приблизил?

— Ну, пошли, убогий, чуешь — рыбой жареной пахнет?

Младшенький неопределенно кивнул, как-то боком, так что не голова наклонилась к плечу, а плечо подпрыгнуло к уху.

Уготасп поспешно сцепил руки за спиной и принялся массировать пальцы, наращивая твердые плоские ногти — чтобы ловчее косточки выбирать.

На циновках, выстланных под зеленой виноградной аркой, двумя рядами, друг напротив друга, чинно восседали Неусыпные. Кувшинчики и скорлупки с соусами и приправами, загодя развешанные над циновками, источали пряный, щекочущий ноздри аромат. Конечно, вкуснее всего пахло на правом конце, где сняла солнечным бликом плешь наивысочайшего, но сегодня стоило держаться подальше от стариков. Уготасп уже собирался было втиснуться где-то посерединке, промеж троюродных, как вдруг до него донесся визгливый голосок старейшего, углядевшего его появление:

— Восемь мешков зерна сгноил!

Ага, продолжался вчерашний скандал, когда у него за постелью обнаружили хоронушку.

— Восемь полных мешков у себя схоронил! А как за стол, так вперед других!

Это замечание явно противоречило действительности, но никто не позволил себе ни возражения, ни усмешки.

— Девки, ему несете? Уполовиньте миску!

Рахитичная тонконожка, бросившаяся было к Уготаспу с полной посудиною, растерянно закрутилась на месте, но ее дернули за нижнюю юбку, и она, плохо соображая, вывалила три четверти золотистой жирной рыбы в миску ближайшего к Восгиспу старика, так что янтарные брызги с чешуею выметнулись снопом. Старцы безразлично отстранились — суета, потеха нечестивому. Да и верховному жрецу негоже было столь пристально разбирать вину звонобая. Ну, утаил мешки, украл то есть, так ведь восемь мешков. А на святожарище, бывает, наверх волокут десять по восемь, да сала, да рыбы сушеной сколько ворохов... Порченное все, ясное дело, какие ж запасы без порчи? Зато и вонь несусветная, к ночи дым от святожарища на город падет, так до рассвета гул сдавленный — кашляют, хамье, Нечестивого призывают...

— Все восемь мешков на жирном заливке подымешь, на самую вершину Уступов! — Старейший подавился, его бережно похлопали по спинке между лопатками. — Потаскун синеухий...

Ага, вот оно что. Донесли-таки.

Отрыгнув рыбку косточку и отерев руки о широкий водяной лист, Восгисп выпрямился и зорким прищуренным оком обозрел сидящих — к кому бы еще половчее

прицепиться. Все понимали — не с досады, не с большой спины. Надо ж было свалиться такому чуду невиданному, как эти Боги Нездешние! Вроде и не мешают, тем паче не карают и не одаривают, а беспокоят... В хамье городском непонятие растет.

А уж где непонятие, там и неблюдение. А как блюсти закон, ежели в нем про все есть, а про Нездешних — нет? Страшно. Ведь до тех пор град стоит, пока в нем ничего не меняется. Было же царство могучее — Снежным называлось, там закон не блюли, человеческим умом дела вершили... Страшно кончилось, оголодали, переели друг друга, а уцелевшие живьем замерзли. А может, и не так было, в Снежном царстве ведь никто не побывал.

2

Инебел приоткрыл глаза. Закрыв снова. Сон, только что покинувший его, вернулся уже воспоминанием — невероятным, сладостным, греховным. Беспомощно задрожали губы — память сна ускользала, улетучивалась из сухих трещинок. Взамен, змеясь, разбегалась малая боль. Губы надо было окунуть в освежающую прохладную воду, припасенную с вечера, — не впервой приходил этот сон, и Инебел уже знал, каково будет пробуждение. Память не хранила ни звуков, ни цвета, ни контуров — только прикосновения, от которых лицо горит и губы сводит щемящей болью, точно окунулся в озеро и попал головой в жалящие тенета придонной медузы-стрекишницы.

И руки. Они были слабы и беспомощны от всей огромной нежности и изумления, доставшихся им этой ночью, и от одной мысли, что этими руками надо дотронуться до грубой каменной чаши, натягивались раскаленные струнки от кончиков пальцев до самого сердца.

Ему впервые пришла мысль, что впереди целый день, а такими руками он не сможет не то чтобы работать — травинку сорвать. Он медленно пошевелил пальцами, усилием воли нагнетая в них силу и упругость. Они нехотя теряли ночную чуткость и становились суховатыми и проворными, обретая свое дневное естество. Теперь уже можно было с хрустом сжать их в кулаки и, бережно опершись на локоть, перегнуться со своего ложа к треножнику и окунуть губы в чашу. Но локоть соскользнул с края постели, задел чашу, и Инебел с ужасом увидел, что она наклоняется, выплескивая сонную черную воду, и вот уже падает вниз, на глиняный обожженный пол...

Он успел представить себе гулкое тяжкое краканье раскалывающегося камня, испуганные вскрики сонных братьев и сестер, поспешное шлепанье босых родительских ног...

Холодея от запретности того, что он делает, Инебел задержал чашу у самого пола, сосредоточился, полуприкрыв глаза, и одним усилием воли поднял вверх и чашу, и пролившуюся воду. Чашу, слегка раскачав, опустил прямо в гнездо треножника, а воду еще некоторое время держал на весу, собирая в тугой, холодный шар. Он никогда не переставал удивляться, как это он чувствует пронзительную льдистость и неподатливость этого прозрачного шара,— видно, правду говорят Неусыпные, что каждый предмет на самом-то деле живет, но заморожен Богами, потому люди этой жизни и не видят. Но похоже, что не на все вещи наложено одинаково крепкое заклятье, потому что Инебелу чудится то затрудненное дыхание вянувшей на солнце травы, то едва сдерживаемая дрожь ночной воды, зябнувшей в придорожном арыке...

Он бесшумно опустил послушный водяной шар на дно чаши. Благодарно потерся щекой о войлочный кружок, служивший изголовьем,— прощался на долгий день. Потом осторожно спустил ноги на пол. Нет, никого он не разбудил, все спокойно. Он молитвенно прикрыл ладонями глаза и поклонился Спящим Богам. Над постелью, на перекладине, свисавшей с потолка, голубело в предрасветном сумраке новенькое покрывало. Инебел двумя пальцами сдернул с рейки почти невесомую ткань, прикрыл ею свое ложе. Крупные алые клетки, делящие кусок ткани на восемь частей, сейчас казались совсем черными. Дневные покрывала простолюдинов просты и безыскусны, они укрывают ложе покоя, столь удобного Спящим Богам, серой или голубой пеленой, что сродни облакам, молчаливо кутающим вершины далеких гор. И лишь за усердие в уроках еженедельных, за смирение перед волею Спящих надзирающий жрец по своей милости мог одарить дом избранника почетным покрывалом, поделенным крест-накрест на четыре части. Сбегаются тогда соседи поглазеть с улицы на милость, дарованную Храмовищем от щедрот своих подземных сокровищниц, и всплескивают руками, дивясь, и подталкивают друг друга, оступаясь в арыки, и летит от двора к двору шепот завистливый. Было, было такое покрывало у отца — давно только, истлело уже, пошло малышам на одежду. И у дяди Чиру, если не хвастает, тоже было.

А за особое тщание да искусность в сотворении дара Храмовищу одевают жрецы и шестиклеточным покрывалом, только в семье Инебела такого не бывало от века. Потому и ахнула вся улица, когда однажды целая вереница жрецов приблизилась к дому красильщиков, вознеся над головами высшую награду — восьмиклеточный покров! Славилو население низких окраин счастливую семью, светились от радости лица отца и матери, породивших великого искусника, и только сам Инебел не светел был, не радостен. Не покрова почетного ждал он себе в награду.

Тогда ему надо было совсем другое.

Тогда...

Он быстро оделся, обернув вокруг бедер кусок полосатой застиранной ткани, набросил наплечник и головной платок. Из общей спальни, которая была центральным помещением дома, можно было выбраться только через одну из многочисленных семейных клетушек, окружавших центр. Стен в доме не было — не едальня же, в которой надо прятать низменное обжорство. Нетолстые стволы «каменного» дерева были вкопаны в землю, образуя шестнадцатигульную колоннаду. Между колонн висели двойные плотные циновки, поднимающиеся на день. Инебел отогнул угол одной из циновок и попал в клетушку тетушки Синь. Они всегда бегали через эту клетушку. Когда Инебел родился, тетушка уже вдовела, и притом безнадежно — из своей семьи никто в мужья ей не подошел, а из чужих семей кто бы расщедрился на выкуп за старуху, пусть даже в работе проворную и с детишками ласковую. Вот и осталась Синь одна. По правилам ее надо было бы переселить в общую спальню, где отдыхали малые да беспарные, но в доме, во-первых, пустовало несколько закутков поплотше, а главное — тетка во сне стонала, охала — по поверью, вызывала тем Нечестивого; опасались, что накличет одну из многих ночных бед на маленьких.

Вот и сейчас тетушка Синь лежала тихо, но только притворялась, что спит. Инебел знал это наверняка, и все же молитвенно прикрыл на ходу глаза, поклонился — ничего не должно быть священнее, чем почитание спящих.

И в тот же миг цепкие коготки ухватили его за локоть. Сухонькая старушечья рука была тверда и горяча — вероятно, Синь не спала уже несколько часов и, поджидая его, копила силу и цепкость.

— Не ходи к «паучьему колоколу», сынок; что про тебя, от того напьешься, а что не про тебя, от того загорьшься...

Невидимый голосок шелестел, словно струйка сухого зерна. Инебел гадливо встряхнулся, пытаясь освободиться и от этого голоса, и от вцепившейся в него когтистой лапки... Не получилось. Пять костяных крючков держали его будь здоров.

Отвечать вслух он не решился, звонкость и сила собственного голоса были ему хорошо известны. Он вспомнил излюбленный прием, которым пользовался в подобных ситуациях еще совсем недавно, в уличных потасовках с соседскими ребятами: напряг мышцы на сгибе руки и заставил подкожный жир проступить через поры. И помогло — жесткие костяные крючки беспомощно заскребли, защелкали, сорвались. Он рванул на себя край наружной жесткой циновки и, перескочив через низкую заваulinку, очутился во дворе.

— Не ходи... — то ли донеслось, то ли почудилось сзади, из темноты ночного дома.

Предутреннее небо было пепельно-розовым в стороне Чертога Восхода, а над лесом и ближе к горам — чернильно-лиловым. Поздно он проснулся, поздно. Инебел несколько раз присел, нагоняя силу в икры, потом на цыпочках подобрался к воротам, чтобы гулкие удары босых пяток по обожженным плиткам не подняли кого-нибудь раньше, чем это сделает «нечестивец». На всякий случай снял со столба свою выкупную бирку и надел ее себе на шею. Вскочил на улицу.

Тонкая уличная пыль казалась теплой и ласковой; черные арыки неусыпно ворковали под бесчисленными мостками, перекинутыми от каждого двора. Под мостками шипело, пробуждаясь, придорожное несъедобное гадье. Инебел бежал легкими широкими скачками, бирка била его по ребрам, и удары упругих подошв о дорогу были бесшумны. Он бежал вдоль бесконечных глиняных оград, расписанных его дедом, и его отцом, и им самим, и если бы он пригляделся, он отличил бы собственную работу, но сейчас ему было не до того, и во всем теле пока не было ничего по-настоящему пробудившегося, кроме ритмично сгибающихся и разгибающихся горячих ног, и он думал только о них, и от этого они работали все четче, все мощнее, и он уже летел, как волна пыли и листвы во время урагана, а небо все наливало розовым свеченьем, и он не позволял себе смотреть вперед, а только

под ноги, только на розовеющую дорогу, стиснутую низкими пестрыми стенами, пока эти стены не кончились, и тогда он выбросил руки вперед, словно упираясь в невидимую стену, и замер, и вскинул голову.

И тогда проснулись его глаза, и гулко, словно серебряный «нечестивец», ударило в груди пробудившееся сердце.

Громадное и невесомое, наполненное пепельным сонным туманом, выросло перед ним обиталище Нездешних Богов.

3

«Первые петухи,— подумала Кшися, вглядываясь в беззвездную черноту непривычного неба.— А если — не первые?»

Она закинула руки за голову, стараясь нащупать кнопочку ночника, но костяшки пальцев дробно и больно проехали по ребристой поверхности переборки.

— М-м?...— сонно спросили из-за стены.

Она быстро юркнула обратно под одеяло, укрывшись с головой, и уже там, в тепле и уюте, принялась зализывать поцарапанную кожу. Ага, и заноза к тому же. Вот невезуха! И что это сегодня ей вздумалось спать в лоджии? То Васька бессловесный ведрами громыхал, то Магавира никак в свой колодец нацелиться не мог, свистел на малых оборотах, подзалетая и снова присаживаясь, невидимый и пронзительный, словно комар величиной со среднего мастодонта.

И еще будильник она оставила в комнате, на полочке возле кровати. Вот и спи теперь вполглаза, по-птичьи, чтобы успеть засветло вскочить, привести себя в порядок и быть внизу раньше Гамалея. Ну вот, ко всем ночным кошмарам еще и Гамалей! Припомнился — как дорогу перебежал. От этого имени Кшися взвилась, спрыгнула на холодный крашенный пол и босиком зашлепала в комнату. Будильник нашла по тиканью, вытащила на балкон и, забравшись снова в постель, долго пристраивала его на полу, примериваясь так, чтобы на первой же секунде звона успеть нажать выключатель. Но когда все эти пред-рассветные хлопоты, казалось, приблизились к своему завершению, Кшися вдруг почувствовала зудящий двух-сотвольтовый укол в левую ладонь. Она взвизгнула и отчаянно затрясла рукой, стряхивая вцепившегося в нее зверя. Зверь был еще тот — исполинских размеров куриная блоха. Ну, добро бы на скотном дворе, ну, на кух-

не,— но здесь, на четвертом этаже... Вот напасть-то, вот навалилось!..

Она забилась под одеяло, чувствуя, как ладонь налируется горячим пульсирующим зудом. Теперь о сне нечего было и думать. Оставалось только ворочаться с боку на бок, да баюкать левую руку, постоянно подтягивая и подбирая соскальзывающее одеяло, и горестно перебирать все мелкие неудачи и разочарования ее неземного бытия. И постоянно спать хочется. И с последней почтой мама не прислала заказанный сарафан. И голубой котенок Мафусаил окончательно переселился к Макасе. И Гамалей, искоса поглядывая на ее опыты по акклиматизации бататов, только посмеивается, но указаний не дает — самостоятельность воспитывает.

И во что же выливается эта самостоятельность? Пока — в ежедневное копанье в жирной, кишасей розоватыми червяками, земле. Правда, она придумала выход: посылала бессловесного Ваську вскапывать грядку, а затем огораживала вскопанное переносным барьером и загоняла туда полтора десятка обстоятельных, неторопливых плимутроков. Сосредоточенно прижимая к бокам тяжелые куцые крылья, они делали свое дело без мелочной и склочной суеты загорских пеструшек и уж тем более без похотливых танцев, учиняемых исполинским бронзовым бентамом скорее из склонности к тунеядству, нежели из сластолюбивых соображений. Часа через полтора червяков не оставалось, и Кшися могла спокойно подравнивать в меру загаженную грядку, не опасаясь сорваться на визг. Для студентки-отличницы сельскохозяйственного колледжа ее реакция на местную фауну была, мягко говоря, нестандартной.

Мягко говоря.

Вот эта-то неистребимая мягкость Гамалея и поражала Кшисю более всего, раздражая и сбивая с толку. Любой начальник биосектора на его месте рвал бы и метал, получив вместо опытного, матерого экспедиционника такую вот неприспособленную, едва оперившуюся дипломантку, совместными усилиями счастливой судьбы и злого рока заброшенную сюда на преддипломную практику. Всей чуткой, хотя и взмокшей, спиной, по шестнадцать часов согнутой то над грядками, то над пробирками, Кшися чувствовала скептический взгляд Гамалея, и после каждого его шумного вздоха ждала неминуемой фразы, обращенной к Абоянцеву: «Да уберите же наконец от меня эту белобрысую дуру!»

Но он только вздыхал, захлебываясь стоячим возду-

хом, некоторое время переминался с ноги на ногу, а затем безнадежно махал рукой — Кшися всей спиной чувствовала, как рассекает воздух его волосатая тяжелая лапища, — и бросал свое традиционное: «Действо невразумительное, но с непривычки сойдет».

Кшисю, стойко занимавшую на своем курсе место в первой тройке по ксенобиологии, таковая оценка несказанно возмущала, тем более что работала она строго по канонам любимой дисциплины, словно выполняла лабораторное задание.

И не только в Гамалее было дело. Коллектив экспедиции при всей своей малочисленности был удивительно пестрым — и по профессиям, и по характерам, и по внешности, и тем более по возрастам. Так и задумывалось.

Но вот быть в такой группе самой младшей — это ей показалось приятным только в первый день. Затем надоело. Все приставали с советами, предлагали непрошеную помощь, установили режим эдакой сожальной опеки... Ох, до чего ладонь чешется! Это бентам, паршивец, блох развел, сам на здешних хлебах вымахал крупнее любого индюка, а уж блохи, те акселерируют в геометрической прогрессии. Предлагал Меткаф его съесть еще на прошлой неделе — пожалели за экстерьер. Уж очень смотрится, бездельник. Пожертвовали превосходную несушку, три рябеньких перышка Йох себе на тирольскую шляпу приспособил. Жалко рябу... Все жалко, все мерзко, домой хочется...

Осторожно цокая деревянными сандалиями, кто-то спускался по внешней винтовой лестнице. За парапетом лоджин что-то смутно означилось в темноте и тут же осело вниз, словно пенка на молоке. Ага, Макася уже встала и спускается к бассейну. Худо быть безобразенькой, вот и купаться она ходит, пока темно, для нее Васька после первых петухов подогрев в бассейне включает. А загорать ей и вовсе некогда, она по ночам едва-едва успевает понежиться под кварцевой лампой. И когда только спит?

Все равно лучше быть безобразенькой, чем такой непригодной, как она. В колледже она считалась даже хорошенькой, а здесь никому и в голову не приходит посмотреть на нее, как на девушку. Работа, работа, работа. Делянка, скотный двор, кухня. И никомушеньки она не нужна.

Обиды были все перечтены, а петухов так и не было слышно. Совсем ошалели бедные птицы с этими двадца-

тисемичасовыми сутками. Бентам и совсем не способен был на самостоятельные действия — только подхватывал. Плимутрок из всех сил старался сохранять должные интервалы между припадками пенья, но сбивался, день ото дня опаздывал все больше и больше. А, вот и он. Боцманский баритон, как утверждает Йох. Бентам такой жирный и здоровый, а орет фальцетом и с каждым днем берет все выше и выше. Ну, вот уже и дошли до исступления, стараясь перекричать друг друга, словно Гамалей с Меткафом, когда сталкиваются в колодце. Когда они так неистово заводятся, это минут на пятнадцать—двадцать. Перебудят всех. Вставать надо, дежурная ведь...

Она свернулась в клубочек, подтянув коленки к самому подбородку, ловя остатки ночной дремы и теплоты. Ну, еще одну минуточку,— говорила она себе. Проходила минута, и еще, и еще. До слез не хотелось выбираться наружу, в это всеобщее прохладное снисхождение, в это равновеликое равнодушие... И главное, она даже самой себе не могла признаться, чье безразличие она хотела бы пробить в первую очередь. Между тем проходила уже по крайней мере десятая «последняя минутка», а Кшися так и не высунула даже кончика носа из-под байкового полосатого одеяла. Уж очень тоскливые мысли лезли в голову последний час — мелочные, не утренние. Такие бодрому подъему не способствуют. И вдруг... Ежки-матрешки! Да как она могла забыть?..

Она спрыгнула на пол, точно попав узенькими босыми ступнями прямо в пушистые тапочки, и заплясала по лоджии, отыскивая разбросанные где попало махровый халатик, полотенце и шапочку. Она же столько дней ждала этого — свою «Глорию Дей»! И сегодня должно было расцвести это бархатистое чайное чудо, чуть тронутое по краям ненавязчивым, едва простиупающим кармином... Этот крошечный кустик стоял места под солнцем четверем капустным кочнам, и право на его существование Кшися отвоевывала с героизмом камикадзе и настойчивостью чеховской Мерчуткиной.

Это был не просто бой за красоту, как определил эту ситуацию Абоянцев, под личную ответственность разрешивший доставку незапланированного розового кустика. На самом деле Кшисе необходимо было живое существо, принадлежащее ей и только ей. И вот сегодня огромный тугой бутон должен был раскрыться...

Между тем жемчужно-серый круг неземного неба, точ-

но очерченный исполинским цилиндром защитного поля, замкнувшего жилище землян совокупно со всеми прилегающими бассейнами, стадионами и огородами, высветился с левой стороны. Там, за непрозрачной изнутри силовой стеной встало невидимое отсюда солнце. Кшися задрала вверх остренький лукавый подбородок, который Гамалей почему-то называл «флорентийским», и попыталась уловить шум просыпающегося города, укрытого непроницаемой дымкой. Через край защитного цилиндра высотой в добрых пятнадцать этажей вроде бы переливался какой-то гул, абсолютно варварский в своей хаотичности. Она не раз морщилась, прослушивая утреннюю какофонию сотен разносортных погремушек, записанную на пленку, но вот в натуре она ни разу не слышала этой ни с чем не сравнимой побудки. А может, она звучала раньше, чем будильник.

Кшися прищурилась, пытаясь на глаз определить, насколько ли понизился за ночь уровень защиты. Нет, и этого она уловить не могла. Но раз уж начала думать о том, что лежит за пределами ее гнездышка, значит, проснулась окончательно. Вставай, вставай, неженка, — сказала она себе.

Она присела на постели и, приподнимая одной рукой тяжеленный узел волос, полезла другой под подушку — за шпильками. При этом ладошка с неопавшей свежей опухолью больно проехала по чему-то влажному и колючему — ах, и везет же ей сегодня с самого утра! Она резко наклонилась и чуть не ткнулась носом в большой полураспустившийся цветок, лежащий рядом с ее подушкой.

В сероватом влажном полумраке, наполнявшем лоджию, трудно было точно определить цвет, но алые края лепестков означились безошибочно и безжалостно. Получи, мол, с первыми солнечными лучами. Скандалила, с Большой Земли этот кустик полудохлый затребовала — вот и радуйся. И чем скорее, тем лучше. Срезали и принесли, как говорится, на тарелочке с голубой каемочкой — на!

Она схватилась прямо за шипы с несбыточной надеждой — а может, выдернули с корешками? Нет. И стебель еще совсем свеж на измочаленном изломе. Консервированные цветы — тюльпаны, орхидеи — доставлялись сюда не единожды, хотя бы по заказам Сирина, но кому они нужны? Отличить их от естественных, только что срезанных, было делом нехитрым, особенно для любителя. А живые цветы Кшися любила самозабвенно. Дай ей во-

лю — все пространство вокруг Колизея засеяла бы маками и резедой. Вот и этого цветка она ждала, как ждут прихода Нового года или дня рождения... Кшися вдруг поймала себя на том, что внутренне она уже приняла случившееся, почти примирилась со всей нелепостью и жестокостью происшедшего — ну да, для всех ее затея с чахлым кустиком была забавой; чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. А она здесь именно на роли дежурного дитяти. Ребенка поместить в такие условия невозможно, вот и взяли ее, как максимально приближенную к детскому уровню. Так что если даже сейчас она разревется — это никого не напугает. Естественная детская реакция. В сочетании с хрупкой фигуркой и громадными голубыми глазами — очень даже смотрится. Сейчас ей будут носик вытирать...

Внутри словно какая-то пружинка выпрямилась, — Кшися схватила колючий стебель, вылетела на площадку внешней лестницы и помчалась вниз, искренне жалея, что на ней бесшумные тапочки, а не сандалии на деревянном ходу. И пусть вскакивают! И пусть недосыпают! Чтоб им всем!.. Чтоб их всех!..

Свой стремительный бег разгневанной валькирии она задержала невольно, услышав внизу голоса. Говорили приглушенно, с раздражением:

— Который уже раз на этом самом месте... Отклонение от общей теории развития! А какое, собственно говоря, может быть соответствие, если развитие-то отсутствует? Мы... бр-р-р... все стараемся подогнать Та-Кемт под привычные схемы, формулировки... Все равно что обсчитывать физический процесс, проходящий под углом к нашему времени... бр-р-р... без учета этой разницы в скоростях...

— Вам, ксенологам-экспериментаторам, только бы рубить сплеча, — раздался непреклонный голос Абоянцева, — а теорию пусть создают попозже и где-нибудь подальше.

— Да не делайте из меня экстремиста, Салтан Абдинович, я ЗА, обеими руками ЗА, только не за исключение из общей теории, как разводят эту жидкую кашу наверху, а за специальную теорию, применимую к Та-Кемту, — если хотите, теорию социостазиса... б-р-р-р...

Гамалей, в полосатых широких плавках, имитирующих древнюю набедренную повязку (красиво, но сохнет дольше), приплясывал на крупном колючем песке, растягаясь махровой простыней. Когда Макася занимала бас-

сейн, остальные тактично умывались поодаль, под душевыми грибками, расположенными на выходе со скотного двора. Сейчас, похоже, он бежал к себе на второй этаж — одеваться, но возле самой лестницы ни свет ни заря сцепился с Абоянцевым.

— Теория, голубчик, у нас одна, — примирительно и веско проговорил Абоянцев, пропуская озябшего Гамалея к лестнице. — Одна на весь белый свет. Теория старая, проверенная. Нужно только применять ее с умом. А специальных теорий развития для кемитов не существует, как нет отдельных теорий для кельтов, для туарегов или, скажем, для племени банту. Уж вы-то хоть и не просиживали себе штанов, подобно мне, на теории этногенеза, а должны были бы понимать.

Кшися начала медленно подтягивать ногу, чтобы нащупать позади себя высокую ступеньку, — нет, не по чину было ей присутствовать при таком разговоре. Тем более что она раньше и представить себе не могла, что кроткий и замкнутый, как древний лама, руководитель экспедиции Абоянцев вдруг заговорит таким раздраженным тоном.

Но коса, по-видимому, нашла на камень — тон Гамалея тоже изменился, и Кшися подумала, что так говорить можно только с абсолютно чужим человеком: роняя ледяные градинки слов с высоты своего роста на маленького Абоянцева.

— Ну, раз специальной теории у нас нет и быть не может, а мы все уже здесь и готовы действовать, то зачем тянуть все девяносто дней. У вас ведь есть право сократить подготовительный период до сколь угодно малого срока, и я это знаю.

Кшися замерла. Абоянцев, значит, это может! Они изнывают в своем проклятом колодце, зная, что там, за студенистыми непрозрачными для них стенами бьется, как привязанная за лапу птица, другая жизнь, другая цивилизация, — впрочем, цивилизация ли? А они проводят день за днем в бесконечных тренировках, упражнениях, исследованиях, которые ничего уже прибавить не могут. А Абоянцев...

— Да, — сказал Абоянцев, — такое право у меня есть. На исключительный случай. И плохо, что об этом знаете вы...

Он выдержал великолепную паузу, за которой Кшися перестала восхищаться Гамалеем и поняла, что сейчас он будет отменнейшим образом поставлен на место. Но то, что она услышала, было на порядок страшнее — просто

потому, что это было уже не мнение или приказ руководителя экспедиции, а воля тех, кто, оставаясь на Большой Земле, тем не менее распоряжался судьбами всех дальнепланетчиков.

— Так вот, — продолжал Абоянцев, — вы меня обязали бы в высшей степени, если бы потрудились забыть о том, что находитесь на чужой планете. Отправляясь сюда, вы прекрасно знали, что весь первый этап пройдет так и в таких условиях, как если бы это было обычным тренировочным лагерем где-нибудь в окрестностях Масеньи или Вышнего Волочка. Мы только готовимся, ТОЛЬКО! — прошу не забывать этого ни на одну минуту. Мы естественно и непринужденно проходим подготовительный период, а то, что аборигены тем временем наблюдают за нами и таким образом привыкают к нам, касается только их, но отнюдь не нас!

Он вдруг шумно вдохнул, со всхлипом, что совершенно не вязалось с его обычным бесшумным, десятилетиями натренированным дыханием, которое не могли сбить никакие тренировки и нагрузки.

— Есть у спортсменов такой опасный момент — перетренироваться, — воспользовавшись случаем, вставил Гамалей уже не так уверенно, как прежде.

— Мы не спортом здесь занимаемся, Ян. И дело даже не в нас. Неделей раньше, недель позже мы достигнем той степени подготовки, когда защитную стену можно будет сделать прозрачной и с этой стороны — думаю, этот момент совпадет с расчетным. И сама стена медленно и неуклонно, метр за метром опустится так низко... так, как вы об этом мечтаете. Это все распланировано давно и выполняется благополучно... — Голос его зазвучал так уныло, словно он читал эпитафию. — И тем не менее, Ян, я только что через «Рогнеду» выходил на связь с Большой Землей, и там сложилось мнение... Да, мнение появилось; знаете ли, у руководства всегда есть свое собственное мнение...

— Ну?... — не выдержал Гамалей.

— Что лучше уж нас отзывать прямо сейчас. Свертывать экспедицию, пока наше пребывание на Та-Кемте может отразиться только на мифотворчестве одного полиса.

— Но почему? — чуть ли не заорал Гамалей.

— И это вы знаете, Ян. Потому что мы не нашли и, скорее всего, так и не найдем ФОРМУЛЫ КОНТАКТА.

— Я вам в сотый раз повторяю то же, что сказал на последнем Совете: мы найдем ее там, — до Кхиси долете-

ла волна воздуха, рассеченного широким жестом, несомненно указующим на непрозрачную стену, — мы найдем ее там, и только тогда, когда сами будем там!

— И я вам повторю то же, что ответил Совет: никто не позволит вам экспериментировать на живых людях.

В ответ послышалось что-то вроде нечленораздельного рывканья, снизу взметнулся средней мощности смерч, и Кшисе оставалось только радоваться, что она успела за это время бесшумно отступить на добрый десяток ступеней, стыдливо пряча за спиной ненаглядную свою «Глорию». Радовалась она рано — разъяренный Гамалей, несмотря на кажущуюся тучность, одним прыжком преодолел это расстояние. Удар при столкновении с такой массой, приближающейся к размерам среднего белого медведя, был столь ошутим, что Кшися плюхнулась на ступеньку, а еще точнее — на собственную «Глорию Дей», со всеми ее шипами...

В рассветный час
На плексиглас
Нисходят заспанные де-е-ти!..—

великолепным баритоном на мотив немецкой рождественской песенки «О, танненбаум» пропел Гамалей, простирая мохнатые лапищи и поднимая девушку за отвороты халатика, мгновенно превратившись в прежнего добродушного Гамалея.

— Управы на вас нет, батенька, — ужаснулся снизу Абоянцев, — эдакую ахинею с утра пораньше, да во всеуслышанье!

Всем было известно, что у начальника экспедиции — абсолютный музыкальный слух и утонченное восприятие поэзии. Это уж Гамалей мог бы и запомнить.

— Поскольку, кроме присутствующих, поднялись лишь петухи, то я рискую попортить слух разве что нашему птичнику, — снисходительным тоном продолжал Гамалей. — И вообще, экспромту позволительно быть глуповатым, не так ли?

И каким это чудом у него так быстро переменялось настроение?

Такой взрыв демонстративной веселости, питаемый нерастраченной начальственной энергией, ничего доброго не сулил, и Кшися сделала слабую попытку освободиться.

Не тут-то было.

— А что это еще за теплично-огородный орден, пре-

лесть моя сливочная, — голос Гамалея, похоже, перебудил уже все четыре этажа Колизея, — вы носите у себя на ягодицах?

Он бесцеремонно повернул Кшисю спиной к себе и принялся выдирать остатки сплющенной «Глории» из хищных махров утреннего халатика. Выдиралось с нитками, и было очевидно, что и с халатиком, как с мечтой о сарафане, придется проститься.

— Цветочек? — проговорил Гамалей с безмерным удивлением. — Стоило с базы тащить...

— Но вы же сами, — не выдержала Кшися, — вы же сами все время твердили, что мы должны быть совершенно естественными, ну, как на Большой Земле. А разве это естественно — все репа да капуста, все для кухни и ничего для души. Разве мы такие? Да что я говорю, вы ведь со мной согласились... И все не возражали... А ночью — вот. Оборвали и сунули под нос.

— Ну, это вы что-то фантазируете, — брезгливо отпарировал Гамалей, мгновенно возвращаясь к своему давешнему раздраженному тону. — Никто ваш кустик тронуть не мог — ни из наших, ни тем более Сэр Найджел или Васька Бессловесный. Ежели желаете, сейчас все спустятся вниз — мы с Салтаном Абдиковичем и спросим.

Кшися замотала головой и сделала попытку незаметно утереться распухшей ладошкой. А действительно, кто мог? Ведь не сам Гамалей. И уж не Абоянцев. Не Меткаф и не Йох. И не Самвел. И не близнецы Наташа с Алексашей. А уж из дамской половины и по-давно ни у кого рука не поднялась бы.

И тем не менее. Вчера ее кто-то обрызгал во сне. Чуть-чуть, но на левой руке были непросохшие капельки, а на правой — нет. И самое странное, что это были капельки молока. А три дня назад кто-то подложил ей на столик потерянную зажигалку. Платья ее оказываются иногда примятыми, словно их кто-то перебирал в ее отсутствие. А может — все только кажется?

Она скосила глаза и посмотрела на «теплично-огородный орден», валяющийся на нижней ступеньке лестницы. Ну, да. Всё, включая измочаленный цветок, ей только показалось. И вообще, чтобы объяснить все эти вышеупомянутые ЧП, ей следует признать себя повинной в злостном сомнамбулизме.

— Пропустите меня, — сказала она смиренно. — Мне еще надо луку нащипать к завтраку.

— Лучок с кваском! — возмущенно завопил сверху Алексаша. — Пошто такой рацион, кормилица наша? Не сойти мне с этого места... ой, простите, Салтан Абдикович, не заметили... Доброе утро!

Близнецы, юные и прекрасные, как Диоскуры, сыпались вниз по наружной лестнице, в то время как Абоянцев поднимался.

— Может, кто-то из них? — вполголоса бросил Гамадей.

Кшися беспомощно подняла кверху розовые ладошки — больше, мол, претензий не имею и иметь не буду. И вообще пропади я пропадом со всеми моими «Глориями». Вам на вашу начальственную радость. И пошла-ка я в огород.

— Она у вас, я наблюдал, все последнее время в земле копается? — словно прочитав ее мысли, неожиданно спросил Абоянцев. — Да? Так вот, голубушка, отпуск вам на три дня. С сохранением содержания. Сядьте себе тихонько на балконе и пошейте новый халатик. Вон у непосредственного начальства простынку махровую изымите, а мало будет — я свою пришлю, у меня в тон, каемочку там пристрочите, оборочку. Ну, одним словом, как вас там на уроках труда учили. Только без Сэра Найджела, а ручками, голубушка, ручками. В три дня управитесь?

— Не управляюсь, — мстительно проговорила Кшися. — У меня по труду завсегда тройка была. Мне неделя надобна.

Абоянцев послушал ее и вздохнул. Отбивалась от рук молодежь. На глазах. На глазах ведь!

— Шейте себе неделю, голубушка.

На дворовой изгороди непристойным альтом заголосил бронзовый жирный бентам.

4

Трапезу кончали торопливо. Восгисп молчал — видно, притомился. Но встать и разойтись по делам, обговоренным еще до завтрака, не успели — влетела девка-побегушка из незамужних, за расторопность определенная носить вести с гостевой галереи к старейшим, жрецам, ибо ни один хам переступить порог Закрытого Дома не смел под страхом сожжения ног.

— Маляр Инебел тайну принес! — крикнула она, не успев даже бухнуться на колени перед старцами. — Маляр Инебел просит Неусыпных склонить к нему ухо!

Восгисп махнул побегушке, чтоб вернулась на место, и оперся скользкими от чешуи руками на плечи сидевших рядом. Те бережно приподняли его, повлекли к арыку. В глубине храмового двора мощным фонтаном бил источник, наполняя большой, затянутый голубоватой тинкой водоем. Изредка со дна его всплывали заклятые водяные маки — цветы Спящих Богов, и тогда над поверхностью воды вставали зыбкие тени. Или только чудилось? Ведь и водяные маки каждый видел по-разному: кто серыми, кто совсем прозрачными. Из водоема стекало вниз сорок ручьев — по всем улицам, и никто — ни в лесу, ни в лугах — не волен был пить другую воду. Закон!

Наивысочайшего поднесли к самому широкому арыку, встряхнули — кисти его рук окунулись в воду. Старейший жрец не торопился, мягчил ладони. Остальные омывались ниже по течению арыка. Уготасп сделал вид, что следует общему примеру, но на самом деле рук мыть не спешил — примеривался, как бы доесть свое, когда старцы на гостевую галерею двинутся. Так и вышло — Восгиспа, отяжелевшего после утренней трапезы, повлекли со двора под руки, и он, проводив толпу сонным взглядом, проворно обернулся к циновкам, за которыми уже пристраивались в свой черед женщины. Он хлопнул в ладоши, торопя нерадивиц, потом посплюнул палец и начал подбирать с циновки крупную золотую чешую. Она таяла во рту, оставляя привкус рыбьей печени и водяного чеснока...

Инебел сидел на земле, на самом солницепеке, застыв в той смиренной позе, в которой низкородный хам должен разговаривать со старейшими из Неусыпных. Юные побегушки, порхавшие то и дело с крытой галереи во внутренние покон, дабы передать обитателям храма спешные новости, приносимые простыми жителями города, задерживались попарно, а то и по три, чтобы обсудить достоинства согбенного юноши, с самого начала утренней трапезы валяющегося здесь, в рыжей пыли. Высокоглав, узкобедр. Маляр, кажется? Тогда, наверное, умеет прижать рукам нежность и не превышающую меры щекопливость.

Инебел шевельнулся, выпрямляя затекшие ноги, на груди брякнула и выскользнула из-под короткого наплечника глиняная выкупная бирка. Это послужило поводом для нового залпа острых словечек и колких замечаний. Ах, сколь пылкий нрав у этого юного хама — изнурять себя двойной работой, лишь бы выкупить у храма право на чуже-

домную невесту! А ведь невеста, поди... Здесь уже юные аристократки совершенно не стеснялись в выражениях. Хотя нет, почему же невеста обязательно должна быть во сне брыклива и храпуча — есть и среди хамочек увертливые, точно змейки, и тихие, как рыбки. Даже жалко бывает порой, когда такая вот попадает на вонючее войлочное ложе немывтого маляра...

А может, выкуп и не за невесту? У хама жгучие глаза, чей взгляд подобен благословенной бесшумной молнии, убегающей от нечестивого грома. Пылкости свойственна мстительность, и вполне возможно, что маляр собирается купить у великих Спящих, коим принадлежит все живое и мертвое, жизнь своего врага? Только пусть уж это будет не собиратель яджиша, а то от них во время всесожжения такая вонь...

Солнце, прожигая платок, раскалило Инебелу темя. Он всеми силами пытался охладить кровь, которая бежала к голове, и это удалось бы ему, если бы он мог сосредоточиться. Но он никак не мог отделаться от мысли, что рядом журчит прохладный арык, от струи которого, даже не шевельнув пальцем, он мог отделать водяной шарик размером ровно в один глоток и, если бы эти укрывающиеся в тени храмовые вестницы не удостаивали его непрерывным вниманием, мог бы незаметно перенести этот глоток воды прямо к своим губам. Но на него все время смотрят, а делать что-либо, не прикладывая рук, считается греховной ленью и наказуется немедленно. Гораздо меньшим грехом было бы попросту встать и напиться из каменного лотка, по которому вода вытекает из-под храмовой ограды, чтобы затем студеным арыком прожурчать по всей улице до самого ее конца — но он не знает, кончилась ли утренняя трапеза в храме и скоро ли пожалуют призванные им Неусыпные, ибо с того момента, когда они появятся на галерее, он уже не посмеет пошевелиться. Так что уж лучше не терять почтительнейшей позы.

Людей возле него все прибывало и прибывало. Таскуны, сбросившие свою поклажу возле наклонных катков, ведущих прямо в подземные хранилища; просители, не согласные с выделенной им долей за назначенный урок; родители, большей частью глубокие старики, пришедшие справиться о здоровье матерей с новорожденными, и просто любопытные, подслушивающие и подглядывающие возле Храмовища, чтобы разнести любую новость раньше, чем объявит об этом с Уступов Молений глас Спящих

Богов. Кольцевая площадь, отделявшая Закрытый Дом от прочих строений города, шумела и пылила.

И вдруг этот шум затих — разом, словно люди остановились на полуслове с открытыми ртами. На галерею из темноты внутренних покоев величественно выплывали Неусыпные, разодетые пестро и причудливо, точно весенние бабочки. Чем старше и плешивее выглядел почтенный жрец, тем пестрее и ярче были его многочисленные платки, передники и наплечники.

— Милостью Спящих Богов низкорожденному позволяет говорить! — раздался дребезжащий голос. — Но не лукавя и не словоблудя. Кратко.

Инебел поднял голову. Перед ним в тени навеса сидел скрюченный больной старик с желтым, подергивающимся лицом. Еще никогда он так близко не видел старейшего жреца, в торжественные дни отделенного от толпы внимающих пологими ступенями святожарища.

— Навысочайший Глас и Око Богов, именуемый Воспевающий Гимны Спящим, дозволил мне говорить! — Инебел скосил глаза налево и направо, успокоился — начал он правильно, ничего не переврал. — Имя мое — Инеисто-Белый, что и подобает маляру, духом и телом принадлежащему Спящим. По уроку на семью и уроку за выкуп дано мне было расписывать стены картинами, повествующими о жизни посетивших нас Нездешних Богов. Рисовал я зверей невиданных, золотого и угольного, чьи пасти окаймлены роговищем острым, как у мерзостной ящерицы-гуны, передние лапы осенены опахалами, задних же нет вовсе. Чтобы выполнить выкупной урок, вставал я до рассвета и доподлинно знаю, что и звери чудные поднимались задолго до восхода утреннего светила.

Он остановился и перевел дыхание. Площадь зачарованно слушала, настороженно смотрела прямо ему в рот и жрецы.

— Для того чтобы правдиво изобразить сих нездешних тварей, я должен был постигнуть их суть и назначение. Но мне это долгое время не удавалось, и я смиренно полагал, что диковинные существа своим нелепым видом лишь веселят взор Нездешних Богов... — Он вдруг спохватился, что говорит пространно и неподобающе вольно; но никто не прерывал его и не ставил на место, значит, можно было продолжать. — Но вскоре я увидел, что светлое обиталище пришельцев доступно лишь взору нашему, но не слуху, и что по видимости одной судил я о сущно-

сти и недвижимого, и живого, полагая все равно беззвучным. Между тем чудные звери несомненно издают громкие звуки, ибо боги оборачиваются к ним, когда те разевают свои пасти, взлетев на возвышение подобно пчелам или стрекозам. Крик их должен быть страшен даже Богам, и я видел своими глазами, как сегодня утром одна из Богинь отшатнулась от золотого зверя и заслонила свое блистательное ухо...

Воспевающий Гимны Спящим смотрел на Инебела так пристально, что перестал даже дергать правой щекой. Что ж, пока юноша говорил только: я видел. Но сейчас он скажет: я думаю... И не дернется ли тогда бешеной гримасой желчное лицо, не махнет ли низшим жрецам, чтобы заломили руки смельчаку, чтобы вырезали язык?

Инебел облизнул деревенеющие губы и голосом, из которого он постарался изгнать страх и сомнение, закончил:

— По тому, как звучен должен быть предрассветный крик диковинных зверей, и по тому, как поднимаются после него Нездешние боги, я смею высказать то, что есть тайна, ибо этого нет в наших законах: звери нездешние, золотой и угольный, есть по сути и назначению своему живые «нечестивцы»!

Стон пронесся по толпе, всколыхнулся пестрый сонм Неусыпных. И только Воггисп остался недвижим. Никто не смел молвить слова, пока не высказался старейший, и снова склонившийся Инебел подумал, что теперь тишина затянется надолго.

Но он ошибся.

— Благо тебе, раб и вещь безгласная, принадлежащая Спящим Богам, что не утаил ты ни зерна мысли своей, — скороговоркой, подчеркнуто обыденным тоном проговорил Воггисп традиционную формулу поощрения за тайну. — Не за знание, а за послушание законам причитается награда тебе, ибо тайна твоя нам известна. Но коль скоро не провозглашено было о ней с Уступов Молений, то и тебе, рабу, надлежит впредь забыть о сказанном. А сейчас — приблизься.

Инебел смиренно, не подымая глаз, подполз к настилу галерен, но касаться его не стал, доски — уже само Храмовище, которого низкий люд может коснуться разве что перед гибелью. Замер. Ждал. За спиной глухо роптали — да и как заставишь молчать всех, кто слышал его слова? Ведь в том законе, что алыми буквами написан по всей

ограде Храмовища, вроде бы говорится: «Оживут «нечестивцы», и тем кончится срок всему, что есть, и пребудет земля новая, с новым законом». Так заучено было накрепко и передавалось из рода в род, а проверить некому: буквы затейливые с каждой луной маляры подправляют, блеск наводят, только прочесть некому — обучены тому одни Неусыпные.

Что-то сухое и жесткое подсунулось Инебелу под шею, коротким ударом вскинуло подбородок вверх. Думал — дощечка, а это была нога старейшего. Инебел выпрямился. На груди легонько забрякала тонкая глиняная бирка. Сейчас последует награда. Покрывало он уже получил — почетное голубое покрывало, разделенное на восемь клеток, какого не бывало еще ни у кого в их доме. А теперь он получит подушку. Пышную подушку из глубинных несминаемых водорослей, обтянутую переливчатой тканью. Он отдаст это сокровище матери, чтобы весь день прохожие с улицы могли смотреть и завидовать, ревниво оглядывая родительское ложе, возвышающееся под свернутыми в рулон циновками, ложе простых маляров, хранящее теперь эдакое богатство...

Желтая скрюченная рука протянулась к нему, ухватила бирку и дернула. Шнурок лопнул, а шея сзади заныла, как от тупого пореза.

— Имя?! — спросил, как приказал, старейший жрец.

Инебел похолодел. Сердце его забилось так, словно при каждом ударе падало до самой земли и, отскочив, подпрыгивало до горла. Еще недавно он ждал этого не как благодетельства, а как спасения. А теперь не мог, не хотел шевельнуть губами.

— Имя!!!

И, словно выдернутое, выцарапанное откуда-то изнутри этим властным окриком — еще недавно такое желанное:

— Вью...

Сложенные шепотью желтые пальцы ударили по бирке, со скрипом вырисовывая на вошеной поверхности три непонятных значка.

5

На перилах лоджии, болтая ногами и прихлопывая в такт по коленям, сидели рядом Наташа, Алексаша и Самвел. Не зная слов, тянули старинную мексиканскую песню: «...ляй-ля-ри! ра, ли-ра-рус-са...» В три голоса получалось вроде бы ничего, но Кшисю не удовлетворяло:

— Трио «Лос панама дель шляп-па». Для таких песен надо иметь бабьи голоса...

— Всегда готовы! — гаркнул галантный Самвел, за что получил от Наташи острым локтем в бок.

При каждом возгласе он имел обыкновенные воздевать вверх свои легкие смуглые руки, колеблющиеся, словно языки черного пламени, в неопишуемой ширине рукавов его постоянной, как униформа, аспидной рубашки, но на сей раз его не лишенный театральности жест сослужил ему дурную службу. Сколько бы они все ни делали вид, что ведут себя естественно и непринужденно, болтая ногами и распевая песни всех времен и народов, никто ни на секунду не забывал про проклятую защитную стену, за которой только и начиналась их судьба — Та-Кемт. Они знали, что стена опускается, делаясь все ниже с каждым днем, с каждой минутой, и поднимая голову, каждый невольно старался угадать, уловить неприметное таянье туманного кольца; с таким же успехом можно было следить за движением часовой стрелки.

Запрокинув голову, Самвел на какой-то миг утратил равновесие и, опрокинувшись навзничь, уже исчез было за перилами, но вовремя был отловлен Диоскурами и водружен на место.

— Не следует мешать естественному течению событий, — наставительно заметила Кшися, принципиально перекусывая нитку зубами, чтобы еще раз подчеркнуть, что по труду у нее была-таки тройка. — Судьба постоянна в своей мстительности. К тому же Салтан Абдикович обожает различные демонстрации, а госпитальный отсек у нас так и не задействован.

— Но, но, накаркаешь, — предупредил Алексаша. — Кончила?

— Не-а, — не без злорадства сказала Кшися. — Но подворачивать буду завтра. А швы обметывать — послезавтра. Пусть Гамалей без меня помучается.

Нельзя сказать, чтобы она не любила рукодельничать, скорее наоборот; но одно дело — возиться с кантиками и бантиками на уже готовом костюме, раскроенном и сшитом домашним полуавтоматом, а другое — выполнять самую грубую работу, орудуя ножницами и иглой совсем как в средние века.

— Ну, кончила, не кончила — идем вниз, постукаемся, — распорядился Алексаша.

Кшися давно уже заметила, что в абсолютно идентичной на первый взгляд паре Диоскуров распоряжается

всегда именно он. А больше делает, соответственно, Наташа. Правда, последнее требовало проверки — Диоскуры были техниками по связи, и практически Кшися за работой их и не видела.

Между тем солнце давно уже перевалило за полдень, начало рыжеть и, как всегда неожиданно, провалилось в мутноватую прорву за верхней кромкой ограждения — словно и не было безоблачного тропического дня. Размытая теневая черта быстро поползла от стен здания станции к восточному сектору, занятому Кшисиными делянками. Дом этот, возведенный по особому проекту, напоминал древний Колизей — круглое сооружение в четыре этажа и без внешних стен. Жилые комнаты, лаборатории, кухня, даже зал заседаний — все это аборигены Та-Кемта могли наблюдать через защитную стену, которая извне была абсолютно прозрачна.

Девяносто дней напряженнейшего последнего этапа подготовки экспедиции были перенесены сюда, прямо на окраину одного из немногочисленных кемитских городов, и по твердому априорному убеждению Большого Совета за этот срок кемиты должны были привыкнуть к таким похожим на них пришельцам с далекой Земли.

Но они не привыкали. Они попросту перестали интересоваться ими...

Сбегая по лесенке, вьющейся вокруг внешней колонны, Кшися мысленно корила себя за радость, с которой она согласилась на три дня вольной жизни. Не до воли! Вон Самвел — нашел какой-то минерал, на Земле неизвестный; клянется, что отменное удобрение. Нужно выпросить у Самвела хотя бы горсточку и попробовать на своих грядках, и кончать с этим огородным геоцентризмом — петрушкой да морковкой, а самыми форсированными методами окультурировать тутошные корешки. С этими надвигающимися холодами кемиты просто вымрут от голода, если не научатся огородничать. Тем более что и учиться-то они не очень хотят. Поглядишь видеозаписи — так нарочно воротят носы от их станции. При такой тяге к обучению...

Воспоминание об утреннем разговоре, нечаянно подслушанном на этих самых ступеньках, укололо реальной тревогой. А ведь могут и прикрыть станцию, отозвать на Большую Землю. С Галактического Совета станется, там полным-полно перестраховщиков и обдумывальщиков с бородами, как у Черномора. Не найдено «формулы контакта» — и баста! Погасят видимость с той стороны,

ночами перетасшат оборудование на «Рогнеду», сам Колизей аннигилируют, и в одно прекрасное утро проснутся кемиты — и нет ничего, лужок с газонной травкой. Несколько веков будут рассказывать детишкам: «И привиделось нам диво дивное...» — и тихохонько вымирать от голодухи и неистребимых наследственных болезней.

А доблестный экипаж несостоявшейся экспедиции будет все тренироваться и тренироваться аж до посинения дна глазного яблока, а все земные Гамален и Абоянцевы будут заседать в поисках своей формулы...

— Что вы, Кшисенька? — скрипучим голосом осведомилась Аделаида, обгоняя девушку.

— Так. Тоска по родине.

— Ну-у-у, вот этого уж нам совсем не следует демонстрировать... — и проследовала вниз, четко вколачивая высоченные каблуки в многострадальные ступеньки и похлопывая по перильцам аккуратно завернутыми в синтериклон кроссовками.

И поделиться-то ни с кем нельзя — подслушанное не передают. Даже если услышал нечаянно. Так что прими, голубушка, вид естественный и непринужденный, и — на стадион, «стукаться». Абоянцев и так уж всех допек со своими «демонстративными» видами спорта — баскетболом, футой, ретроволейболом. А то, что она по два часа тренируется по всем видам древней борьбы — то с Алексашкой, то с Меткафом, — это не в счет. Потому как это, естественно, происходит в «колодце», то есть центральной части здания, где расположено все то, что аборигенам видеть не следует.

Так что хочешь не хочешь, а пришлось играть.

Впрочем, какая это была игра? Собралось девять человек, да и то после сурового окрика Абоянцева. Последний, кстати, лучше бы и совсем не становился — и не считаешь его, и не прикрикнешь в критической ситуации. Гамалей, правда, не стеснялся, но его, как игрока экстракласса, ставили против Васьки Бессловесного, программу которого жестко ограничивали по скорости и высоте прыжков. Алексашу и Наташу приходилось разводить по разным командам, чтобы не создавать заведомого перевеса, а слабый пол ввиду низкой квалификации только увеличивал неразбериху на площадке. Короче, игра сводилась практически к поединку Васьки с Гамалеем, а если добавить, что судила матчи Макася, метавшаяся между площадкой и кухней с вечно подгорающим ужином, то ничего удивительного не было в том, что во-

лейбол из здорового развлечения превращался в унылую повинность.

Да и Кшисино настроение, омраченное невозможностью поделиться сведениями о надвигающейся катастрофе, необъяснимым образом передалось всем окружающим, так что за вечерний стол, заботливо накрытый Макасей (роботам не позволялось коснуться даже краешка скатерти), уселись в неуютной тоске, словно продули не самим себе, а по крайней мере сборной Куду-Кюельского космодрома, позорно вылетевшей в этом сезоне даже из лиги «Б».

— Если Наташа с Алексашей не перестанут лаяться через сетку, — ультимативным тоном заявила Кшися, — то я вообще играть не буду.

— Это почему же? — Абоянцев на корню пересекал все антиспортивные выступления.

— Они как сцепятся, так пятнадцать минут стой и мерзни. А когда стоишь, вечно кто-то за ноги кусает. Куринные блохи, наверное.

Аргумент озадачил даже начальство.

— А почему меня не кусают? — спросил Гамалей.

Получилось глупо, Диоскуры (благо не их начальство) фыркнули.

— Инстинкт самосохранения, — шепнул Алексаша.

Йох, начисто лишенный чувства примитивного юмора, удивленно поднял белые брови. Самвел пихнул Алексашу локтем в бок — расквитался-таки за давешнее.

Абоянцев вытащил из заднего левого кармана блокнотик, сделал пометку:

— Аделаида, голубушка, придется вам провести нонную дезинфекцию.

— Не далее как две недели назад... — тощая бесцветная Аделаида имела обыкновенные замолкать на половине фразы, словно экономила энергию.

Но говорила она всегда столь примитивные вещи, что ее все понимали.

— И черви передохнут, — вставила тихонечко Кшися. — В верхнем слое, по крайней мере.

— Дезинфекцию начнете завтра, сразу после завтрака. — Абоянцев вложил карандаш в книжечку, сунул ее было в задний правый карман, но спохватился — правая половина всех его карманов, как это было всем известно, предназначалась исключительно для вещей и записных книжек личного характера.

Спohватившись, переложил в левый.

— Мария Поликарповна, матушка, кого мы ждем?

— Да я ж... — спохватилась Макася.

Кухня и столовая располагались на первом этаже, разделенные прозрачной перегородкой, через которую в просветы между здешними пальмочками, угнездившимися в традиционных кадках, было видно, как кашеварит Сэр Найджел. Сначала Макасе придали Ваську Бессловесного, но Макася под угрозой забастовки вытребовала себе антропоида повышенной сложности, мотивируя это тем, что у Сэра Найджела всегда можно получить членораздельный ответ, что и когда он солил.

Надо отдать должное — готовил этот, как выражался Гамалей, «феминантропоидный тандем», превосходно.

Сэр Найджел выкатил тележку с тарелками из кухни, степенно проследовал по голубому асфальту, окаймлявшему Колизей, и втолкнул тележку под сень пальмочек.

— Крабовый салат всем, — доложил он скрипучим голосом, — тринадцать азу, одни пельмени с капустой, показаци.

— Чьи пельмени? — спросил Гамалей. — Я бы поменялся.

— Между прочим, я тоже, — пробасил Йох.

— Тогда нас трое, — буркнул Меткаф.

— Пятеро! — крикнул Алексаша. — Но это в добавление к азу!

— Я бы, конечно... — протянула Аделаида.

— Едоки, чьи пельмени?

— Пельмени мои, — сказал Абоянцев. — Давно ожидал тихого бунта, но никак не думал, что это будет гастрономический бунт.

Все притихли.

— Сэр Найджел, — по-хозяйски повелел Гамалей, — соблаговолите-ка приготовить порций пятнадцать казачьих пельменчиков, да поживее!

Абоянцев сердито на него покосился:

— На первый раз прощаю, но прошу заметить, батюшка, что антропоидное время дороже, нежели консервы. Поэтому прошу продумывать меню и изменения вносить, как положено, не позднее, чем за полчаса до принятия пищи.

Антропоид скрылся в холодильной камере, но аппетит, кажется, был всем попорчен: педантичное замечание начальника экспедиции подействовало, как позавчерашний соус.

— Между прочим, приближается день рождения

Марии Поликарповны, — уныло, как о готовящейся ревизии, предупредила Аделанда. — Почему бы не запланировать...

Кажется, это был единственный случай, когда реплика врача вызвала восторженную сенсацию. За сравнительно короткое время было выдвинуто незафиксированное количество предложений, вполне удовлетворивших начальника экспедиционно-исследовательской группы.

Разрядка действительно была необходима, но вот сколь быстро общее уныние достигнет прежнего уровня, после того как догорит именинничий костер, будет съеден именинничий пирог и допит именинничий пунш?..

Зазвонил столовский будильник — девятнадцать двадцать пять по местному времени. Пора на вечерний урок.

Непринужденной, как всегда, неторопливой вереницей подымались на третий этаж, в «диван». Поначалу это была типовая классная комната со столами и стульями, с доской и магнитофоном. И одним диваном. Но вскоре из-за мест на диване начала ежевечерне возникать упорная возня. Абоянцев хмурился, и тогда в классной комнате явочным порядком стали появляться диваны и исчезать столы. Абоянцев промолчал, потому что так и не смог понять — то ли это естественная потребность уставших за день людей, то ли микробунт.

Сирия Акао заняла свое место за единственным уцелевшим столом. Никто не знал, откуда она родом — к Сирию не очень-то подступишься с вопросами. Похожа она была на абстрактную восточную принцессу — вся в ярких шелках чистых контрастных цветов, до неправдоподобия миниатюрная во всем, кроме ресниц и узла иссиня-черных волос — они огромны или, во всяком случае, таковыми кажутся. Но это — пока она молчит. Стоит Сирию заговорить, как ее изящный яркий ротик становится квадратной пастью, из которой торчат крупные квадратные же зубы. Это выдает несомненную японскую ветвь в ее происхождении, но вынуждает девушку к молчанию и неулыбчивости. Ребята попробовали было назвать ее «мадам Баттерфляй» — не привилось.

Сирию Акао воздела крошечные ладошки, трижды хлопнула:

— Благо спящему!

— Благо спящему! — отозвались все нестройным хором, но уже по-кемитски.

— Натан, прошу вас. Вы поутру встречаете на улице своего друга... Алексей, прошу и вас. Утренний диалог, как всегда.

Это была обычная разминка — словарный запас языка Та-Кемт был заложен у каждого из них гипнопедически, но тренироваться нужно было ежедневно. Тренироваться, не зная толком, когда на Земле примут хотя бы принципиальное решение о возможности непосредственного контакта...

«Благо спящему!» — «Благо стократ». — «Почивали ли твоя семья с миром?» — «С миром и с храпом...»

— Алексей! Храп считается серьезным физическим недугом, ибо нарушает тишину. Поэтому, если угодно: «НЁ с миром, НО с храпом». Хотя о таких вещах, по-видимому, принято помалкивать. Продолжайте.

Традиционный диалог продолжался.

«Как почивали отец и мать?» — «Сон их спокоен и мудр». — «Как почивали братья и сестры?» — «Во сне они приобщались к мудрости богов». — «Был ли крепок сон дядюшек и тетюшек?» — «Моей престарелой бабушке паук опустил на нос, и она от страха...»

— Алексей! В Та-Кемте пауки — милые домашние зверушки, вроде наших хомячков. Их никто не боится.

Сири-сан начинает сердиться, и напрасно. Иначе ведь от этих усыпляющих диалогов действительно кто-нибудь уснет! И как только эти кемиты могут разводить подобную нудятину с утра пораньше! Ведь это начисто снимает всю работоспособность. Ах, да, диалог... «Моей престарелой бабушке приснилась невеста ее младшего правнука. Она, то есть невеста, а не бабушка, была бела, как сметана, и проворна, как кошка...»

— Фу! — закричали все хором, а Кшися — громче всех. Плагиат, даже на примитивном наречии Та-Кемта, здесь не поощрялся.

Приходилось поправляться. «Девушка была смугла, как грецкий орех изнутри...» — «Как звали эту девушку?» — «Ее звали Сиреневый Инкассатор» (это уже на земном).

Сири-сан слегка краснеет, сердится. Когда она сердится молча, она очаровательна.

— Алексей, вы отвечаете прегадко. Я поражена. Йохани, ваш сон, пожалуйста.

«Мой сон благоволящие ко мне Боги наполнили благоуханием весенних цветов, кои срывал я для увенчания костра всесожжения. Почтеннейший Неусыпный снизо-

шел принять от меня корзину с цветами, кои вознес...»

— «Кои вознесены были». Это типичный оборот. Прошу дальше.

— «Кои вознесены были на вершину Уступов Моления... э-э... дабы они сожжены были... э-э... во ублажение... то есть во услаждение... Спящих Богов».

— Во, должно быть, вонища!..

— Прошу вас заметить, Натан, что рассказам о снах натурализм не свойствен.

— У меня такое ощущение, Сирин-сан, — проговорил Гамалей, — что сны большей частью выдумываются. Уж очень они однотипны, высоконравственны, что ли..

— ...Не исключено, — кивнул Абоянцев. — Кстати, Сирин-сан, в ночной почте две любопытные рамочки прибыло. Вы бы нам перевели их, голубушка...

— Разумеется, Салтан Абдикович.

Заела, зазвенела в магнитофоне пустая нить; все молча, выжидающе смотрели на вращающуюся рамочку.

Между тем сиреневые сумерки наполнили узкую учебную комнату, расположенную, как и все помещения Колизея, вдоль открытой лоджии. Небо было розовато-цинковым, как всегда, когда садится солнце и из-за горизонта вываливается чудовищная по своим размерам, голубоватая, испещренная царапинами и щербинами, луна. Подымается она невысоко, и для того, чтобы увидеть ее, приходится забираться на верхний этаж Колизея, а еще лучше — на крышу. Сюда, в «диван», прямой свет ее не проникает никогда, и только траурное лиловое мерцание близкого неба наполняет в эти вечерние часы всю огромную чашу станции невыразимо печальным мерцанием, столь явственно ощутимым, что оно воспринимается как материально существующая, овеществленная безнадежность.

— Вы будете переводить, Кристина, прошу... — быстрый шепоток Сирин Акао и кивок-полупоклон в сторону Кшиси.

Кшися стискивает пальцы, напрягая внимание, а нежный, с придыханием, голосок, удивительно напоминающий ее собственный, тихо и певуче вырастает из серебристой чашечки магнитофона. Кшися переводит, не запинаясь — это ей дается легко, и два девичьих голоса звучат в унисон:

— «...переполнится мера тяжести вечернего неба, и пепел нашей печали упадет на город и задушит живущих в нем...»

Взахлеб, по-бабьи, вздыхает Макася. И все замирают — настолько созвучны слова эти невесте откуда взявшейся щемящей томительности. Лиловые липкие сумерки, и до утра — ни маячащего вдали костра, ни звезды на горизонте...

— Кто-нибудь там, помоложе, да включите нормальный свет! — не выдерживает Абоянцев.

Сирин приостанавливает звук, пока комната наполняется привычным золотистым светом. И снова голос — только теперь мужской, и Кшисин торопливый шепоток:

— «Нет вечера без утра, ниточка моя, бусинка моя; но только нет мне и дневного солнца без вечернего взгляда твоего. Темна и росиста ночь, только без вечернего слова твоего мне ни тьмой накрыться, ни сном напиться...» — Кшися вдруг вспыхнула и беспомощно огляделась — да нужно ли, можно ли переводить такое?

Все молчали, понурясь.

— «Руки мои скоры в своем многообразии, мысли мои придумчивы в повелении рукам; согласись только — и я откуплю тебя у Закрытого Дома!» — «Не Закрытому Дому, а Спящим Богам принадлежит все сущее...» — «Когда откупал Инебел сестру твою, не Богам он платил, а жрецам, прожорливым и ненасытным». — «Блаженство есть сон, а не сытость...» — «Блаженство — это стоять в сумерках у ограды и слышать, как ты сзываешь своих младших, а они разбегаются с визгом по всему двору, и ты ловишь их, и купаешь их с плеском, и гонишь их, смеясь и припевая, в спальню, а потом все стихает, и вот уже шелестят кусты, и ветви у самой ограды раздвигаются, и руки твои ложатся на побеленные кирпичи... Разреши мне выкупить тебя!» — «Спящим Богам угодна неизменность. Инебел откупил сестрицу Вью, она собрала платья и посуду, и сложила корзину, и омылась настоем из пальмовых игл, и вот ждет она уже четыре дня, когда он придет за ней, и блаженства нет во взоре ее, и в плечах ее, и в руках ее занемевших...»

Снова тоненько поет пустая нить. Сирин Акао медлит выключить звук, словно что-то еще может добавиться, словно что-то еще может перемениться.

— А вышеупомянутый Инебел, вероятно, порядочный шалопай, — приподняв брови, констатировал Магавира.

— Зачем шалопай? — взорвался Самвел. — Сволочь он, вот кто. Таких надо...

Стремительные руки его, взметнувшись вверх, выразительно сомкнулись.

— Да? — сказала Кшися. — Быстрый какой! А если

этот Инебел только сейчас и полюбил по-настоящему, тогда что? Между прочим, Ромео тоже бросил свою Розалинду!

— И я не слышал, чтобы кто-нибудь его за это обзоволочил,— эпически заметил Гамалей.

— А чем это все кончилось? — крикнул Самвел.

— Спокойствие, молодежь,— вмешался, наконец, Абоянцев.— Между прочим, мы слышали с вами не пьесу...

Все разом притихли, словно там, за перилами лоджии, замаячил в густом ультрамариновом сумраке островок собственной судьбы.

— И то правда,— снова вздохнула Макася,— только когда мы туда, к ним-то пойдем, нас навряд ли так полюбят...

— Прошу продолжить урок,— встрепелась Сирина.— Мария Поликарповна, ваш перевод следующий. Пожалуйста, прошу. Храмовый комплекс, внутренние личные покои. Пожалуйста.

На этот раз оба голоса были мужские, говорили отец и сын.

— «Тащи, тащи — забыл про мешки, теперь что ни ступенька, то память. А то наел себе брюхо, в любимчиках ходючи!» — «Тебе бы такая любовь, когда с утра все лягнуть норвят. Благо еще, у старейшего ноги окостенели, высоко не задрать...» — «Да чтоб он тебе все по пояс отлягал, дармоед, дорос по бабам скучать, а сам...» (Ой, дальше совсем несказуемо!) — «Так жену бы мне, отец, я бы и поворотливее стал, на колокол Чапеспа приладил бы. Ходили бы мы с тобой вместе уроки проверять, благостыней одарять...» — «Соблазняешься баб по чужим дворам щупать?» (Ох, попереводил бы хоть Йошка, мужику не так срамно.) — «Да мне бы с моим брюхом свою, собственную...»

— Дальше непечатно и непригодно! — заорали хором Диоскуры.

— М-м... а дальше так: «А где я тебе собственную возьму — рожу да выращу? В дому не подросли, разве что... выкупил тут один хам себе хамочку. Да не берет к себе, чешется, на Нездешнюю обитель глядячи».

— Хм... — донеслось со всех диванов одновременно.

— Чего — хым-то? На меня загляделся, не иначе,— отпарировала Макася.— Так... «По закону, отец, ежели за обе руки дней... (десять, значит) не возьмет он ее себе в дом — храму отойдет?» — «Не распускай губы-то, не храму — Богам. Боги и распорядятся. Чапеспу и то до-

стойней — при деле он, не при звоне». — «А я, значит, чтоб меня...»

— Непечатно, непронзосимо! — рывкнули Диоскуры.

— Спасибочки, выручили. «Я, значит, мешки наверх таскаю — и не при деле?» — «А как наверх все перетащишь, в город пойдешь, хамов слушать. Костер-то не даром складывать велено, до дождя успеть надо. И не болтуна-дармоеда, как в прошлый раз, а помоложе, да из таскунов, а то так и из лесоломов. Соображай». — «Знаю одного, мыслею рукоблудствует, но ткач». — «Невелика храму поруха — мыслею нить удержать...» Бессмыслица какая-то, а?

— Как хотите, Салтан Абдикович, а это — прямое указание на телекинез. Способности аборигенов безграничны...

— Опять вы, Гамалей, за свое. Мистика, батюшка. Телекинеза в природе не существует, одни сказки. И не прерывайте урока.

— Долго там еще? Я женщина слабая, беззащитная, чтоб часами целыми эдакое переводить. И то сказать, отцы города, а собачатся, как на рынке...

— В Та-Кемте не существует свободной торговли, — наставительно замечает Абоянцев. — А что касается лексикки, то язык простолюдинов, как ни странно, богаче и поэтичнее...

Низкий звук зуммера прерывает его. Обычный вызов сверху, и басок Брюнз: «Станция «Рогнеда» вызывает Колизей. На связи «Рогнеда». Колизей, заснули?»

— Я — в аппаратную, Сирий-сан, мое дежурство! — Наташа срывается с дивана и, приплясывая, исчезает в ребристой нише, словно просачивается сквозь стену. Аппаратная, как и многое другое, расположена внутри Колизея.

Абоянцев смотрит вслед почти что горестно — набрал себе ребятишек, ишь сколько радости с урока удрать...

Сирий Акао в который раз запускает нескончаемую рамочку.

— «Не хочешь ткача — можно подловить и змеедоя, — скороговоркой бубнит Макася, — благо в последнее время они что-то с благоговением подгоняют стада к Обиталищу Нездешних. Ежели с благоговением, то пускай себе. Пока». — «Тогда не пойму, отец...» — «А ты потужься, пока мешки таскать будешь. Я тем временем тому хаму, мазиле, новый урок дам — внешние стены размалевывать, как раз супротив Обиталища. Пусть глаза пялит, про выкуп не вспоминает. А ежели и впрямь

Богам отколется...» — «Как завтра звонить буду, так и шепну старейшему...» — «Я те шепну, хайло зменное, я те подам голос поперед отца, блево...»

— Дальше непечатное, непронизносимое!!! — за двоих возопил Алексаша.

6

Гнев или милость? И гнев, и милость. Горе или благо? И горе, и благо.

Раньше такого не было. Уж если приходила беда, то горько было всей семье, бились, как могли, терли краски под вечерним солнцем, убегали белить стены с первыми лучами светила утреннего — не ели, завтрак приносили сестры уже позднее, и съедать его приходилось на улице, прижавшись к еще не крашенному забору и прикрываясь сестриной юбкой, чтобы посторонние не увидели сраму — ненасытства окаянного. Рук отмочить не успевали, но выбивались, справлялись с уроком, и начиналась другая пора — блаженство сытости, ненатужной, размеренной работы, и главное — сладчайшего сна, с шорохом недавно выстиранного одеяла и сладким духом луговых трав в свеженабитом тюфяке. Счастье, полное и несомненное, снова поселялось в доме.

Странное дело: раньше его желания возникали только для того, чтобы быть исполненными. Хотел есть — насыщался. Хотел спать — садилось вечернее солнце, и с полной темнотой приходили сказочные грезы. Даже тогда, когда желание превышало меру обычного, он твердо знал, что справится, что снисходительные Боги вложили в его сердце несбыточное стремление лишь для того, чтобы дать работу неиссякаемой изощренности его рук. Так он пожелал себе в жены нежную светловолосую Вью — и не минул еще срок двойных уроков, как верховный глас уже освободил его от трудов дальнейшего выкупа.

Но только не нужен ему теперь дар Неусыпных...

Перевернулось все, покатилося, и теперь бы не есть, не спать — только знать, ЧЕГО хочется, да так, что утреннее солнце горше полыни, а вечернее — злее терновника.

Ведь не желает же никто и в самый жаркий из полдней надышаться студеной водой из арыка, не желает никто и в самый голодный вечер напиться туманом с лугов... Так почему же тогда тянется взор его к дивно мерцающему колоколу — Обители Нездешних Богов?..

— Инебе-ел! — тихонечко, полувопросительно окликнули его.

Он затряс головой, прогоняя неотвязные мысли. Сестренка Аплъ, мосластая, вытянувшаяся не по возрасту, нескладеныш в одной только нижней юбке, с неприкрытыми плечами, зябла перед ним с двумя лубяными туесками в руках.

— Много набралось?

Вместо ответа Аплъ присела, так что угловатые колени оказались чуть не выше ушей, и поставила туески на землю. Каждый был наполнен до краев прозрачными застывшими наплывами пальмового сока. Инебел колупнул выпуклую корочку — сок твердел быстро, через несколько дней его будет и не разгореть, отдавая тогда точильщикам на бусы.

— В жесткий лист заверни да расколоти помельче, а на ночь закопай под теплые уголья. Да предупреди мать, чтобы не разожгла очага, не вынул смолку... Аплъ!

Он поймал сестренку, уже успевшую перекрутиться на пятке не меньше трех раз, и снова усадил ее перед собой на корточки. Она разом притихла и, угадывая подарок, задышала часто-часто, как ящерка.

— Сейчас, сейчас. — Инебел рылся в складках передника, отыскивая потайной карман. — Не потерял, не бойся...

Пальцы его наткнулись на острый край черепка, но, отвердевшие от постоянного толчения краски, почти не почувствовали боли. Этот черепок он подобрал, валяясь в пыли перед Храмовищем. Был он покрыт вишнево-красной глазурью — таких не делали ни в доме Аруна, ни во второй гончарне, расположенной на другом конце города, где дома стояли уже на самом подножье паучьих гор. Видно, был это горшок или кувшинчик из тех, что приносили долгие таскуны из соседнего города, дважды в год доставлявшие закрытые наглухо корзины в огромные глинобитные казематы, расположенные под Уступами Молений. Никому не положено было знать, что приносят и что уносят долгие таскуны, но по той бережливости, с которой жрец, опекающий их дом, отмерял ему белый порошок, именуемый «моль». Инебел догадывался, что это — дар соседнего города. «Моль», растворенный в яичном белке, давал чудную полупрозрачную краску, отливавшую радужными переливами, и тратить ее разрешалось только тогда, когда надобно было изобразить лики Спящих Богов.

Между тем Аплъ налюбовалась подарком и, подпрыгнув, словно лягушонок, повисла на шее у Инебела.

— Ты мой старшенький-беленький, ты мой беленький-лапонький, ты мой лапонький-добренький,— торопливо шептала она, немилосердно щекоча его щеку жесткими длинными ресницами,— чтоб тебе всегда мне дарить, чтоб мне никогда слез не лить, с домом не расставаться, паутиною не застилаться...

— Брысь,— сказал Инебел, стряхивая с себя девчужку. Одна рука была в смоле, другая — в толченой краске, а то в самый раз задрать бы этой пигалице юбчонку и всыпать пару звонких, чтобы не совала свой конопатый нос во взрослые дела. Слезами, видите ли, обливаются. Паутиной застилаются. Известно — кто.

А подумали, каково ему?

Он опустился на колени и с удвоенным рвением принялся тереть синюю окаменелую глину в каменной лунке. Тяжел первый день из десяти, или «левый мизинчик». В других домах легок, у красильщиков — хуже нет.

До десятого, расчетного дня надо заготовить красок, чтобы каждое утро только разводить ту или иную — по надобности. Вот и собирается весь дом от мала до велика, трет, толчет, просеивает. Не управились до вечернего солнца — при голубом свете приходится спину гнуть, когда все в городе уже ужинают, языки чешут, по соседям разгуливают. А тут за весь день кроху малую в рот кинуть некогда, разве что под вечер кто-нибудь из женщин пробежится в едальню, выкопает из-под золы вчерашние тепловатые куски и разносит, начиная с детишек, да еще и юбкой загородит, чтоб ненароком кто-нибудь с улицы не увидел такого срама — жевать у людей на виду. Старшим ничего, привыкли, а вот тем, кто поменьше, не больно-то сладко целый день не разгибаться, да еще и впроголодь. Так и хочется разогнуться, руки отмочить, но нельзя: сегодняшнее на завтра отложишь, завтрашнее — на послезавтра, так и пойдет, а оглянуться не успеешь — десятый день, жрец Неусыпный калиткой скрипит, идет проверять урок заданный. На сколько дело не доделано, на столько вся семья меньше корма получит. Так заведено. Кем? Когда?

Отец говорит — всегда так было. Спящие Боги, мол, завели, хотя только и дел у Спящих Богов — последними малярами заниматься. Есть закон для всех, вырезан он буквицами неведомыми вокруг всего Закрытого Дома, по внешней ограде. Что ни сезон, ограду белят, а углубления красной краской промазывают, словно для того, чтобы читать сподручнее было. А кому читать? Одни

жрецы это и умеют, хамам же — не заведено. А жрецы и так весь закон наизусть помнят. Но что заведено, то неизменно.

Размеренно бьет окаменевшая, не чувствующая боли рука, голубое облачко пыли поыхивает при каждом ударе и тут же оседает обратно на камень. Хорошо, просеивать не придется. А еще лучше — мысли все время здесь, внутри двора, дальше он просто не позволяет им забегать. Стук-стук. Пых-пых. Готово. Он с наслаждением выпрямился, ссыпал порошок в оплетенный горшочек, прикрыл листом и замотал длинной травинкой. Правая неразгибающаяся рука сильно мешала, но побоялся сперва ее отмотать — вдруг ненароком ветер дунет, вон ведь и голубое солнце взошло. Холодом с полей потянуло, змеиной сыростью. Он отнес краску отцу, молча поставил на землю, пошел за оградой, к смывному арыку. Сел на край, ногами уперся в противоположный каменный бортик, руки свесил между ног, чтобы кисти в воде были. Журчащая, стремительно обтекающая его непослушные руки вода сначала воспринималась только на слух. Теперь надо сосредоточиться на самых кончиках пальцев, представляя себе, как они становятся мягкими, теплыми, гибкими. Вот такими. Ага, появилось осязание — кольнула щепка, вынырнувшая из-под мостка. И щекочущая прохлада. Но по мере того, как отходили, оттаивали руки, неизбывная вечерняя тоска наливалась в нем, как тяжелая нутряная боль. Так и знал, так и видел он перед собой — перескочи сейчас улицу, прижмись к полосатой ограде, что напротив, и встанет перед тобой, словно сон, словно воспоминание, заповедный нездешний колокол, наполненный мерцающим сияньем, сбереженным от ушедшего дня.

Сколько уже раз, позабыв о вечерней трапезе, мчался он вниз по улице, обгоняя стремительную воду арыков, и вырывался в поле, где уже не было дороги, и, как всегда неожиданно, наткнулся на невидимую преграду — и замирал, не в силах постичь этого воплощенного единения ближайшей близости и недоступнейшей недоступности. И тогда, прислонясь горячим лбом к этой прозрачной, как дыхание, стене, он проклинал и сказочное обиталище, где бесшумно спуют друг над другом Нездешние Боги, и диких зверей, и свет обоих солнц, чудным образом сохраняемый в прозрачных горшках; но пуше всего, злее всего проклинал он ту, что была всех белее, всех тоньше, всех невесомее — словно перистое облако в час, когда встречаются лучи утреннего и вечернего светил.

Проклинал и давал себе слово никогда больше не приходить сюда, к обители безучастных, молчаливых Богов.

Но на следующий день снова опускался лиловый вечер, и не было силы, которая удержала бы его...

— Инебе-ел!

Цепкие ручонки обвили сзади его шею, пальцы длинные-предлинные, ласковые.

— Я посижу с тобой рядышком, старшенький-беленький, я отмою стеклушечку, я снесу ее в свою хоронушечку... Хорошо я приговариваю, складно? А-а! Тебе краски тереть, а мне складно петь. Меня, может, за песни ласковые в самый сытный дом откупили бы, да не судьба. Придет теперь конец всему, что в лесу и в дому, и пестрым змеям, и ветрам-суховеям, и небу лиловому, и стеклушку моему новому...

Инебел прикрыл глаза, убаюканный ее монотонным бормотаньем, и вдруг со щемящей отчетливостью представил себе, что рядом с ним, свесив в арык усталые узенькие ступни, сидит девушка в странной голубоватой юбке, спускающейся от самой шеи до середины ног, стройных, как стебли водяного остролиста, и Аплъ ластится к ней, обнимая сзади за хрупкие плечи, приговаривает: «Старшенькая-беленькая моя...»

— Аплъ! Да ты что?..

— Ты же сам эту тайну открыл, Инебел, теперь все только об этом и говорят, о живых «нечестивцах». Видно, судьба нам такая, чтоб при нас конец свету белому пришел.

— Да не говорил я ни о каком конце света, опомнись, Аплъ!

— Ты-то не говорил, да всем все равно это ведомо. Ты смотри, как отмылась черепушечка, словно уголек в очаге блестит. Пойдем к моей хоронушке, ты меня приподымаешь, старшенький-беленький, и я приклею огонек этот негасимый высоко-превысоко, чтоб он прямо надо лбом моим сиял, когда меня понесут. А то хоронушка моя и до половины не убрана, сирая.

Инебел невольно вспомнил о собственной хоронушке, притулившейся в самом углу двора. Несколько кусочков разноцветной глины — простейшее, что попало под руку. Мать не раз укоряла его за пренебрежение к обряду, но он только отмалчивался. Не все ли равно отмаявшемуся человеку, как понесут его на Поле Успения. Ничего не смыслит он, когда в длинной узкой корзине приносят его родители из подземного каземата Уступов Молений, где

полагается всем рождаться на свет, дабы крики рожиц и младенцев не нарушали священной тишины ночей. Малыша перекалывают в подвесную люльку, а корзинку вкапывают стоймя в углу двора, где уже высятся, как полуоткрытые часовенки, хоронушки всех членов семьи.

Корзину обмазывают глиной, и ждет она того дня, когда подросший детеныш принесет свою первую дань неистребимой и поощряемой жрецами страсти собирания. В законе ничего не сказано об обязательности этого пожизненного увлечения, просто — «так заведено».

Но «так заведено» — это не меньше, чем закон, и вот кто-то собирает лоскутки ткани, кто-то — пестрые бобы, засушенные пятилепестковые цветы, стрекозиные крылышки или рыбы чешуйки, но нет человека, который всю жизнь с той или иной степенью прилежания не украшал бы свою хоронушку, которую после его смерти выдернут из земли, наскоро подлатают и водрузят на погребальные носилки, стараясь не обронить ни зернышка, ни чешуйки; и в этот своеобразный глиняный саркофаг, ровесник умершего, положат его хозяина, чтобы отправить их вместе в туманные Поля Успения, и снова, как и во время первого своего пути в еще новенькой ивовой плетенке, ему будет все равно...

— Инебе-ел!..

Аплъ уже во дворе, она выглядывает из-за ограды, поднявшись на цыпочки и показывая ему в протянутых руках сияющий вишневым бликом черепок и мокрый комочек глины — вмазать на веки вечные свое сокровище.

— Иди, — кивает он.

Она пробирается вдоль ограды в угол, где столпились замершие, как стражи, глиняные часовенки; замирая от нетерпения, оглядывается на брата. Он неторопливо, но внимательно проверяет улицу — пусто. Внутри ограды тоже никого, все собрались наконец в закутке едальни у теплого со вчерашнего вечера укрытого очага. Аплъ ждет, подняв руки. Тогда он мысленно обнимает ее за едва наметившуюся талию, напрягается и приподнимает над землей. Девочка закусывает губы, чтобы не вскрикнуть от этого жутковатого и в то же время необыкновенно прекрасного ощущения — свободного парения в воздухе; Инебел уже не в первый раз проделывает с ней это, но тайком от других — так ведь НЕ ЗАВЕДЕНО.

Она быстро прилепывает комочек глины, втискивает черепок, и Инебел бережно опускает ее обратно на землю. Подросла сестренка, потяжелела. Вот и рук вроде бы не прикладывал, а плечи и шею заломило.

— Аплъ! — зовет он ее, готовую исчезнуть в вечернем доме, где уже с тяжелым шуршаньем опускаются первые цинковки. — Спи спокойно, Аплъ, тебе еще долго-долго собирать свои стеклушки.

— Правда? Нет, правда, старшенький-беленький?

— Правда.

Между тем дневное солнце совсем уже село, и небо стремительно посинело, наполняя арыки глухой чернотой. На улице мало-помалу появлялись неторопливые, вполголоса переговаривающиеся горожане. Кто-то припасал воды, чтобы не плескаться ночью, кто-то искал вечерней беседы, навевающей добрые сны, кто-то просто спасался от ворчливой жены, а те, у которых нынче был расчетный день, разносили по соседям лишние припасы — в долг, чтоб не испортились. Кончится сытная «левая рука», подберется голодная «правая» — соседи, коим придет срок расчета, отдадут. Так заведено.

Справа, у соседнего дома, начали отмываться и даже, кажется, окликнули его, но Инебел не повернул головы, потому что знал: стоит только разглядеть краешек пепельного зарева, подымающийся над куполами бобовых деревьев, как ничто уже не удержит его. Но сегодня нужно поговорить с учителем, покончить с проклятыми вопросами, скребущими у него где-то под ложечкой. Хватит этой дурнотной томительности. Раскис, как гриб-пылевик. Он вскочил, так и не позволяя себе повернуть голову направо, и решительно зашагал в гору, к высшейся в темноте громаде Закрытого Дома, заслоненного сейчас почти целиком гигантскими платформами Уступов Молений. Только одна башенка виднелась из-за них и, побеленная светом вечернего солнца, казалось, висела в темно-синем небе. Интересно, эту башенку Неусыпные белят сами или просто обвешивают ее со всех сторон чистыми новыми цинковками?..

И тут сзади, за спиной, возник пронзительный крик. В первый момент Инебелу показалось, что это кричит роженица, которую не успели довести до подземного убежища Закрытого Дома. Но крик был мужской, срывающийся на жуткий вой. Так мог кричать только смертельно напуганный человек, и напугать его могло одно-единственное.

Гулкие удары босых ног приближались вместе с этим воем, и люди испуганно шарахались, уступая дорогу. Инебел перепрыгнул через арык и прижался к холодной ограде, и вовремя: мимо него по холодной, залитой бес-

пошадным голубоватым светом дороге бежал человек. Движения его были неуклюжи, видно, не привык он бегать. А за ним, наседаая, легкими длинными прыжками неслись четыре скока, поодаль — еще два. Скоки на бегу закидывали на преследуемого длинные, словно бескостные, руки с заостренными крючьями неразгибающихся пальцев, но тело жертвы отливало ярким блеском подкожного жира, и страшные паучьи лапы преследователей только стегали его, подгоняя, но никак не могли зацепиться — одежду и волосы он, похоже, успел скинуть с себя в самый первый момент погони. Бесшумно дыша и раскачиваясь в такт прыжкам, скоки пролетели мимо, и уже где-то впереди, в темноте, смешались темной кучей — повалили-таки. Крики затихли; придушили, значит, но не совсем, а слегка, для порядка и ненарушения вечерней тишины.

На улице еще никто не шевелился, но справа послышались голоса — неторопливым прогулочным шагом приближались люди в приметных красных, а сейчас, в вечерних лучах, — темно-лиловых юбках и наплечниках. Долгие таскуны из другого города! Так неужели весь этот ужас, который многим не даст сегодня спать спокойно, был затеян только для того, чтобы рассказали они своим собственным жрецам, что-де у соседей полный порядок, рвут дурную траву, не щадя сна и тишины... А ведь раньше такого не бывало и одного раза в год. Неужто, увидев Богов Нездеших, народ до того перестал чтить собственных Спящих, что чуть минуют две руки дней — и готовь новое святожарище? Или... или теперь наказывается то, чего не было в перечне проступков, преследуемых законом?

С другой стороны, скоки безграмотны, могут и ошибиться. Хотя — кто же ошибается, чтобы себе самому работы прибавить?

Между тем впереди опять послышалась возня — видно, скоки ждали, пока руки, которыми они оплели беглеца, заостенеют, чтоб не вырвался. Теперь приходилось тащить его волоком, а непривычно, не таскуны ведь. Шум медленно удалялся. Инебел потряс головой, словно воспоминание о всем виденном можно было вытрясти, как воду из ушей, и побрел по боковому лазу на соседнюю улицу, спотыкаясь о корни деревьев, неделимых на два двора, и приподымая провисшие сигнальные веревки, соединяющие соседских «нечестивцев». Перепрыгнул через чистый, наливной арык, оказался на соседней улице.

Здесь было тихо — как всегда, тут и не знали, что творилось за двумя рядами домов. А и слыхали бы краем уха — виду не подали бы. Так заведено.

Надо будет знать — запылает святожарище, жрецы с Уступов все подробненько и объяснят.

Инебел вспомнил косолапого обнаженного толстяка, неумело, вперевалку удирающего вверх по дороге, и вдруг совершенно отчетливо представил себе, что напрягись хорошенько — и одного скока он остановил бы единой мыслью, рук не прилагая. И сколько кругом соседей прижималось поясницей или брюхом к похолодевшим низеньким оградкам — да будь бы воля их всех, тут не только шестерку скоков, тут всех Неусыпных по рукам и ногам спеленать бы можно, и главное — безнаказанно: поди докажи, что мысль-то была твоя. Руки — вот они, у всех на виду, а мысль...

От такого предположения ему стало так жарко, что захотелось влезть в смывной арык и плюхнуться на четвереньки, чтобы охладиться по горлышко. Это ж надо! Истинно счастье, что мысль незрима. А не то бы сейчас его за таковые рассуждения... Но ведь в доме Аруна об этом говорят, не таясь. Правда, ни в каком другом, но ведь он поэтому и идет к Аруну.

Он толкнул калитку, в которую не заходил уже давно, и сразу же очутился на опрятной ровной дорожке, пестреющей темными и светлыми квадратами разноцветной глины. Листва старых смоковниц глянцевито отливала довольством, причудливо и четко рисуя свое естественное кружево в лучах вечернего светила. Узкий мохнатый плод, даже отдаленно не напоминающий смокву, свисал с ветки, распространяя острый запах чеснока. Мирно и благополучно было в этом доме, доме плотного круглоголового мужчины, которого никак не хотелось называть стариком, хотя он и был тут старейшим.

Инебел поклонился хозяину, вышедшему на скрип калитки, и смиренно проговорил:

— Благословение Спящих Богов на доме сем!

— Стократ.

— Был ли сон твой покоен и многомудр? Великие и щедрые Боги послали мне нынче видение сытой свиньи речной, что к благостыне не только моего дома, но и соседей...

— Не надоело брехать-то? — спросил Арун. — С чем пришел?

— «Рогнеда», слышишь меня? «Рогнеда», теряю связь!

— Что ты там паникуешь, Салтан? Это база отключилась по собственной инициативе. Выслушала тебя и вырубилась, дабы не затевать дискуссии через пол-Галактики. А у тебя, я смотрю, совсем нервы сдали. Хочешь, освободим по собственному желанию? Диктую заявление.

— Шуточки у тебя, Кантемир... Какие нервы? При невращении не разносит, как на дрожжах, а я тут в этой мышеловке прибавил уже килограмма три. А то и с половиной. Я тут либо сиднем сижу, отчеты и дневники кубометрами наговариваю, либо катаюсь, как колобок, по территории, сглаживаю, примиряю, регулирую, стимулирую... А контрольные участки между тем гребятся один за другим, это моя белейшая Кристина совершенно права. Парниковый эффект тут у нас просто чудовищный, так что работы теряют всякий смысл — мы получаем урожай в каких-то извращенных условиях, как говорится, ни богу свечка, ни черту кочерга. Ах, да не про то я говорю...

— Про то, Салтан, про то. И подтверждаешь мою точку зрения: в зачет могут идти только результаты, полученные на резервной площадке — Вертолетной, как вы ее называете.

— Почвы там другие, — безразличным голосом констатировал Абоянцев.

— Знаю. И на базе знают. Но ваша станция работает всерьез только тогда, когда будет снято заграждение и вы, семь пар чистых, причалите к берегу новорожденного человечества.

— Не такое уж оно и новорожденное...

— Поправка принимается. Тем более что по всем нашим автоматическим зондирующим комплексам подбирается примерно одинаковая информация, и она, прямо скажем, катастрофическая...

— Узнаю тебя, Кантемир! Как всегда, на первом месте у тебя база, хоть она и у черта на рогах и забот со всеми дальними планетами — выше головы, а я, под боком у тебя сидючи, обо всем должен узнавать последним! Вот уж благодарю! Друг, называется!

— Ну, успокойся, Салтан, успокойся! Видел бы тебя сейчас кто-нибудь из твоих подчиненных... Мы с тобой,

между прочим, два патриарха-дальнепланетчика, и кому, как не нам, блюсти устав? Разумеется, Большая Земля всю информацию должна получать первой, и тебе я имею право сообщать только то, что снятельный Совет дозволит... Так вот: я еще не составлял пакет по этим данным, тяжеловато все сводить в одну таблицу без однозначной геологической привязки, и тем не менее все выстраивается так, что мы должны считать цивилизацию Та-Кемта по меньшей мере третьей по счету.

— Оледенение... Мы так и думали. Ах ты, даль честная чернозвездная, мы же с этим не справимся! Период-то какой?

— Предположительно — восемь тысяч лет, как раз хватает на то, чтобы цивилизация сформировалась, достигла своей кульминации — что мы и наблюдаем, а затем была погребена под надвигающимися снегами. Ну, и одичание полное — на экваторе среднегодовая температура что-то около нуля.

— Тропики. Как думаешь, Кантемир, Большая Земля не согласится на вывоз одного полиса куда-нибудь — на Камшилу, скажем? Перезимуют, разовьются, обратная транспортировка им будет гарантирована. А?

— Сам понимаешь, Салтан, такие прожекты хороши для первокурсников-освоенцев. Ты и сам его всерьез не поддержишь. Спасать надо всех, и не где-нибудь, а прямо здесь...

— И если не теперь, то когда же — так, Кантемир? Остановка за малым: как сделать, чтобы они приняли нашу помощь? Формулы-то контакта до сих пор нет. И мы, два патриарха, тоже не можем предложить ничего нового.

— Ох, старина, кемитам-то ведь без разницы — старое мы им демонтируем или новое. Помнишь, как в первые три дня они возликовали? Что-то вроде крестного хода устроили, стену твою несокрушимую то медом кропили, то головами прошибить старались. А потом — как отрезало! Может, кто-то и поглядывает украдкой в твою сторону, но ведь ни малейшей попытки что-либо перенять, скопировать, как мы на то надеялись. Честно говоря, у меня так и чешутся руки спикировать со своей «Рогнеды» вниз, прямо в какой-нибудь двор, сунуть в руки кемиту обыкновенную лопату или серп и показать, что это гораздо удобнее, чем из собственных пальцев крючочки выращивать. Если бы не этот проклятый дар, то они давно бы у нас мастеравыми заделались! Ведь у них открытые

месторождения меди, олова... Гребни себе прямо с повер-хности!

— Что, ни одной попытки изготовления нового ору-дия?

Кантемир на экране сокрушенно помотал головой.

— Я бы с этого начал, батюшка ты мой.

— Мы ничего не сделаем без непосредственного кон-такта, — с тихим отчаяньем проговорил Абоянцев.

— А ты действительно стал паникером, Салтан Абди-кович! Не так уж давно — месяцев шесть назад — ты спокойно голосовал за шестивариантную программу экспедиции, а ведь один из этих вариантов предусматри-вает вообще один только односторонне-визуальный контакт, как сейчас. И на неограниченное время, заметь.

— Нет, Кантемир. Это было давно. Потому что это было на Большой Земле. И в то время, когда мы еще не представляли себе, насколько же кемиты отличаются от землян. Все беды предстоящего контакта мы видели ис-ключительно в том, что наши руки не способны транс-формироваться на глазах, превращаясь в своеобразные, но примитивные орудия труда, из-за чего мы не могли за-пускать в Та-Кемт наших разведчиков. Но разница ока-залась глубже и катастрофичнее...

— Бездна пассивности...

— Вот именно. Бездна. А мы еще радовались, наивно полагая, что сдержанность аборигенов на первом этапе их привыкания к нам только поможет нам быстрее до-стигнуть психодинамического равновесия в собственном коллективе. Действительно, мы не наломали дров, не ини-циировали паники, бегства, репрессивной волны, и пото-му можем продолжать нашу тренировочную программу с чистой совестью и относительным душевным комфортом. И все же... Можешь поверить мне, Кантемир, как патри-арху: неблагополучно и там, за стеной, и тут, в ее кольце. Я это интуитивно чувствую. Кемитов давит какая-то тайна, кото-рую мы еще не уловили, да и для них самих она, воз-можно, за семью печатями. И мы... Ты думаешь, все дело в том, что нам не терпится? Это есть, не возражаю. Но есть и еще что-то, это все равно как невидимый рюкзак за плечами. С точки зрения квантовой психодинамики это может быть квалифицировано, как...

— Не мечи бисер, Салтан, я всего лишь инженер по связи.

— И великий скромник. Когда связь с Большой Землей?

— Утречком. А пока давай-ка выведу я из стойла посадочную фелюгу, ты — вертолет, и махнем в какой-нибудь отдаленный оазис, побезлюднее, естественно. Зменный шашлычок на свежем воздухе соорудим, травку покосим, разомнемся, а?

— Спасибо, Кантемир. Возьми Гамалея, он, представь, хуже всех акклиматизируется.

— Почто бы это?

— Видишь ли, идет естественное расслоение коллектива на микроструктуры. Одна группа — молодежь, тут, как и ожидалось, осью турбулентции стала моя белейшая Кристина. Затем — интеллектуалы-одиночки — Аделаида, Сирин... И Гамалей туда же.

— Одиночка?!

— Пока мы планировали группу — а протянули мы с этим целых пять лет, как ты помнишь, — Гамалей тем временем старел. Он ведь был первым из кандидатов, тогда я и не думал, что полечу. И вот оказалось, что с молодежью он чувствует себя дискомфортно, сиречь как...

— Бегемот в посудной лавке. Цитата. Откуда — не помню.

— Вот-вот. И последняя — кухонно-покерная компания, это Мокасева, Найджел, Меткаф.

— В каком смысле — покерная? Вы что, на глазах у невинных аборигенов, этих детей природы, так сказать, морально разлагаетесь? От тебя ли слышу, Салтан?

— Какое уж тут разложение. Покер, как и мнемощахматы, — это сложнейшая система взаимного психологического тестирования. А что касается смысла, то в прямом, Кантемир, в прямом: режутся в свободные вечера. На пестрые бобы. А аборигены пусть хоть с покера начнут, лишь бы разбудить в них обезьяний инстинкт.

— Кстати, о вечере, Салтан-батьюшка: а не заболтались ли мы? Что-то меня тянет баньки.

— И то, голубчик.

— Да, а сам-то ты к какой группе относишься? Или, по начальственной спеси, особнячком?

— Ты только не распространяйся об этом на базе, — Абоянцев оглянулся, хотя в радиоотсеке никого быть не могло, — но это удивительно захватывающее времяпровождение — резаться в покер на пестрые бобы с антропондом экстра-класса... Подаю в отставку и каждый вечер буду предаваться. А пока, увы, минутки нет...

Видно, когда рождался Арун, над Спящими Богами висело круглое вечернее солнце, ибо вряд ли обычный человек мог бы вместить в себе столько округлостей разом, если бы не воля Богов. Круглую, как шар, голову накрывала круглая шапочка маслянистых негустых волос, расчесанных от макушки во все стороны, как стожок. Круглые глаза неопределенного цвета (словно все в нем было несущественно, кроме этой самой округлости) глядели из-под круглых бровей без какого-либо выражения, но цепко — уж если он принимался оглядывать кого-нибудь, то усматривал все, до последней складочки на переднике. Уши Аруна тоже тяготели к округлости, но весьма своеобразно: верхний край закручивался вниз, а мочка — вверх, так что образовывали почти замкнутое кольцо. Нарушением этой гармонии на первый взгляд могли показаться крючковатый нос и выдающийся вперед и вверх подбородок, но если посмотреть сбоку, то сразу становилось ясно, что и они просто-напросто решили образовать замкнутое и чрезвычайно правильное по форме кольцо. Между ними вполне естественно было бы ожидать узкую, насмешливую щель почти беззубого рта, — ничего подобного: небольшой ротик был всегда полуоткрыт в удивленно-ироничном, но не обидном «О?».

Конечно, был тут и круглый животик, и кривые ноги, которые вполне могли бы охватить большой глиняный таз, и покатые плечи, перетекающие в полные руки, которые Арун складывал на коленях, образуя еще один круг — но завершающим штрихом в его облике была манера во время разговора поднимать руку, складывая большой и указательный палец в аккуратное колечко, и ритмично помахивать этим колечком перед лицом собеседника, словно намереваясь насадить его прямо на нос.

Из четырех сыновей Аруна на него был похож только старший, трое же других не имели с отцом ничего общего. И еще одно: в доме Аруна никогда не рождалось худородков.

Этот скользкий жировичок с гипнотизирующим взглядом хищной ящерицы был смешон и страшноват одновременно, но стоявшему сейчас перед ним Инебелу никогда не приходило в голову поглядеть на учителя насмешливо или испуганно. Мешали тому инстинктивная тяга к недюжинному уму гончара и добровольная завороченность его журчащими речами — тоже, без сомнения, благост-

ным даром Спящих Богов. Вот и сейчас молодой художник почтительно ждал, переминаясь на обожженных глиняных плитках, которые в голубоватом вечернем свете казались попеременно серебристо-серыми или бурыми. Из глубины двора тянуло поздним дымком, слышались голоса.

— Зачем пришел, а? — повторил Арун, и его «А?», как обычно, звучало скорее как «О?».

— Я пришел за твоим словом, учитель... — глухо проговорил Инебел, переступая с темного глиняного квадрата на светлый.

— А не поздно?

Инебел вздохнул и переступил обратно — со светлого на темный.

— Я вышел с восходом вечернего светила, — еще тише проговорил он, — только по улице не пройти было — скоки ловили кого-то на нижнем коне.

Арун, нисколько не изменяя в лице, вдруг побежал мелкими семенящими шажками прямо на него; Инебел отодвинулся, и Арун, словно ничуть не сомневаясь, что он уступит дорогу, подбежал к воротцам и выглянул на улицу.

Было тихо.

Тогда хозяин дома повернулся и, по-прежнему не глядя на гостя, пробежал в темную глубину двора, где сразу же затихли все голоса. Через небольшой промежуток времени из темноты вынырнул Лилар, младший сын; размашистым шагом, как таскун-сороход, но удивительно бесшумно, проскользнул он мимо Инебела, едва кивнув ему, и исчез за калиткой.

Да, раньше его здесь встречали как-то не так. И более того — Инебел почему-то почувствовал, что совсем недавно о нем говорили.

— Уйти, что ли?

— Подойди, маляр! — донесся из дальнего угла двора голос кого-то из Аруновых сыновей.

Инебел послушно двинулся на звук. Двор, несмотря на яркий серебристый свет, был на редкость темным, потому что всюду росли вековые разлапистые деревья — и вдоль всей ограды, и над домом, и вокруг едальни. И едальня была не как у всех, где сплошные глинобитные стены и один-два выхода, стыдливо прикрытые старыми циновками и тряпками, — нет, в сытом, благоустроенном доме Аруна-гончара едальня была сущей развалюхой, живописные проломы в которой не раз давали повод хо-

зяину скорбно посетовать перед опекающим жрецом — вот-де, пот с лица смыть некогда, не то чтобы срам от соседей скрыть...

Поначалу и Инебел поддался на эту нехитрую уловку, но вскоре наметанный глаз художника уловил пленительную грацию арок, оставшихся от полукруглых дверных проемов, обвитых плодоносным вьюнком; якобы случайно порушенный кусок старой стены больше не обваливался, а зубчатый его край, подмазанный глиной с яичным белком, блестел предательски нарядно, словно кромка передника на празднично разодетом жреце. И сама едальня была больше обычных: кроме очага для приготовления пищи здесь же помещался и еще один, для обжига готовой посуды. Она слабо курилась даже тогда, когда во всех остальных домах были потушены огни, и запах дыма создавал ощущение уюта, парящего прямо в воздухе, сладостно растворенного в каждом его глотке.

Инебел подошел к группе мужчин, расположившихся возле самой едальни. Хозяин устроился прямо в проломе, прислонившись пухлой спиной к торцу стены и подставляя розоватому жару открытой гончарной печи свою правую щеку, в то время как на левую сквозь просвет в узорной листве падал яркий голубой свет. Остальные — дети и племянники Аруна, а также два-три совершенно посторонних человека, судя по длинным влажным волосам — рыболовы, сидели полукругом не прямо на земле, а на соломенных жгутах, свернутых спиралью, чего тоже ни в одном доме, кроме этого, заведено не было.

И все ждали.

— Ты его не узнал? — быстро спросил Арун, не сомневаясь, что юноша правильно поймет его вопрос. Инебел понял.

— Нет, учитель.

Инебел знал, что гончару нравится такое обращение, но он знал также и то, что говорить так он мог только при своих — ведь по закону учить можно только членов собственной семьи. Арун не сделал никакой попытки поправить или остановить юношу — значит, эти рыболовы тоже были здесь своими.

Тоже?

Раньше он чувствовал, что духом он свой. Но сегодня его принимали, как чужого, и он не мог понять, почему.

— И не ткач?

— Нет, учитель. Ткачи проворны, а этот был неук-

люж. И потом, на нижнем конце нашей улицы живут только камнерезы, таскуны и сеятели.

Рыболовы, подняв кверху лица, обрамленные мокрыми волосами, напряженно ждали. Боятся за своих, понял Инебел, а спросить вслух страшно — притянешь гнев Спящих Богов.

— Я с соседней улицы, — поспешно добавил он, обращаясь уже прямо к рыбакам, — а ваши ведь живут через три отсюда.

— Иногда ловят и не на своей улице, — бесстрастно заметил, наконец, один из гостей перхающим от постоянной простуды голосом. — Он был длинноволос?

— Не знаю. Волосы он сбросил до того, как я его увидел.

— Как он был одет? — спросил снова Арун, не давая посторонним перехватить нить разговора (или допроса?).

— Он был наг.

Снова воцарилось молчание. Молчали долго, и Инебелу начало казаться, что про него попросту забыли. Но вот хлопнула калитка, и Лилар бесшумными скользящими шагами пересек пространство под деревьями и возник сутулой тенью прямо перед отцом.

— Не наш, — доложил он лаконично, и оставалось только гадать, кого же он подразумевает под этим коротким словечком — членов семьи или всех единомышленников?

Арун резко повернулся к сидящим, так что теперь все его лицо было залито мертвенным светом голубого свечения.

— Не правда ли, странное совпадение. — Он почти никогда не говорил утвердительно, а всегда умудрялся выражать свою мысль вопросами. — Я говорю, не удивительно ли, что за какие-то несколько дней это второй случай? И разве кто-то из нас может опознать преступника?

Никто этого не мог.

— Не значит ли это, что кто-то, нам неизвестный, упорно и систематически нарушает закон, действуя в сговоре?

Инебел слушал его и не мог понять, хорошо это или плохо: нарушать закон, действуя в сговоре?

Вроде бы интонации Аруна можно было принять за сочувствие...

Но те, что сидели перед Аруном, явно понимали, о чем идет речь, и сейчас усиленно припоминали что-то, сопоставляли. Арун поглядывал искоса — следил за выраже-

нием лиц. А что? Может, это был просто вор. Был отряжен носить стручки из леса, а по дороге взял да и занес часть поклажи в собственный дом. Теперь ему сожгут руки, и правильно. Такое случается редко, но ведь случается. И почему не могут попасться два вора подряд?

Инебел с сомнением оглядел своего учителя (действительно, почему тот не рассматривает такой простейший вариант?), и он невольно заглянул внутрь едальни.

Ему показалось, что его окатили ледяной водой и сразу же швырнули голышом в заросли крапивы. Озноб, и зудящий жар, и бешеное колочение сердца.

На большом гладком камне, на котором обычно женщины разделявают мясо и дробят зерна, лежала живая рыба. Жабры ее судорожно подрагивали, и длинный черный ус шарил по камню, словно отыскивая спасение.

Живая рыба могла попасть сюда только из озера. А это значит, что кто-то из рыболовов утаил часть улова, не сдал его в храм. Он видел, и теперь он обязан сообщить об этом первому встречному жрецу, и кого-то из этих рыболовов завтра потащат через весь город, чтобы на нижнем Уступе Молений обмотать его руки соломой и поджечь...

Рыба медленно изогнулась кольцом, а потом резко выпрямилась и подпрыгнула на камне. Арун лениво обернулся, поймал ее за слизкий хвост и шлепнул головой о камень. Рыба уснула.

Инебел перевел дыхание. Ну, вот. Ничего и не было. Не видел он ничего. Рыба позавчерашняя, из выданных припасов. Мог же он, в самом деле, ничего не видеть?

Арун между тем поворошил угли в печи, чтобы равномернее остывала, и уселся на прежнее место.

— А что это мы все о скаках да о ворах? — продолжал он, хотя вроде бы о ворах упомянуто и не было. — Не поговорить ли лучше о нашем юном законопослушном друге?

Он лениво перекатывал слова, и у него во рту они словно стачивались, становились обтекаемыми, и опять было Инебелу непонятно, хорошо ли это, «законопослушание», или не очень.

А ведь раньше все было так просто! Он прибегал рано поутру в день левого мизинца, когда семейство гончара запасалось наперед глиной, как семейство маляра — красками. Арун брал мальчика с собой на берег озера, и там, на слонстых многоцветных обрывах, учил отличать гончарную белую глину от белильного порошка, которым

красят стены; он показал мальчику немало трав и ягод, не цветущих на прямых и жарких лучах, и остерег от ядовитого папоротника, отравившего своей сказочно-яркой зеленью не одного маляра. И еще он учил не бояться познаний, ибо только то входит в сердце, что добыто собственным опытом, а не заучено с чужих слов; но он не помнил случая, чтобы Арун требовал от него законопослушания. Юноша привык доверять медлительной осторожности, с которой старый гончар разбирал его немудреные детские заблуждения, и снисходительно-прощающая усмешка, которой подчас награждал его признания Арун, никогда не обижала.

А может, за долгое время, пока они не виделись, Арун просто-напросто постарел? Вот и голос стал скрипучим, и слова какие-то холодные, как стариковская кровь.

— Ты не прячься в тени, садись на почетное место,— проговорил старший из сыновей, Снар, своим полнотонным, как только что обожженный кувшин, голосом.— Лестно иметь друга, который в столь нежном расцвете лет уже успел нахвататься милостей от Храмовища!

Спящие Боги! Да они попросту завидуют ему!

— Ну, и как сны на лежанке, прикрытой новой тряпчочкой — тоже, поди, в клеточку? У нас в доме никто не утомлялся покрывало, разделенного хотя бы на шесть полей, так уж ты поделись с нами, сырыми, своими снами праздничными...

Это уже подхватил Гулар, средний. Сговорились? Но он честно заработал свое покрывало, он обдирался в кровь, отыскивая меды и смолы, которые сделали бы его краски несмываемыми никаким ливнем, он недосыпал коротких ночей между заходом вечернего солнца и первым лучом утреннего; он варил смолы с росой, с ячменным пивом и с толченой слюдой, и он один знает, сколько стоило ему покрывало в восемь клеток. Правда, тогда еще не высылся на окраине дивный град Нездешних Богов, и только место само было неприкасаемо — стоило натолкнуться на невидимую ограду, как тебя отбрасывало легонько и упруго. И весь свет тогда клином сошелся на одном — получить себе в жены проворную, лукавую Вью. И всем сердцем надеялся он, что вечная, несмываемая краска, секрет которой он передал Гласам, как, впрочем, и требовал того закон, будет завершающей долей выкупа за невесту.

— А не слишком ли ты устал, трудясь сверх меры во славу Закрытого Дома?— подхватил Журар, третий сын

гончара.— А то, я гляжу, усох ты, побледнел, как весенний змей после линьки. Если ты пришел за советом, то вот тебе один, на первый случай: подкрепишься хорошенько!

Он перешагнул через вытянутые ноги отца, влез в едальню и некоторое время копался там у стены, где обычно складывают припасы, прикрывая их тяжелыми глиняными тазами, чтобы уберечь от порчи и насекомых. Потом появился снова, держа в руках золотистый корж.

Инебел неловко повел плечами и стыдливо потупился. Журар, как ни в чем не бывало, разломил лепешку — крупные, набухшие медовой сладостью зерна золотились на изломе, готовые осыпаться на глиняный настил двора. Инебел невольно проглотил слюну. Журар протянул свои плоские, как тарелка, ладони отцу, и тот бережно взял с них сладкий кусок. Потянулись Лилар с Гуларом, племянники, рыболовы. Жевали, глядя друг на друга, как скоты неосмысленные. Маляр все стоял, потупя глаза в землю, дивясь и завидуя их бесстыжести. Журар одел всех и теперь бережно ссыпал оставшиеся у него отдельные зерна в одну ладонь. Инебел уже было обрадовался тому, что в этом непотребном действии он оказался обойденным, как вдруг Журар просто и естественно взял его руку, повернул ладонью вверх и отделил на нее половину своих зерен.

— Да не кобенься ты, в самом деле,— проговорил он вполголоса, словно это не Инебелу было стыдно за всех них, а наоборот — всем им за Инебела.— Вон Нездешние Боги трескают себе всякую невидаль при всем городе, да еще трижды на дню.

— Богам все дозволено,— несмело возразил юноша, подрагивая ноздрями на пряный запах, распространяющийся от зерен.

— Как же всё, когда они друг перед дружкой оголться стыдятся?— ехидно вставил Арун.

Этот вопрос так ошеломил молодого художника, что он машинально взял одно зерно и медленно поднес ко рту. А ведь и правда. Нездешние Боги друг от друга прикрываются. Значит, и у них не все можно? Или... или пора задать тот вопрос, который мучил его уже столько дней: да Боги ли это?

А спросишь — засмеют...

— Что-то раньше ты был разговорчивей, когда приходил к отцу,— неожиданно заметил Лилар.— Уж не поглупел ли ты от чрезмерного усердия и повиновения?

— Я пришел за мудростью, а не за смехом,— грустно проговорил молодой человек.— Легко ребенку спросить: чем огонь разжечь, как твердую глину мягким воском сделать... Но проходит детство, и хочется спросить: ежели есть друг и есть закон, то чьему голосу внимать? И если тебя осудили прежде, чем ты в дом вошел, то стоит ли говорить, когда приговор составлен заранее? Не поискать ли другой дом с другим другом?

— А не много ли домов придется обойти?— презрительно отозвался Арун.

— Наверное, нет,— как можно мягче проговорил Инебел.— Ведь тогда я привыкну спрашивать себя: а чего мне остерегаться, чтобы в один прекрасный день я не пришел в дом друга и не почувствовал себя лишним? И вот уже я буду не я, а тот, кого желали встретить вы...

Под чуть шелестящими шапками деревьев воцарилось напряженное молчание. Инебел всей кожей чувствовал, что многим здесь очень и очень неловко.

Арун сидел, уперев ладони в колени, и слегка покачивался. Потом вдруг вскочил и, слегка переваливаясь, побежал вокруг едадьни. Передник, слишком длинный спереди, путался в ногах, и так же путалась и спотыкалась длинная тень, скользящая рядом вдоль глиняной загородки.

— Хорошо,— отрывисто произнес Арун, останавливаясь перед юношей,— я скажу тебе несколько слов, хотя действительно решил больше не посвящать тебя в свои мысли. Но прежде ответь мне на один вопрос: вот ты много лет приходил ко мне, и слушал меня, и спрашивал... А задумался ли ты хоть раз над тем, что же я, старый гончар Арык Уныния, которого все привыкли называть просто Арун, что же я получал от тебя взамен своих слов?

Вопрос был так неожидан, что Инебел судорожно глотнул, и разбухшее, с хорошую фасолину, зерно встало ему поперек горла.

— Ра... радость,— проговорил он, смущенно кашляя в кулак.— И любовь, конечно...

— Как же, любовь! Любовь — это по части девочек с ткацкого двора. И радость туда же... Ну, хорошо. Этого ты не знаешь. Не потрудился подумать. Ну а если ты завтра пойдешь к своему Неусыпному и перескажешь все то, что здесь видел и слышал?

— Учитель!..

— То-то и оно: учитель. Это ты уловил. Но не более.

Тебе, вероятно, казалось, что ты действительно приносишь мне радость. Что-то вроде того, как чесать за ухом. И мы квиты.

Он остановился и обвел взглядом присутствующих. Сыновья сидели, прикрыв ресницами миндалевидные, не аруновские, глаза — так слушают, когда уже известно, о чем будет идти речь, но важность говоримого не позволяет не то чтобы встать и уйти, а даже показать свое отношение к предмету разговора. Вежливые были сыновья у Аруна, почтительные. Рыбаки слушали со спокойными лицами, но напряженными спинами — их-то это тоже касалось. Инебел же маялся оттого, что никак не мог понять, как помочь самому себе, когда приходишь поговорить о самом сокровенном, а тебя умело и обдуманно сталкивают на другой, тоже очень важный и волнующий разговор, но об этом можно и в следующий раз, без него можно прожить и день, и два, и обе руки... Но за тебя думают, за тебя спрашивают, за тебя отвечают.

— Но вот сегодня на твоей улице поймали человека,— продолжал гончар.— И может быть, перед этим кто-то тоже смотрел ему в рот — ах, учитель! И учитель млеет: сынок... Могло быть? Естественно, могло. Потому что за радостью теряешь чуткость недоверия. Так что же надо давать взамен мудрости тех, кто учит тебя не по долгу родства? Наверное, ты уже сам ответил себе в мыслях своих, мой юный Инебел: верность не только в тех делах, которые свершены, но и в тех, которые предстоят. Единение в мыслях, которые уже созрели и которым еще предстоит созреть. Спокойствие за то, в чем ты повинен не был и никогда повинен не будешь. Вот мера твоей благодарности.

— Но как я мог догадаться, учитель, что, отдавая в Закрытый Дом тайну вечных красок, я поступлю неугодно тебе? И главное: как оценить меру верности в своих мыслях, учитель? Ведь что бы там ни было, эти мысли — мои, а не твои.

— А ты позови меня беззвучно, и я предстану перед тобой невидимо. Тогда спроси меня, и я отвечу.

— Да, правда, иногда я слышу чужие мысли... но редко. Лучше мне удастся передавать свои собственные. Или мне это только кажется?

— Ну, здесь ты кое в чем прав, — с оттенком высокомерия проговорил Арун. — Ты обладаешь некоторыми способностями... не без того... и в степени, которая могла бы удивить даже жрецов.

«Да он пугает меня», — пронеслось в голове у Инебела.

— Но всякое мыследействие есть грех не только потому, что оно запрещено законом, выбитым на ограде Закрытого Дома. Оно нарушает законы естественного предназначения, по которым ногам полагается ходить, рукам — принимать формы, сообразные с работой, а голове — сопоставлять свой опыт с уроками чужой жизни, дабы от соприкосновения твоих мыслей с чужими, как от удара двух кремней, рождались разгадки сокровенных тайн.

— Значит, я хожу на руках?

Младшие гончары дружно заржали.

— Да не без того, — проговорил Снар, намеренно или нечаянно подражая интонациям отца. — Образно мыслишь, юноша, образно, но верно.

— Но тогда, — сказал Инебел, словно не замечая реплики Снара, — тогда, учитель, как я смогу услышать твои мысли, чтобы согласовать с ними свои поступки? Ведь течение моих мыслей отличается от твоих, как левая рука от правой.

И тут Арун, наконец, вспыхнул, хотя с ним такое бывало не часто.

— Думай своей головой, а не лезь в чужую! Припоминай виденное, сопоставляй! Выуживать из старших готовые мысли — о таком только хутородку впору мечтать. Ты глаза раскрой пошире, да кругом гляди, а не только на нездешнее-то обиталище! А потом думай! Ты у меня в доме покрывала клетчатые, наградные, что на зависть всей улице, — видал? Не видал. А чтоб урока мой дом не исполнял, слышал? Не слышал. Значит, и из кожи вон я не лезу, и забивать себя в землю не позволяю. Ты вон сколько лет секрет краски своей искал?

— Да более трех...

— А взамен получил? Тряпку. Вычти-ка! У кого разница?

— Так во славу Богов Спящих...

— В Закрытом Доме разница. У Неусыпных.

— Все тайны земли и неба принадлежат Спящим Богам, — твердо проговорил Инебел. — Не отдать принадлежащее — воровство.

— А на кой нечестивый корень все это Спящим? Даже Богам? Ты вот, когда спишь — тайны тебе недостает? Ну, что молчишь? Что надобно, чтобы спать сном сладостным и легким?

— Удобная постель, сытый живот и спокойный ум. И ты знаешь не хуже меня, что Боги карают за непочтенье прежде всего беспокойством сна.

Он говорил и уже давно дивился себе — да, иногда Арун срезал, как маковую головку, его возражение, но порой их разговор шел на равных, словно Арун признавал в нем противника себе по плечу.

Но сейчас в ответ ему раздался ехидный смешок.

— Лилар, детка, залезь-ка вот на эту смоковницу и достань этому несмышленишу... хе-хе... фигу божественного возмездия; да не перепутай, они у меня подсажены на третью снизу ветвь, что простирается над стеной едальни... Во-во, малыш, синяя... не видно? Тогда на ощупь, мохнатенькая она, как пчелиное брюшко... Не раздави.

Лилар спрыгнул с дерева, разжал ладонь — на ней лежала крупная ягода, что-то среднее между ежевичной и волосатым каштаном. На белой ладони она казалась совсем черной.

— Перед сном возьми полчаши воды, — сухо, словно диктуя рецепт красящей смеси, проговорил Арун. — Выжми в нее три капли соку, остальное выброси и руки помой. Выпей. Наутро будешь знать, при помощи чего жрецы устраивают всем, кто виновен малой виной, кошмарные ночи. Это не опасно, зато поучительно. Иди, Инебел. Ты сейчас становишься мужчиной, и благие задатки, заложенные в тебя Богами — я не говорю «спящими», — становятся достоинствами, которые преисполняют тебя гордыней. Выпей сок синей ягоды, и может быть, ты убедишься, как мало истинного в том, что ты в запале юношеской гордыни считаешь кладезем собственной премудрости.

Инебел послушно принял из рук Лилара теплую пушистую ягоду. Поклонился. Не выпрямляясь, замер, руки сжались сами собой. Теплый сок побежал по пальцам, черными каплями затенькал по обожженной глине настала...

Все недоуменно глядели на него, понимая, что случилось что-то, и пытались это уловить, распознать, но пока это знал только он один, знал непонятно откуда — просто чувствовал всей поверхностью тела, как кто-то чужой и злобный настороженно ловит каждое слово, произносимое в глубине двора.

Слева, справа — где, где?

Темно, деревья.

И — топоток непривычных к бегу ног.

— Там! — сдавленно крикнул Инебел, резко поворачивая голову к левому углу ограды. — Подслушали... Донесут.

И в тот же миг один из рыбаков вскочил на ноги и тут же стремительным движением бросился к подножию смоковницы. И снова никто не понял, один Инебел почувствовал — этот тоже умеет владеть мыслью, как оружием, и вдвоем они, может быть, справятся, только бы не дать бегущему закричать; но крик уже набух, как ком, который надо затолкнуть обратно, глубже, еще глубже; крик бьется, пузырится мелкими всхлипами, но и их обратно, пока совсем не затихнет, и затихает, затихает, значит, он справился, и вот уже все, все, все...

Рыбак, лежавший на самых корнях смоковницы и судорожно прижимавший обеими руками колени к груди, еще несколько раз вздрогнул и затих.

— Мы его держим, — сказал Инебел, — скорее.

Только тогда Снар с братьями сорвались с мест и выскочили за калитку. Вдоль ограды мелькнули их тени, и было слышно, как они поднимаются вверх по дороге, туда, где упал подслушивавший. Тихая возня донеслась до стен едальни, потом кто-то всхлипнул или пискнул — не разобрать. И тогда тишина стала жуткой.

Лилар возвратился первым. Он подошел не к отцу, а к Инебелу, застывшему в напряженной позе.

— Собственно, все, — сказал он несколько недоуменно. — И как это ты его...

Юноша медленно выпрямлялся. А ведь он и сам чувствовал, что все. Давно чувствовал, еще раньше, чем эти выбежали за калитку. Все.

И рыбак уже разжал свои сведенные судорогой руки и, цепляясь за кору, бесконечно долго поднимался и так и остался стоять, прижимаясь лицом к стволу смоковницы.

Шумно дыша и осторожно ступая, протиснулись в калитку остальные. Подошли, зашептались с отцом. Арун только одобрительно крякал. Потом поднял голову, поискал глазами просвет в листве.

Небо было прозрачно-синим, как всегда перед самым заходом вечернего солнца. Еще немного, и наступит ночь, время тишины и спасительной темноты.

Арун опустил голову, и взгляд его невольно встретился с широко раскрытыми глазами молодого художника. Он шагнул вперед, отыскивая слова, которые мож-

но было бы сказать сейчас своему ученику, но тот шатнулся в сторону и боком, как-то скособочившись, словно кривой худородок, заторопился к калитке. Гончар просеменил за ним до ограды, выглянул — юноша стремительно мчался вниз, забыв свернуть в боковой проход к своей улице. Ну да, этого и следовало ожидать. Не домой ведь. К призрачному обиталищу.

Арун, неодобрительно покряхтывая, вернулся на свое место. Повел носом. Черная лужица ягодного сока, до которой доходило тепло открытой печи, источала щемящий, едва уловимый дух.

— Кликните женщин, пусть замочут, — велел он брезгливо. — Да сажайте чаши на обжиг, а то печь стынет. И рыбину приберите.

И сел на свое место в проломе, ожидая, пока затихнет привычная суета последних дневных дел.

Рыбак, отвернувшийся к стволу, пошевелил плечами, словно сбрасывая оцепенение.

— Вечернее солнце больше не светит, — проговорил он совершенно спокойно. — Дай нам еще одного из твоих сыновей.

— Снар, — позвал гончар старшего, — пойдешь с ними до озера.

Четверо двинулись к выходу. Арун проводил их, у калитки кто-то — в темноте было не разобрать, кто именно, — вдруг запнулся, повозился немного, и в руке гончара очутилось что-то небольшое и круглое.

— Тебе, учитель, — послышался почтительный шепот.

Арун медленно сжал руку. Даже у него все внутри бьется, словно «нечестивец» во время пожара. А эти спокойны. На этих положиться можно. Вот как сейчас.

Поодаль слышался тягучий, продолжительный шорох и плеск: тащили тяжелое из-под мостков. Пригнувшись и ступая в ногу, промелькнули в темноте — вниз, мимо Обиталища Нездешних, в обход его, чтобы не попасть в полосу свечения, и к озеру. Только бы догадались возвращаться разными улицами.

Шаркая ногами, он уже в который раз за сегодняшний вечер вернулся от калитки на середину двора. Тяжко. Посмотрел подношение — ай-яй-яй, а ведь луковичный каштан! Выпуклые полосочки спирально обвивают плод, бегут к светлой верхушечке. Ах ты, красавчик, ах ты, радость моя пучеглазенькая. Не переставая любоваться подарком, он подождал, пока отрастет и окрепнет ноготь, потому бережно вскрыл каштан и выколупал сердцевину.

Подумал — не оставить ли на утро, когда будет светло? Нет, все равно ждать Снара.

Он скрутил лыковый жгут, поджег в печи и побрел в дальний угол, где стройным полукругом высились темные часовни-хоронушки. Безошибочно угадал свою, осветил.

Внутренность глиняного корыта была сплошь усеяна половинками самых разнообразных каштанов — круглых и продолговатых, волнистых и витых, дырчатых и пупырчатых. Он постоял, разминая комочек глины. Дошли они до озера или нет?

Свободных мест, куда можно было бы вставить эти половинки, оставалось совсем немного. Арун еще раз оглядел редкостные скорлупки: хороши. Ни у кого таких нет. Ну и быть им в самом верху.

Он еще раз прислушался, уже совершенно машинально, словно отсюда можно было уловить жадный всплеск озерной воды. Да, теперь уж, конечно, дошли.

Он вздохнул и принялся вмазывать в хоронушку свой каштан, любовно смахивая каждую лишнюю частичку глины.

9

— ...будто где-то в Эдеме он встречал серафима с ереванской розой в руке... — закончил Самвел обиженным голосом, потому что его никто не слушал.

Наступила пауза, заполняемая только повизгиванием металла.

— Вах-вах-вах! — прокудахтал Алексаша, который свиреп, хотя и не на вполне законных основаниях ревновал Самвела к Кшнсе. Первые дни был парень как парень, а теперь распустил хвост, фазан араратский, бормочет стихи — только и слышишь с утра до ночи: Рипсиме! Сароян! Три звездочки!..

Хотя последнее — это, кажется, уже Гамалей. Тоже был вполне приличный мужик, а вот обжился — и заскучал, а заскучав, тоже стал поглядывать на Кшиську. Магавира тоже хорош: летает на вертолетную, таскает оттуда какие-то вонючие клубни — контрабандой, естественно. Кшиська сажает их друг на друга взамен своей розочки невинно убиенной (кстати, так и висит на чьей-то совести, никто по сей день не признался), из некоторых стрелы вымахали метра в полтора, ну чистый лук. Подбивал Макасю пустить на салат, она сволокла листик к себе в лабораторию, благо кандидат-от-гаст-

рономии, поколдовала, говорит — ни боже мой. Алкалоиды.

— Гамалей разве не в радиорубке? — спросил вдруг Наташа.

— Нет, там Йох. А что?

— Да так. На предмет срочного начальственного вызова.

— Динамик перед носом, не пропустишь.

Нет, что-то тут не так. Уже по одному тому, как хищно подобрался Натан, сидя на перилах, можно предположить, что дело не в предполагаемом вызове, тем более что Гамалей Диоскурам никакой не начальник. Тогда что? Наташка, как правило, выступать не любит, и раз уж собрался, значит, приперло. И не посоветовался, братец!

— Вот что, — угрюмо проговорил Натан. — Судя по тому, что нам наобещали на Большой Земле, эта стенка должна была бы снизиться как минимум наполовину. Или нет?

Все, как по команде, задрали подбородки — край защитного цилиндра едва угадывался в вечернем небе, расчерченном полосами высоких перистых облаков.

— А черт его знает, — фыркнул Алексаша. — Никто ж не помнит, какой высоты она была вначале. Не до нее тогда было...

Кшися тихонечко вздохнула — что верно, то верно, не на стенку глядели: не вытащить было из просмотрового зала, где шла непрерывная непосредственная трансляция из двадцати уголков Та-Кемта, куда смогли заползти автоматические передатчики, замаскированные под камни, шишки и деревяшки. Все знали, что каждую ночь стена медленно снижается на сколько-то метров, но никому и в голову не приходило проверять это визуально. К тому долгожданному дню, когда светонепроницаемость должна была отключиться и открыть вид на лежащий неподалеку город, верхняя кромка стены вроде бы должна была быть намного ниже. А может, только кажется?..

— Выше, ниже — какая разница? — Самвел нервно поежился, и шорох его необъятной черной рубахи напомнил шелест вороньих перьев. — Не знаю, как вам, а мне здесь уже дышать нечем. Воздух должен быть проточным, как горная река! Мозги плесневеют...

— Вот-вот, — подхватил Наташа. — Когда гриб перезрел, он начинает плесневеть. Мы засиделись в этом ко-

лодце. Перезрели и засиделись. Дни идут, но они уже ничего не прибавляют ни нам, ни кемитам. Может, на Большой Земле этого и не понимают, но ведь должен был наш старик им все растолковать!

— Так ты что, собираешься сделать это за него? — спросил Алексаша. — Ишь, какой приткий. Связь с базой, сам знаешь, через «Рогнеду». А там Кантемир, тоже не салага космическая, с ним так запросто не договоришься. Он без визы Абоянцева ни одной строчки на Большую не передаст. Так что мы можем тут митинговать до опупения...

— А нам будут отвечать: берите пример со старших товарищей, учитесь выдержке; пока не будет найдена формула контакта — контакта не будет.

— Хэ! Я не Васька Бессловесный! — крикнул Самвел.

— Мы тоже, — подчеркнуто спокойно проговорил Натан. — Поэтому я предлагаю не митинговать, как изволил выразиться мой единоутробный, а потребовать от Абоянцева коллективного выхода на связь с базой — так называемое аварийное диспетчерское; я знаю, в исключительных случаях дальним планетам такое разрешается.

— Ух, и энергии сожрем — пропасть! А толку? Старшее поколение, как всегда, проявит выдержку... — Алексаша являл абсолютно не свойственный ему скептицизм, и сам это почувствовал. — Кшиська, а ты что, как воды в рот набрала? Не узнаю!

Кристина, сидя на полу по-турецки, в течение всей дискуссии одна занималась делом — затачивала напильником концы самодельных шампуров. Она стряхнула опилки с комбинезона и тут же подумала, что напрасно — надо было позвать Ваську с магнитом, чтобы ни одной металлической крошечки не просыпалось вниз, а то еще куры клюют.

— Ага, — сказала она, — и Большая Земля тут нам сразу и разрешит выход за стену.

Она могла бы сказать и больше — ведь слышала разговор Гамалея с Абоянцевым; но подслушано было нечаянно и, стало быть, разглашать это негоже. «Неблагородно», как говаривали в старину.

— Так ты что, против? — завопил Алексаша.

Когда он вот так орал, тряся кудрями, он почему-то казался рыжим — а может, у него в волосах искры проскакивали? Хотя какие, ежки-матрешки, искры, в такой

влажности статического электричества накопиться не может.

— Я — за, — сказала Кшися, позванивая шампурами. — Вот завтра наедемся шашлыков из консервов, выйдем на диспетчерское с базой и сразу найдем формулу контакта. Красота.

Алексаша открыл было рот, набирая полные легкие для очередной тирады, но Самвел изогнулся назад, кося черным глазом на витую лесенку, хрупко вздымавшуюся из вечерней темноты. По ней кто-то размеренно шлепал.

— Твое начальство, Кшися!

— Скажите, что я в неглиже и не принимаю.

Она опоздала — как из театрального люка появилась массивная патрицианская голова Гамалея. Сильный пол тут же занял привычные места на перилах.

— Свободным от вахты предлагается пройти в закрытый зал, — пробасила голова, поочередно оглядывая всех присутствующих. — Имеет быть альманах кинопутешествий, «Шестидесятые широты Та-Кемта».

— Опять мертвые города? — жалобно спросила Кшися. — А я-то сегодня собиралась ванну принимать, с учетом завтрашней фиесты.

Гамалей собирался, похоже, прочесть нотацию, но она подняла на него большущие свои прозрачные глазницы — осекся. Нет, положительно, здешний климат девке на пользу. Не то чуть побледнела (хотя — некуда), не то чуть остепенилась (хотя — ирреально), но вдруг заполнила собой и весь Колизей, и пространство от Колизея до самой стены, и никуда от нее не денешься — насквозь проходит, стерва, как пучок нейтрино. Дерзит, как хочет, а глаза кроткие и обалденно-счастливые, не на людей смотрит — сквозь, и еще дальше, и ничего удивительного, если и сквозь защитную стену. Вообще-то такие глаза бывают у влюбленных, пока они еще внушают себе, что имеет место тривиальный закрытый процесс единения творческих душ, а посему нечего стесняться или тем более следить за собой. Стыдливость и опущенные глаза приходят позднее, когда дело доходит до лап. Ну а насчет последнего мы еще посмотрим.

— Ну, так кто со мной на просмотр? — просительно — аж неудобно за него стало — проговорил Гамалей.

— Аделанда, — мстительно предложил Наташа. — Дама необыкновенных достоинств, среди коих и страсть к кинопутешествиям.

— Просмотры обязательны, — уже сухо, начальственным тоном заметил Гамалей.

— А кто против? Посмотрим. Всенепременнейше. Но только в то время, которое сочтет для себя удобным Кристина Станиславна. — Наташу заносило.

А действительно — время вечернего солнца, как, кажется, говорят в Та-Кемте. И сейчас начальников здесь нет.

— У меня будет завтра свободное время, — примирительным тоном, продолжая парализовать Гамалея своими халцедоновыми очами, проговорила Кшися. — Я как раз завтра не собираюсь обедать, а то вечером планируются шашлыки, а я и так здесь безбожно перебираю калорий.

— Могу подарить скакалочку, — злорадно, чтобы хоть как-то расквитаться за свою отчужденность, сказал Гамалей. — А кроме того, получено добро на первую стройку: намечено возвести мельницу. Ручками. На что разрешено даже свалить одну из елок, что на западной стороне Колизея. Рубить, пилить, строгать — и все в свободное от работы время. Вот так.

— Ура!!! — заорали Наташа с Алексашей.

Через пять секунд они уже целовались с Гамалеем — нормальная жизнь в нормальном коллективе.

— Подумаешь! — сказала Кшися, оскорбленная предательством своих поклонников. — Можно, конечно, завоевывать внимание кемитов и процессом изготовления дрожжевых лепешек. Хотя — представляю себе, во что обойдется колонии каждая штука! Так сказать, материальное стимулирование любознательности. Но если бы мне разрешили взять с собой хотя бы сто пятьдесят платьев, включая исторические костюмы, я одна гарантировала бы вам двадцатичетырехчасовое торчание женской половины города под нашими стенами.

— Ты опять забыла, что здесь сутки — двадцать семь с половиной часов, — поправил ее Алексаша.

Остальные ее предложение просто проигнорировали.

— А я с вами на просмотр, — взмахнув черными крыльями своих рукавов, Самвел снялся с перил. — Все равно здесь меня не слушают.

— Я-то думала, что вы мне на сон почитаете Исаакяна...

Самвела вознесло обратно на перила.

Гамалей возмущенно фыркнул и вошел в лоджию.

— Я через вашу комнату пройду... — И, по-гусиному

разворачивая ступни в каких-то первобытных сандалиях, зашлепал к задней стене.

— Вы бы посидели с нами, Ян Янович! — лицемерно предложила Кшися.

— Вот погодите, проверю завтра вашу прополку! — проворчал он, просачиваясь сквозь потайную дверь. — Да, чуть не забыл: доконали вы меня со своим парниковым эффектом. Сегодня с нуля часов и до четырех тридцати — проветривание. Стена будет опущена до двух с половиной метров. Посему во всем Колизее, исключая аварийное освещение в колодце, с нуля часов будет выключаться свет.

— А не опасно? — невольно вырвалось у Кшиси.

— Отнюдь нет. Кузнечиков всяких напрыгает, бабочек да шмелей — так это даже к лучшему. Тоскливо без живности, а тут не то что птиц, летающих насекомых ни одного вида не обнаружено. В лучшем случае — прыгучие. Скотина вся тоже какая-то... придонная... да что я вам объясняю, вы же все это просматривали в период подготовки. Мохнатые ползучие ящеры, жабовидные ползучие млекопитающие. Удивительнейший пример сходимости видов! Но если принять гипотезу, что животный мир Та-Кемта миллиарда на полтора старше земного, то становится ясно...

Он глянул на скучающие физиономии Диоскуров и осекся.

— После ванны в лоджии спать не советую, — буркнул он по-стариковски. — Может быть ветрено. Спокойной ночи!

— Бары гешер, Гамалей-джан! — ответили хором Самвел и Кшися.

Помолчали секунд тридцать.

— А проела ты ему плешь со своим парниковым эффектом, — восхищенно проговорил Алексаша. — Что-бы такие перестраховщики, как Гамалей с Абоянцевым, разрешили убирать стену на ночь?..

— Ну, не убирать, — лениво поправил брата Натан. — Всего-навсего приспускать. И чего было не сделать это с самого начала — кемиты народ хиловатый, во всем городе, говорят, не наберется десятка мужиков двухметрового роста. Даже с поднятыми руками им до края стены не дотянуться. А если учесть, что глазают на нас теперь только детишки да несколько стариков, определенно выживающих из ума, да и то они хором чешут отсюда, как только начинает садиться луна, то я определенно счи-

таю, что установка стены поднебесной высоты была ошибочной с самого начала.

— Да если б они и поголовно были ростом с Петра Великого, все равно на стенку никто бы не полез,— под держал брата Алексаша.— И даже не потому, что жрецы не велят,— силушки не хватит. Ну, помните по фильмам среднестатистического кемита — абсолютно никаких бицепсов!

— Поглядела бы я на твои бицепсы,— заметила Кшися,— на таких-то харчах, как тут.

— Кстати о харчах.— Наташа только обрадовался перемене темы.— С «Рогнеды» дразнились, что в Петергофе университетские биологи ввели в своем кафе обязательное кемитское блюдо, на предмет добровольного эксперимента. Им рогнедские транспортники поставляют хвосты от здешних крокодилов. Техника получения сего продукта предельно проста: двое подкрадываются к ящеру и берутся за хвост, а третий над самым ухом...

— Говорит жалобно: сделай милость, отдай хвост! — вклинился Алексаша.

— Третий стреляет холостым патроном. Остальные патроны, естественно, боевые,— до сих пор все гады вели себя с феноменальной сговорчивостью, обламывали сами себе лучшую половину, как наши ящерки, и удирали. Но вдруг попадется какой-нибудь строптивый?

— Строптивых есть целиком!

— Зачем? В хвосте добрый пуд чистого мяса, а такой живой мясокомбинат отращивает на себе три-четыре хвоста в год.

— А что такое пуд? — спросила Кшися.

— Вот серость! — возмутился Алексаша.— В килограммах — это две руки, да одна рука, да один палец.

— Дошло. Но для кемитов такая мера сложновата.

— Меткаф говорит, в здешних горах есть пещерные твари, ну прямо скаты сухопутные. Ползет такой ковер, ворс сантиметров на семьдесят...— Самвел все еще безуспешно пытался привлечь внимание Кшиси, но это ему никак не удавалось.

— Нет, бросаю эту мышеловку, лечу в Петергоф! — загорелась она.— Представляете, вечер в кафе: бульон из гадских хвостов, антрекот... то есть антрегад подхребетный, хвостики вяленые над Этной, на заправку...

— Лучше не надо про заправку, это дурной тон! — снова попытался высказать свое мнение Самвел, но его опять проигнорировали.

— А на дежурных студентках униформа — гадские мини-дубленки! — А вот у Наташи сегодня был приступ буйной фантазии.

— Не слушай ты его, Кшиська, — поморщился Алексаха, — стопроцентный плагиат: бюстгальтеры на меху.

— Я и не слушаю. В горных пещерах сталагмиты, не попасешься. А во многих еще и вода. Что там делать мохнатому скоту, не представляю. Намокнет и замерзнет, сердечный. Так что нашему Меткафу, конечно, до Распа далеко, но догоняет. На брехунов, вероятно, тоже распространяется закон сходимости видов.

— Ну, Кшиська, зачем так безапелляционно? Ты-то откуда знаешь, что там в пещерах?

— Можете представить себе, господа лоботрясы, — я всегда была отличницей. И когда нам во время подготовки крутили «Природу Та-Кемта», я не писала записочек разным курносым практиканткам с факультета стюардесс малокаботажных линий, как некоторые из здесь присутствующих.

— Ничего-ничего, — зловеще каркнул Алексаха, — поругайся еще со своим Гамалеем — он тебя отсюда в два счета выпрет. И пришлют нам пару курносеньких... А про горные пещеры, между прочим, в нашем курсе ничего наглядно не было, одни гипотезы — съемки-то велись со спутника, тогда и «Рогнеду» еще не смонтировали.

— Пещеры я видела! — запальчиво возразила Кшиса.

— Во сне?

— Хотя бы!

— Ой, Кшиська, ой — уши вянут.

— А почему — нет? — вступился Наташа. — Кемиты вообще производят на меня впечатление малых с великими странностями. Наш Салтан не допускает, чтобы они владели телекинезом, а я не вижу в этом ничего удивительного после того, как они за четверть часа могут превратить собственные руки хоть в метлу, хоть в топор. С земной точки зрения — абсурд, но ведь при желании ту же самую аутономию ящерниц можно рассматривать как проявление нечистой силы. Оборвали хвост — значит, вырастить его сможет только черт. Чистым силам это недоступно. А здесь любая тутошняя корова и хвост отбрасывает с испуга, и шкуру меняет по весне. Чертовщина!

— Так что, по-твоему, кто-то из здешних экстрасенсов, ковыряя себе в носу, транслирует Кшиське свой

вариант «Клуба путешествий»? Из альтруистических соображений, так сказать?

— А почему нет? Не спится кемиту... Опять же квасной патриотизм, любование захудалым, но родным уголком.

— «Почему нет?» — передразнил его Алексаша. — Потому что кемиты по ночам спят. Дай им волю, они и день-то весь продрыхли бы. У них культ мертвецкой спячки, и вы все это прекрасно знаете, потому что иначе мы не сидели бы здесь и не ждали бы, как у моря погоды, когда, наконец, кемиты к нам привыкнут, а наше начальство этот факт примет за действительность. А годика через два-три нам, может быть, и разрешат убрать стену и двинуться в эти сонные термитники — будить этих лежебок, которые, того и жди, доваляются в своем отупении до какой-нибудь эпидемии, вселенского потопа или оледенения, против чего у них, даже со всеми телекинезами, мимикриями и прочими чудесами, кишка тонка выдюжить.

— Раздражительный ты стал, Алексаша, — заметила Кшися. — Злобный. Таких в Та-Кемт не пустят. Таким место в Сухумском профилактории. А вместо тебя — курносенькую...

— Ты зато стала добренькой. Ангел белоснежный, фламинга линиялая. С самого начала, когда ты стала своему Гамалею хвост отъедать по поводу парникового эффекта, или как там у вас, не разбираюсь, я слушал — сердце радовалось. Ну, думаю, одна родственная душа среди всех этих, с опытом и выдержкой. А теперь что с тобой стало? Плаваешь, как новорожденная личинка угря — вся прозрачная, глазищами на всех мужиков зыркаешь, а они и шалеют... Что с Самвелом сделала, с Гамалеем? Наташка и тот дрогнул. Да не отпирайся, братец, ежели б ты был один! Но вас же целый хор. Ну, что ты всех завораживаешь? Нашла себе охотничий вольер, нечего сказать!

— Ну Алексашенька, ну что я могу тебе сказать? — вот уж действительно предел кротости. — Живите вы себе с миром, не глядите в мою сторону. А я пригретая какая-то, интересно мне здесь, хорошо. И тепло...

— Тебе тепло, видите ли! И от избытка тепла ты разгуливаешь на виду у всего Колизея, не говоря уже о Та-Кемте, в сарафане с декольте на двенадцать персон?

— Вот что, — медленно проговорила Кшися, — Ма-кася бедная со своим днем рождения ни в чем не вино-

вата, так что подбирайте шампуры, а баранина с луком внизу, в большой белой кастрюле, и советую спуститься незамедлительно и самостоятельно, иначе кто-то будет торчать в этой кастрюле головой вниз и ногами вверх. Прошу!

— Ну Кшисенька, Алексашка просто рехнулся...

— Оба!!!

Диоскуры загребели вниз по лестнице, Самвел, не дожидаясь приглашения, — следом, но бесшумно.

Кшися послушала, приподняв одно плечо и наклонив к нему ухо, — убрались. И никаких поползновений вернуться и продолжить свои митинги. А сердится ли она, в самом деле?

Да ничутеньки.

И вообще так легко и радостно, что хочется вспрыгнуть на перила и походить взад-вперед. Ведь если босиком, то совсем и не страшно. Вот только увидит кто-нибудь снизу, опять начнутся нотации. Значит — в кровать. И поживее. Лежебокой она тут стала, ну просто себя не узнать! А как и не стать лежебокой, когда здесь, в Колизее, так сказочно спится. И сны...

Значит, ванну побоку. Прохладный душ, и поскорее, волосы не мочить... Вот так... А теперь — под одеяло, закинуть руки за голову и ждать, когда придет сон...

Вчера она видела берег озера. Обрывистый, слонистый, с цепкими лапами не то плюща, не то хмеля, карабкавшегося по карнизам вверх. Земля? Но земных снов она давно уже не видала. И потом — это осторожное присутствие кого-то, кто вел ее по этим берегам, как раньше водил по горам и пещерам... Порой ей даже казалось, что ее несут на руках, но она никак не могла увидеть этих бережных рук. Чувствовать — да, видеть — нет. Таковы были причудливые правила игры ее снов.

Руки, закинутые за голову, замерзли. Она спрятала их под подушку. Надо было опустить защитную пленку между комнатой и лоджией, ведь предупреждал же Гамалей! Наверное, уже полночь, и защитное поле снизили, как обещали, вот и тянет свежестью леса. И что это сегодня не засыпается?

Она повернулась на бок и стала смотреть в темноту. Прозрачность бесконечной толщи темно-синего сапфирового стекла. А ведь перед нею — город. Она точно знала, что он расположен с восточной стороны Колизея — значит, как раз напротив ее комнаты. Она хорошо помнила — еще на Земле в период короткой лихо-

радочной подготовки его панорамный снимок занимал все стены кабинета геофизики Та-Кемта, планеты, названной в честь этого города. Как и все еще живые города экваториальной зоны, он располагался на холме, с одной стороны прикрытый исполинскими, но безнадежно потухшими вулканами, а с трех других оцепленный хищным субтропическим лесом, который давно уже заполонил бы собою улицы и дворы, если бы змеепасы не гоняли свои ленивые, но прожорливые стада вдоль самой опушки, изничтожая молодые побеги. На таком-то пастбище и угнездился экспедиционный комплекс.

К городу земляне относились примерно так же, как к древним Фивам: помнили общий план и назначение архитектурных комплексов, но было это в непредставимом далеке, словно за спасительной преградой веков и парсеков.

А ведь Та-Кемт был тут. Затаенный в непроглядной темноте, неторопливо восходящий к ацтекской пирамиде, прилаженной к храмовому комплексу, словно гигантское и совершенно инородное крыльцо, он доносил до землян свои запахи, свою темно-синюю беспылевую прохладу и главное — сдавленную, напряженно сохраняемую тишину. На самом-то деле это не тишина — тут и сонные храпы, и придушенное подушками дыхание, и шелест мелких ночных гадов... И только людских, земных, пусть едва уловимых звуков нет в этой ночи... Кшися хрустнула пальцами и тут же испуганно спрятала руки под одеяло, словно этот нечаянный звук хотя бы на миг мог отдалить тот час, когда наступит наконец срок, и они, перешагнув заколдованный круг исключенной защиты, побегут, полетят навстречу новому миру, чтобы с этого мига стать неотъемлемой частью кемитского бытия. Это ведь так просто — когда один человек становится частью и жизнью другого. Это ведь так просто и так естественно — когда это делает целое человечество. По какому праву? Да не по какому. И не по праву. По закону любви. Стать частью друг друга.

Так почему же эти, захлебывающиеся удушливыми снами, не хотят подчиниться этому естественнейшему из законов?

А может, они о нем просто не знают? Может быть, им доступна та маленькая, домашняя любовь, которая согревает только двоих? От такого предположения у Кшиси, упорно разглядывавшей темноту, округлились глаза. Ежки-матрешки, да ведь и правда! Богов им лю-

бить, что ли? Храмовище свое окаянное, жрецов толсто-пузых? Город свой горбатый с вонючими арыками, горы шербатые, в которые они и сунуться-то боятся? Солнце свое стынувшее? Ветер, несущий лед и стужу?..

Так вот почему они не принимают нас, с ужасом повторяя себе Кшися, вот почему они рванулись было поклониться нам: ну полтора десятками богов больше стало, а кланяться испокон веков приучены, вот и кадили первые дни, пока команду кто-то не отдал — стоп. А теперь мы для них как горы непроходимые, как солнышко блеклое, — что и смотреть-то в нашу сторону? Но, выходит, прав Абоянцев, прав Кантемир, права база — перешагни мы сейчас стену, попытайся войти в город, и вспыхнет волна ненависти, которую мы называем непереводаемым на кемитский словом «ксенофобия», потому что для них сейчас это равноценно тому, как если бы на город двинулись скалы или деревья. И, как со скалами или деревьями, нет у них с нами контакта, нет, хоть провались — нет! И, значит, терпеть и сидеть, и лапу сосать, и до одури искать эту проклятую формулу контакта, потому что не может такого быть, чтобы ее не существовало!

Кшися тяжело, по-старушечьи, вздохнула, вытянулась на холодной постели, словно легла по стойке «смирно». Ни разу еще за все пребывание здесь не приходили по ночам такие трезвые, стройные мысли. Точно лекция Абоянцева. Судьбы народов ее волнуют, видите ли. До сих пор в ночное время не волновали. До сих пор мягкое покрывало волшебного сна окутывало ее с наступлением полной темноты и, подобно андерсеновской собаке с глазами, как мельничные колеса, уносило ее из неприступного дворца землян в первобытный, каменно-бронзовый век Та-Кемта, где, минуя журчащий арыками город, опускало ее на мшистые уступы медноносных гор, на лесные едва угадываемые дороги, на берега бездонных озер, гнездящихся в древних кратерах...

Но сегодня о ней забыли. Забыли! Надо же... И сон нейдет, хоть белых слонов считай. Да и забыла она, какие земные сны виделись ей в последнее время. Так что обычный способ — составление автограммы самовнушения — будет сложноват. Ну, ладно, расслабимся и сосредоточимся...

И в этот миг жесткие резиновые жгуты захлестнули ей шею и плечи. Она забилась, пытаясь крикнуть, но ее уже волокли лицом вниз по вечерней лиловой дороге, и самое стыдное было то, что на ней ничего не на-

дето, и твердые босые ноги дружно ступали в омерзительной близости от ее лица, и спастись было чрезвычайно просто — надо только уменьшиться, и она заставила себя стать маленькой, и тогда резиновые путы соскользнули с ее тельца, и она осталась лежать на дороге, приподняв подбородок и глядя в спины уходящим. Они по-прежнему шли мерным шагом, словно не замечая потери, и непомерно длинные руки, истончившись, свисали до земли и упруго покачивались в такт ходьбе. Она поднялась, опираясь на локти и царапая коленки, потому что у нее в ладонях было что-то зажато, и это «что-то» вдруг слабо чирикнуло, засвиристело, наполняя ладошки пушистым шорохом, и она побежала домой, радуясь, что наконец-то нашла настоящую живую птицу, но бежать было трудно, тоненькие ножки, начинавшиеся сразу под мышками, заплетались, а тяжелая большая голова никак не желала держаться прямо на бессильной шейке, и Кшися поняла, что птицу придется выпустить, иначе она до темноты не дойдет до дома, и раскрыла ладони, и увидела великолепного ткацкого паука, мохнатого и сытого, и, вместо того, чтобы обрадоваться, почему-то истерически закричала и, стряхнув с себя цепкое чудовище, бросилась в первую попавшуюся калитку, но за калиткой сразу же начинались гигантские уступы храмовой пирамиды, на вершине которой занималось голубоватое зарево, и ее снова схватили, и теперь вырываться было бесполезно, и понесли вверх, легко и бесшумно, словно у каждого из палачей имелся по крайней мере портативный левитр, и вот ее уже вынесли на вершину, но вместо голубого огня перед нею открылось, наконец, долгожданное озеро, и тогда один из мучителей провел рукой по ее голове, и она с ужасом обнаружила, что все волосы остались в его ладони, и от стал старательно плести веревку из белых кос, отливающих голубизной в лунном свете, но кто-то другой остановил его, и она почувствовала, что ее лицо густо обмазывают глиной, и последнее, что она ощутила, был точный и несильный удар, вклевший в эту глину остроугольный ледяной черепок, пришедшийся точно посередине лба...

Инебел судорожно глотнул холодного предрассветного воздуха и открыл глаза. Несколько змей, пригревшихся у его тела, испуганно порескнули в пыльную придорожную

траву. Стозвучный гул растревоженных «нечестивцев» еще отдавался эхом у кромки леса. Тело, изломанное внутренней болью, сведенное непривычным холодом, не сразу позволило разуму воспринять случившееся. Спящие Боги, он провел ночь под открытым небом!

Его заколотило от ужаса. Проснись он ночью — сердце разорвалось бы! Но он не проснулся. Тошнотворные видения цепко держали его рассудок, не позволяя ему вырваться в реальный мир. И не его одного...

Какая-то инстинктивная осторожность заставила его даже в такой момент сдержаться — не вскочить на ноги, а только поднять голову из травы.

В верхнем гнезде ее не было. Незастеленная лежанка, разбросанная по полу одежда. Да где же она, где?..

Да вот же. Слава Спящим Богам, здесь она. Не исчезла, не поднялась ввысь светлым облачком. Сидит на нижней ступеньке лестницы, закутавшись в свое полосатое одеяло, а над ней эта желтоволосая, худородок тамошний. Если вообще у Богов бывают худородки. Желтоволосая гладит ее по голове, неслышно шевелит отвислыми губами. Ласковая. Такие и у нас ласковые.

Только что заставило тебя покинуть голубое гнездо свое, что заставило тебя бежать из него? Утренняя прохлада, громыханье «нечестивцев» или же, может быть, недобрый сон?..

Сон! Леденящие, измывающиеся над душой и телом кошмары — ведь он был в своих снах не один... Вот, значит, кого затянул вместе с ним водоворот ночных ужасов!

И, значит, нельзя верить Аруну — не жрецы посылают наказания. Жрецы ни о чем еще не узнали. Великие Спящие Боги наказали его за содеянное. Они мстительны, и гнев их падает на весь дом, и сейчас отец его, и мать, и братья подымаются со своих лежанок, обессиленные полуночным бредом, испуганные и недоумевающие... А он даже не посмеет рассказать им о своей вине. И пойти к ним он не посмеет, потому что совсем рядом — та, которую сегодня ночью он оставил беззащитной, хотя готов был бы отдать весь свет своих глаз за одну ресницу ее. Он и сейчас ничем не может помочь ей, но уйти, когда она сидит, дрожа под своим одеялом, он не в силах.

А что он в силах?

Что бы там ни было, а нужно работать. Вот и кусок стены, ограждающий крайний двор. Длинный полукруглый кусок торца, урок на две руки. Правда, со стороны пастбищ только детишки да пастухи могут увидеть

его, но надзирающий его семейство жрец повелел расписать и эту ограду. Может, он заботился о том, чтобы взор Нездешних Богов находил себе здесь усладу и отдохновение?

Но Нездешние Боги спокойно и равнодушно смотрят вдаль, и непохоже, чтобы их высокое внимание могла заинтересовать Инебелова мазня. И даже та, что добрее и возвышеннее всех этих нездешних, всегда смотрит либо себе под ноги, либо куда-то в небо, поверх оград и деревьев, и ни разу он не смог встретиться с нею взглядом.

И все-таки для одной нее он будет рисовать. Сейчас спросит у хозяев этого двора уголек для наброски контуров, разметит стену на должное число отдельных картин, а там прибежит длинноногая вертлявая Аплъ узнать, почему старшенький-беленький так рано поднялся и не вернулся к утренней еде, и можно будет послать ее за горшочками с краской.

При мысли о еде, даже мимолетной, его весьма ощутимо замутило. Ночная дурнота целиком не прошла, стояла предутренним влажным туманом, забивающим грудь и горло, а руки...

Он глянул на руки — и снова, вот уже в которой раз за это проклятое утро, страх окатил его с головы до ног. Лиловые липкие подтеки, пятна, стянувшие кожу, — но ведь не краска же это?

Он поднес руки к глазам, и тошнотворный запах, преследовавший его с самого пробуждения, резко усилился; трава перед глазами и серебристый колокол чуть поодаль вдруг потеряли четкие очертания, поплыли, и снова на него ринулись сны, тяжелые и неповоротливые, словно мясные гады, и начали душить своей тяжестью... Он упал обратно в траву, царапая лицо, и в последний момент успел увидеть, как четверка скоков, четко печатая шлепки босых ног по холодной дороге, вылетела по его улице на равнину, свернула вправо и, поминутно оглядываясь так, что шея вытягивалась втрое против обычного, обогнула торец ограды и исчезла на соседней улице.

Инебела в высокой траве не заметил никто.

Он очнулся быстро — солнце почти не поднялось, — с трудом спрятал руки за спиной, чтобы снова не замутило от запаха, побрел к арыку. По улице уже пробегали горожане, в основном детишки, раньше других кончившие завтрак и теперь спешащие за шишками для очагов,

глиной — подправлять пол на дворе, а некоторые — стряхивать с чашечек цветов медлительных насекомых, чтобы кормить ручных ткацких пауков.

Теперь его никто уже не отличил бы от окружающих.

Он отмочил руки в арыке, придал им известную жесткость — держать угольки. Пошатываясь, побрел обратно к урочной стене. Даже не удивился, увидев там Лилара.

Кивнули, насупясь. Слова, предписанные законом — пожелания снов да восхваления Спящих Богов, — не шли с языка. Пустословить с утра было тошно. Лилар присел, уйдя по плечи в траву, рядом с ним опустился и Инебел.

— Здесь ночевал, — утвердительно проговорил сын гончара. — Не ври, вижу. Нанюхался ягоды?

— Получилось. Только утром догадался, — тихо, почти виновато ответил маляр.

— Дома — ни-ни. Сейчас не ешь, с души воротит, я знаю; к полудню потянет — так вот.

— Да ты что?..

— Да я что надо. И не кобенься, бери, чай я тебе не брюхоног неусыпный. Подол подставляй.

В складки передника Инебела перекочевал увесистый сырой кусок, обернутый шершавым лопушистым листом. Не давешняя ли запеканка из душистых зерен? Нет, ломоть печеной рыбы.

Той самой рыбы.

— Зарой под камешком, — наставительно продолжал сын гончара. — Как утреннее солнце падать начнет, тебя от голода аж перевьет и в узел свяжет. Натерпелся я в свое время.

— Я думал, ваш дом эта кара стороной обошла...

— Лопух ты, лопух белый. Мы ж с отцом противоядье искали. Затем отец и ягоду эту на смоковницу посадил.

— А ежели б выдал кто?

— Некому. Вот тебя отец заподозрил, что к жрецам перекидываешься, за юбку выслуживаешься — велел от двора вашей гнать.

— А теперь?

— Лопух белый. Теперь мы одним волосом повязаны. Что два соседских нечестивца. Жреца-то сообща задавили.

Инебел вздохнул, невольно повел глазами в сторону нездешней обители — ни с кем-то не хотел бы он быть повязанным. И почему это не дано каждому в отдельном доме жить, по собственному разумению? А то ведь ни на кого глаза не глядят. Отец с матерью все в спину паль-

цами торкали — не по уроку усердствуешь, не по красильному назначению вопросы задаешь... Потом вот эти. Сперва оттолкнули, теперь притянули. А ведь чем они дышат — не любо ему. Все дым чужой. Не напитаешься, не обогреешься, только голова заболит.

— Пристально глядишь, — предостерегающе заметил Лилар.

— А что, не дозволено?

— Да пока дозволено. Только другие так не глядят. А ты делай так, как отец учит: раз глянул, потом спиной оборотился — и думай. А виденное пусть перед глазами стоит. Этому, правда, научиться надобно...

Учиться? Научиться бы, чтобы не стояло это перед глазами день-деньской, от восхода до заката. Научиться бы, чтобы не думать об этом с заката и до восхода...

— Отворотись, тебе говорят! — Лилар цепко взял маляра за плечо, отвернул от обители сказочной. — Чего долго-то смотреть, когда и так ясно: не Спящие это Боги. То есть спят они, естественно, но не это у них главное.

Лилар вытянул шею, как недавние скоки, огляделся — никого, кроме детишек-несмышленишей, поблизости не было.

— Главное в них — это то, что Богово. А Богово — это то, что не нашенское, не людское.

Инебел с тоской поглядел прямо в черные сузившиеся на солнце глазки гончара. Да, он это все серьезно, и он это все надолго. Не этот разговор, естественно, а безгранично высокомерное, непререкаемое убеждение в том, что именно он постиг тайну Нездешних, единолично владеет ею и волен делиться этой тайной, как милостью, только с избранными.

— А не людское в них то, — торжествующим шепотом заключил Лилар, — что для них вкушать пищу — не есть срам!

Лилар победоносно глянул на собеседника и немного изменился в лице: уж очень скучный вид был у молодого маляра.

— Могут же быть люди, у которых другие законы... — примирительно проговорил Инебел.

— Но это не люди — это Боги! И потом, пока таких людей с другими законами, под нашими двумя солнцами нет. ПОКА!

Инебел снова прилег в траву, начал медленно растирать виски. Очень уж голова разболелась — то ли да-

вешнее, от ягодного сока, то ли Лилар со своим много-мудрым вещанием...

— Ишь, постель длинную белым одеялом накрыли, на одеяло многие миски с едой поставили, хотя по одному корытцу на конец вполне достало бы. — Лилар говорил размеренно, словно горшки свои готовые пересчитывал. — Едят, а серебряный подает. Совесливый, поди, не иначе — никогда не ест, не пьет. А руки четыре. Сейчас кончат, по всему обиталищу разбегутся — кто корни копает, кто зверей диковинных пестует. Утреннее солнце уже в вышине, а они опять за постель едальную усядутся. И нет, чтобы давешнее подогреть — все свежее пекут. Там, глядишь, еще помельтешат себе на забаву — и уже под вечернее солнышко жуют. Ну, мыслимо ли людям так жить? Богово это житье, и сии Боги должны называться соответственно: вкушающие. Так их и рисовать должно.

Инебел перестал тереть виски и медленно поднял голову. Вот теперь уже все сказано. «Рисовать должно». Вчера вечером разговор о том, что же получает Арун взамен своего попечительства, оказывается, был только вступлением. Благодарность, верность... Слова.

«Рисовать должно».

Это — требование дела.

— Закон запрещает рисовать едящих...

— Людей! А я тебе толкую о Богах. И чему тебя отец наставлял — божественное от смердящего не отличишь!

Инебел сел, обхватив колени слабыми, ни на что сегодня не пригодными руками. Прямо перед глазами тускло серела неразрисованная изгородь, на которой он должен был изобразить Нездешних Богов. Спящих, восстающих от сна, увеселяющих себя причудливой работой. Хотя можно ли называть работой то, что чужими руками деется? А у них этих рук чужих — пропасть. И резать, и долбить, и копать — на все особая чужая рука, то блестящая, то смурая.

— Я буду рисовать Нездешних такими, какими предстают они передо мной в утреннем солнце истины, — спокойно, уже без прежней безразличной усталости, проговорил Инебел. — Я буду рисовать их в исполнении забот человеческих.

Лилар подскочил, словно змей-жабод, стремительно выпрямляющийся на кончике хвоста при виде добычи.

Поднялся и Инебел, и бывшие друзья стояли друг против друга ближе вытянутой руки, и оба чувствовали,

что между ними — по крайней мере одна улица и два арка.

— А ты упорно не называешь их Богами,— вдруг заметил Лилар, враждебно поблескивая узкими, не отцовскими глазами.

— Я называю их «Нездешние», ибо это — их суть.

— Их суть в небоязни еды, которая, в отличие от сна, есть зримое и весомое благо! Они — истинные Боги, потому что в бесконечной мудрости своей преступили ложный стыд, который, как дурной сон после ядовитого сока, скрывает весь наш город! Они явились к нам для того, чтобы показать истинный путь: сильный и мудрый да накопит то, что можно собрать и сложить, то, что можно дать и отнять. А это — пища. Еда. Жратва. Понял?

— А зачем? — безмятежно спросил Инебел.

— Затем, что тогда сильный и мудрый сможет хилому и слабоумному дать, а может и отнять. И тогда хилый будет принадлежать сильному, словно кусок вяленого мяса.

— Жрецы раздают нам еду, но мы, как и все под солнцами, принадлежим не жрецам, а великим и Спящим Богам.

— Потому что олухи — наши жрецы! В Закрытом Храмовище их тьма тьмущая, все грамотные, давно могли бы всех нас, как нить паучью, на один палец навить, в улитки домик запихать и глиной вонючей замазать! Поперек улицы могли бы всех нас уложить и по спинам нашим ходить! Нет, мы на их месте...

Он вдруг осекся, ресницы его испуганно взметнулись вверх, и на какое-то мгновение глаза стали круглыми, как у Аруна.

— А действительно,— проговорил Инебел, глядя на него с высоты своего необыкновенного роста,— ты сегодня не работаешь, ты пришел ко мне с тайной беседой и задней мыслью. Ты хочешь, чтобы я стал твоими руками, послушными из благодарности, смиренными и безответными,— совсем как чужие руки Нездешних... Но какой прок из всего этого тебе, сын горшечника?

Лилар стоял в траве, доходившей ему до пояса, с шумом выдыхая воздух сквозь узкие, причудливо вырезанные ноздри, и все старался, наклоня голову набок, глядеть мимо Инебела, спокойно взиравшего на него сверху вниз. И этот взгляд никак не позволял горшечнику почувствовать себя хозяином положения.

— Много хочешь знать с чужих губ, сын маляра,—

сказал он, изнывая от невозможности сохранить высокомерный тон.— Попробуй узнать хоть что-нибудь из собственной головы. Это тебе не угольком заборы полосатить!

Вот так и кончился этот разговор с тобой, детский друг мой Лилар, но разговоров еще будет предостаточно! Что-то бродит в ваших умах, что только — толком не разберу, не до того сейчас, но понял я пока одно — уж очень вам нужны чужие руки, вы теперь от меня так просто не отступитесь. Потому что вам нужны не просто руки, а те, которые умеют рисовать, да так, чтобы нарисованное было яснее сказанного...

И тут он вдруг почувствовал, как у него стремительно начала стынуть спина, и заняло под лопаткой, как раз напротив сердца, и эта щемящая боль побежала по рукам, спускаясь к слабым недвижным пальцам, и они, не повинаясь никакому приказу, вдруг сами по себе дернулись, становясь жесткими и хищными, сжались в мгновенно окаменевший кулак...

Он уже знал, что это означает. Оглянулся, разом охватывая бесчисленные соты громадного, как Уступы Молений, обиталища Нездешних Богов. Вот. Одно из гнезд второго пояса. Серебряные светлячки крошечных солнц, прилепившихся к карнизам, и двое под ними; трепещущие рукава диковинной черной одежды, проклятые смуглые руки — если бы безобразные, так нет ведь, трепетные и одухотворенные, какими и должны быть руки истинного Бога, и в них — задержавшаяся на мгновение узкая белая рука, что прозрачней и тоньше пещерной льдинки...

11

Вместо будущей недели «селку» начали валить еще до обеда. С лужайки убрали коров и баранов, затем под обреченным деревом как-то нечаянно стали появляться люди, все поодиночке и абсолютно непреднамеренно. Кто-то догадался прихватить Ваську Бессловесного, Сэр же Найджел притопал по собственной инициативе и теперь отчаянно мешал всем, наступая на ноги и через равные промежутки времени издавая каркающий вопль типа «Нерационально!» или «Все плохо организовано!».

Его гнали, он возвращался.

Поначалу это были Макасы, появившаяся первой, Синрин и Аделаида — троица, своей контрастностью способ-

ная вызвать оторопелое удивление. Некоторое время они ходили, спотыкаясь о корни и кровожадно поглядывая вверх. Всем явно хотелось первобытно поработать руками, но никто не знал, с чего начинать.

Пришел Меткаф, первым делом рывкнул на Сэра Найджела, чтобы не совался к дереву ближе, чем на три метра. Робот обиженно шарахнулся, чуть не сбив Аделанду с ног.

Пришли, если не сказать — влетели, Диоскуры, играючи мускулами; не теряя времени, сгоняли Васюку за топорами.

Пришел Яох, осмотрелся, обстоятельно показал, в каком виде будет первый этаж и край делянки, если дерево обрушить прямо с кроной.

Пришел, то есть примчался, аспидно-пламенный Самвел, только что помилившийся с Кшисей, и, не внося устных предложений, сразу же принялся стаскивать полукеды и штаны, чтобы лезть на дерево. И влез.

Пришла, сиречь впорхнула, Кшися, одарила пленительнейшей улыбкой всех, исключая Наташу с Алексашей, увидела на нижней ветке Самвела и, ни у кого не спрашиваясь, полезла к нему.

Пришел вперевалку Гамалей, весь увешанный шнурами, блоками, крюками и кошками, стряхнул все это на траву и, почесывая поясницу, принялся неторопливо излагать теоретические правила лесоповала по инструкциям Сигулдинско-Цесисского заповедника: из его рассказа следовало, что не подпускать к деревьям следует именно людей. Монолог Гамалея презрели из-за несоответствия одного с воспитательно-демонстрационной ролью задуманного.

Ввалился Магавира, когда Диоскуры с топорами уже карабкались вверх; вскоре все нижние ветви, растущие симметричным венчиком, словно на гигантском хвоще, были для подстраховки схвачены канатами, перекинутыми через верхние ветви, и от всей этой суеи сотни каких-то жучков посыпались вниз вперемешку с тугими упругими шишечками, вызвав у Аделаиды атавистический ужас при воспоминании о земных клещах.

Пришел Абоянцев, когда все ветви нижнего венца уже были аккуратно спущены на лужайку, и сказал, что рубят не то дерево.

Вот тогда-то и началось настоящее веселье.

Про обед вспомнили только тогда, когда оземь тяжело ухнула густая верхушка, и кольчатый рыжий ствол, слов-

но порядком заржавевшая антенна, остался торчать вместо густолиственного симметричного дерева, по простоте душевной именовавшегося «елкой». Кажется, впервые за все пребывание на Та-Кемте земляне почувствовали упонительно примитивный, прямо-таки первобытный голод. Сэр Найджел, которому давно следовало жарить шашлыки, получил феерическую взбучку и был отправлен вместо Васьки доить корову, а все общество, наскоро перехватив на кухне кто супчику, кто котлет, беспорядочной толпой повалило обратно на лужайку, нагруженное скатертями, тарелками и всяческой снедью, предусмотрительно наготовленной Макасей с раннего утра.

Охапки вянущей зелени (то ли слишком узкие и жесткие листья, то ли чересчур мягкая и длинная хвоя), накрытые пледами, одеялами или просто махровыми простынями, служили превосходными античными ложами, образовавшими большое пестрое кольцо, в центре которого полыхал душистый незлой костер, к которому время от времени протягивались натруженные руки — повернуть сверкающую шпалку шампура, приложенного над угольями. Если забота о мясе насущном вызывала движение радиального порядка, то не менее интенсивным было кочевье по кругу черных пузатых бутылок, как утверждал Гамалей, неподдельного бургундского.

Тосты, обращенные к непосредственной виновнице этого импровизированного торжества, уже отзвучали. У ног разбурмажившейся, по-девичьему счастливой Макаси высилась гора подарков, заказанных на Базе и спецрейсом переправленных через Вертолетную сюда, — бесчисленные игрушки, безделушки и никчемушки, от плетки-семихвостки с дистанционным управлением (для приведения к послушанию сэра Найджела, в последнее время обретшего излишнюю самоуверенность) до поваренной книги под загадочным названием «Рецепты комиссара Мегрэ».

Начиналась та естественная фаза каждого праздника, будь то свадьба или именины, когда само собой получается, что о новобрачных или имениннике начисто забывают и разговоры начинают вращаться вокруг какой-то насущной темы, которая одинаково волнует всех собравшихся.

Поэтому естественно, что заговорили о проклятой и неуловимой формуле контакта.

— Мы же не для них строим мельницу, а для себя, —

брюзжал Меткаф. На базе, в период подготовки его знали совсем другим — самодовольная ухмыляющаяся рожа, мазутовый глянец и победоносное сочетание истинно неандертальских надбровных дуг с салонными манерами круга Оскара Уайльда.

Он и сейчас — единственный из присутствующих, вырядившийся в черный вечерний комбинезон, с ослепительной рубашкой и строгим однотонным галстуком цвета «спинки альфа-эриданского навозного жука». С тех пор, как их переправили на Та-Кемт, Меткафа почти нельзя было увидеть улыбающимся. Мрачноватый скептицизм он почему-то считал наиболее приемлемой маской, достойной созерцания со стороны, и теперь эта маска медленно, но явно портила его характер, необратимо становясь второй натурой.

— Это, конечно, приятно и достойно — махать топором, не менее приятно и не менее достойно лопать лепешки из муки собственного помола. С медом особенно. Но на кой ляд эти уроки кемитам? Насколько я помню, они отнюдь не чревоугодники. У них в ходу запеканки из дробленых круп, не так ли?

— Так, так, — закивала Макася, признанный специалист по кулинарии обеих планет — Земли и Та-Кемта.

— Едят они дважды в сутки, им не до разносолов. Конечно, лепешки дали бы припек, но разве это проблема? Ни в нашем, ни в каком другом городе, по-моему, от голода не умирают.

— «Припек, разносолы»... — задумчиво повторил Абоянцев. — Мария Поликарповна, я наблюдаю возрастающее влияние ваших очаровательных кухонных вечеров на словарный запас нашей экспедиции. И если бы так же легко определялась формула контакта — мы бы с вами, голубушка, горя не знали. Но здесь, запасаясь терпением и мудростью, придется перепробовать и мельницу, и гончарный круг, и прялку, и телегу...

— О! Шарабан! — с готовностью отозвался Алесаша, вырядившийся ради праздника в мягкие сапожки, рыжий робингудовский камзол с зелеными отворотами и островерхую шапочку с ястребиным пером — наглядное выполнение циркуляра базы, предписывающего демонстрировать кемитам весь спектр возможных земных одежд. — Будь я, как это у них там, таскуном — я первым делом ухватился бы за колесо. Кстати, почему бы нам не приберечь на этот случай несколько подходящих ветвей от сегодняшнего... э-э...

— Вы имеете в виду новопреставленную елку?

— Я бы назвал ее все-таки кедром. Точнее — секвойевидным кедроидом.

Кто-то сдержанно застонал. Все, естественно, обратились к Сирин Акао — ей, как единственному лингвисту и вообще утонченной душе, подобное словотворчество должно было показаться чудовищным кощунством. Но Сирин, со свойственной ей непроницаемостью древнего языческого божка, и бровью не повела. Она единственная не возлежала на импровизированном ложе, а мелкими шажками семенила вокруг кольца пирующих, подбирая в золотистую корзинку липкие шишечки, насыпавшиеся кругом во время рубки дерева. Когда корзинка наполнялась доверху, Сирин опускалась на колени и целыми горстями кидала шишки в огонь. Они взрывались, словно крошечные хлопушки, и медвяный аромат распространялся по всей лужайке.

Стонал-то, конечно, Самвел, вот уже два битых часа сидевший с заготовленным заранее классическим стихом, приличествующим случаю, и все не мог отыскать в общей беседе отдушину, в которую он мог бы вклиниться со своей набившей всем оскомину поэзией.

— Повозку мы сделаем, это не проблема, — небрежно отмахнулся от него Алексаша. — И сахароварню. Но все это мелкие чудеса, которые, как мы знаем из сообщений «Рогнеды», практически перестали привлекать кемитов. Я уверен, что и сейчас они голов не повернули в нашу сторону, не то что в первые дни. Так что теперь, чтобы снова возбудить их интерес, мы должны сделать что-то такое, что было бы эквивалентно нашему появлению. А все эти мельницы, катафалки, клозеты с кондиционерами — это, как говаривали в старину, бирюльки.

— Вы не улыбайтесь, Салтан Абдикович, — подхватил менее горячий Наташа, — мы тут каждый день на эту тему спорим, проектируем там, анализируем... Алексей прав. Ну, даже если мельница в принципе им понравится, кто будет ее строить? Для этого надо выделить целый двор, у них ведь подворовая специализация. А резервных дворов нет, все при деле. В помощь своим домашним хозяйкам никто на это не поднимется — для этого надо быть и лесорубом, и каменщиком: жернова обтесывать. К тому же лесорубы что наломали, то сдать должны — на мельницу не припасешь ни досочки, ни колышка. Так что не получается.

— Ну а жители так называемого Закрытого Дома? —

Абоянцев довольно шурился, поглаживая свою реденькую, лопаточкой, бородку, — встряхнулся скисший было коллектив, даже жалко; ведь, как тут ни гадай, а все равно решать-то будут на Большой Земле, как сейчас с мельницей. — А вы учли, голубчики мои, что в Храмовище мы имеем избыток рабочей силы, и как раз самой различной специализации? Да и законы под боком — вписывай любой, хоть про мельницу, хоть про метеорологический спутник. Для того чтобы заставить жрецов сдвинуться с места, нам нужно будет продемонстрировать только один момент — что испеченные нами лепешки сказочно вкусны...

И почему-то все посмотрели на Гамалея.

— Я — что, самый выразительный чревоугодник? — возмутился он.

— Не без того, Ян, не без того...

Хохот стал всеобщим. Не смеялись только Сирий и Самвел, которому так и не удавалось прочесть свои стихи.

И Кшися смеялась вместе со всеми — рот до ушей, а глаза неподвижные, что вода озерная, и вперилась прямо в Абоянцева, в бархатный его тибетский халат. Зачем он говорит все это, ведь знает, что не сегодня завтра придет сигнал с Большой Земли — экспедицию свернуть, вернуться на базу, материалы передать в Комиссию по контактам. Вот и вся сказка.

— Давайте подождем немножко со всеми шарабанами, фарфоровыми фабриками и прочими гигантами металлургии, — прозвучал ее чуть насмешливый воркующий голдсок. — Ограничимся пока лепешками. Только испечем их не у нас на ультраволновой плите, а снимем стену, выйдем в город — и прямо там, на их очагах...

— Но с нашими сковородками! — крикнул было Наташа, но осекся — настала выжидательная пауза. Так выступать могла одна Кшися — в силу своей детской непосредственности.

— А ведь вы, голубушка, не очень-то любите смотреть на мертвые города, — вдруг как-то ошетинившись, проговорил Абоянцев. — Так ведь, Ян? Вы и к пустым-то городам не привыкли!

Гамалей, насупившись, кивнул. Он был на стороне Абоянцева и в то же время против него.

— И вы не видели еще ни одной пленки из нашего, собственного Та-Кемта. Вы просто не в силах предста-

вить, как выглядят руки у рубшиков зменных хвостов. Вы неспособны воссоздать аромат, поднимающийся от сливного арыка, когда он добежал до конца улицы. Вы...

— Зачем так? — высоким гортанным голосом крикнул Самвел. — Здесь нет детей, здесь нет слабонервных. Мы все знали, на что идем. Так зачем обижаете девушку?

Гамалей сидел по-турецки, уперев ладони в колени. Ишь, набросились, шенки-первогодки. Чешутся молодые зубы. Прекрасные, между прочим, сверкающие зубы. Аж завидно. И никто из них уже не думает о том, что их бесстрашие, обусловленное односторонней непрозрачностью стен, — залог спокойствия кемитов. Залог невмешательства. Залог мира. Между тем с «Рогнеды» докладывают, что интенсивность движения на дорогах, ведущих к Та-Кемту, за последнее время увеличилась вчетверо. Случайность? Пока это не проверено, Большая Земля не даст разрешения на контакт, даже если и будет найдена эта проклятая формула.

— Я никого не обижаю, — жестко проговорил Абоянцев после затянувшейся паузы. — Я просто никого здесь не задерживаю.

Гамалей прямо-таки физически почувствовал, какая пустота образовалась вокруг начальника экспедиции.

— Собственно говоря, — голос Абоянцева звучал, как труба на военном плацу, и Гамалей понимал Салтана — смягчись тот хотя бы на полтона, и все прозвучало бы жалким оправданием. — Так вот, мне здесь приходится гораздо горше вас. Не глядите на меня с таким изумлением. Все вы делаете дело — копаетесь в земле, жарите блины, делаете уколы и анализы. А я торчу здесь только для того, чтобы время от времени снимать с вас пенку, как с кипящего молока — чтобы не убежало. А вам бы скорее, скорее... Живите себе спокойно, тем более, что у вас продолжается период обучения. Вы даже сейчас делаете дело, ради которого сюда прилетели.

Кшися вскочила на ноги. Сейчас, вся в золоте костра и серебряных отсветах луны, она казалась древней фреской, напыленной едва заметным серебряным и золотым порошком на глубокую чернолаковую поверхность.

— Жить спокойно? Да разве мы вообще живем? Мы бесконечно долгое время готовимся жить, у нас затянулось это самое «вот сейчас...», и мы перестали быть живыми людьми, мы — манекенщицы для демонстрации земного образа жизни, мы только и делаем, что стараем-

ся изо всех сил быть естественными, а на самом деле боимся хохотать во все горло... Правда, еще больше мы боимся показаться с незастегнутой верхней пуговкой на рубашке. Мы боимся плакать, но еще больше мы боимся нечаянно положить нож слева от тарелки. Мы боимся любить... А правда, почему мы боимся любить? Столько времени прошло, как мы вместе, а никто еще ни в кого не влюбился. Меткаф, ну почему вы не дарите цветов Аделанде? Гамалей, почему вы не слагаете стихов для Сирии? А вы, мальчишки, — неужели никому из вас не захотелось подраться из-за меня? Ах, да, ведь мы только и думаем о том, как это будет выглядеть со стороны! Нами перестали интересоваться? Еще бы — да нас и живыми-то, наверное, не считают. Волшебный фонарь, если есть такой термин по-кемитски. Или бабочки-однодневки. Что ж, будем продолжать наше порханье? Но начальник имеет право...

Все слушали ее, как зачарованные, и Гамалей, чтобы стряхнуть с себя эту ворожбу, замотал головой:

— Да скажи ты ей, Салтан, скажи... Все равно рано или поздно увидит на экране!

— Сядьте, Кристина Станиславна, сядьте и остыньте, — голос Абоянцева звучал буднично-ворчливо. — Как показали просмотры, в Та-Кемте, как, впрочем, и в других городах, регулярно совершаются жертвоприношения. Человеческие, я имею в виду. И чрезвычайно утонченные по своему зверству. Так что пока вы не насмотритесь на это в просмотровых отсеках, о видеопроницаемости с нашей стороны и речи быть не может, не то что о непосредственном контакте.

— Не может быть... — растерянно проговорил Наташа.

— Может. И было. Помните, недели две назад наблюдался фейерверк? Тогда и жгли. — Абоянцев умел быть жестоким.

Он оглядел застывшие лица:

— Зеркала на вас нет... Мальчишки. Мальчишки и девчонки. Вот так и будете сидеть. Наливайте, Яя, а то мы и забыли, что сегодня у нас праздник, — мы, в таком совершенстве владеющие собой, мы, ни на секунду не выпускающие себя из-под контроля, мы, зазнавшиеся и возомнившие себя готовыми к контакту...

Бутылка пошла по рукам — медленно-медленно. Описав круг, вернулась к Гамалею. Он бережно стряхнул себе в стакан последние гранатовые капли, почтительно водрузил бутылку перед собой и прикрыл глаза.

— Дорогие мои колизьяне,— проговорил он нараспев,— догорают последние сучья костра, и последние ленивые облака, точно зеркальные карпы, отражают своей чешуей голубое сияние чрезмерно стыдливой кемитской луны. Так поднимем последний стакан за тот, может быть, и далекий миг, когда мы, осмеянные и пристыженные сейчас своим дорогим начальством, будем все-таки подняты по тревоге, именно мы, потому что кроме-то нас — некому; за тот далекий день... За тот далекий день, друзья мои!

Стаканы поднялись к серебряному диску неба, раз и навсегда отмеренному им бесплотной твердыней защитной стены.

— Опять про меня забыли! — горестно и дурашливо, как всегда, воскликнула Макася. — Уж хоть бы ты, Самвел, почитал мне стихи, что ли, — я ж вижу, как тебя с самого обеда распирает!

Все засмеялись, и полные горсти смолистых шишек, подброшенных в огонь легкими руками Сирин, выметнули вверх сноп радостных искр.

— Свои читать... или чужие? — замялся Самвел.

Всем было ясно, что ему хочется почитать свое.

— Чужие! — мстительно завопили Диоскуры.

Самвел вскочил, взмахнул невесомыми, сказочными своими руками — и словно два костра полыхали теперь друг напротив друга: один — рыжий, а другой — аспидно-черный.

— Ха-арашо, — выкрикнул он и словно всего себя выдохнул вместе с этим гортанным криком. — Пусть — чужие, но — о нас...

И зазвенел голос — но не его, не Самвела; как на древнем поэтическом поединке, стояла перед ним белейшая Кристина, и, как вызов, звучали строки:

Я, наверное, не права.
Ты мне злые прости слова.
Ты мне радость и боль прости.
Ты домой меня отпусти...

И уже голос Самвела подхватывал, как песню:

Мы смотрели вчера с тобой,
Как змеится Аракс седой,
И его вековая мгла
Между мной и тобой легла.
Близко-близко встал Арарат —
Под закатом снега горят,
Но нельзя подойти к нему
Никому из нас. Никому...

Беззвучно озарилось небо вдоль самого края стены, и еще раз и еще; и вот ракета не ракета, а вроде бы огромная тлеющая шишка, рассыпая тусклые искры, прочертила на небе низкую дугу и канула в черную непрозрачность.

— Опять! — с ужасом вырвалось у кого-то.

Нет, не грубые травяные циновки плели на дворе братьев Вью. И даже не одеяла из шерсти, надерганной из змеинных хвостов. Тончайшие ткани, полупрозрачные, как влажный рыбий пузырь, — вот что было уроком их дома.

А урок — на каждый день по куску ткани, да не меньше, чем на один наплечник.

Может, сжалится кто-нибудь из братьев, возьмет на себя, оставит ее, проворнейшую из ткачих, в родном доме? Десятый день сегодня, как заплачен за нее выкуп, но не пришел Инебел, обманул, не взял в свой дом. Но и жрецы не торопятся к себе прибрать — может, передумали? Куда же ей теперь?

Вью открыла корзиночку, достала свежего, ненабегавшегося паука. Слезы — кап-кап на мохнатую спинку. Вытерла бережно.

Братья, как и положено, сидят плотно, привалившись к стене. Ноги вытянуты, поверх них — циновка плотная. Концы тончайших водяных стеблей — да не просто стеблей, а одной сердцевины чищенной — зажаты в пальцах ног; на других концах петельки. Братья ловко поддевают пальцами эти петельки, строго через одну, поднимают нити, Вью выпускает паука, и он бежит поперек лежащих стеблей, оставляя за собой клейкую толстую паутинку, пока не добежит до конца циновки, где поймают его проворные руки младшенькой Лью. Братья разом опустят петли, перехватят те, что лежали, подымут, тогда Лью выпустит паука, в ладошки хлопнет, чтоб бежал обратно, к старшей в руки.

Хлопотно это, внимания требует великого: и чтоб паучок в сторону не забежал, и чтоб нить не истончилась — сразу другого из корзинок доставай.

Она запустила быстрого живого ткача, хлопнула в ладошки — беги, паучок, беги через белый тростник, паучок, бесконечную нитку не рви, паучок, на ладошке сестры задержишься, паучок, и обратно в корзинку с тугими

лиловыми сытными пчелами боком и скоком на резвых мохнатеньких лапках проворно беги, паучок, мой смешной, толстопузенький, ласковый, мой золотой паучок, ну беги же, беги, ну беги, ну беги...

Золотисто-коричневый мохнатый шарик привычно ткнулся в теплые хозяйские ладони, но они вдруг приоткрылись — беги, паучок, он и побежал к позабытой в неволе зелени придорожных кустов, волоча за собой драгоценную нить паутины. Беги же, беги, паучок...

Крайний брат, младший, неторопливо опустил стебли основы, скупым и расчетливым жестом ударил сестру по лицу. Возгордилась, немочь бледная, дурища змееокая. Нет, чтобы за собственного брата выйти, так на чужедворца позарилась. А вот теперь и выходит, что даром вдоль заборов отиралась, космы свои распатланные на виду всей улицы в арыке полоскала, точно дева божественная, нездешняя. Не по себе кус заметила. Выкупил, да не высватал! И нечего ушами трепыхать, дорогу выслушивать — не стучат шаги. Не надобна! Так и пряди усердно, приглядливо. Урок — по лоскуту на день!

Выполнили. Солнце дневное лишь клониться стало — последняя паутинка под самые петельки пролегла. Младшенькая Лью еще раз промыла камень, отполированный ступнями, теперь на него расстелили клейковатую, пока еще дырчатую ткань. Старый дед, приволакивая то одну, то другую ногу — по настроению, но непременно, чтоб к тяжелой работе не принуждали, — вынес из погреба горшок с настоем коробочек пещерного мха. Сложил пальцы левой руки в шепоть, вместо ногтей — кисти щетинные, точно у маляра. В другой раз от одного такого воспоминания зашло бы сердце, затомилось обидой неправедной, а теперь уж перегорело, перетерпелось. Дед окунул шепоть в медовый настой, старательно окропил свежую ткань. Вью торопливо, чтоб опять не схлопотать за нерадивость, смазала ступни зменным сальцем и вспрыгнула на теплую поверхность утюга. Воздушные переплеты почти невесомой рогожки плюшились, затягивались мельчайшие дырочки, изжелта-коричневатый настой равномерно растекался по всему лоскуту. Как-то старый дед услышал, что младшие переговаривались — гладким бревном-де содручнее было бы ткань раскатывать, глаже, быстрее... Не поленился — исхлестал болтунов своей метелкой-кисточкой. Чтоб неповадно было и в мыслях закон нарушать. Даны Богами руки да ноги — вот ими и усердствуйте...

Словно кипятком по ногам — бабкина пятерня, от постоянной варки да жарки ладонь прокопченная, уж поди и чувствовать-то ничего не может, бабка ее годами не отмачивала... И тоже — попрек:

— Ишь на утюжину взгромоздилась, бесстыдница, юбки не скинувши! Ну как забрызгаешь соком, в чем на люди выйдешь, коли позовут?

Вью перестала топтаться, послушно дернула завязки нижней юбки. Снять не успела — со стороны Храмовища грохнуло, задребезжало, нестройно, не по-утрежнему, отозвалось эхом второго круга... «Нечестивцы» сзывали народ.

Вью прыгнула на землю холодея — страшен дневной неурочный набат!

Мимо дома, вверх по улице, уже бежали люди, сдержанный тревожный гул голосов мешался с торопливыми шлепками босых ступней по раскаленной солнцем дороге. И давно ли сзывали в прошлый раз? Зачастили...

Кто-то из братьев жестко ткнул в спину, и Вью, даже не омыв ног от змеяного сала, выскочила за ограду.

Бежали целыми дворами, прихватывая немощных, но Вью посчастливилось — споткнулась и отстала от своих, так что теперь можно было брести медленно-медленно, оглядываясь — не Инебел ли сзади?

Но семья маляров жила на соседней улице, а сами они, застигнутые набатом возле полузакрашенных заборов, могли прибежать вообще с любой стороны. Неужели и увидеть не суждено? Жрецы все знают, все помнят, никуда ей не спрятаться, везде найдут. И отдадут в самый голодный дом, где перемерли старшие, а голопузеньких малышат — целый двор, и забыли, когда урочную работу выполняли полностью...

Ох, страшно...

До площади так и не дошла — все равно кому-то на спуске стоять, площадь всех не вмещала. Вью перепрыгнула через чистый арык, оперлась плечами о забор — плечи прились как раз на прикрытый жирными темно-синими ресницами выпуклый глаз Спящего Бога. Давно сие рисовали, незамысловато: только глаза и брови, а по низу забора — плоды, подношения, значит. А у Инебела Боги получают совсем как люди, тронь их — раскроют глаза...

Тьфу, тьфу! Богохульство окаянное. Да и Инебел, говорят, последнее время не подлинных, Спящих Богов рисовал, а этих вот... Нездешних. Может, за то Спящие Бо-

ги и разгневались на него, наслали затмение ума, вот и забыл он про невесту свою выкупленную?

На Уступах Молений показались уже первые жрецы, все разодетые — на каждом не меньше пяти одежд: длинные юбки, ленты, передники, набрюшники, наплечники, запястные платки... И все ярче цветов луговых — настоем пещерных ягод крашено. А по улице, тяжело дыша, еще поднимались те, кто мчался по тревожному сигналу с пастбищ, озер и лесных полей. Тяжело вбивая пятки в теплую дорожную пыль, подошли лесоломы — потные, косопалые. А что, если к ним в семью?.. Бр-р-р. Даже сюда долетает запах дурных лесных ягод. А уж руки... Она еще раз искоса глянула на них — и не поверила своим глазам: они жевали! Прямо посреди улицы, при свете дня!

Они стояли посреди дороги, коренастые, наглые; время от времени кто-нибудь из них швырял себе в рот что-то вроде маленького лесного орешка, и нижняя челюсть срамно и плотоядно двигалась — хрум-хрум, — а глаза между тем шныряли вокруг опасливо и зорко. Но никто не стыдил их в голос, соседние отводили взгляд, неловко переминались, но молчали. Вью вдруг спохватилась, что глядит на срам, ойкнула, прикрылась рукой.

И все-таки с середины улицы временами доносилось отчетливое: хрум-хрум...

И вот стогласный хор младших жрецов, бесшумно заполнивших галерею, стройно и пронзительно взметнулся к небу: «Славьте Спящих Богов!»

«Сла-а-а-вим», — несогласно взревела толпа.

Инебел подошел поздно — едва поспел к первому возгласу. Покивал соседям молча — расспрашивать о снах было уже недосуг. Старейший жрец уже выполз на девятую ступень и, воздев руки к небу, обиталищу Спящих Богов, безразлично обвис на руках двух дюжих телохранителей. Те бережно сложили тшедушное тельце на циновку — пока вершатся мелкие дела, в священном сне еще может снизойти божественное откровение.

На вершение малых дел Инебел смотрел вполглаза. Привычное мельтешение наград — рыжие шерстяные подушки, клетчатые покрывала. Отнаграждались, завели новую молитву — жрицы выплыли на третью ступень, все в цветочных гирляндах, с глиняными колокольцами; хоровод водили с закрытыми глазами, не расцепляя рук, — славили Спящих. С прошлого схода в трех дворах хоронили, теперь шла церемония вручения старейшим этих

дворов запечатанных сосудов с Напитком Жизни. Говорят, дух от него медвяный, а вкус горек и жгуч; жена, отведавшая его, засыпает непробудно, и только в таком сне можно зачать нового человека...

А вот и новые человечки — из-под Уступов Молений выпускают матерей с плетеными корзинками. Расступилась толпа — мешкать тут нечего, надо бегом бежать до дому, до теплого садового погреба, чтобы не гневать Спящих Богов писком и плачем. После сумрака каменных сводов, где живут по несколько дней новорожденные, солнечный свет слепит глаза матерям, они бредут, спотыкаясь, пока молодые отцы пробиваются к ним, немилосердно расталкивая толпу, и в такие минуты каждое из этих измученных, осунувшихся женских лиц светится такой беспомощной и прекрасной улыбкой, что каждый раз у Инебела начинается щемить сердце: этой улыбки ему не нарисовать никогда в жизни...

— Наплодили новых работников, слава Спящим Богам, — негромкий, благоречивый голосок за спиной до того насыщен елеем, что никакими силами не распознаешь в нем и тени насмешки или брезгливости. — Теперь помчались рысью по погребам, гадать — то ли своего худорodka им оставили, то ли по благодатьне безмерной заменили на что получше.

Так говорить умели только в доме Аруна. Инебел с досадой обернулся — так и есть, Сиар.

От дурмана сегодняшней ночи, от тяготыны окольных и не всегда понятных разговоров и, наконец, попросту от нестерпимого сосущего голода хотелось сесть в теплую дорожную пыль, обхватить руками звенящую голову и качаться — взад-вперед, взад-вперед...

Инебел тоскливо переступил с ноги на ногу — ему не то, чтобы опуститься на землю, ему и спрятаться, прислониться к чему-нибудь было невозможно, — возвышающийся на целую голову над толпой, он был виден отовсюду, как одинокое дерево над кустарником. И всегда-то ему было зверски неуютно в толпе, а сейчас — и говорить нечего... Он вздохнул, безучастно склонил голову набок и посмотрел сверху вниз на семью таскунов, чьи непомерно длинные, узловатые руки отдыхали, расслабленно покачиваясь где-то ниже колен. И в такт этим ритмичным движениям сдержанно, осторожно двигались челюсти — хам-хам. Хам-хам.

Инебел испуганно обернулся к Сиару — с ума они посходили, что ли? Но младший гончар скорчил постную

мину и показал через плечо на спуск улицы, которая вела прямехонько к Обиталищу Нездешних. Утреннее шафранное солнце уже коснулось гор, и хотя по дальности нельзя было разобрать, чем заняты неслышные и недоступные обитатели серебряного колокола, но по времени можно было догадаться, что они собрались за едальной простыней. Жест Снара красноречиво говорил — если пришлым Богам это дозволено, то нам тем паче следует им подражать...

Снар, почти не отрывая рук от груди, воздел ладони и глаза кверху, а потом выразительно прикрыл веки, как бы почитая Спящих, — маляр понял: над жрецами есть еще и воля Богов. Хм. Но ведь эту волю надо еще суметь прочитать. Не слишком ли самоуверенно берет на себя семейство гончара эту миссию?

Он открыл было рот, чтобы простодушно возразить ему, но в этот момент рука гончара дотянулась до его плеча, цепко сдавила и с неожиданной силой пригнула к земле.

С Уступов долетало тоненькое повизгивание — Нан-высочайший проснулся, сподобившись благодатного откровения. Поддерживающие его жрецы среднего ранга в две глотки ревели, повторяя каждое его слово. Толпе на площади было слышно их отчетливо, но здесь, в начале спуска улиц, хорошо прослушивались только отдельные слова. Начало Инебел пропустил, и поэтому теперь с безмерным удивлением улавливал слова, между которыми было и его собственное имя: «Милость... достойная дочь... Инебел прилежный и богобоязненный... Закрытый Храм...»

Закрытый Храм!

От неожиданности Инебел даже привстал, но тяжелая, словно из сырой глины, рука гончара не пустила его. Закрытый Дом! Он не смел думать о судьбе выкупленной невесты, ему мерещились скрюченные костяные пальцы женщин-змеедоек, и он запрещал себе вспоминать о своем выкупе — иначе хоть с обрыва, да в озеро. А вот теперь его отступничество обернулось милостью несказанной — войти в Храмовище. Только Боги могли нашептать такое. Только справедливые Боги, против которых зачем-то будоражат народ старый Арун и его сыновья.

В толпе уже никто не жевал — все восторженно вопили, хлопали, громыхали и звенели неомоченными, неразмягченными ладонями. Кто-то начал самозабвенно

бить поклоны, и в периодически открывающемся просвете Инебел увидел самый нижний уступ, на черном шероховатом камне которого белела скорбная фигурка светловолосой девушки. Шесть желтокрылых жриц в безглазых масках на ощупь снимали с нее одежды и бросали вниз, столпившемуся у подножия пирамиды семейству ткачей. Два жреца, здоровенные верзилы ростом чуть не с Инебела, притащили с галереи узкогорлый кувшин и облили девушку маслянистой жидкостью, от которой волосы и тело сразу почернели и засветились серебристо-голубым мерцающим светом, — толпа завопила еще восторженнее. Теперь стало заметно, что дневное солнце село, а вечернее набирало силу слабовато, подернутое влажной дымкой. На зловещих Уступах Молений вспыхнули чаши с черной горючей водой, хотя к ним никто не подносил факела. Инебел скривился — не иначе как незаметно для зрителей порхали от чаши к чаше крошечные раскаленные угольки, движимые нерукоизъявленной силой мысленного приказа. За такое подлому люду полагалось отрубание рук (хотя по смыслу-то надо было головы), а вот Неусыпным, выходит, можно было все. На то и Неусыпные...

Толпа на площади раздалась, освобождая пространство возле Уступов, так что пришлось попятиться еще ниже по спуску меж арыками — начинались священные пляски. Уже на черных матовых платформах, взгроможденных одна на другую, появились шесты с масками спящих зверей и гадов. Тупые концы шестов дробно застучали по камню, отбивая ритм, и гнусаво зазвучали натянутые змеиные жилы. Самый тучный из жрецов, скинув наплечники, пошел семенящими шажками, выворачивая наружу ступни и подрагивая складками жира на животе. На площади затоптались, затряслись, вверх прынула неостывшая пыль. Особенно усердствовало семейство ткача — под самыми Уступами Молений мелькали не только воздетые ввысь трепещущие руки, но и ступни ног. Рыжие, как дольки утреннего солнца, мечущиеся огни уже не освещали, а только вносили большую путаницу в пестрое круговерчение танцующих на черных плитах жрецов; площадь же, пристуженная ровным голубовато-серебристым светом, неистовствовала только возле самих Уступов. Подальше, к началу улиц, уже не вертелись волчком и не ходили на голове, а лишь подпрыгивали, конвульсивно вздергивая острые коленки к подбородку и звонко хлопая сухими безмясыми ладонями под ногой.

На спусках улиц усердствовали и того менее — переминались и воздевали руки. Снар переваливался с боку на бок, очевидно передразнивая толстомясого жреца; мотал головой. Толпившиеся вокруг него таскуны, змеепасы и травостриги, привычно вставшие в усердие, внезапно оглядывались на него и, подавив смех, сучили ногами уже далеко не так проворно. Шагах в тридцати, правее, у самой ограды, степенно перебирал ногами сам Арун — не придерешься, стар, но усерден, и веки богобоязненно опущены. Но кольцо лесоломов и рыбаков вокруг него нет-нет да и принималось жевать и хрумкать и рвения в священных танцах отнюдь не проявляло.

И главное — всюду монотонно двигались челюсти.

Инебел всегда танцевал с увлечением. Его гибкое, туго перехваченное передником тело требовало подвижности, но ежедневная маята перед небольшим отрезком забора не утоляла, а только разжигала эту жажду. Поэтому он радовался этим редким часам ритуальных танцев, и только сегодня, усталый и раздраженный, танцевал вяло и без души, косо поглядывая на Аруна с Снаром.

А ведь сами они не жуют, вдруг отметил маляр. Они не жуют, зато все, кто это делает, — вокруг них. Почему?

И потом, действительно, что за тупые рожи! Почему Арун, из-под чьих рук являются на свет стройные, изящные кувшины и чаши, подобные чуть приоткрывшимся тюльпанам, и глиняные коробочки, звонкие, как головки мака, почему он окружает себя этими скотоподобными таскунами, этими увертливыми рыбаками, этими непристойно подрагивающими собирателями дурманных трав? Неужели в нем не вызывают брезгливости их косноязычие, кретинизм и извращенность? Почему? Ну почему?

А может, только потому, что другие не подчиняются, не глядят заносливо в рот, не ловят легчайшего намека, чтобы ринуться исполнять? Может, потому сам Арун и не тешит Нечестивого, не жует прилюдно, что совсем не сладко ему нарушать закон — ему любо то, что по одному движению его круглых глазок это бросаются делать другие?

Инебел опустил ресницы, пытаясь представить себе, что бы он сам почувствовал, если бы его каприз послушно выполнила толпа. Скажем, не руками малярничать, а ногами — ногой ведь тоже мазать заборы можно... Что-то не получилось у него с такой картиной. Стыдно стало и смешно, потому как почудилась ему

вокруг стоя синехух обезьянок. Он передернул спиной — да что же это, в наваждении нечестивом забыл, что кругом танцуют, так недолго и семью без прокорма оставить!

Сбоку возник ядовитый шепоток: «Не умайся, плясками прислуживаясь!» Снар. Щелочки зеленых, совсем не отцовских глаз и шепот с присвистом, и тупые рожи толсторуких лесоломов, ослабившихся как по команде. Инебел так и вскинулся, словно глумливые насмешки стегнули его по спине ядовитыми щупальцами озерной медузы-стрекишницы.

Но тотчас же Арун обратил к сыну недоуменно-укоризненное лицо, округлой, как каравай, спиной учуяв происходящее. Во взгляде была непонятная Инебелу многозначительность.

Усмешки как водой смыло. Инебел двинулся к Аруну, не очень-то соображая, что сейчас произойдет, но дымные огни разом угасли, жрецы с масками на шестах попадали ниц, стремительно отрастающими ногтями вцепляясь в кромку Уступов, чтобы не сверзиться с высоты, а справа и слева от Неусыпнейшего Восгиспа забили фонтаны искрящихся белых огней.

— Смерть богоотступнику! — завопил он что было мочи, поднимая старческие костяные кулачки, и это было единственное, что услышала замершая площадь.

Дальше действие снова пошло по отработанному ритуалу: Восгисп шепелявил, не утомляя святейшую глотку, зато стоявшие рядом дружно ревели во всю мощь натренированных легких, так что утробным гулом отзывались «нечестивцы» в близлежащих домах.

Теперь каждая фраза, отделенная от предыдущей бесшумным бормотанием Восгиспа, четко врезалась в слух каждого внимающего, распростертого перед Закрытым Домом:

— Да погибнет сокрывший тайну!.. Тот, кто уже лишен имени, познал сокрытое и промолчал!..

Если он промолчал, то откуда же известно, что он эту тайну действительно узнал? Можно было пройти мимо и просто не заметить. Неприметных тайн кругом — что сверчков в траве.

— Но справедливые Боги открыли эту тайну тому, чье имя — Воспевающий Гимны Спящим!..

Инебел осторожно приподнял голову, зорко взгляделся в лица гласящих. Так и есть, ему не показалось — младшие жрецы забегают вперед, громко выкрикивая слова,

еще не произнесенные старейшим. Но ведь им-то Боги не являли своей милости...

— А тайна сокрыта в том, что Обиталище Нездешних — не есть явь, а есть только сон!.. Неприкасаемый, бесшумный и непахучий, этот сон истинных Богов дарован нам за послушание и усердие!.. От непонятия дивились мы светлому Обиталищу, но чудо сна в том и состоит, что в сновидении все допущено, все разрешается, и смотреть его надобно не поучаясь и без вожеления!.. Вот в чем тайна, и укрывший ее да умрет без погребения!

Глухо застучали пятки, и снизу, перепрыгивая через лежащие ничком тела, заторопились храмовые скоки, тащившие на плечах глиняную «хоронушку» осужденного. Добежали до нижней ступени и с размаху брякнули о нее то, что было когда-то колыбелью, потом всю жизнь служило забавой, а после смерти должно было стать прикрытием от влажной, липкой земли. Инебел не удержался, глянул зорким оком — в белом брызжущем пламени виднелась груда сухой глины с убогими травинками, когда-то вмазанными в нее. Не хитер был сокрывший тайну, не изощрен разумом. Да вот и он. Вытащили его откуда-то из-под нижней плиты, шмякнули мордой в разбитую «хоронушку» — вместо приговора. Поволокли наверх, по маленьким ступенькам, почти не видимым снизу на черных громадах каменных шершавых плит. Восгисп шарахнулся от него, как от нечестивого, воздел руки — скоки замерли, застыла толпа.

— Приходит жизнь и уходит жизнь, как приходит сон и уходит сон! — высочайшим, срывающимся голосом завопил старейший, и крик этот был слышен далеко по спуску улиц.

Приходит сон и уходит сон...

На Инебела накатил холод, словно его кинули в ледяную пещеру. Почему раньше ему никогда не приходило в голову, что сон, который начался, обязательно должен и кончиться? И пусть Светлое Обиталище — явь, но ведь и явь, возникающая однажды, не бесконечна. Придет и уйдет.

Чувствуя, как липнет наплечник к холодной взмокшей спине, он повернулся и с затаенным ужасом посмотрел назад, где ровная полоска улицы тихо катилась вниз, в поля. Студенистый колпак мерцал неизменным ровным светом, но что-то уже сдвинулось, переместилось или исчезло. Только вот — что? Отсюда не видно. И огонь... рыжий, живой костер, так непохожий на светящихся гусе-

ниц, приклеившихся по потолку Открытого Дома Нездешних Богов. Что-то определенно переменялось. И не есть ли это началом исчезновения?...

Снар протянул руку, ткнул небольшо в бок — гляди, мол, куда положено. А положено было глядеть на черную пирамиду, по которой взбирались вверх скоки, обремененные обвисшим телом приговоренного. Один ослепительный белый факел освещал им дорогу, другой подымался чуть погодя, сопровождая стройную жрицу, несшую над головой полную чашу упокойного питья. Тех, кто держал факелы, видно не было — закутанные с ног до головы в черное, они сливались с чернотой камня, и казалось, что брызжащие светом трескучие шары возносятся вверх сами собой. На верхней площадке пленник обернулся, и стало отчетливо видно его круглое безбровое лицо. С тупой тоской осужденный раскачивал головой, и казалось, он вот-вот вззоет, обернувшись к голубому вечернему солнцу. Но хранительница чаши поднесла питье, и скоки толкнули пленника — ну же, так-то будет лучше. Он взялся за чашу, прильнул к краю и начал пить — медленными глотками, все так же раскачиваясь из стороны в сторону. Инебел знал, что тому, кто не пьет добровольно, скоки вливают питье насильно — вершина слишком высока, Спящие Боги отдыхают где-то поблизости, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы вопль ужаса и отчаянья потревожил их священный покой.

Дальше, как всегда, все было очень быстро: пленника, даже не связав, опрокинули на груды мешков (еда и благоговения — дар Богам), два факела воткнулись в рыхлую груды — и костер запылал. С оглушительным треском рванулись вверх ритуальные летучие огни, а вниз, скатываясь по ступеням, низвергся такой смрад горелой тухлятины, что толпа, не дожидаясь конца жертвоприношения, ринулась по домам.

Инебел, топтавшийся в задних рядах, теперь оказался в выигрыше — он быстрее всех мог очутиться дома, возле едальни с притушенным по набату очагом. Хорошо, с утра уже поставлены горшки с мучнистыми кореньями, которым большого жара не надо — в теплой золе они как раз допели. И еще творог вчерашний...

Нет, положительно околдовал его старый Арун своей ягодой — с полудня одни срамные мысли в голове и сосание под ребрами. За спиной — костер, человек горит заживо, а на уме одна еда... Уж не потчует ли он этим

зельем всех своих блюдолизов? То-то стыд потеряли, что посреди улицы жевать начали...

И словно в ответ на это воспоминание — легкий щипок за локоть. Арун! Это надо ж, при его коротеньких колесообразных ножках — догнать маляра, которого еще в детстве прозвали «ходуль-не-надо».

— Достоин и благостно внимать Неусыпным, пекущимся о пастве нерадивой! — сладко завел горшечник, с трудом лоя воздух от быстрой ходьбы. — Не воспарим и не возомним, а исполним веление, кое изречено было внятно и всеплощадно, — «смотреть без вожделения и не поучаясь!» А коли велено нам, то пойдем и посмотрим.

Инебел невольно сдержал шаг, искоса поглядывая на словоохотливого гончара. Ишь как распинается посреди улицы! И не заподозришь, что ночью, возле собственной едальни, в кругу презрительно усмехающихся сыновей и этих рыбаков-тугодумов с отвисшими челюстями уминают сокрытое от жрецов.

И вдруг до Инебела дошел смысл сказанного: Арун звал его за черту города, к Светлому Обиталищу. Видно, после того, что произошло вчера, не доверял гончар даже стенам собственной глинобитной ограды.

Остальную часть пути, до самого конца улицы, прошагали молча. Кажущаяся легкость, с которой Инебел нес свое худощавое тело, давалась ему через силу. Оступляющий голод и нескончаемый круговорот непривычных, свербящих мыслей довели его до изнеможения. Рядом с ним румяный, благообразный Арун выглядел праздничным сдобным колобком. Он быстро катился вниз по улице, сложив ручки под передником и придерживая ими складки круглого животика. Улица наконец оборвалась, разбегаясь множеством полевых тропинок. Те, что ныряли под невидимую стену Обиталища, уже изрядно поросли травой. Арун круто забрал вправо, огибая светлый колокол, но не подходя к нему до разумной близости. Теперь Нездешние оказались совсем близко; не будь стены — сюда долетали бы искры от их костра.

— Щедро жгут, — не то с завистью, не то с укоризной проворчал горшечник. — На таком огне три обеда сготовить можно, а они, глядь, и не жарят, и не пекут. Боги!

Он выбрал пригорок повыше, чтоб гадье не очень лезло на человечье тепло, присел. Жестом пригласил маляра опуститься рядом.

— Вот и посмотрим, благо велено! — уже своим, обычным и далеко не елейным голосом проговорил Арун.

Юноша присел, подтянул колени к груди, положил на них подбородок. Смотрел, насупясь. Смотреть ему было тяжело. В тесном кружке Нездешних, расположившихся возле костра, было какое-то неизъяснимое согласие, словно они пели хором удивительной красоты гимн, который ему, Инебелу, не дано было даже услышать. А когда кто-нибудь из них наклонялся или, тем паче, касался той, что была всех светлее, всех воздушнее, и которой он не смел даже придумать имени, — тогда Инебелу казалось, что скрюченные костяные пальцы вязальцев вытягивают из него сердце вместе с печенью.

— Ну? — спросил, наконец, Арун.

Инебел неопределенно повел плечами:

— Грех смотреть, когда чужой дом пищу творит. Черные куски на блестящих прутьях — это мясо.

— Мясо, как и кровь, красно, — досадливо возразил гончар. — Мясо красно, мед желтоват, зерно бело. На прутках — благовония: нагревши, подносят к устам, но не едят, а нюхают. Незорок глаз твой. Но я сейчас не о том.

Он еще некоторое время безучастно наблюдал, широко раскрыв свои круглые, как винные ягоды, глазки, потом обернулся к Инебелу и, глядя на него в упор, спросил:

— Значит, исчезнут?..

Инебела даже шатнуло, хорошо — сидел. Не было у него ничего больнее и сокровеннее.

— Боюсь... — Он уже говорил все, что думает — не было смысла скрывать. — Боюсь больше смерти.

— Так, — сказал Арун. — Думаешь, сейчас?

Инебел только крепче прижал колени к груди — ну, не бросаться же на стену! Пробовал, головой бился — бесполезно. Стена отталкивала упруго и даже бережно — чужой боли, как видно, им не надобно... Так и улетят себе, так и провалятся сквозь землю, так и растают туманом предутренним; никого не обогрели, никого не обожгли — точно солнышко вечернее.

— Нет! — вырвалось у него. — Нет, только не сейчас!

— Да? — деловито спросил Арун. — А почему?

— Спокойны они, несуетливы.

— Хм... И то верно. А может, еще засуетятся?

Он поерзал круглым задком, устраиваясь поудобнее, наклонился к Инебелу и шепотом, словно Нездешние могли услышать, доверительно сообщил:

— Никак мне нельзя, чтоб они сейчас исчезали!

Инебел быстро глянул на него, но Арун больше ничего не сказал. Порывшись в двухслойном переднике, он бережно вынул громадный, хорошо пропеченный пласт рыбной запеканки. Могучее чрево горшечника, к которому она была прижата весь вечер, не дало ей остынуть, и из трещин на корочке резко бил запах болотного чеснока. Инебел принял свою половину безбоязненно — присутствие жующего Аруна больше его не смущало.

А за стеной, вокруг костра, тоже ели — снимали с блестящих веточек темные куски, отправляли их в рот, запивали из гладких черных кувшинов. Рукитирали о белые лоскуты — богато жили... Прав, выходит, был маляр.

Арун, увидев сие, изумился, суетливо выгнул и без того круглые брови. Удивительный был сегодня Арун, и учителем не хотелось его называть. Но назавтра его непонятная тревога минет, и снова станет он холодным и насмешливым, словно болотный гад-хохотун.

— На сына обиделся, — вдруг без всякой связи с предыдущим заметил гончар. — И правильно сделал. Занесся малость мой Сиар. Того не считает, что ему до тебя — как вечернему солнцу до утреннего.

Теперь настала очередь удивиться Инебелу — уж кто-то, а он-то знал, кто подначивал Сиара. Но виду не подал, словно пропустил мимо ушей слова Аруна.

— Ты вот и на меня косо стал поглядывать, — продолжал тот, — а того в разумение не берешь, что ежели помоему выйдет, то ведь новая жизнь начнется, но-ва-я! По законам новым, праведным. Ты вот сколько отработал, пока жрец верховный тебе бирку выкупную не снял? Год, небось? Пока спину гнул, разлюбить успел. Да не обижайся, я тебе не Сиар, на меня не надо. Я думаю, когда говорю. Много думаю, мальчик ты мой несмышленный. И о тебе тоже.

— Обо мне? — безучастно отозвался Инебел.

— О тебе. У меня большой дом, много взрослых сыновей. Что до чужих — отбою нет, сам видал. И все-таки мне очень хотелось бы, чтобы ты был со мной. Именно ты.

— Почему?

— Ты — сила, — просто сказал Арун.

— И на что тебе моя сила?

Снова заструился, зажурчал медоносный голосок. Жены с чужих дворов, детишки без счету — много ли детенышу на прокорм надобно? Самую малость. Пока мал,

разумеется. А потом все больше да больше. А когда их орава...

Инебел заворуженно кивал, и только где-то в глубине изредка начинало шевелиться недоумение — действительно, во всех домах людей вроде бы и поровну, но там и стар, и млад. А вот у Аруна дряхлые да бесполезные почему-то не заживаются, хлеб у малых не отнимают. Да и детишки не так уж на шее висят, все к делу приспособлены — кто глину носит, кто месит. И что это нынче гончар прибудняется, на что ему жаловаться?

Но Арун не жаловался. Он упрямо гнул какую-то свою линию, только Инебелу сил доставало за гончаровой мыслью угнаться. Сонмище Нездешних плыло перед глазами в лиловом дыму костра, и белое платье светилось нераскрывшейся кувшинкой...

— Ты говоришь, живые «нечестивцы» в обиталище светлом зарю возглашают? — продолжал Арун. — Ну, ну... Я бы на месте Неусыпных наших так не радовался. Живые «нечестивцы» ведь и вправду могут новый закон объявить. И начнет город расти, улицы длиться, дома возводиться, чтобы всем было от нового закона вольготно и весело. Воды маловато? Озеро рядом. Голодно? А кто это сказал? Вон, на каждом всесожжении — мешок на мешке, и все уже сгнившее, перепрелое. Закрытый Дом от запасов ломится. Это от пригородных пастбищ. А ежели деревья под корень ломать, а не одни только ветки, да корни огнем жидким вытравить, да землю из-под пожараща разделать — это по всему лесу таких новых полей да пастбищ поразвести можно, два города прокормишь! И мыследейство не запрещать, почему это оно Богам не угодно? Очень даже угодно. Одаряют же они этим даром одних только избранных! Вон два рыболова, один лесолом, травостригов три или четыре наберется; Инебел щедрее всех одарен...

Арун все говорил и говорил, и возражал самому себе, и спорил сам с собой, да еще изредка кивал кругленьким жирным подбородочком на собравшихся в тесный кружок Нездешних Богов, словно одно их присутствие было неоспоримым доказательством его правоты. Пухлые его пальчики, сложенные в неизменное колечко, порхали где-то на уровне груди Инебела и лишь изредка замирали, чтобы стремительно нырнуть вниз и склонуть с передника липкую крошку рыбной запеканки.

— А когда закон новый повсеместно установится, — продолжал горшечник, впервые на памяти Инебела вы-

прямяясь и теряя свою неременную округлость, — то ввести повинование все-не-ременнейшее! За лень в работе, а тем паче за сотворение и применение чужих рук — на святожарище, и не-мед-лен-но!!!

— Это еще почему? — встрепенулся Инебел, припоминая только что обещанные веселие и вольготность. — Если уж дозволять мыследейство, то почему же запрещать ту блестящую зубастую полосу, которой Нездешние могут перепилить пополам такое дерево, которое целому двору лесоломов не подгрызть и за десять раз по десять дней?

Арун ощерился и подпрыгнул, словно у него под мягким задком вместо муравчатого пригорка оказался лесной игольчатый гад:

— Что Богам положено, того хамью не лапаты!!! — И, увидев, как отшатнулся маляр, ворчливо разъяснил: — Порядка же не станет, глупый ты мальчик. Ежели на каждом дворе будет вдоволь любых рук, то каждая семья для себя и дров нарежет, и рыб накопит, и тряпья всякого запасет. Для себя! И спрашивается, понесут они что в Закрытый Дом? Сомневаюсь.

— А кара божья?

— Кара... Когда всего вдосталь, не очень-то кары божно. Да всех и не покараешь. Закон, он на том и держится, что по нему всю работу сдай, а разной еды да одежды получи. Думаешь, в новом-то законе по-другому будет? Как же, закон ведь это, а не глупость хамская. Тем и мудр закон, что каждый двор одно дело делает, ком прокормиться не может. Ни даже рыбак — одной рыбой, ни плодонос — одними лесными паданцами. Понял?

Это был уже прежний, высокомерный и многомудрый Арун.

— Не понял, — кротко сказал Инебел. — Не понял я, учитель, зачем мне тогда этот новый закон?

Тут уж Арун взвился, словно огонь летучий над Уступами Молений:

— Да чтоб не жить во лжи, как в дерьме, как гад ползучий — в тине озерной! Чтоб работать вольно и радостно за сладкий и сытный кусок, съедаемый без страха и срама! Чтоб не молиться ложным Богам, почитая более всего сон бесплотный, ибо сны и без того даны нам от рождения и до смерти, как дан нам ветер для дыхания и солнце утреннее для прозрения после ночи. Не сон, но хлеб — вот истинность новой веры, нового закона! Свя-

тую истину принесли нам Нездешние Боги, и отринуть нам надобно старых Богов, коих никто и не видел, если уж честно признаться. Зато вот они — настоящие: трижды в день садятся они за трапезу всей семьей, и не на землю — вокруг ложа, застеленного покрывом многоклетчатым. Как же твой зоркий глаз искуснейшего маляра не разглядел истины? А глядел-то ты подолгу... Вот и теперь гляди, когда я просветил тебя, только молчи до поры, чтобы голову свою побережь...

Гляди... А как глядеть, если глаза жжет, словно и не за стеной нерушимой горит-полыхает костер, а вот тут, под ногами, и едкая копоть застилает взор? Верить... Да как тут верить, если не до нее, не до веры, верить ведь надо разумом, а разум мутится, и нет никакого ветра, дарованного нам от рождения, и дышать уже нечем — да что там дышать, нечем жить.

Потому что стоят у костра двое, и просвечивает огонь сквозь ее белые одежды, словно утреннее солнце — сквозь лепестки пещерного ледяного цветка; а напротив нее, не дальше руки, — тот, что чернее ступеней ночного храма, тот, что ровня ей и родня, потому что они — из одного дома.

Тот, который без выкупа может взять ее...

— Гляди пристально, маляр, и молчи крепко, ибо не живой «нечестивец» возгласит новую веру — это сделаю я, Арун-горшечник!.. Когда время придет.

13

—...«Рогнеда», «Рогнеда»... Ларломыкин, тебя ли я зрю?

— Меня. А что?

— Поперек себя шире и в полосочку.

— И у меня рябит, это лунища проклятая какую-то нечисть генерирует, пока она не скроется, хоть на связь не выходи.

— Ну и не выходи. У меня самого дел по горло. Пакет информации с Большой Земли мне перекинул?

— А как же, минут десять тому. Глянь в распечатник, твои двойняхи — никак не разберу, кто из них кто — наверняка уже туда свертку запустили.

— А. Благодарствую. И не смею дольше задерживать.

— Да постой ты, Салтан, в самом деле... Ни к черту у тебя нервишки. Обратился бы к своему чернокнижнику,

пусть он малость пошаманит, подкорректирует твоё поле, что ли.

— Субординация не позволяет. Я есмь непогрешен. Для полного вхождения в образ халат какой-то дурацкий напялил, бородавку свою тибетскую лелею. Окружающих впечатляет.

— Даже меня. Как вчера отпраздновали?

— Ничего, благодарствую. Мокасева моя — ах, что за душа человек! Так бы и женился на ней, голубушке...

— Да, у этой и не проголодаешься, и не соскучишься. За чем же дело стало?

— За той же субординацией. Экспедиция, сам понимаешь, на каком положении, каждый шаг на виду — снизу кемиты, сверху твоя милость.

— Ну, достославный Коллизей со всеми его секретами не очень-то нас интересует. Если и за вами приглядывать — ещё одну «Рогнеду» подвешивать нужно. А что до субординации, то вот вернетесь на базу — тут ты ей больше и не начальник. Да меня не позабудь в сваты.

— Тебя забудешь!

В разговоре наметилась едва уловимая пауза.

— Что стряслось, Кантемир? — быстро и очень серьёзно спросил Абоянцев, разом теряя традиционный шутовской тон, позволявший им коротать вечерние свободные часы.

— Решительно ничего, Салтан, слава Спящим Богам!

— Выкладывай, выкладывай! Ты же непосредственно общаешься с базой, не то что я, питающийся протокольными цидульками. Кто у тебя там на прямом контакте? Чеслав Леферри? Ты ж его по экспедиции на Камшилку знал, так что коридорно-кулуарной информации у тебя — сухогруз и маленькая ракетка.

— Да на кой тебе эти сплетни, владетельный хан кемитский? Почитай развертку, вон она у тебя в накопителе парится, а потом и поговорим.

— Кантемир!!!

— Что — Кантемир? С завтрашнего дня начинается непосредственная трансляция из города аж по шестнадцати каналам. До сих пор вся видеосолянка поступала на «Рогнеду», и я с мальчиками до одури сортировал все по темам, отжимал воду и в виде концентратов спускал тебе обратно. Так вот, кончилась вам эта сладкая жизнь. Теперь сами выбирайте — улицы, дворы, ну и этот тараканник... как его... Закрытый Дом. Адаптируйтесь на здоровье.

— Кантемир, это же...

— Ну, подарок судьбы или Совета, как тебе больше нравится.

— Да ты ничего не понял! Это же помилование, Кантемирушка, ведь если бы нас решили эвакуировать, то ни о каких трансляциях и речи не было бы! Фу, две горы с плеч...

— С половиной. Потому как из сугубо конфиденциальных источников — учти — никому! — стало известно, что появился седьмой вариант: если ваше пребывание здесь будет признано неперспективным, то весь Колизей с чадами и домочадцами не вернут на Большую Землю, а перебазируют в район Вертолетной. Для вас, собственно, и разницы никакой — трансляция будет вестись из того же города, вы ж его напрямую и не видели.

— Ну, это ты несерьезно, Кантемир. У меня ж какое хозяйство: одни грядки чего стоят, насквозь Кристинины-ми слезами промочены! Родничок славный, чистый... А что, уже есть решение?

— Ну что ты, Салтан, как ребенок, в самом деле! Разве без тебя будут это решать? Ты, Гамалей, Аделаида — вы еще назаседаетесь, надискутируетесь. Тошно станет. Но пока даже им — ни гу-гу. Все пока на уровне мнений.

— Чьих мнений? Тебе не кажется, что наше мнение нужно было выслушать в первую очередь?

— Не кажется ли — мне?

— Да,— сказал Абоянцев,— это я уже малость того... От огорчения. Ты прости, Кантемир. Я понимаю, что ты-то ничего не решаешь. Но и ты меня пойми, ведь это моя последняя экспедиция! Я же старик, Кантемир, меня больше не пошлют. Та-Кемт — это мое последнее...

— Не срамись, Салтан. Во-первых, ничего не решено, а во-вторых, вернешься на базу, будешь заведовать Объединенным институтом истории и развития Та-Кемта, со всеми его мыследеями и летаргическими богами. Самое стариковское дело. Завидую. Мне вот института не предложат.

— Я тебя замом возьму,— сказал Абоянцев с наигранной веселостью — ему уже было стыдно.— Зам по сбору информации на высших инстанциях — звучит?

— Да уж говорил бы попросту: зам по сплетням. Но я и от такой должности не откажусь. Все лучше, чем совсем без дела. Никогда не думал, что это так страшно — стать стариком...

— Полно, полно, Кантемирушка. Оба мы старые хрычи. Так что непонятно, чего жалче — себя ли, или вот Колизея, последнего моего дома небесного... — Он погладил сухонькими пальцами стекло экрана, и оно отозвалось легким потрескиванием. — Выходит, провалиться ему, бедолаге, под землю, как граду Китежу.

— Китеж под воду ушел, не путай.

— А, склероз. Другой был город какой-то, не наш Китеж. Мне Гамалей рассказывал. Целый город, провалившийся со всеми обитателями. Да еще и в пасхальную ночь, под звон колоколов. Как бишь его... Не помню. Ничего не помню. И помнить не хочу. Свернуть экспедицию! И какую экспедицию! Кантемир, твой голос в Совете все-таки один из решающих — ты что, тоже считаешь продолжение эксперимента бесперспективным?

— Напротив. Перспективы налицо. Ты не дослушал. Только... Перспективы-то совсем не те, на которые мы рассчитывали. То есть мы предусматривали вариант религиозной распри, ты же помнишь, Роборовский предупреждал... Но все-таки хотелось, чтобы это было побочным эффектом, а не единственным следствием нашего контакта.

— Постой, постой! Я регулярно прослушиваю чуть не половину всех записей, которые вы мне спускаете, и ни разу не уловил даже намеков на какую-либо ересь. Для возникновения нового религиозного течения требуется немало времени...

— Положим! Кто-то в свое время заметил, что для подобной операции Лютеру понадобилась всего одна чернильница и одна стопка бумаги — долго ли умеючи? Правда, кемиты — городские кемиты, не храмовые — сплошь безграмотны, да к тому же и фантастически инертны.

— Ну, батюшка мой, жреческая флегматичность тоже потрясающая, это я тебе говорю как крупный профан в истории всех религий. Будь это на нашей Земле, такой религии щелчка было бы довольно! Но где он, этот щелчок?

— Есть, есть, Салтан. Ты или пропустил, или еще руки не дошли. Мы тут выудили серию прелестнейших диалогов, естественно, пока это легчайшие намеки, так сказать, прелюдия кемитского кальвинизма. Но какая первозданная чистота, какой классический примитив: долой Богодухов дрыхнувших — да здравствуют Боги жующие!

— То есть мы, грешные, с нашим трехразовым питанием по самому скромному экспедиционному рациону?

Бывают в жизни злые шутки, но представить себе нашу полупрозрачную Кристину в роли богини обжорства... Это несерьезно, Кантемир.

— У твоей Кристины здоровый детский аппетит, как следует из Аделаидиных сводок. Но когда Сэр Найджел везет на стилизованной таратайке гору дымящихся антрекотов, тебе непременно хочется, чтобы взирающие с благоговением кемиты тут же взяли на вооружение колесо от таратайки. А они — дети природы, они предпочитают антрекот!

— Согласен на антрекот, но почему бы им не заинтересоваться заодно ножом и вилкой? С ножом можно съесть два антрекота!

— Излишества не в ходу у примитивных религий, к тому же кемиты за считанные минуты отращивают себе стальные когти, с такими когтями можно, во-первых, вырвать у ближнего своего, а затем удержать и три антрекота, а это важнее. Так что с орудиями производства мы сели в основательную лужу, Салтан свет Абдикович, и это не кулуарные мнения — это факт.

— Но ведь не могли же мы, в самом деле, навязать им ту или иную альтернативу? Мы должны были сдвинуть их с мертвой точки, вышибить их из этого проклятого социостазиса, предложить им выбор, в конце концов, ведь такова была изначальная задача?..

— Знаешь, Салтан, чем больше ты сейчас впадаешь в панику, тем основательнее я успокаиваюсь. А то уж я было начал себя казнить, что выболтал тебе все сплетни, роящиеся вокруг Совета по контактам. А теперь вижу — все правильно. Потому что если бы ты вот так же начал паниковать при всем честном народе, это было бы, как говорят кемиты при виде жующих, «срамно и постыдно»!

— То ли еще будет, Кантемир, то ли еще будет! Когда узнают мои ребята, Самвел, Кшися, двойняхи эти оголтелые, что нас собираются перебрасывать...

— Ну-ну, не такие уж они дети малые, неразумные, какими представляются тебе в отеческих твоих заботах. Знали они, на что идут. И что могут их отсюда убрать не то что через год — на третий день, землицы не понюхав и воды не испив, тоже знали. А крепче всего они знали первый постулат дальнепланетчиков: при контакте с менее развитой цивилизацией ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МИНИМАЛЬНЫМ.

— Минимальное воздействие и хреновый эффект...

А может, надо было воздействовать чуточку посильнее? Ведь какие возможности открывались перед кемитами, неужели ты для себя не проигрывал эти варианты, а, Кантемир? Прирожденные экспериментаторы, с их-то руками, с их неприхотливостью и дисциплиной — за считанные десятилетия они могли бы снова заселить все земли средних широт, откуда они откочевали на экватор, образовать единое государство, перескочив сразу через несколько социально-экономических формаций...

— Как кенгуру. Да, они могли. Но выбрали другое — полуголодное существование, молитвы, сны. Сами выбрали свой путь.

— И опять жрецы, пирамиды, жертвоприношения, мракобесие, инквизиция...

— Да, но если нам удастся снять ограничение рождаемости, можно считать, что мы уже наполовину спасли это сонное царство.

— Знаешь, голубчик, мне от этой уверенности как-то не легче. О! Видимость улучшается — луна зашла. Пора проветриваться.

— В каком смысле?

— В прямом. Хотя, если нас перебазируют, то какой смысл?

— В том, чтобы стоять до конца, всегда есть если не смысл, то хотя бы какая-то прелесть...

— Вот-вот. Так что я пошел — стоять до конца. Как обелиск.

14

Что-то ткнулось прямо в ноздрю, зашекотало, — Инебел сморщился, сдавленно чихнул и потер тыльной стороной зудящую верхнюю губу. Едва слышно шелкнуло, в нос проник отчетливый медовый запах. Видно, запоздалый муракиш-медонос тащил свою крошечную восковую коробочку, да на пути его, как гора, разлегся человек — ни обежать, ни перепрыгнуть с полной ношей. Сам муракиш отпрыгнул, а мед липкой смолкой размазался над верхней губой, чихай теперь до самого расцвета...

Инебел приподнялся на локте. Вечернее солнце уже зашло за гадючий лес, и в непроглядной тьме невозможно было различить, где кончаются последние купы его развесистых деревьев, а где начинается рахитичная поросль окраинных городских садов. Впрочем, города отсю-

да и не должно было быть видно, но не светилось и Обиталище Нездешних, черной неживой громадой угадывающееся посреди кочковатого лугового пастбища, с которого тянуло дурманом вечерних фиалок.

А может, там уже ничего и нет? Растаяло, ушло в зыбкую трясину? Отсветилось, отмерцало беззвучным сном?

Потому он и не ушел, потому и отстал от Аруна — не смог запереться в уютном, занавешенном со всех сторон покое. И так изболелось сердце, а еще всю ночь маяться, что проспал часы, когда можно было насмотреться-напечатлеться...

Он долго глядел, пританчившись в луговом ковыле, как тихо угасают, засыпая, светящиеся голубые гусеницы, прилепившиеся под кровлями верхних гнезд. В пещерах он не раз находил похожих светляков-ползунов, но те были не длиннее полупальца и при звуке шагов свертывались в колечко и гасли. Инебел положил подбородок на сцепленные пальцы, приготовясь подстеречь тот момент, когда все Обиталище погрузится во мрак — и вдруг заснул.

Проснулся он, как ему показалось, тотчас же, но ни одного огонька-светляка не теплилось уже в переходах и гнездах Открытого Дома. Он мучительно вглядывался в темноту, пытаясь представить себе, где же там, в вышине, пританцось маленькое, словно горная пещера, жилище, — и не смог этого угадать. Внутреннее чутье, обострившееся с каждым днем, вдруг разом изменило ему, и он остался слепым и беззащитным в этой крошечной тьме. Еще позавчера он закричал бы от ужаса, проснувшись вдали от своего дома, окруженный шорохами и призраками глубокой ночи, в которой нет места человеку. Но сейчас его переполняла только бессильная горечь потери.

Он приподнялся, встал на колени, выпрямился во весь рост. Вытянув руки вперед, сделал шаг, другой. Шел, незряче поводя головой то в одну, то в другую сторону, словно осужденный на святожарище и опоенный дурманом питьем. Наконец руки уткнулись в упругую поверхность; Инебел сделал еще один шаг вперед и прижался щекою и грудью к тепловатой, как будто бы живой преграде.

Так он и стоял, горестно замерев, пока не почувствовал, что влажный луговой ветер шевелит его волосы.

Он осторожно отстранился от стены, поднял лицо.

Показалось? А может, он попросту не до конца проснулся?

Ветер налетел сзади, огладил спину, вздыбил волосы и пролетел прямо сквозь стену где-то над головой Инебела.

Руки вскинулись вверх, скользнули вдоль чуть клейковатой поверхности, и уже где-то на пределе досягаемости нащупали гладкий срез.

Стена там кончалась.

Инебел зажмурился, изо всех сил поднимаясь на носках и заставляя свои послушные, прекрасно натренированные руки вытягиваться и становиться цепкими, как лесная лиана. Стена оказалась совсем тонкой, весь торец — ладони полторы в ширину. Зацепился пальцами за внутренний край, долго собирал все мускулы своего тела в единую пружину — и вот одним толчком выметнулся вверх, грудью на торец.

Удержался.

Заставил себя помедлить, прислушиваясь. Было тихо. Ни звука тут, внутри стены, ни шороха там, за ее пределами. В черноте и беззвучии он застыл, как угасший светляк, оторванный от земли и сохранивший лишь ощущение бездны, простершейся до нее. Почти не чувствуя тепловатой, чуточку упругой, как живая плоть, опоры, он парил на границе двух миров, и ощущение чуда было столь велико, что не оставляло места даже для страха. Внутри него что-то хрустнуло, точно коробочка водяного тюльпана, — то ли сломалось, то ли приоткрылось. Непомеренная чуткость, пришедшая на смену слуху и зрению, донесла до него мягкий, невнятный призыв — так манить могли только мхи и травы. Он доверчиво свесился вниз головой и бесшумно соскользнул в невысокие шелковистые заросли.

Некоторое время он еще полежал, вжимаясь в землю и машинально поглаживая эту удивительную, нежную, как женские волосы, траву. Потом руки дернулись, сами собой замерли: до сознания молодого художника дошло то, что пока воспринималось только кончиками пальцев: он прикасался к нездешней траве. Это было первое из запретного мира.

И вот теперь, поглаживая податливые, теплые стебельки, он до конца осознал, что все здесь будет чужим, НЕ ТАКИМ.

В этот мир он пришел непрошеным, пришел не по воле Богов или людей — его привел случай и собственная

дерзость, и за это он готов был расплатиться самой высокой ценой. Но пока — пока он повторял только одно: стены больше нет. Нет стены!

Нет больше стены между ним — и той, что спит сейчас в своем поднебесном гнезде. Вон там!

Глазам его вернулась небывалая зоркость, и в черной густоте ночи он уже мог различить и прямоугольные ниши первого этажа, и взлетающие вверх ажурные переплеты лестниц, и белизну балконных перил. Но главное — его чутье, которое безошибочно указывало ему, куда идти.

Он, едва касаясь травы, пробежал по овечьему выгону, огромным бесшумным прыжком перемахнул через скрипучий гравий дорожки. Замер на нижней ступеньке лестницы. Тихо. Никого он не потревожил. И не мог потревожить, потому что его тело сделалось легким и бесплотным, как вечерняя тень, и ступни ног, ставшие шелковистыми, как здешняя трава, могли бы пройти по кружеву паутины, не порвав ни одной нити; он, как и все кемиты, мучительно боявшийся высоты, был сейчас не человеком, а стремительным гибким ящером, которому ни почем головокружительные спирали невидимой в темноте винтовой лестницы. Он стал частицей этого мира незнакомых и всемогущих существ, и поэтому только замечал, как уже свершившееся, то, что раньше показалось бы ему немислимым, и даже не удивлялся. Если бы на его пути встало пламя, он просто и естественно превратился бы в камень и прошел сквозь огонь; если бы перед ним разлилась вода, он покрылся бы чешуей, как слизкий краснопер, и не задохнулся бы в глущине.

Так казалось ему.

И, наверное, он действительно был всемогущ, потому что его вела такая сила, которой не было равных ни на Земле, ни в Та-Кемте.

Но когда по дощатому смолистому полу он дошел до узкой, едва угадываемой в темноте постели, он замер в недоумении, спрашивая себя: а что же дальше? Между ними не было больше не то чтобы стены — не было ровным счетом ничего, даже расстояния протянутой руки; все, о чем он мечтал, сбылось — ведь сбылось же? Но он не испытывал ни счастья, ни даже удовлетворения. Достигнув предела своей мечты, он желал теперь одного: чтобы это никогда не кончалось; но кто-то посторонний, притаившийся в его мозгу, уже искушающе шептал: а

не исчезает ли счастье, когда останавливается движение к нему?

Что-то произошло, и тело отделилось от рассудка, и жило теперь самостоятельной, неуправляемой, непредсказуемой жизнью; это была жизнь только что родившегося, неуклюжего и доверчивого детеныша, которому нет дела до подобных вопросов, да который и не знал таких слов, которыми можно было бы ответить на вопросы рассудка; детеныша, раздираемого двумя совершенно противоположными, исключаящими друг друга ощущениями: с одной стороны, это нечеловеческая, ежесекундно возрастающая и непонятно зачем снизошедшая на него сила, а с другой — томительное, сладковатое бессилие, подгибающее ноги, захлестывающее голову певучей, кружащейся и затягивающей в пропасть дурнотой. Дурнота была осязаема и пахуча, как пещерный мох, и, задыхаясь в ее дымной невесомости, тело сдалось, мягко опускаясь на колени, и словно в ответ этому движению там, на постели, тоже что-то шевельнулось и вскинулось — и глаза, пока еще подвластные разуму, явственно различили среди складок покрывала сначала руку, заброшенную за голову, а затем и тонкий профиль, затененный прядью волос. Вот теперь все, отрешенно и почти спокойно отметил рассудок, сейчас всему наступит конец. Последние силы ушли на то, чтобы сдерживать дыхание, но сердце — грохочущее, словно оно бьется не о ребра, а прямо в дощатые стены и потолок, — как заглушить его стук?

Обезумевшее сердце билось, как исполинский «нечестивец», способное расслышать разве что самое себя, и говорить ему было бесполезно. Случилось непоправимое: стена, только что преодоленная молодым художником, не осталась позади, а вошла внутрь его, разъединив непроницаемой преградой душу и тело. Новое, неуправляемое естество толкало его вперед, рассудок же заклинал не двигаться. «Не проснись, не проснись, не проснись! — беззвучно молился Инебел. — Если бы сон, священнее которого ничего нет на свете, не снизошел на тебя, я просил бы: улети от меня, незваного, уплыви от меня, не прошеного. Но ты спишь, и я молю об одном: не сделай меня святотатцем, не обрати меня в нечестивца — не проснись! Заклинаю тебя и рассветом, и светом, и отсветом, и молчаньем, и громом, и стоном, и шепотом — не проснись! И дорогою утренней, и вратами вечерними — не проснись! Не проснись...»

Он наклонился ниже, ловя ее дыхание, и понял, что она послушна ему. Неподвижными были ресницы, беззвучным — дыхание, и черная тонкая веточка — память костра — не дрожала, запутавшись в белых ее волосах. И тогда его рука, самовольно и непостижимо ставшая гибче ниточной водоросли, легче серебряной водомерки, едва уловимым движением отыскала эту упругую колючую рогульку, не бывшую ни углем, ни деревом, и вынула ее из узла волос. И тогда... Разве он виноват? Он не мог этого знать, он не мог догадаться, что у нее, нездешней, волосы — живые, и они развернулись лениво и сонно, и побежали по его руке, и прильнули к ней доверчиво и прихотливо, выбрав теплую ямку на сгибе локтя... Не проснись, не проснись!

Теперь он не мог шевельнуться — но не мог и оставаться вот так, когда лиловые круги плыли перед глазами от сладкого, солодового духа этих волос, когда спину и плечи сводило от гнетущей тяжести этих волос, когда дыхание перехватывало от жгучей боли, потому что эти волосы впивались в кожу, словно щупальца озерной медузы-стрекишницы... Не проснись, не проснись, не проснись, даже если я застону, закричу от этой муки; не проснись, даже если я, спасаясь из нестерпимого узилища этих волос, нечаянно коснусь твоего плеча... Не проснись!

И она не проснулась, и она не просыпалась, и он понял, что властен над нею, потому что, преодолев проклятую стену, он уже не был прежним — ведь ее волосы, доверчиво задремавшие на его руке, признали его своим! Он стал иным, и мучительная чуткость — беда истонченных пальцев — стала свойством всей его кожи, и был он весь огромен и нежен, как сказочный зверь-ковер, обитающий в горных пещерах...

И не просыпалась она.

С утра Абоянцеву везло на чужие разговоры. Пока он спускался по винтовой лесенке — лениво, в какой-то необъяснимой, давным-давно не посещавшей его истоме, — снизу доносился ворчливый басок Меткафа, из-за недосыпа понизившийся ровно на октаву. Чернокожий гигант кроме целого комплекса паранормальных свойств обладал еще и способностью прекрасно ориентироваться в темноте — незаменимое качество для ночных вылазок на

Вертолетную. Судя по монотонности речитатива, Меткаф дотошно перечислял все детали своей микроэкспедиции. «Развалины меня не то чтобы потрясли, но впечатлили — стены толстенные, вроде бы из серого плитняка, а ширина — поперек можно улечься, и ноги не свесятся. Так эти стены порушились, а вот оконные переплеты, тонюсенькие такие, за ними и нет ничего, небо просвечивает и ветер гуляет уже которое-то столетие,— эти целы! (Где он там стены нашел, да еще и с окнами, коих на Та-Кемте еще не изобрели?) Погулял я по сереньким дорожкам, потом гляжу — газончик ровненький, словно и не натуральный, а ковер синтетический, а посерединке — пихта...»—«Так уж ты и запомнил, что это была пихта, а не елка? (Ага, это Мокасева, голубушка, кормилица наша.) Не люблю я пихту, никчемное дерево, ни духу от нее, ни радости новогодней... Дак о чем это мы?»—«Да все о том же, мэм, о слабых сигналах, психогенных и посттемпоральных... Да вы никак стоя спите, мэм? Я вот всю ночь на запасной базе околачивался, и ничего!»—«На то ты у нас джинн не джинн, а что-то вроде Кошечки... Не обращай внимания на меня, старую, разоспалась я нынче — не иначе, как к погоде. Говори себе, да салатик не забывая крошить, чать дежурный».—«Тогда пожалуйста яичко, мэм-саиб... Гран мерси. Поди сюда, паршивец! Стой смирно».

Ага, это он Ваське Бессловесному. Вот это-то их и сблизило, Меткафа с Мокасевой,—какая-то врожденная, лютая ненависть к роботам. На Большой Земле это не редкость, но вот в экспедициях на дальние — качество уникальное. Раздался скрежещущий треск, словно кололи кокосовый орех титановой табуреткой. Абоянцев задумчиво погладил шейные позвонки — вмешиваться было рано. Да и сонное оцепенение не проходило — так и простоял бы на ступенечке, облокотясь на перила, до самого обеда.

«А, елки ериданские, опять не проварилось... Пожалуйста помельче, мэм. Да, так вот: еще тогда в Нью-Арке, глядя на эти окошечки стрельчатые, я задумался о стойкости хрупкого и тленности капитального. Не в таких терминах, разумеется, мэм. И, наверное, впервые почувствовал — то ли ладонями, то ли всей спиной — вот это слабое излучение, вроде памяти о тепле. Словно когда-то люди согрели камень своими прикосновениями, и он теперь до окончания века светиться будет незримым светом».—«А-а-а-уаа... Прости, голубчик,— сон с глаз

нейдет. Так что, говоришь — на Вертолетной камни старую память хранят?» — «Как вы догадались, мэм, я ведь этого еще не сказал. Да. Только не на самой Вертолетной, это ведь наш склад, и не более. В окрестностях имеются пещерки — карст, по-видимому, хотя я в геологии полный профан. Но что главное — выход там теплых источников. И старое-престарое излучение. Это не современные кемиты, это те самые племена, что здесь отсиживались во время оледенения. Отсиживались и дичали. Теряли все, что успели накопить за несколько тысячелетий тепла». — «А ты б не одичал, голубчик? Три поколения схоронить — и вся культура насмарку». — «Вот об этом я и говорю! — Голос Меткафа, всегда глухой, бархатистый, сейчас зазвучал, как труба. — Мы тут ломаем себе головы, что такое дать этим бедолагам, чтобы они согласились это самое у нас принять. Вот так, с места не сходя. Скородумы липовые. А нам надо готовить убежища, и не для одного города — для всех еще уцелевших. Не соваться со своей культурой, а сохранять местную, и в темпе благоустраивать пещеры, расширять, подводить теплые источники, и таскать-таскать-таскать в них добро — из мертвых городов. Дороги проложить — от каждого современного населенного пункта А к каждому убежищу Б. Вот такая задачка...»

Абоянцев восторженно. Сакраментальная формулировка «что такое дать этим...» подействовала на него как сигнал боевой тревоги — глобальные проекты росли по всем уголкам Колизея, как шампиньоны после дождя, и начисто вышибали его обитателей из рабочего состояния.

— Доброе утро! — зычно проговорил он, стараясь придать своему голосу побольше бодрости и свешивая за перила лопатку бороды. — Позвольте, а Бессловесный где?

Это было уже слишком — громадный сенегалец, как тантянская статуя, возвышался над компактным Сэром Найджелом, специализированным суперпрограммным роботом, использовать которого в кухонных целях было просто безграмотно. С титанирового темечка этого уникального кибернетического индивидуума стекал яичный желток.

— Васька? Да вон, выгон овечий холит, — с неизменной улыбкой отозвалась Макася. — Приспичило ему спозаранку.

Меткаф вместо приветствия выудил из решета оче-

редное яйцо и протянул его Абоянцеву. Размеры яйца были поистине устрашающими.

— Индюк? — коротко спросил Абоянцев.

— Бентамка. Овцы, поросенок — все в норме, — пробасил Меткаф, — и те, что на здешних кормах, и те, что на концентратах. А вот птичье племя разносит, как на дрожжах. Может, оттого в Та-Кемте и нет крылатого царства?

Та-Кемт, несмотря на подходящую плотность атмосферы, действительно был бескрылым миром. Птиц здесь не водилось, насекомые — бабочки, стрекозы, пчелы — в лучшем случае совершали спазматические скачки, и то не выше человеческого роста. Это было одной из загадок эволюции. А люди-то надеялись на акклиматизацию здесь земных пернатых...

— Какой вес? — спросил Абоянцев, протягивая влажно поблескивающее на утреннем солнце яйцо Сэру Найджелу.

— Двести четыре целых, шестьдесят три сотых грамма, мэм, — отвечал робот, едва касаясь предложенного объекта кончиками титанировых пальцев, — несмотря на свою универсальность, он не способен был определить пол собеседника.

— М-да, — только и сказал Абоянцев. — М-да...

И даже чуткая Макася не уловила, что это должно было означать: «Мне бы сейчас ваши заботы...»

Он пошел прямо через кухню, потрескивающую вчерашними еловыми ветками, к дверце в колодец — лишь бы ни с кем больше не встречаться. Если и был у него за всю экспедицию тягостный день, так это сегодняшний. Проходя во внутренние отсеки, услышал сверху, со второго этажа, сонное бормотание Гамалея: «И в пасхальную ночь, под звон колоколов, провалился этот город со всеми жителями под землю — бом!.. бом!.. бом!.. (на мотив «Вечернего звона», естественно), — и поросло то место...»

В который раз он уже рассказывает эту легенду? Да еще и с утра пораньше. Тоже своеобразное проявление ностальгии. Абоянцев захлопнул за собой дверцу, пренебрегая внутренним лифтом, полез по запасной лесенке на третий этаж, в аппаратную. Не дойдя одного пролета, услышал очередной чужой разговор. Фырчал Алексаша: «Ну, под наркозом, под гипнозом, в конце концов! Эка невидаль — опалить шкуру, два-три косметических рубца пострашнее... Вот и готов калека, божий человек. Засы-

лай себе в город, никто и не потребует у него, убогого, чтобы он из своих обожженных конечностей делал лопату или метелку. Ведь элементарно, так почему же не попробовать?»—«Потому и не попробовать,— степенно возражал Наташа,— что так и засыплешься... Дай-ка тестер... Потому как люди все считанные, из города в город не бегают, тут уж действительно, как в Египте — никаких Юрьевых дней... Теперь изоляшку! К каждому двору жрец определен, он беглого за версту учует». — «Ну, уж кого-кого, а тутошних жрецов обвести вокруг пальца — это раз плюнуть. Не тот тут жрец. Без фанатизма, без остервенения — ни рыба ни мясо... Давай-ка тот блок еще почистим для профилактики... Ага, держу. Так вот, дохлая тут религия, скажу я тебе!»—«Это со стороны, Алексаша. Дохлах религий не бывает. Мы еще с ними нахлебаемся». — «Когда? Когда, я тебя спрашиваю? Мы уже пересидели тут все разумные сроки акклиматизации, а там, на Базе, только и ждут, к чему бы придраться, чтобы сыграть отбой! Ты же знаешь на опыте веков, что с течением времени всегда выигрывают перестраховщики, это как в чет и нечет с машиной...»

— Это кто тут с утра пораньше собирается играть с машиной в чет и нечет? — Начальственный рык раскатился по аппаратной прежде, чем сам Абоянцев, воинственно выставив вперед свою бороду, переступил порог.

Но где-то снаружи, по поясу третьего этажа, загрохотали каблуки, — что-то непривычная походка, отметил начальник. «Абоянцев здесь?.. Был здесь Абоянцев?» — и он не сразу даже узнал голос Аделанды.

Она ворвалась в рубку, лицо в пятнах, выходные туфли на невероятных каблуках (наверное, первое, что попало) — на босу ногу:

— Салтан Абдикович! Я... Там... Я не могу разбудить Кристину. Никак.

— Спокойно, голубушка, спокойно! — а левой рукой — знак близнецам, чтобы ни боже мой не включили дальнюю связь. — Как это понимать — не разбудить?

— Буквально, Салтан Абдикович, буквально! — Аделанду нельзя было узнать: обычной манеры растягивать фразы и не кончать их вовсе — как не бывало!

— Все-таки я не понимаю...

— Спонтанная летаргия. Если бы наблюдался припадок истерии, то можно было бы предположить разлитое запредельное торможение в коре головного мозга и ближайших подкорковых узлах, но это исключено, равно как

и крайнее утомление, гипноз — все эти факторы просто не могли иметь места!

— Это опасно?

— Пока нет.

— Предлагаете эвакуировать на «Рогнеду»?

— Пока нет.

— Но вы исчерпали все средства?

— Пока да.

— Что же остается?

На рыбьем лице Аделаиды что-то чуть заметно дрогнуло:

— Меткаф.

Абоянцев не раздумывал ни секунды — он слишком хорошо знал своих людей и доверял им безоговорочно. Короткий сигнал общего внимания рявкнул одновременно во всех помещениях Колизея — от подвалов колодца до курятника, и вслед за ним раздался голос начальника экспедиции:

«Меткаф, срочно на галерею третьего этажа! Меткаф!»

Он даже не повторил своего вызова второй раз — знал, что ему не нужно говорить дважды.

Меткаф уже ждал на галерее. Аделаида быстро подошла к нему. До Абоянцева только долетало сказанное вполголоса: «...аллергию я исключаю... смывы со стен возьмем позже... асфиксия... постгипнотическое...»

Интонации были сплошь отрицательными.

— Мне нужна изоляция, — негромко, совсем как и Аделаида, проговорил Меткаф.

Абоянцев сделал четкий поворот направо, вытянул руку и нажал клавишу, утопленную в дерево обшивки. Тотчас же зашуршала пленка, падающая сверху, и гнездо Кшисиной комнатки оказалось отделенным от галереи дымчатой подрагивающей стенкой. Меткаф оказался там, внутри. Сейчас, когда еще не настал момент принимать решение ему, как единоличному руководителю всех этих людей, Абоянцев только выслушивал их и, молниеносно оценивая безошибочность требований, выполнял все четко и безупречно. Как робот. Это редкостное качество и входило в число тех достоинств, которые сделали Салтана Абоянцева начальником базы.

Но сейчас ему оставалось только ждать, и он стоял, внешне безучастный, как тибетский идол, так как располагал пока неполной информацией и мог прийти к решению, которое потом пришлось бы подвергать много-

численным сомнениям. Таково было его правило. Так что думал он сейчас о своем экспедиционном враче, а вернее, о той ироничной несерьезности, с какой Аделаида относилась всегда к «этому великому мганге». Он как-то поделился своими наблюдениями с Гамалеем, и тот, пожав плечами, резюмировал: «Еще бы, генетическая нетерпимость терапевта к телепату». Доля истины в том была. Лиловокожий гигант, о котором Кшися говаривала, что он похож на негатив светлогривого льва, по штатному расписанию занимал скромную должность инженера-конструктора. Он действительно был прирожденным конструктором-примитивистом, способным за считанные минуты из каких-то щепочек и тряпочек соорудить оптимальную модель паучьего силка, смоквоуборочного агрегата или печной насадки для копчения ящеричных хвостов. Кроме того, в полевых условиях он прекрасно заменял небольшую вычислительную машину, был неплохим фокусником-иллюзионистом, что должно было, по мнению теоретиков — организаторов экспедиции, несколько скрашивать период односторонне-визуальной инкубации Колизея; но главная причина, обусловившая появление Меткафа в тщательно отбираемой группе из каких-то полутора десятков человек, заключалась в том, что кемитов не без основания заподозрили в экстрасенсорном баловстве, а могучий сенегалец был, пожалуй, крупнейшим практиком в неуважаемой области паранормальных явлений.

То, что в критической ситуации мнительная и самолюбивая Аделаида, ни секунды не колеблясь, признала свое бессилие и призвала на помощь Меткафа, чрезвычайно подняло ее в глазах Абоянцева. Он любил людей, которые умеют отступать вовремя.

Между тем пленка вспучилась, натянулась, лопнула. Страхивая с себя невесомые дымчатые лоскутья, появился Меткаф. На его выразительном лице нельзя было усмотреть следов восхищения собственными действиями.

Тем не менее Абоянцев ни о чем не спросил.

— Разбудил, — пророкотал Меткаф, когда пленка за его спиной затащила прорванную дыру. — Я все-таки склонен усматривать постгипнотический шок. Слабенький, к счастью. И аллергия не исключена — вон как со вчерашнего-то воняет! Да факторов тьма, и вино в сочетании с местной водой, и шашлыки в тутошном дыму, куры на подножном корму несутся, как страусы...

— А гипнотизировал кто — те же куры? — не выдержала Аделаида.

— Ну, зачем... — протянул Меткаф. — Это уж наверняка самодеятельность какого-нибудь храмового фанатика. Наверняка. До меня уже доходили слухи о том, что наша маленькая Кристина видит вещие сны, и я не могу себе простить, что не усмотрел в этом постороннего влияния.

— Тоже наверняка? — спросил Абоянцев.

— Постороннее влияние? Наверняка. При планировании экспедиции мы попросту отмахнулись от подобной перспективы, и вот...

— Нет, — сказал Абоянцев, — мы не отмахивались. Иначе вас, Меткаф, не было бы здесь. Вы больше не нужны вашей пациентке?

С лиловых губ Меткафа была готова слететь какая-то шутка относительно ограниченности применения черной магии, но он взглянул на начальника экспедиции и осекся. Только помотал гривастой головой, так что волосы и борода образовали единый угольный нимб, обрамляющий лицо и расположенный, вне всяких живописных канонов, в вертикальной плоскости.

— Прекрасно. — Абоянцев обернулся к Аделаиде. — Тогда прошу вас заняться Кристиной. И пожалуйста, каждый час докладывайте мне ее состояние.

Аделаида закивала, сосредоточенно поджав губы, — за одно утро она переменялась так, словно это ее загипнотизировали, и Абоянцев, глядя на эти мелкие колючие кивки, произвольно подумал, что из рыбы обыкновенной она превратилась в рыбу вяленую, и рассердился на себя, и добавил:

— Да не волнуйтесь вы так, все позади...

Аделаида нырнула в комнату, прокалывая защитную пленку шестидюймовыми каблуками своих неуместных вечерних туфелек, и, подождав, пока защита восстановится, Абоянцев повернулся к притихшему сенегальцу:

— Ну?

Это «ну» было абсолютно конкретно.

— Полагаю, что нам всем ничто подобное не грозит. Иначе это давным-давно было бы применено против нас. Еще тогда, когда аборигены не потеряли окончательно к нам интереса. А сейчас, вероятно, кто-то из храмовых служителей обеспокоен той полной темнотой, в которую погружается по ночам Колизей, — ведь эту темноту можно принять и за исчезновение. Вероятно, перебирал

в памяти всех обитателей нашей колонии, дошел до Кристинки — у нее гипнабельность, вероятно, на порядок выше, чем у остальных. Ну, да это я еще проверю. Вот так.

— Хорошо. Вы меня понемногу успокаиваете. Но надо успокоить и всех остальных — ждут ведь.

Абоянцев кивнул и пошел по лесенке вниз. Он не сказал Меткафу, что же именно его успокоило, а это была всего-навсего мелочь, пара незначительных слов. Но когда добродушный, многословный гигант употребил такое противоестественное для его лексикона слово «наверняка», Абоянцев прямо-таки испугался. За этим кричающим, безапелляционным словом проглядывала такая растерянность, что он готов был спросить: а не считает ли Меткаф, что эвакуацию нужно начинать немедленно?

Но сенегалец перешел с «наверняка» на «вероятно», и Абоянцев понемногу успокоился.

А сам Меткаф, наматывая на толстые пальцы пряди своей львиной бороды, задумчиво глядел на спускающегося по винтовой лесенке начальника и все не мог понять — прав он или не прав?

Ведь все, что можно было сказать, он сказал, остальное лежало в области неназываемого. Вот М'Рана, старый учитель, понял бы его, потому что М'Ране достаточно было сказать: она была заперта на семь замков нераскрывшихся, она была отдалена от меня семью завесами непроницаемыми, и была она недвижна, но ускользала; и ждала она пробуждения, но не в моей власти было слово, разрушающее заклятие. Ибо в сердце ее разглядел я сияние двух светильников, а там, где горит чужой свет, проникающее око должно закрыться. И разъять эти два светоча не смеет ни сила, ни разум. И не я пробудил ее — не в моей это власти. Стою я в стороне, и гляжу со стороны, и неизбывен чужой свет в ее сердце, открытом и беззащитном...

И это все сказать Абоянцеву?

А он вздернет свою бородку-лопаточку и спросит: «А это наверняка?»

Но наверняка он знал только одно: когда, пробудясь, ее глаза распахнулись вдруг так стремительно и широко, что в них мог бы отразиться весь Та-Кемт разом, он увидел в них сначала ожидание, потом — недоумение и, наконец, горькую детскую обиду.

Две корзины сырой глины — тяжело это для старческой спины. Вон до кочки дойти и передохнуть. А теперь до того гада, что на бок завалился и вымя разбухшее на солнышке нежит. Матерый гад, хвост ему раз десять ломали, не иначе, — он спокойный, к шелудивой спине привалиться можно и чуток подремать. Чтоб ежели кто позорче из города глянул, так видел: сил не жалеет старец, спину гнет до седьмого пота во исполнение урока справедливого, а паче того — во славу Спящих Богов всеблагостных. Стояло бы сейчас солнце вечернее, так и теплого молочка напиться бы не грех, а при утреннем — ни божь мой. Углядит еще кто, пропадешь по малости. Обидно и глупо.

Подремав для приличия возле мерно посапывающего ящера, Арун вскинул на плечо две корзины, связанные лыковой веревкой, и на круглых рахитичных ножках заковылял дальше. Да, придется впоследствии удлинить передник, — когда хамы снизу вверх смотреть будут, то ноги кривые наперед всего в глаза бросятся. Хамов придется построже держать, чем при нынешних-то, но все-таки и сомнения не должно промелькнуть: что, мол, не худародок ли возвысился?

За одну такую мысль — на святожарище, да не зельем перед тем поить, а язык вырвать. Уж это-то все не-пременнойше. И экономно: из двух семейств зельевщиков одно оставить, другое... Другому работа найдется. Да такая работа, до какой нынешние Гласы по лености ума вовек не додумаются. Об этом и себе самому сказать боязно. Прежде власть захватить надо, а потом уже — об ЭТОМ.

Арун протрюхал еще немного, скинул корзинки на траву и потер круглые, как дробленые оладьи, ладошки. Все будет. Только не торопиться! Только обдумать, примерить... и не упустить. Он сорвал травинку, пожевал — от сухого стебелька пахло молоком и змеиным навозом. И навоз не пропадет, все собирать будем! И кирпичики склеивать, и в печь подкинуть... На навоз двор подушечников кинем, нечего хамью на подушках нежиться. Сон — не благо, сон от природы дан, за день умаявшись и на собственном кулачке уснешь. Так-то!

Значит, запомнить: подушечников — на навоз.

Он снова поднялся, засеменял по тропочке, которая с каждым шагом становилась все отчетливее — прибли-

жалась к городским оврагам. Мимо Обиталища Нездешних Богов прокряхтел, не взглянув — ничего там не менялось, только мысли при виде этого муравейника диковинного от дела отвлекались. Двойственное чувство вызывал у Аруна Открытый Дом: с одной стороны, ежели этих Нездешних на свою сторону склонить, использовать умело, то польза немалая. Жрецы, надо сказать, и тут обгадились — то молитвы возносили, благовониями весь луг кругом потравили, то вдруг замечать перестали, а тут и пророчить начали: сон, мол, сном и развеется. Нет, шалишь, может, и развеется, да поздно будет! Мы поторопимся!

Вот в этой-то торопливости и была другая сторона, обратная. Ах, как любо было мечтать искусному горшечнику, когда складно и бездумно лепили его пальцы немудреные криницы да крупожарки! Эти запойные мечты о власти и сытости дед передал отцу, отец — ему, Аруну, он — четверым своим сыновьям. Но от поколения к поколению мечты обрастали найденными способами, продуманными вариантами, предусмотренными следствиями. Но это все были детали, это были бесчисленные ворсинки, из которых получилась бы богатейшая подушка, но из которых не сложился бы пещерный змей-ковёр. Для змея нужен был костяк.

И вот Нездешние принесли ему и это. Он, Арун-горшечник, додумался до того, что никогда не открылось бы ни его отцу, ни деду: нужно сменить веру! Скелет волшебного змея строился легко и стремительно; ворсинки лепились одна к другой, слагаясь в сплошной неуязвимый покров. И вот недоставало только двух вещей, которые снова заставили Аруна призадуматься: у змея-ковра были здоровенные когти и смертельное жало.

И еще: пещерный змей, как правило, не медлил.

Ах, если бы не эта торопливость, если бы не поспешность мысли! Ах, если бы кто-то сказал ему: думай всласть, Арун, а что не додумаешь сам — домыслят сыновья. И он предался бы любимейшим своим занятиям: плетению хитроумных задач и поучению младших. О, сытые Боги, сладкая вера! И когда вы избавите старого гончара от зудящей поспешности мыслей?

Он с досадой брякнул корзины оземь, как вдруг выпрямился и от удивления округлил свои и без того круглые, как винные ягоды, глаза.

Стена, которую только вчера начал размечать угольком молодой маляр, была уже на две трети записана!

Поначалу Аруну показалось, что здесь потрудились все семейство красильщиков — правая и левая части ограды представляли собой канонические картины, какие рисовались еще прадедами нынешних отцов: две дуги, изображающие безмятежные брови, и стрелы опущенных ресниц. Символ Спящих. И какое-нибудь приношение внизу: смоква, лилия.

Но по легкости и изяществу линий можно было с уверенностью сказать, что тут потрудилась рука Инебела, и никого другого. И приношения были диковинными: слева алело, как раздутый уголь, утреннее солнце, справа драгоценной краской, скобленной с раковин, коей лишь лики Богов отмечать дозволялось, нежно отсвечивало солнце вечернее.

А посередке пока было пусто — там, присев на корточки, маялся сам Инебел, то поднимая руку с угольком и нанося едва заметный штрих, то быстро затирая нарисованное мягкой щетинкой, отращенной на левой ладони.

Арун с сомнением глянул на солнце: нет, оно не успело пройти и половины своего дневного пути. И за этот срок маляр смог отрастить махровую кисть, потом два раза отмыть ее, сначала для огненной краски, потом — для перламутровой? А когда он умудрился отмочить руку и ожесточить пальцы, чтобы взять уголек? Он приблизился, бесшумно перекатываясь на коротеньких ножках, и остановился за спиной Инебела. Да, мальчик и не подумал рисовать то, что было ему велено. Ритуальные ресницы да брови — это еще куда ни шло, это даже хорошо, умный человек всегда знает, чем нужно прикрыться.

Но вот слабые, едва различимые контуры в центре — ведь это не что иное, как то, что увидали они вчера возле костра, как раз перед тем, как разойтись по домам.

Двое стояли друг против друга, и ее голова была чуть запрокинута, потому что была она мала ростом, как травинка у берега озера; он же чуть наклонился, по обычаю Нездешних шепча ей беззвучные слова... Только Нездешних ли?

Как бы не так! И поверить трудно, да как не верить глазам? Не Нездешний Бог, а сам маляр нечестивый, как равный супротив равной, стоял перед белейшей Богиней!

Ах ты, мразь гадючья, жижа болотная! Эк занесло тебя — богоравным себя почел? То-то указ учителей в уши входит, из ноздрей высвистывает!

Ну, ладно...

Арун перевел дух, ибо во гневе слова языку неподвластны — и лишнее ненароком сорваться может, но тут маляр, не подымаясь с колен, повернул голову и смиренно произнес:

— Благостны сны праведных.

А в смирении-то сколько гордыни! Праведным себя почитает, а кто вечер на нездешнюю обитель пиялся жадно, хотя сказано со ступеней: «Глядеть, не поучаясь»? Арун поскоблил подбородок, прикидывая, что бы пообиднее сказать, чтобы поставить маляра на место, но в этот миг Инебел приподнял ресницы, и на горшечника словно полыхнуло темным жаром — страшные, в пол-лица, глаза чернели так, словно меж веками и не было места белку, один до невероятия расширившийся зрачок.

— Позволь спросить тебя, учитель. — Ах, кроток голос, недерзок, но так и хочется подобраться, вытянуться, приготовиться к чему-то... — Скажи мне, учитель, что преступил ты в первый раз, когда потерял стыд? И что преступил ты во второй раз, когда потерял страх? И что преступил ты в третий раз, когда потерял слепоту послушания?

Задохнулся Арун. Задохнувшись, сел. Но мысль работала молниеносно: пока маляр расположен говорить, он еще во власти своего учителя. Но беда в том, что Инебел — не рыбак, не лесолом тугодумный. Ему нужно говорить правду. Ладно, пока — правду. А там посмотрим. В конце концов, терять нечего.

— Видишь ли, мой мальчик, — доверительно и удрученно проговорил гончар, — в том, что я постиг, нет моей заслуги. Отвратил меня от стыда и страха мой отец, а его — дед... Я не знаю, когда это началось. Это передавалось из рода в род, как умение мять глину. Зато, не теряя времени и душевных сил на соблюдение привычных запретов, мы все досуги могли посвящать раздумью над тем, а что же может дать бесстыдство и бесстрашие, неверие и непослушание?

— И так ваш дом обрел покой? — недоверчиво спросил юноша.

— Я бы не сказал... — протянул Арун. — Я бы не сказал этого так определенно. Да, мы сыты, мы здоровы, нам легок урок, и мы умеем делать сладким и ароматным свой сытный кусок. Но молитвы ложным Богам угнетали нас задолго до того, как мы познали Богов истинных. Мы познали свет, мы приоткрыли источник его тем, кто с до-

верием и почтением внемлет речам сыновей моих... А другие? Скажи, не носил ли ты в горстях воду, чтобы дать напиться издыхающему от жажды детенышу кротопада? Что, вспомнил? Ты был тощеньким и белым, как высушенная рыба кость, и тогда в первый раз я научил тебя отличать ядовитый сок водяной полыни от зеленой краски ворсянника. А теперь я вижу, как вокруг меня пьют липучую муть, и хиреют от нее, и глаза она застит, и спины гнет... И даже ты не отваживаешься не то чтобы ближнему принести воды ключевой — сам напиться чураться... Больно за вас. Непокойно. Любому терпению конец приходит, и божественному — тоже. Думаешь, долго еще Нездешние Боги поверх наших голов глядеть будут, ожидаючи, что мы одумаемся?

— Бойшься, значит? Перед одними Богами страх утратил, перед другими — нашел?

— А совсем без страха нельзя! Не бывает так, чтобы совсем без страха, без удержу. И гады лесные, и мурашки луговые — все чего-то боятся. Солнце утреннее и то вечернего боится. Светило заполуденное — оно ночной тьмы опасается. Это закон — без страха, как без еды.

— Ты полагаешь, учитель, что и Нездешние чего-то боятся?

— Они — Боги, им законы не писаны!

— Не Боги они, Арун-горшечник. Но живут без страха, работают без принуждения. Спят и едят по собственной воле, не по чужой. Потому светлы они так, потому так прекрасны, что хочется принять их за Богов.

— Та-а-ак. Значит, и ты тоже обзавелся своей верой...

— Это не вера, учитель. Это — просто истина, открытая каждому глазу, каждому уху, любому разуму.

— И ты собираешься раззвонить эту истину по всему городу, Инебел?

— Я рассказал о ней тебе, мудрому и зоркому, — и ты не поверил. Как же поймут меня камнетесы и змеедои, чьи головы напечены солнцем, а руки налиты усталостью? Нет, пусть смотрят сами, день за днем, и пусть десять раз по десять рук придет сезон дождей, и тогда они поверят своим глазам, как не верили бы моему языку. Потому что зачем здесь они, Нездешние, как не для того, чтобы показать нам: живите так же, как мы, будьте счастливы, как мы, будьте так же мудры и всемогущи!

— Солнце, — коротко резюмировал Арун. — Хоть и светлы твои волосы, а все же опасно работать, не

прикрывая темени. Напекло тебе, мальчик. Приляг в тени.

Инебел, по-прежнему стоявший на коленях перед наброском будущей картины, не поднял головы, но Арун всем нутром почуял, что он улыбается. Беззлобно, почти безразлично.

Так что он сказал? Пусть десять раз по десять рук пройдет сезон дождей? Прекрасно, мой мальчик. Вот тут-то ты и прогадаешь. Благая неспешность — завет старых, Спящих Богов! И жрецы проморгают, потому что разучились торопиться, и ты, маляр, ты, мазилка суетный, — ты спохватишься, ты пойдешь нашептывать чужим ушам свою веру, да поздно будет!

Мои Боги сытые, моя вера сладкая, мы-то успеем!

Мы-то обойдем тебя, мальчик мой, а чтобы сподручнее было обходить, сделаем один шагжок назад.

— Впрочем, — сказал он, по-бабьи поджимая тонкие губы, — что это я — мальчик да мальчик. Вымахал ты, Инебел, ну прямо шест перевитый, с коим жрецы на уступах пляшут. У других, я замечал, длиннота чуть не все мозги оттягивает, а у тебя — ничего, даже слушать приятно. Занятно мыслишь, небезынтересно, я бы сказал. Научил я тебя кое-чему, не зря, значит, беседовал. Напоследок предостеречь хочу: не говори никому, что открыл ты истину, будто Нездешние Боги — это вроде бы люди, как вот мы с тобой. Не истина это, а просто мысль твоя. Мыслишь ты так, понял? Потому что с истиной ты должен бы наперед всего до Закрытого Дома бежать и первому попавшемуся Неусыпному ее открыть. А за сокрытие истины, видел сам, что бывает. Сперва пляски, потом фейерверк, а всему городу — вонь до утра. Об ощущениях самого героя святожарища я уж и не говорю. Так что забудь и слово это — истина. Мелькающие мысли у тебя. Глянь-ка на небо — во что облака летучие сложились?

Инебел послушно поднял черные, отененные синяками глаза.

— Вроде колос крупной, распушенный ветром...

— Воистину! — обрадовался Арун. — А чуть погода глянешь, там вместо колоса червь болотный. А еще погода — червь изогнется да в непристойное пальцесплетение и сложится, и поплывет по светлым небесам здоровенный кукиш... Никогда не видал? Ну, мало жил еще. Мало вверх глядел. Так вот, в небе — это сплетение мокрых ветров, кои в отличие от сухих не голубые, а бе-

лые. Это каждому видно. А в голове у тебя сплетение мыслей, и, слава истинным Богам, это еще скрыть возможно. Вот и скрывай. Сейчас у тебя мысли так сплелись, завтра переплетутся этак. Никому они не видны, не нужны, не тягостны. И мне от них никакого урона нет. Моя вера от них не шатнется, не всколыхнется. И тем, кто со мной, от твоих мыслей нет убыли...

Молодой маляр все слушал и слушал, и по мере того, как певучий речитатив Аруна забирался все дальше в словесные дебри, его глаза сужались, становились жестче, недоверчивее.

— И сам ты мыслей своих не бойся, пускай себе вьются-стелются, укорот не им надобен — языку! Потому как ежели тебе язык укоротят, то уж вместе и с жизнью твоей, и не увидишь ты царства новой веры, справедливой, истинной, когда в довольстве и умственном просветлении начнем расширять наш город, когда по любви да согласию станут рожать наши жены, когда в Дом Закрытый буду брать я в подчинение не внуков да племянников худоскладных, а мужей, одаренных силой мышледеянья, ибо на них благодать Богов истинных! И тебе там место найдется, потому что в пышности и свечении постоянном должно содержать Дом служителей божьих. Вот задумал я, — доверительно, но вполголоса сообщил Арун, — от священных Уступов Молений и до начала улиц проход сделать, чтоб нога простого люда туда не ступала. А вдоль прохода изображения зверей диковинных двумя согласными рядами расположить, — у зверей туловища будут от свиньи лесной, а морды людские, и чтоб во все времена — на закате ли, на восходе — эти морды людские жевали непрестанно, — что ты на это скажешь?

Юноша безразлично промолчал.

— То-то — ничего не скажешь. Впечатляет! И волшебства никакого не надобно, говорят, под городом пещеры тянутся, оттуда и камень брали, когда Уступы возводили. Так вот туда я велю посадить преступников, на святожарище осужденных. Пусть себе день-деньской за веревки крученые дергают, а от того дерганья у зверей глиняных нижние челюсти взад-вперед двигаться будут, на манер «нечестивцев». Ты вот думаешь, зачем я тебе это говорю? А затем, что ты, маляр Инебел, мне этих зверей диковинных пострашнее распишешь, да не просто порошками водяными, а той самой смолкой несмываемой, за кою ты покрывала восьмиклеточного удостоился.

Такой работы ни до тебя, ни после ни один маляр не уда-
стивался! А мысли твои мне ни к чему, не помешают они
свиней глиняных искусно приукрашивать... А еще о по-
гребениях: коли при жизни сытость и сладость как выс-
шее благо почитаемы будут, то и о вечном покое позабо-
титься не мешает, — в нем тело усопшее тоже в достатке
пребывать должно; но сомнительно, истинные ли яства в
вечный путь взяты будут — не достаточно ли их изобра-
жения? А коли достаточно, то коим образом начертать
их...

Аруна, очевидно, несло. Он не мог остановиться, мо-
жет быть, в глубине души уже отдавая себе отчет, что
давно говорит лишнее; но с другой стороны, он не хотел
кончать свою тираду, потому что чувствовал: этот ви-
тиеватый словесный мосток — последнее, что связывает
его с бывшим учеником. И вдруг он запнулся, выпрям-
ляясь. На глазах пораженного юноши он становился все
выше и выше, впервые в жизни теряя повсеместную ок-
руглость и за счет этого вырастая, точно гад-жабод, вы-
прямляющийся из жгута собственных пестрых колец при
виде добычи. Следуя за хищным взглядом его сузивших-
ся глазок, Инебел оглянулся через плечо, стараясь и в то
же время страшась разглядеть то, что так преобразило
Аруна.

И не заметил ничего. Обиталище привычно и беззвуч-
но кипело повседневным мельтешением двуногих и чет-
вероногих своих жильцов, и даже там, куда незаметно
подымались его глаза, хотел он этого или нет, даже там
ничего с утра не изменилось.

Но Арун вскинул прямую, как палка, руку именно
туда, к заветному гнезду висячей галереи Открытого
Дома, и с ужасом и омерзением Инебел увидел, что рука
эта, указуя вверх, закаменела в яростной неподвиж-
ности, и шевелилось на этой руке только одно — с су-
хим скрежетом выползая из кончиков пальцев, стреми-
тельно росли и вытягивались вперед желтые мертвенные
ногти...

— Покорствует! Покорствует... — Арун захлебывался
слюной, заплевывая ошеломленного и ничего не пони-
мающего Инебела. — Покорствует Богам ложным!

Казалось, сейчас он попрут прямо на стену, как ле-
сной зверь-единорог, и проткнет ее сложенными в шепоть
пальцами, и двинется дальше, топча зеленеющую лужай-
ку с нездешней нежной травой...

— Уймись, горшечник, — сказал Инебел. — Что ты

беснуешься? Устал человек. Устал и прилег. И ничего больше.

Под внезапной тяжестью его рук Арун присел, мгновенно обретая утраченную было округлость всех своих членов. И ноги колесом, и руки едва-едва смыкаются под выпуклым сытым животиком... Улыбочки вот только и не хватает. Вместо того губы послушно складываются в кругленькое «О».

— Устал? Так-так. Человек, значит? Все может быть... Устал и прилег, значит. Это по твоей вере. Что человек.

Он топтался на одном месте, старательно принуждая себя улыбнуться, чтобы расстаться по-прежнему, добрым учителем и послушным учеником. Но вместо умиления последним зарядом рванула ярость, — даже непонятно, как только мог получаться гадючий шип, исходящий из круглого до идиотизма ротика.

— Человек?! Не-ет, нам такой веры не надо... Не подходит нам такая вера! Спереди она жирная да мясная, как лесной кабан, а зайдешь с хвоста — и ломать нечего, все равно что кукиш срамной на ходу подрыгивает. Нет пользы с такой веры!

Бледное до синевы лицо мадаря полыхнуло мгновенным румянцем, но он сдержался, и, вероятно, чтобы скрыть эту краску, наклонился и поднял корзины с глиной, небрежно брошенные в траве. Он хотел было при moistить их на гончарово плечо, как вдруг в одной из корзин что-то удивленно булькнуло, корочка глины треснула, и из-под нее выплеснулся маслянистый язык страшной и запретной черной воды.

В липком вонючем болоте, откуда не доводилось выбираться ни зверю, ни человеку, в теплых ямках, откуда время от времени выбулькивают голубовато-зеленые, как вечернее солнце, пузыри, по каплям набирается эта вода. Хотя и не вода она, потому как поверх озера плавать может и с ручьями и арыками не смешивается, а течет, однако; говорят еще, что горит она негасимым пламенем, проедающим и плоть, и кость. И носить ее с дальнего болота допускается только семейству ядосборов, что поставляют в Храмовище зловонную ярджилу и другие дурманные травы. Обвязав себя веревками, залезают они на высокие деревья и с самых длинных ветвей, простершихся над болотом, черпают хлопающую жижу, от которой несет гарью и падалью. И срываются вниз, когда лопаются ненадежные травяные веревки, и медленно и

жутко тонут под крики и завывание семьи, повиснувшей на ветвях, — и таким же горестным и бесполезным воем отзываются синеватые обезьянки, которых, в отличие от людей, ничто не может заставить приблизиться к смрадной крошке черной топи.

Никогда не слышал Инебел, чтобы кто-нибудь попытался вынести из леса запретную жидкость, и не до нее ему было, и не хотелось думать, как же престарелый Арун в одиночку добыл ее с высоких ветвей — думать вообще ни о чем не хотелось, и юноша страстно желал лишь одного: прекратить эту пытку словоблудием и остаться в одиночестве перед Обителью Нездешних.

Инебел обессиленно прикрыл глаза. Скрипела трава — видно, Арун забрасывал цветами корзинку. И шорох — Арун уходил. Молча. Слава Богам.

Покачиваясь от изнеможения, Инебел медленно поднял ресницы. Вот мы и вдвоем. И нет такой меры, которой я не заплатил бы за то, чтобы сейчас остаться **СОВСЕМ ВДВОЕМ**, — ни твоего Обиталища, ни моего города...

Я ничего не смог подарить тебе, кроме усталости и недоумения... Но если бы я решился оставить тебе хотя бы смутное воспоминание о прикосновении моих рук, о шорохе моего голоса, разве к этому не примешался бы еще и страх? А теперь целый день, целое утро и целый вечер вдали от тебя, зная, что вместо меня подле тебя — ужас и отвращение?

Но тогда уж лучше головой в озеро... В яму с черной горючей водой.

Ты не любишь смотреть на наш город. Почему его пыль и трава, улицы и арки неприятны тебе? Почему твой взгляд отдыхает лишь на зелени высоких деревьев — может быть, потому, что там нет людей?

Я ничего не знаю о тебе; мне мучительно, мне больно гадать, потому что представить себе твои мысли не такими, какие они есть — это все равно что нарисовать тебя в смешном и нелепом виде. Но еще много дней и ночей пройдет до той поры, когда я услышу твой голос... А пока, приходя, я буду, как нынче, заклинать тебя: не проснись! Не проснись, ты, которой я пока не посмел дать имени, ты, которой я на каждом рассвете буду оставлять по мельчайшей крупинке воспоминаний, — и сегодня это будет прикосновение моих ресниц к твоим... Это будет, это будет, это будет, и снова ты не проснешься, пока я не пробужу тебя...

Цепкие, мускулистые руки Самвела легко подымали здоровый серый голыш, обкатанный ледником. Голыш ухал по каменной колоде, и аметистовая пыль при каждом ударе выпархивала из-под него зловещим кровавым облачком и обильно припудривала черную традиционную рубашку, превращая ее в сказочный карнавальный костюм.

— Привет тебе, о благородный рыцарь минеральных удобрений!— Неслышно приблизившийся Наташа при каждом ударе подрагивал коленками, чтобы стряхнуть пыль с джинсов — въедливость здешнего «аметиста» была уже общеизвестна. — Между прочим, в красном спектре тянешь на средневекового палача.

Самвел мрачно глянул на него и потянул через голову оскверненную рубашку. Откуда-то возник Васька Бессловесный и встал перед ним навытяжку.

— Это — взвесь, это — постирай, — велел ему Самвел, соответственно вручая полиэтиленовый мешочек с розовой пылью в левую конечность робота, а рубашку — в правую.

— Я бы на его месте перепутал, — скептически заметил Наташа. — Хотя бы из чувства противоречия.

— Чувство противоречия обостряется от безделья, — фыркнул Самвел. — Скупнемся?

Они побежали к бассейну, традиционно пустовавшему перед обедом. Самвел запрыгал на самом бортике, освобождаясь от узких тренировочных брюк, Натан же скинул все на бегу и теперь, лежа на поверхности воды, как бревно, глядел на забавно суетящегося друга снизу вверх.

— Богатырская мощь пехлевана в удручающе скелетообразной упаковке, — флегматично констатировал Наташа. — Свойство восточных мужиков, потрясшее европейских дам еще во времена первых крестовых походов.

Невозмутимая медлительность, с которой Наташа, в отличие от брата, отпускал свои шуточки, снижала их убийственную силу практически до нуля, и тем не менее единственный представитель восточной этнической популяции мужчин почувствовал себя задетым — вероятно, его самолюбие вслед за телом начинало чувствовать себя обнаженным, и автоматическая защитная реакция сразу же делала его невосприимчивым к юмору.

— Вероятно, я произошел не от обезьяны, а от ее ске-

лета,— сердито буркнул Самвел.— И вообще, в первый раз слышу, что в крестовые походы отправлялся слабый пол. Маркитантки там, санитарки — это еще куда ни шло, но дамы...

— Санитарки...— Наташа от возмущения выпустил из рта струю воды, которой позавидовал бы средних размеров финвал.— Да простят твое невежество преподобные и непорочные отцы-иоанниты! Что же касается дам, то даже воинственный Ричард Львиное Сердце таскал с собой свою голубоглазую Беренгарию с полным выводком фрейлин — вероятно, в целях обеспечения комфортности эксперимента. Мне лично просто непонятно, как в таких условиях он умудрился остаться без наследника...

Самвел обрушился наконец в воду, подняв голубой фонтан — как и все восточные мужчины, он был не в ладу с водной стихией и, несмотря на незаурядные тренерские способности Сирина, так и не научился прыгать в бассейн бесшумно и дельфиноподобно.

— Кстати о дамах,— Наташа перевернулся на живот и медленно по-собачьи поплыл навстречу Самвелу, агрессивно задирая подбородок над водой.— Что у тебя с Кшисьской?

— Ничего,— коротко отрезал Самвел, мгновенно заливаясь пунцовой краской.

— Я тебя серьезно спрашиваю. Вот уже две недели, как ее словно подменили. То плачет, то на людей кидается... И хорошо бы — только на людей, а то еще и на стену! Так не ты?..

— Если бы я, то я сказал бы тебе: не твое дело. И все.

— Хм,— сказал Наташа и медленно ушел под воду.

Самвел окунул лицо, стараясь его остудить, и когда протер глаза, то увидел, что к бассейну неторопливо приближается Кшися. Босиком, растопыренные руки (чтоб не запачкать кисейное платье) — в земле. Пришлось даже глаза прикрыть — сердце зашло от этой недевической поступи, от этого снегурочьего свечения. Подошла, глядит своими колдовскими глазницами, которые вопреки всем законам оптики становятся черными на солнечном ярком свете.

Самвел стыдливо забарахтался, пытаясь установить собственное тело в вертикальное положение,— без своей неизменной черной рубахи он чувствовал себя абсолютно голым.

Наташина голова выпрыгнула из-под воды, точно глубинная метеомина, но экспромт с китовым фонтаном на сей раз был выдан неудачно: Наташа поперхнулся и замер.

— Ну, что уставился? — нелюбезно произнесла Кшися куда-то в пространство между двумя юношами. — Мне с Самвелом поговорить нужно. Уберись.

С некоторых пор Кшисе повиновались беспрекословно. Едва уяснив себе, что высочайшее повеление относится именно к нему, Наташа запрокинулся назад, пошел в глубину темечком вперед и вынырнул уже у противоположной кромки бассейна. Пока его шаги еще поскрипывали по крупному песку, Кшися молча и жадно разглядывала Самвела. Казалось, она в первый раз по-настоящему увидела его, словно раньше они встречались только в темноте, и теперь у нее не было полной уверенности в том, что это тот самый, нужный ей человек. А может, и не он?..

И чем дальше продолжалось это молчание, тем явственнее на ее лице отражалось разочарование: да, не он... Потом она тихонечко вздохнула, словно решаясь на вопрос, ответ на который заранее предопределен, и проговорила тихо, но отчетливо:

— Держи меня.

И сделала шаг вперед так, как будто перед нею была твердая поверхность.

Даже если бы он и угадал ее движение, он все равно не успел бы покрыть те несколько метров, которые их разделяли; но он прежде всего ничего не понял, а потом уже почувствовал, как руки и ноги его онемели и что в воде-то он не тонет просто каким-то чудом.

Но истинное чудо было совсем в другом: он отчетливо увидел, как нога Кшиси, выдвинувшаяся вперед, нащупала в воздухе невидимую поддержку; легкое тело в кисейном платье переместилось вперед вопреки всем законам разума и логики и на какую-то одну-две секунды недвижно застыло над водой, и лишь затем дрогнуло, привычно сгруппировалось и нырнуло вниз. Почти без всплеска.

Она вынырнула почти на том же месте, подняла над водой влажное бесстрастное лицо и поплыла прочь, словно Самвела тут и в помине не было. Она не пыталась таким образом выразить невнимание или, тем паче, презрение — нет, для нее сейчас действительно никого рядом не существовало. Самвел отупело глядел,

как удаляется от него гибкая фигурка, облепленная недлинным голубоватым платьем, кажущимся еще ярче в подкрашенной аквамариновой воде, как монотонно, безучастно поднимаются из воды узкие руки, по которым стремительно скатываются капли, — от кисти к плечу, и все не мог решить: почудилось ему это секундное парение в воздухе, или оно действительно было, и легкая ступня стояла на невидимой опоре, одновременно надежной и шаткой, как... как мужская рука. Именно так. И он помнил инстинктивное подрагивание этой ступни, пытающейся сохранить равновесие, — и в то же время прекрасно понимал, что все это могло быть только причудой воображения, растянувшего долю секунды в десять — пятнадцать раз, как это, говорят, бывает при взрыве.

Мерные всплески воды вывели его из состояния оцепенения. Они удалялись, и чем дальше слышался их отзвук, тем резче становилось ощущение, что хлещут ему по лицу.

Он выскочил, как ошпаренный, на бортик, обежал бассейн и подоспел как раз к тому моменту, когда Кшися подняла руку, чтобы нащупать скобу и выбраться из воды. Он схватил ее за запястье и с такой силой рванул вверх, что она прямо-таки выпорхнула на бортик, словно летучая рыбка. Самвел, ошеломленный собственной резкостью, отступил на шаг, но Кшися недобро усмехнулась — пеняй на себя, раз уж сам начал, и проговорила негромко:

— Тогда так: нашу экспедицию решено свернуть. Мы постараемся улететь последними. — Она сделала небольшую паузу — не для пущей убедительности, а просто еще раз пристально всмотрелась в узкое смуглое лицо. — Так вот: ты поможешь мне украсть вертолет.

— За-ачем? — только и смог сказать Самвел.

— Я остаюсь. Если захочешь, оставайся со мной.

— С тобой?!

— Нет, — как можно мягче поправилась Кшися. — Ты меня неправильно понял. Не со мной. В Та-Кемте.

— Дура, — сказал Самвел. — Истеричка. Тебя нельзя было выпускать с Большой Земли. Не думай, что я способен бежать и рассказывать обо всем Абоянцеву, но уж отправлю я тебя на «Рогнеду» сам. Если будет нужно, то связанную. Собственноручно.

— Да?

— Да. Таких, как ты, тут жгут. Медленно и живьем.

— Таких?

Она перегнулась, намотала на руку белые свои косы, так что вода побежала по руке и закапала с остренького локтя. Ну, что с ней сделать, что? И говорить-то в таком тоне бесполезно...

— Кристина... — голос его прозвучал хрипло, словно прокаркал. — Зачем тебе это, Кристина?

Он никогда не называл ее так. Наверное, она это поняла. Или просто захотелось поделиться хоть с кем-нибудь. Она выпустила свои косы, и они, расплетаясь на лету, тяжело канули вниз, до самых колен, облепленных мокрым подолом.

— «Зачем, зачем?..» — передразнила она сердито. — Кабы знала я, кабы ведала! Только ничего я не знаю, Самвелушка. Чувствую только, что я — это словно не я, а вдвое легче, вдвое сильнее — ведьма, что ли? Иной раз чудится — летать могу! И нюх. Понимаешь, нюх прорезался, как у щенка на первом снегу, когда каждый запах ну просто режет, как яркий свет, в дрожь кидает... И не то чтобы носом — всей кожей я это чую, понимаешь? Не понимаешь. И никто не поймет. Так что ты никому не рассказывай, ладно? А я не могу больше в этом аквариуме. Я к ним хочу, туда, за стенку эту проклятую! К людям, понимаешь ты?

Отвечать было абсолютно нечего, Самвел и сам хотел туда, за стену, но туда хотели и все остальные члены экспедиции и, наверное, не менее горячо; но говорить сейчас об этом Кшисе было небезопасно. Поэтому он молчал, ожидая, что ситуация разрешится сама собой, и спасение действительно пришло, на сей раз — в виде Гамалея, тащившего за собой на немыслимой шлейке несчастного бентама, разжиревшего до полной потери самостоятельного передвижения — вот уже неделю его прогуливали силком все попеременно.

Гамалей, по-утиному шлепающий впереди, и осевший до земли бентам шли в ногу.

— Пошто-о неистово брани-и-ишься, Брунгильда гневная моя? — на абсолютно неопознаваемый мотив пропел Гамалей, славившийся своей способностью измышлять как стихотворные, так и музыкальные цитаты.

— В Брунгильды я экстерьером не вышла, — отрезала Кшися и пошла прочь, гадливо сторонясь представителя пернатого царства, хотя циклопические куриные блохи уже давным-давно были изничтожены до-тошной Аделаидой.

— Через десять минут непосредственная трансляция! — чуть ли не просящим тоном крикнул ей в спину Гамалей.

— Потом, — с совершенно непередаваемой интонацией бросила через плечо Кшися.

— То есть как это — потом? — Гамалей постарался вложить в свой возглас необходимый, по его мнению, начальнический гнев.

Кшися соблаговолила остановиться.

— То есть так, как это принято в нашей экспедиции: **КАК - НИБУДЬ ПОТОМ**. Эти слова нужно было бы написать на нашем Колизее. Зажечь неоновыми буквами. Вытатуировать у каждого из нас на лбу. Это же наш девиз, наше кредо!

— Как она говорит! Светопреставление! Римский сенат! — зашелся Гамалей.

— В том-то и беда, что я говорю. Что вы говорите. Что мы говорим... Говорим, говорим, говорим... Мудро, аргументированно, упоенно. Но вот им, за стеной, нас не слышно — нас только видно. Колония беззвучных самодовольных болтунов. Сомневаюсь, что они видят разницу между нами и хотя бы этими бентамками. Да они больше и не смотрят на нас! Мы стали им неинтересны.

— Но, позвольте, Кристина, что значит — ничего не делаем? Вот вы, например, и Самвел, присутствующий здесь, так сказать, неглиже в рабочее время, блестяще доказали, что при самой примитивной обработке почвы и внесении прямо-таки валяющихся на поверхности минеральных удобрений можно получать впятеро больший урожай. Впятеро! Это значит, возможный демографический взрыв, пугающий кое-кого на базе, практически не страшен...

— Ничего это не доказывает, — буркнул Самвел, пребывающий неглиже в рабочее время, — потому что Кшися права: если сейчас они не хотят на нас смотреть, то где гарантия, что они будут нас слушать? Где гарантия?! — выкрикнул он и сразу осекся, так нелепо прозвучал его гортанный крик здесь, над пасторальной лужайкой с буколическими овечками.

— Воистину, — Кшися соблаговолила повернуть свою головку на лебединой шейке. — Где гарантия, что они не спустят ваши аметистовые удобрения в свой первобытный кло-зет? Обдумайте и этот вариант. **КАК - НИБУДЬ ПОТОМ**.

И удалилась в сторону овчарни.

— Какова! — возопил Гамалей. — Другая на ее месте в этой ситуации выглядела бы мокрой курой, а эта — королева! Нет, юноша, вы ничего не смыслите в женщинах. Абсолютно. А женщины ее страны, а точнее — ее племени, когда-то считались самыми прекрасными в Европе. Вы припомните, месяца три назад она была белым инкубаторным цыпленком, который жалобно попискивал по поводу котят и цветочков. А сейчас? Я, право, уже не знаю, кого и слушаться в нашей колонии — Салтана или ее?

«Болтливый, самодовольный бентам, — со злостью думал Самвел, уставясь на свои волосатые, уже обсохшие ноги. — Она же мечется, ищет, пытается что-то — или кого-то? — распознать. И прячется за свою горделивую насмешливость. Этому она действительно научилась. И я ничего не могу для нее сделать, потому что она пристально всматривалась в меня — и не находила того, что ей нужно. Да и знает ли она, что это такое?..»

— Я еще немного погляжу на вас, молодое поколение, и если так будет продолжаться, то сам примусь за воспитание этой строптивой особы. Вот так, юноша! А теперь нас ждут в просмотрном зале. Сейчас я отведу на место этого Пантагрюзля, а вы сделайте милость, приведите Кристину.

Внутренний просмотрный зал, изогнутый, как и все помещения, укрытые от внимания аборигенов, был расположен вдоль вертолетного колодца и пользовался особой нелюбовью всех обитателей Колизея не столько из-за своей нелепой формы, сколько благодаря тускло-серой обивке стен, за которую Диоскуры прозвали его «ведром». Трансляция из кемитского города непрерывно шла по пятнадцати каналам, но обычно здесь собирались после обеда, а в плохую погоду — и после ужина.

Сейчас в полутемном зале сидели пятеро — Абоянцев просил строго следить за тем, чтобы в обозримой из города территории колонии всегда находилось не меньше половины землян.

Гамалей присел рядом с Сирин. Перевода, как правило, теперь не делали, но в отсутствие Абоянцева не скупались на комментарии. Сейчас как раз начальник экспедиции отсутствовал.

По экрану метался столб дыма. Изображение было объемным и настолько реальным, что казалось — в зале пахнет паленой свиной. Кемит в коротеньком до неприличия переднике апатично похлопывал по источнику

дыма тяжелой кипарисовой веткой. От каждого удара дым на мгновение прерывал свое восхождение вверх, и в образовавшемся разрыве лилового столба просматривался громадный свежееобдраный хвост мясного ящера, истекающий янтарным жиром, потрескивающим на углях.

— Студиозусы из Гринвича передают — отменная закуска под пиво, — подал голос от пульта Алексаша. — Светлое, я имею в виду.

— Твоих студиозусов бы в эту копильню, — отозвалась Макася. — Живенько пропал бы аппетит.

— Действительно, весьма неаппетитно, — безглаголиво заметил Гамалей. — Маэстро, смените кадр!

Алексаша, не препираясь, щелкнул переключателем — пошла информация по следующему каналу. Сушильный двор. Почти всю площадь занимает глиняная ровная поверхность, на которой сушится не то пшеница, не то очень крупное просо. Несколько женщин, согбенных и нахохлившихся, точно серые цапли, бродили по кучам зерна и ворошили его тощими, фантастически длинными руками с растопыренными перепончатыми пальцами.

— Ведь сколько дней подряд Васька Бессловесный демонстрировал им грабли! Все псу под хвост! — возмущилась Макася. — Вот долдонихи-то, господи прости!

— Лихо набираете разговорную терминологию, любезная Мария Поликарповна! — восхитился неугомонный Гамалей. — Боюсь только, что в кемитском языке не найдется достаточно сочных эквивалентов.

Сзади чмокнула дверь — вошел Самвел и пристроился с краю. Он был один.

— Алексаша, смени кадр, — брюзгливым тоном потребовал Гамалей.

— Я вам даю ближайшую к Колизею площадку, — примирительно пообещал Алексаша. — Приучаться пора — когда стена прояснится, это у нас перед самым носом будет.

Свежерасписанный забор вызвал неизменное восхищение неподдельностью своего примитивизма.

— Пиросмани! — вырвалось у Самвела. — Какая жалость, что в Та-Кемте не придумали еще вывесок!

— По-моему, эти две миноги посередке все портят, а, Сирин-сан? — Гамалей с удовольствием наклонился к ее плечу — здесь, в полумраке просмотрового зала, пестрота ее одевания теряла свою неприемлемость для евро-

пейского глаза, а внимательная сосредоточенность, исключаяющая лошадиную улыбку, делала Сириин Акао бесспорно неотразимой.

Как истинный эпикуреец, Гамалей шалел от каждой привлекательной женщины и, как законченный холерик, мгновенно утешался при каждой неудаче.

Сириин долго и старательно разглядывала экран, прежде чем решилась высказать свое мнение с присущей ей педантичностью:

— Фреска представляет собой разностилевого триптих. Боковые части выполнены в традиционно-символической примитивной манере, которая не представляется мне восхитительной, извините. Центральный, заметно суженный фрагмент, будь он обнаружен на Земле, мог быть отнесен к сиенской школе первой половины четырнадцатого века. Композиционная неуравновешенность, диспропорция...

Она замолчала, и все невольно обернулись, следуя ее взгляду. Так и есть — на пороге стояла Аделаида.

Какая-то не такая Аделаида.

— Что-нибудь случилось, доктор?

Она медленно покачала головой. После яркого света, наполнявшего вертолетный колодец, она никак не могла кого-то найти среди зрителей.

— Вам Абоянцева? — не унимался галантный Гамалей.

Она кивнула и тут же покачала головой — опять-таки медленно, единым плавным движением, словно нарисовала подбородком латинское «Т».

— Тогда посидите с нами!

Теперь подбородок чертил в воздухе одно тире, единое для всех алфавитов.

— Завтра кровь... — протянула она, по своему обыкновению не кончая фразу, и исчезла за дверью.

— В переводе на общеупотребительный это значит: кто завтра не сдаст на анализ кровь, будет иметь дело с высоким начальством. И грозным притом. Всем ясно? Поехали дальше. Так на чем мы остановились?

— На том, что в Та-Кемте нет вывесок.

— Это не вывеска, Самвел-сан, — кратко заметила Сириин. — Это автопортрет.

Все уставились на экран с таким недоумением, словно на кемитском заборе была только что обнаружена фреска Рафаэля.

— А до сих пор мы когда-нибудь встречались

тут с автопортретами? — спросил в пространство Гамалей.

— Никогда, — решительно отрезал Йох, самый молчаливый из всех — на просмотрах его голоса ни разу не было слышно. — Впрочем, с портретами — тоже.

Йох был инженером по защитной аппаратуре, и пристального внимания к портретной живописи никто не мог в нем предполагать.

— Кто же второй — я имею в виду женскую фигуру, извините? — настаивала Сириг, до сих пор считавшаяся неоспоримым авторитетом в области изобразительного искусства.

— Новая жрица, — угрюмо изрек Йох. — Вернее, новая судомойка в Закрытом Доме.

Йох ужасно не любил, когда к нему обращались с расспросами. Замкнутый был человек, но дело свое знал в совершенстве и теперь, похоже, жалел, что выскочил, как мальчишка, со своей никчемной наблюдательностью.

— Может, вернемся в сферу производства? — предложил Алексаша, тем временем инспектировавший все пятнадцать маленьких экранчиков общего пульта.

— Погоди, погоди, — остановил его Гамалей. — Выходит, мы нащупали наконец область, в которой можем предположить наше влияние? Ежели до сих пор подобного не наблюдалось?..

— А почему бы и не совпадение, простите? — кисло сморщилась Сириг.

— Тут ваш Веласкес сцепился с каким-то престарелым рахитом, — радостно сообщил Алексаша и, не дожидаясь распоряжений, сдвинул кадр метров на пятьдесят вправо, так что на экране замаячили фигуры долгового художника, читающего гневную отповедь какому-то благодушному колобку.

«Колобок» ухмылялся гнусно и двусмысленно.

— Маэстро, звук! — кинул через плечо Гамалей.

Алексаша крутанул гетеродин, и из скрытых динамиков полилась певучая кемитская скороговорка:

«Тожe мне плод приманчивый — Закрытый Дом! Да я в него не войду, хоть вели скокам меня волоком волочить! Закрытый Дом. Да меня с души воротит, как подумаю, кем ты его населить хочешь! Скоты тупоглазые...» — «Зато отменные мыследеи. А тонкость да изощренность души — она не очень-то с преданностью согласуется. Но тебе-то я все позволю. Изощрайся. Только

рисуй, что велю». — «Я рисую, что хочу». — «Вижу, вижу. Нарисовал. Два гада блеклых. А семья вся за худой урок впроголодь мается!» — «Ты жалеешь мою семью, Арун?»

«Колобок» гаденько захихикал.

— Такой пожалеет... — грузно, всем телом вздохнул Йох.

«А ты все время добиваешься, чтобы я перед тобой, маляр, дурачком-словоблудом оказался? Нет. Я не жалею твою семью. Я ее не воспитывал, и нечего мне о ней печься. Я о себе сокрушаюсь. Что не со мной ты. Что слеп ты и недоучен. Думаешь, если ты останешься в стороне, не поможешь мне в установлении истинной веры, так и будешь жить, как вздумается? Не-ет, солнышко мое голубое-вечернее. Мы устанавливаем справедливость, даем зерно — за работу, жен — по выбору сердца, детей — по силе рук, могущих их прокормить. Но за все это нужно подчиняться, подчиняться тем, кого по силе мыслей поставлю я над всеми. За все платить надо, мой милый!»

Наступила тягучая пауза.

— А что, пузан неплохо вдальбливает этому анархисту начала диалектики! — шумно, как всегда, выразил свое восхищение Гамалей. — Кажется, мы дождались-таки качественного скачка в социальном развитии этих сонь. Знаменательно!..

— Нет, — тихо подал голос из своего угла разговорившийся сегодня Йох. — Он не диалектик. Он просто фашист. И мы еще получим возможность в этом убедиться, когда он начнет не на словах, а на деле устанавливать свою веру.

— Когда же? — запальчиво крикнул Алексаша.

— Как-нибудь потом. **КАК - НИ Б У Д Ъ П О - Т О М!** — голос принадлежал Самвелу, но интонации были несомненно Кшисины. — Как-нибудь, когда они передушат, перетопят, пережарят друг друга, а мы все будем почесываться, со стороны глядя, — то ли это занести в графу прогресса, то ли налицо реакция...

— Да погодите вы! — крикнул Алексаша. — Они еще не договорились!

Но они договорились.

«Я не выдам тебя и не буду мешать тебе, — тихо, очень тихо проговорил бледный, изможденный юноша. — Но я не подчинюсь тебе, горшечник».

— Тоже мне борец! — горестно запричитала Ма-

кася. — Подкормить бы его, а то не ровен час — ветром сдует!

— Да, типичный астеник, — согласился Гамалей. — А разругались, похоже, они на всю жизнь.

По лицу художника не было заметно, что произошло нечто катастрофическое: он спокойно нагибался, срывая какие-то колосья и складывая из них ровную метелочку. Обвязал травинкой, попробовал на ладонь; вероятно, мягкость или жесткость изделия удовлетворила его, потому что он поднял кувшинчик с темной жижицей, обмакнул туда травяную кисть и широкими, плавными движениями начал наносить на белую поверхность ограды незатейливый орнамент, состоящий из полукругов и стрел.

— Простите, а кто-нибудь может припомнить, пользовался ли раньше этот художник такими кистями? — спросила вдруг Сирия.

— Это самоочевидно, — пробасил Гамалей. — Иначе он просто не успевал бы расписывать такие значительные плоскости. Алексаша, ты все-таки держи в кадре престарелого оратора — за ним интересно последить — как-никак, лидер оппозиции... Так вот, Сирия-сан, мы решительно заблуждаемся, считая, что кемиты в своем развитии не дошли до создания орудий труда. Неверно! Они стали на этот путь, достигли определенных результатов, и лишь потом, убегая от надвигающихся ледников и целыми городами переселяясь в более жаркие, экваториальные области, они свернули с прямого пути на тупиковую ветвь. Когда-нибудь потом, когда мы сможем собственноручно покопаться на свалках этого города, я убежден, что мы найдем как минимум обломки топоров, рычагов и блоков — иначе не могла быть возведена эта пирамида. Кстати, только что начавшиеся раскопки заброшенных городов уже дали несколько ножей, скребков и иглоков. Мы перед удивительнейшими открытиями, друзья мои... О, наш оратор, кажется, готов вернуться и продлить переговоры. Во всяком случае, сомнения, гнетущие его, слишком явственно отражаются на его чрезвычайно выразительной физиономии...

Скрытый передатчик (один из полутора десятков, заброшенных в город) давал сравнительно узкий сектор обзора; следуя просьбе Гамалея, Алексаша направил внимание камеры на болтливого старичка, который уходил, переваливаясь с боку на бок, словно селезень, в до-

вершение сходства губы его подергивались — он не то беззвучно шипел, не то побрякивал. Все следили за ним с невольной улыбкой: может быть, этот «колобок» и призван был сыграть ведущую роль в социальном прогрессе Та-Кемта, но со стороны он выглядел более чем забавно. Последняя фраза Гамалея комментировала следующий факт: дойдя до начала одной из радиальных улиц, старичок обернулся. Художник и его новая фреска уже находились за кадром, но мимика старичка могла относиться только к юноше — больше ведь никого из кемитов за городской чертой не наблюдалось. «Колобок» оглянулся, и лицо его приняло не то чтобы изумленное, а прямо-таки какое-то отрешенное выражение: мол, это уже свыше всяких границ разумного! И, мол, когда Боги хотят погубить...

— Тоже мне клоун, — неодобрительно произнесла Макася. — И чего это он кривляется? Зрителей-то кот наплакал, две голубые жабки на припеке...

Макася ошиблась. По улице легким синхронным скоком спускалась шестерка не то гонцов, не то стражников — обитатели Колизея до сих пор еще не разобрались точно во всем многообразии функций этого сектора строений (а их в общей сложности насчитывалось около десятка во всему городу), и, как ни странно, в их семьях, как по заказу, преобладали мальчишки. Впрочем, Аделанда утверждала, что генетическое программирование тут ни при чем, а загадка «маскулинизации» подобных семейств объясняется подменой новорожденных.

«Колобок», до сих пор вертевший головой, так что его подбородок описывал в воздухе идеальные окружности, вдруг втянул голову в плечи, разинул ротик, вроде бы собираясь крикнуть, но потом еще неожиданнее присел, одной рукой схватился за живот, ласкающим жестом обнимая его снизу, а другой зажал себе рот. Шестерка легконогих бегунов в одних набедренных повязках поравнялась с ним, шесть голов, как по команде, сделали резкий поворот в его сторону, затем так же согласно вздернулись вверх, возвращаясь в исходное положение. Они напоминали косяк птиц, слаженно выполняющих одновременные маневры. А еще больше походили на роботов.

— Почему он струсил? — брезгливо проговорила Сирий.

— Потому что болтается в непопуганном месте в рабочее время, — раздраженно отрезал Алексаша. — Я

вам лучше прядильный двор покажу. Сколько дней у нас уже работает станок? Семь? И все псу под хвост, как справедливо выражается Мария Поликарповна. Они даже не удосужились взглянуть в нашу сторону.

Действительно, с момента пуска в эксплуатацию ткацкого станка прошло около недели. Когда после необъяснимого происшествия с Кшинсей база категорически запретила снижать даже на ночь защитную стену, пришлось срочно отказываться от проекта ветряной мельницы — какой уж тут ветер внутри стакана со пятидесятиметровыми стенками! Меткаф тут же предложил ветряную мельницу заменить более компактной ручной, а из остатков древесины соорудить большой ткацкий станок. Все женщины, кроме Аделаиды, проявили врожденные навыки и из пуховых метелочек, серебрищихся в низинах вокруг озер, напряли множество веретен тонких и толстых ниток, воссоздав в сем процессе двор королевы Джиневры. На станке, ко всеобщему изумлению, наибольшего совершенства достиг Меткаф, и Колизей обогатился множеством пестротканых половиков. Когда пошла более тонкая ткань, Сирий тут же приспособила целый кусок себе на сари, а Гамалей шеголял в подобии senatorской тоги с пурпурной каймой.

Земляне самозабвенно предавались сему изысканному хобби в рабочее время и вне его, но сонные кемиты упорно продолжали зачищать тростниковые стебли, что сейчас и видно было на экране, а затем сплести их при помощи своих омерзительных пауков.

— У меня предложение партизанского характера, — подала голос Макася. — А что, если ночью перекинуть один из наших половиков через стену? Недаром говорят, что лучше один раз пощупать, чем сто раз увидеть. К тому же, клетчатая «шотландка» у них, похоже, в моде...

— Люди добрые, — вдруг безмерно удивленным тоном вскрикнул Алексаша, обернувшись к маленьким экранчикам мониторов. — А художника-то того... волокут.

Он был так ошеломлен, что забыл даже переключить кадр, и на большом экране по-прежнему с молниеносной быстротой мелькали плоские, до блеска отполированные когти, обдиравшие зеленую кожу с тростниковых стеблей.

Йох подскочил к пульту и с невероятной для его комплекции резвостью ударил кулаком по клавише — на эк-

ране засветилась тусклым желтоватым светом глинистая дорога, по которой шестеро стражников без особой нату- ги волочили худое тело. Похоже было, что строптивый художник навсегда потерял способность к сопротивле- нию,— во всяком случае на лицах шестерки, тянувшей его за руки, отражались удовлетворение и полнейшая безмятежность.

— А ведь это пора прекратить,— подымаясь и засло- ня собой экран, зарокотал Гамалей.— Среди бела дня, ни с того ни с сего... Пора, земляне, пора. Я иду говорить с «Рогнедой».

И он направился к выходу, покачивая головой: какое счастье, что Кшися-таки не явилась на просмотр!

— А что вы разволновались? — вскакивая и оконча- тельно заслоня экран, закричал Самвел.— Вы еще успе- ете. Вы еще вмешаетесь. Как-нибудь потом. КАК-НИ- БУДЬ ПОТОМ!

Но Гамалей уже не слышал его. Он мчался по внут- ренним лесенкам и галереям, разыскивая Абоянцева, что- бы наконец-то решительно переговорить с «Рогнедой». Но в этих поисках его опередила Аделаида.

Она нашла начальника экспедиции возле курятника. Он с задумчивым ужасом созерцал полукилограммовые яйца — продукт молниеносной мутации класса пернатых. Осторожно переступая через известковые кляксы величи- ной с глубокую тарелку, Аделаида приблизилась к осиро- телому заборчику, на который уже давно никто был не в силах взлететь, и выпрямилась, набирая в легкие поболь- ше воздуха. Обернувшийся к ней Абоянцев с тоской вспомнил те лучшие времена, когда врач напоминала ему сначала свежую, а затем вяленую рыбу: сейчас Аделаида являла собой как минимум окаменелого кистепера, извле- ченного из отложений юрского периода.

— Ну, что у вас еще?..— проговорил он, не в силах переключиться с проблемы куриного гигантизма на обще- человеческие.— Вы насчет анализа крови? Утром приду непременно, а по территории уже объявлено.

— Я только что взяла кровь у Кристины...

— Ну и что? — раздраженно спросил Абоянцев, зная манеру Аделаиды полагаться на сообразительность собеседника.

— Ничего. Ровным счетом ничего. Только она бере- менна.

— А, а-а, а-а, а!

Тук! Туки-туки, тук!

Ноги, ноги, ноги. От каждого шлепка босой ступни — всплеск удушливого асфальтового запаха. Глухие удары ритуальных шестов о мягкую до странности плоскость платформы. Тук, туки-тук! Точно сотни кулаков бьют по пальмовым орехам, и каждый орех — это его голова. Крак! Крак!

Осторожно-осторожно, чтобы не привлечь внимание, он поворачивает голову. Щеку, разбитую в кровь, когда шмякнули его в обломки хоронушки, снова сводит от боли — асфальтовая корка на уступе шершава и ядовита. А ведь снизу кажется, что пирамида вся сложена из камня... Но это уже неважно.

Он напрасно осторожничает: вокруг него мельтешит пестрая суeta священного танца, ноги одной плясуньи топчутся у самого лица, время от времени наступая ему на разметавшиеся волосы. На какое-то время эти ноги заслоняют от него весь вечерний мир — странные ноги, ленивые, но напряженные, покрытые гусиной кожей... Привычное, до смешного ненужное больше любопытство художника заставляет Инебела поднять ресницы: да, лицо, оттененное глиняными красками, тоже напряжено, глаза пугливо косят вниз. Ах вот оно что: жрецы, как и все простые жители города, тоже боятся высоты. А снизу не догадываешься... Но и это теперь неважно.

Море голов внизу, на площади — неразличимо одинаковых, мерно колышавшихся, равномерно отсеребранных вечерним солнцем, словно залитых прозрачным лаком. Безмятежная пустота сбегающей вниз дороги. Почти сомкнувшиеся над ней купы деревьев в окраинных садах. Глухая, влажная теплынь загородного луга. И только за всем этим — серебряный колокол Обиталища Нездешних Богов.

А ведь он был там, дышал этим мерцающим воздухом, взбегал по выющейся, как земляничник стебелек, лесенке; он был там, и он был таким, как они — нездешние люди, и в своем всемогуществе, в ослеплении своим негданним счастьем он и представить себе не мог, что наступит завтрашний день, когда всего этого уже не будет.

Останется воспоминание, острое до бездыханности, до ночной черноты во всем теле; останется чуть тлеющая, ночь от ночи убывающая надежда: а вдруг?..

И только.

А сейчас не было уже и этого, не было ни сказочности единожды сбывшегося, ни горести неповторимого. Было одно, одно на всем свете: голубой квадратик света среди темного пояса всяких гнезд, из коих слеplено Обиталище Нездешних.

Сияющий голубой осколок — вся его оставшаяся жизнь.

Глухой стук шестов и пяток сливается в непрерывную дробь, жрицы с деловитыми лицами и пугливыми глазами кружатся все быстрее, быстрее и наконец с облегчением опускаются на колени. Частенько приходится плясать на Уступах в последнее-то время. И кто бы мог подумать, что отсюда, с расстояния в одну вытянутую руку, на этих юных и сытых ликах не разглядишь ни священного экстаза, ни просто боголепного усердия... Впрочем, и это уже неважно.

Кто-то подходит сзади, подхватывает под руки, так что костяные пальцы впиваются в бока. Двое. Этих двоих он с легкостью раскидал бы, но навалются четверо, десятеро — и тогда неминуемость удара, от которого потухнет взгляд, а вместе с ним — безмятежный голубой светлячок, нежно теплящийся среди черных неосвещенных гнезд... Толпа снизу затихает. Только сейчас до него доходит, что, оказывается, внизу тоже топотали, прихлопывали, сдержанно гудели. Теперь — тишина. А ведь если бы каждому, кто там, внизу, по хорошему шесту в руки, да на конец шеста здоровый каменный клин, то и мыследейства никакого не надобно, и горючей воды Аруновой — не то чтобы десятерых, в один вечер разнесли бы и Закрытый Дом со всеми жрецами, и Уступы раскрошили бы к свиньям болотным... Только раньше об этом думать следовало. Теперь и это неважно.

Расслабленное, обессиленное бессонными ночами тело молодого художника было не слишком тяжело, но жрецы что-то притомились, и острые ребра ступеней уже не так резко поддают под спину. Жрица с чашей, поднятой над головой, не успевает замедлить шаг и почти наступает на ноги Инебела, волочащиеся со ступеньки на ступеньку. Он невольно вздрагивает, и взгляд его перемещается из темной дали сюда, на плиты, огражденные от темноты полыхающими чашами с огненной водой.

Упокойное питье! Как он мог забыть?

Этот жгучий, зловонный настой насильно вольют ему в горло, и прежде, чем дым от жертвенного зерна отгори-

дит его от всего мира, он впадет в милосердное беспамятство, дарующее осужденному избавление и от последнего страха, и от последнего крика, и от последней муки.

Страха нет, муку он перетерпит — недолго, недостойного крика он себе не позволит.

Потому что с ним до смертного мига останется последнее счастье — далекий свет ее голубого, вечернего гнезда.

Он не видит, сколько еще ступеней осталось до вершины, он торопится — собирает в узкий луч всю свою волю, осторожно и тщательно отделяет питье от стенок чаши и мутным, омерзительным комом поднимает вверх, выталкивает в сторону и только там отпускает, чувствуя всей кожей лица, как липкая жидкость растекается по боковым граням Уступов. Все. Не заметили? Нет, не похоже. И жрица, и факелonosцы глядят только вниз, скованные собственным страхом.

Успевает он как раз вовремя: его хорошенько встряхивают и ставят на ноги, но не отпускают — не из опасения, что он попытается бежать, этого еще никому из осужденных в голову не приходило, а просто потому, что он может не устоять на ногах и покатиться вниз, и тогда втаскивай его снова, надсаживай горб, когда по ту сторону Уступов, в тенистом дворике Закрытого Дома уже расстелены едальные циновки, и соуса в закрытых горшочках подвешены на плетеных арочках — стынут...

Но осужденный-то нынче попался покладистый, даром что мазила заборный, а дело свое знает, все бы такие были: чужие руки с себя стряхнул, станом распрямился, сам чашу с питьем принял и вроде бы пьет благолепно, только вот глазами вдаль зыркает, на поганое Обиталище, надо полагать, но это ничего, напоследок дозволяется...

Опустевшая чаша катится вниз, приглушенно шлепаясь на асфальтовое покрытие ступеней, потом вдруг раздается жирный всплеск — и одним коптящим огнем становится меньше на Уступах молений: чаше посчастливилось угодить прямо в бадью с огненной водой. Где-то там, внизу, возникает легкая суета, но старейшие, тыча молодежь шестами в зады и ребра, восстанавливают порядок: действительно, скорее бы кончать, а чашу и заutra выудить можно. Неважно это.

Все, все уже неважно. Одно только и осталось: дальний негасимый свет, в котором растворилась и белизна ее кожи, и голубой лоскут одеяния, и снежный блеск ее живых, доверчивых волос... Все это было дано ему полной

мерой — на, смотри, пока не заслезятся глаза, пока не опустятся сами собой ресницы; но чередой ночей, в которых он был обречен на бессильное созерцание, представлялась ему тогда лишь томительной мукой. Но сегодня все вдруг надломилось, понеслось, закрутилось быстрее и быстрее, словно в озерном омуте, откуда один выход — бездонная шель, в которую затягивает воду вместе со всем, что нечаянно заносит на середину озера; так же и с ним — ничего ему сейчас было не надобно, только бы глядеть и глядеть, и он так и глядел, словно этот голубой квадратик был для него не только единственным светом, но и единственным источником воздуха. Но время его пришло к концу, и тело, потерявшее способность чувствовать, не заметило чужих рук, вцепившихся в плечи и швырнувших осужденного прямо на мешки с чем-то мягким и упругим, точно обыкновенная, далеко не жертвенная трава; стремительно опрокидываясь, мелькнул перед глазами город с вечерними темнеющими садами, пепельно мерцающим колоколом вдали и сбегающей вниз пустынной дорогой, по которой так просто дойти от подножия Уступов до самого Обиталища... Все это исчезло, и осталось одно только небо, готовое почернеть, растворить в себе вечернее солнце, которое круглым голубым окошечком засветилось вверх, — как он раньше не замечал, что светятся они одинаково... Затрещала, загораясь, сухая трава, потянуло удушливой сладостью, послегрозово-луговой прелью... О чем он думает, Спящие Боги? Ведь это последний глоток воздуха, и осталось только повторять имя, как заклинание, как молитву, но он никогда не мог представить себе, каким же именем ее назвать, и сейчас готов был уже на любое, но это любое почему-то не приходило в голову, а наперекор всему думалось о чем-то нелепом, совсем ненужном в этот миг, — вот, например, о том, что на четком диске голубого, нездешним светом мерцающего вечернего солнца его обостренный взгляд четко различает черную точку. И как это прыгучая пчела смогла заскочить так высоко?... Боги, мстительные, проклятые Спящие Боги, истинные или ложные, сделайте одно: прогоните эти мысли! Потому что осталось совсем немного, да какое там немного — ничего не осталось, а имя так и не найдено, не придумано...

Тяжелые клубы травяного дыма навалились раньше, чем подступила боль, и забили горло и грудь, и с этим ненайденным, но готовым вот-вот открыться именем Ине-бел провалился в бездонную, точно омут, пустоту.

— Сирин заказала кассету с Симоне Мартини, Маргаритоне и еще кем-то там допотопным, — ворчливо проговорил Гамалей. — Недели так через две пришлют с базы. Только, я думаю, ни к чему.

Они стояли посреди «дивана», вперившись в девственно чистый экранчик иллюстрационного проектора, — Гамалей в неизменной senatorской тоге и сандалетах из крокодиловой кожи, обхвативший себя за плечи и гулко похлопывающий по собственным лопаткам, и Абоянцев с непримиримо выставленной вперед бородкой.

— Я тоже полагаю — ни к чему. Мы настолько неспециалисты в живописи...

— Да кабы и были ими, что теперь вернешь? У меня до сих пор такое чувство, словно это был один из наших...

— М-да, — сказал Абоянцев. — Фактически так оно и есть — ведь он первый и, пожалуй, единственный, на чьей деятельности мы можем проследить влияние привнесенного фактора...

— Ох, — у Гамалея опустились руки, и он даже проследил, как они покачиваются — волосатые, мускулистые, так ничего и не сделавшие... — И педант же вы все-таки, Салтан: привнесенный фактор! Да один наш Сэр Найджел, запущенный с надлежащей скоростью, раскидал бы там всю эту жреческую шушеру и выцарапал этого парня! И безо всяких там лазеров и десинторов, уверяю вас!

— Я не педант, — Абоянцев еще выше вздернул свою бородку-лопаточку. — Я не педант, но и вы никогда не решились бы на подобную авантюру. Зачем же вы меня пригласили? Чтобы обсудить инструкции по контактам? Нет? Я рад, батенька. И могу обрадовать вас: педантом я все-таки стану. Когда мы все выйдем отсюда в город.

«Как-нибудь потом!» — чуть было не крикнул Гамалей, но сдержался и вместо этого сказал:

— Мы все? Разве вы не отправляете... Левандовскую? — И тут же мелькнуло: все рехнулись в этой полупрозрачной тюрьме, и я в том числе, если вдруг язык не повернулся назвать Кшиську по имени. Бывшая лаборантка биосектора Левандовская...

Абоянцев развернулся было, хмурия рыжевато-седые бровки — утечка информации, как и всякий непорядок на

вверенной ему территории, раздражали его несказанно, но вдруг обмяк, махнул рукой и пробормотал:

— Ах, да, вы ведь все уже знаете...

Знали все, кроме самой Кшиси. Весть о том, что Большая Земля потребовала ее немедленного возвращения, облетела Колизей стремительно и непостижимо. Абоянцев не нашелся, как возразить, да и кто возразил бы в сложившейся ситуации? Не возразив, он решил и не откладывать — сообщить ей об этом после ужина, отправить ночью, как только сядет луна.

— Так вы, значит, в курсе, — севшим голосом повторил Абоянцев и вдруг снова выпрямился, словно какое-то решение выкристаллизовалось у него не в мозгу, а в позвоночнике. — Ну, раз вы все в курсе и, естественно, в миноре, тогда так: завтра с десяти ноль-ноль я той властью, которая дана мне на случай чрезвычайных обстоятельств, объявляю досрочный переход на вторую ступень нашей экспедиционной программы: прозрачность стены обеспечивается с двух сторон. Начинаем вживаться в обстановку города. Выход за стену, естественно, произойдет тоже ранее намеченного срока. — Он перевел дух, и Гамалей подумал, что так волноваться он не будет, наверное, и тогда, когда сообщит все это остальным экспедиционникам. — И не говорите Кристине — об этом пусть она не знает...

Оба они вскинули головы и посмотрели друг на друга — странная мысль пришла одновременно на ум обоим:

— А вообще, знает ли она?..

Они ошеломленно смотрели друг на друга. А действительно, никто с Кшисей на эту тему не говорил, да и не мог говорить, неприкосновенность личности — самое святое дело даже в супердалних экспедициях. Разве кто попросту, по-женски удостоился девичьей откровенности? Тоже некому. По условию, заданному еще на Большой Земле, они являли собой пестрейший конгломерат тщательно хранимых индивидуальностей, и ни восточная принцесса Сирин, ни душечка-дурнушечка Мария Поликарповна, ни вяленая рыба Аделаида в наперсницы Кшисе явно не проходили. Скорее уж она могла поделиться с кем-нибудь из мальчишек, но с кем? Гамалей нахмурился, припоминая... Нет. Все последнее время мужское население извлеклось в бессильных попытках найти проклятую «формулу контакта», а белейшая Кристина плавала среди них, как шаровая молния в толпе, готовая то ли взорваться, то ли бесшумно кануть в антимир — от нее и

шарахались соответственно. Нет, и с мальчишками она не говорила. Тем более... Тем более, что кто-то из них и был... А ведь странно, она вся светится от счастья, но она одна. Если бы не сообщение Аделаиды, то он мог бы поклясться, что интуиция эпикурейца усматривает здесь крамолу платонической любви.

— Черт-те что,— растерянно пробормотал он,— а ведь и вправду, может, она и не догадывается...

— Да нет, нет,— замахал руками Абоянцев,— как это — не догадывается? Так не бывает.

— Бывает... Бывает, Салтан. Жизнь, понимаете ли, такая стервозная штука, что пока чешешься — быть или не быть, допускать или не допускать — она, милая, уже это самое допустила. Ты тут словоблудствуешь, а это самое уже существует себе потихоньку... И хорошо, если только потихоньку. Это я не только в отношении нашей Кшиси, это я в самом широком смысле.

— Сенатор Гамалей,— проговорил Абоянцев не без сарказма, косясь на его тогу,— в последнее время ваша риторика становится, я бы сказал, все более патетической и аксиоматичной. Вы не замечали? Однако вернемся к исходной точке. Вы мне хотели что-то продемонстрировать, не так ли?

— А,— сказал Гамалей,— аппетит пропал.

— А все-таки?

Гамалей посмотрел на свои ноги, задумчиво пошевелил большими пальцами, высовывающимися из сандалий. Кажется, в античные времена такой жест считался верхом неприличия. Все равно что ношение штанов. Да, кстати о штанах... Он откинул край тоги и принялся рыться в необъятных карманах своих домотканых штанов. Штаны, как и тога, были сенаторские: с красной каймой. Нашарил наконец плоскую коробочку микропроектора, расправил ремешок и медленно, словно камень, повесил на грудь. Действительно, кто тянул его за язык? На кой ляд понадобилось ему звать на эту панихиду Абоянцева?

— Я, собственно говоря, ничего не хотел демонстрировать. Демонстрация — это не то слово. Не демонстрация. Реквием. По тому художнику, которого вчера... Одним словом, не спрашивайте ни о чем, Салтан, и смотрите. Этот реквием — не музыка.

Но это все-таки была музыка. Вернее — и музыка тоже. Абоянцев услышал ее не сразу, поначалу он только следил за возникновением каких-то странных, ни на что

не похожих и главное — никогда не виденных им картин. Он не знал этого художника, не мог даже приблизительно угадать век и страну. Может быть, это был и вовсе не землянин? Но нет, на картинах была Земля, но только сказочная, словно снящаяся... И безлюдная. Может быть, щемящая печаль удивительных этих картин и крылась в обесчеловеченности мира, сотканного не столько из материи, сколько из осязаемого, весомого света; а может, Гамалей выбирал по памяти только те полотна, на которых сумеречными вереницами змеились похоронные процессии одинаково безутешных людей и кипарисов, где черные крылья не то траурных знамен, не то падающих иниц деревьев казались иллюстрацией к иступленным строкам Лорки, где цепкий мышастый демон угнезвился в расщелине между готовыми беззвучно рухнуть зиккуратами, где бессильные помочь теплые женские руки баюкали невидимых рыбаков вместе с их игрушечными лодчонками, и на дне морском сохранявшими трогательную стойкость неопущенных, словно флаг, парусов... Музыка родилась незаметно, и смена картин не прерывала ее звучания, а наоборот, неразрывно переплеталась с ее ритмом — взлеты трассирующих ночных огней, слагающихся в знак зодиака, змеящееся ниспадение жертвенного дыма, нежное тремоло одуванчика и свистящий полет царственного ужа...

И вдруг — вечерняя, удивительно реальная долина. Она не принадлежала, не могла принадлежать всему этому миру грез, но музыка продолжала звучать, властно и безошибочно признавая своими и стильную синь заречного леса, и красноватые плечи обнаженной земли, и убогие рукотворные квадратики зеленеющего жнивья.

— Что это? — невольно вырвалось у Абоянцева.

— А это, собственно, и есть Райгардас.

— Не понял, — сказал начальник экспедиции начальническим тоном.

— Это — город, опустившийся под землю. Не видите?

Абоянцев ничего не сказал, но его «не вижу» повисло в воздухе гораздо реальнее, чем сам Райгардас.

— М-да, — Гамалей вздохнул. — Тогда вы — первый.

— Не понял, — еще раз повторил Абоянцев, агрессивно выставляя вперед свою бороденку.

— Видите ли, в этой картине каждый видит свой город. Свой собственный Райгардас. Ничто не может исчезнуть бесследно, ибо над этим местом будет всегда ме-

решиться нечто... Образ какой-то. Вы первый, кто не увидел ничего.

Абоянцев медленно опускал голову, пока лопаточка бороды не легла на домотканое рядом его рубахи. Раскосые татарские глаза его сузились еще больше, затененные бесчисленными старческими морщинками, и было видно, что изо всех сил он старается не допустить Гамалея в неодолимую грусть своих мыслей.

Но Гамалей был неисправим.

— Ага,— изрек он громогласно, со вкусом.— Увидали, слава те, господи, как говорит порой наша Макася.

— Как вы безжалостны, Ян,— совершенно ровным голосом, не позволяя себе ни горечи, ни досады, проговорил Абоянцев.— Вы, как мальчишка, даже не представляете себе, насколько страшно иногда понять, что каждый человек — это маленький... как его?

— Райгардас,— ошеломленно подсказал Гамалей.

Не ждал он такого откровения.

— Я припоминаю, вы рассказывали как-то, что этот город опустился под землю под звон колоколов, в пасхальную ночь... Мы, пожилые люди, как-то свыкаемся с этой собственной пасхальной ночью. Перебарываем мысль о ней. Каждый справляется с этим в одиночку, и я не слышал, чтобы об этом говорили. Каждый справляется с этим... Но иногда какой-нибудь юнец — а вы мне сейчас представляетесь сущим юнцом, вы уж простите мне, Ян,— бьет вот так, неожиданно... И тогда захлебываешься. И несколько секунд необходимо, чтобы перевести дыхание. А на тебя еще glareют.

— Простите меня, Салтан.— Гамалей и вправду чувствовал себя зарвавшимся мальчишкой, и этот возврат к юности отнюдь не переполнял его восторгом.— Я действительно думал о другом. Я тоже вижу свой Райгардас. Но это... наш Колизей. Мы ведь тоже уйдем отсюда, уйдем рано или поздно, и расчистим это место, и засеем кемитской травой. И достаточно будет смениться двум поколениям, как каждый из кемитов будет видеть над этим лугом свой собственный Райгардас, и он все менее и менее будет похож на настоящий.

— И это тоже, Ян. Может быть, я проживу еще долго, но другого Колизея, или, если вам угодно, Райгардаса, у меня уже не будет. Я ведь тоже унесу на Землю образ, воспоминание. В сущности, мы уже сделали свое дело — мы передали кемитам тот объем информации, кото-

рый когда-нибудь нарушит их соцностазис. Мы сделали свое дело..

— Воздействие должно быть минимальным, — невесело процитировал Гамалей.

— Это всего лишь первый пункт первого параграфа, к нам не применимый. Память — это чудовищно огромное воздействие. Только никто об этом не говорит вслух. Во избежание дискуссий с Большой Землей. Но и там это понимают. Мы оставим Та-Кемту неистребимый, неиспелемый образ нашего... я чуть было не сказал — моего Райгардаса.

Гамалей тем временем подошел к балюстраде и, опершись на широкие перила, принялся рассеянно глядеть вниз. Утром прошел нечастый здешний дождичек, и теперь, когда солнце наконец приблизилось к зениту и заполнило своим жаром все пространство, ограниченное стеной, стало душно, как в оранжерее. Хорошо видимый пар подымался снизу, и в этом пару разморенные биологи сновали от птичника к сараям и обратно, в безнадежном стремлении хоть чему-нибудь научить упрямых кемитов. И каждый, наверное, вот так же, как старик Салтан, думал: мой Та-Кемт, мой Колизей. МОЙ.

А ведь по сути к рождению Колизея непосредственное отношение имел один Гамалей. Тогда в проектной группе, кроме него, значился и Петя Сунгуров, космический врач, посевший на злополучном «Шелкунчике», и механик-водитель Краузе, уже двадцать лет как ушедший из космоса и задумавший было туда вернуться, и педант Кокоро, наследственный лингвист, и радиобог Кантемир... Пока проект утрясали да обсасывали, они все как-то позволили себя вытеснить — в группе Колизея начала стремительно плодиться перспективная молодежь. Что же, это справедливо, когда контакт рассчитывается на десятки лет. Но справедливости этой ради можно было бы Гамалея, непосредственно «рожавшего» Колизей, сделать начальником экспедиции.

Но вот тут-то и решили обойтись без риска — неожиданно-негаданно утвердили Абоянцева. Он-де «гений осторожности».

То-то юная пылкость и зрелая предусмотрительность прямо-таки раздрают атмосферу их дымчатого колодца, аки рак и щука. И никто этого не чувствует острее, нежели Гамалей, ибо он не стар и не млад, не медлителен и не порывист, и с позиции этой золотой середины, как с дубового пня, видит все, что творится на их разогретом, ды-

машемся пяточке, с какой-то спокойной, вдумчивой обостренностью.

Вот и сегодня он всем нутром чувствовал, что родства душ не получится, и поэтому заставил себя оттолкнуться от перил и проговорить подчеркнуто деловым тоном:

— Однако, Салтан Абдикович, мои грядки меня ждут. Прополка.

— А,— сказал Абоянцев, махнув сухонькой ладошкой,— какая там прополка, голубчик! Сегодня же все будут целый день валять дурака, поглядывая на солнышко. У всех на уме одно: завтра! Как будто завтра начнется новая жизнь...

Молодец, старик, унюхал! И все-таки надо идти.

— Да и вы меня совсем заморочили со своими картинками, голубчик,— продолжал Абоянцев с деланной ворчливостью.— Как будто бы ничего особенного — облака там, травка, берега отнюдь не кисельные... А все внутри переворачивает. Не искусствоведческая терминология, правда? Но я думаю, искусствоведы с этим мастером тоже намучились. Он ведь ни в какие ворота не лезет. И знаете, какое ощущение у меня? Что это не ЕГО манера рисовать, а так принято в том мире, который он видит и пишет...

«Ай да старик! — подумал Гамалей. — Ай да мудрец». И не удержался от маленькой провокации:

— Но ведь в этом мире он одинок... Мир-то безлюден. Тени, призраки, мифические да сказочные фигуры — и ни одного человека... почти.

— Да? — почему-то не поверил Абоянцев. — А ну-ка, покажите еще. Да не переживайте, завтра, посмотрите, на всех нахлынет такой энтузиазм — всю работу наверстаете. Давайте, давайте.

И Гамалей дал. Жертвенный огонь, заключенный в самом сердце мира, сменял восстающую из ночных васьильков Деву; царственный полет изумрудного ужа опережал круговорот новорожденной Галактики, и лилово-серая череда отпущенных судьбою дней змелась от теплых холмов родной земли, так легко покидаемых в юности, до снежных недосягаемых вершин, так и остающихся впереди в смертный, последний, час, когда только идти бы да идти, и, как в детстве, манит дорога, и, как в юности, две звезды, две любви сияют над головой — первая и последняя...

— Это — все? — придиричиво спросил Абоянцев.

Конечно, это было не все. Далеко не все. Даже не все самое любимое.

— Нет, естественно, — ворчливо отозвался Гамалей. — Я выбираю по настроению.

Настроение у него было не из лучших. Во-первых, вчерашнее зрелище вообще никогда не забудется, такое уж на всю жизнь, как неизбывный ночной кошмар. А во-вторых, попытка устроить себе светлый реквием тоже не удалась, и тут уж он целиком и полностью был виноват сам. Смотреть старые, любимые с детства картины надо было в одиночку. Или уж с кем-то другим, но только не с Салтаном. Станный человек этот Салтан: все время ждешь от него какой-то старческой нелепости, неуместной сухости, неприятия того, что тебе издавна дорого. Ждешь, а он, как на грех, все понимает правильно, и угадывает твои мысли, и становится более чутким, чем ты сам, — и все это раздражает больше, чем обыкновенная неконтактность или внутренняя черствость.

Ну а с кем все-таки ты хотел бы сейчас стоять перед этими картинами, перед их светлой сказочной чередой?

Он знал, с кем. Только не признавался даже себе самому. Ах, как нелепо, неожиданно выходит все в жизни...

— Скажите, Ян, а у вас есть какое-то объяснение этой м-м... обесчеловеченности такого м-м... вполне привлекательного мира?

— Этот вполне привлекательный мир слишком хорош для человека, — с подчеркнутой сухостью проговорил Гамалей, — он для того и создан таким, этот мир, чтобы показать людям, какого совершенства нужно достигнуть, чтобы получить право войти в него.

Гамалей ожидал, что Абоянцев хоть тут попытается возразить ему, но тот только кивал — вернее, монотонно покачивал головой, как тибетский божок.

— Святая простота утопистов всех времен, — тихонько, как бы про себя, отозвался старый ученый, — до чего же она наивна, и до чего она притягательна! Нарисовать совершенный мир и непоколебимо верить в то, что люди потянутся к нему, как...

Он запнулся, подыскивая не слишком банальное сравнение.

«Ладно, — подумал Гамалей. — Ладно. Отдадим ему и самое любимое. Все равно он уже до всего сам допер. Могучий старик! Отдадим ему и «Сказку королевны» — все равно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

— Вот так,— сказал он, нажимая привычную комбинацию цифр.

И тотчас же на экране возникла вершина солнечной горы, где в теплом безветрии затанцовало туманное, чуть мерцающее Неведомое, прикинувшееся огромным одуванчиком. И, такое же слабое и беззащитное, как сам одуванчик, тянуло к нему ручонки несмышленное человеческое дитя, и было бы нестерпимо страшно за них обоих, если бы неусыпно и зорко не хранила бы их под своим исполинским крылом такая недобрая на первый взгляд страж-птица.

— М-да,— задумчиво проговорил Абоянцев,— но и это не человек. Это — человечество.

— Но, увы, не человечество Та-Кемта,— вздохнул Гамалей, с сожалением разглядывая рахитичное чадо.— А тем не менее этот одуванчик, как его условно называют,— это все-таки наш Колизей. Каким он видится с приличного расстояния. А мы, как это ни парадоксально,— столь привлекательные для вашего сердца утописты, ибо мы все без исключения веруем в то, что кемиты поглядят на нас годик-другой, да и потянутся создавать у себя под собственным носом лучший мир. По образу и подобию нашего.

— Почему же парадокс? В это веруют и на Большой Земле, насколько мне известно. Иначе не затевали бы всей экспедиции. Мы действительно утописты, но утописты нового уровня, ибо мы не описываем оптимальные миры, а создаем их, а главное, вернувшись к утопизму, который, как мне представляется, неотделим от истинно интеллигентного мировоззрения, мы очистились от скверны, которая поглотила человечество Земли на протяжении трех решительнейших веков ее истории: я имею в виду девятнадцатый, двадцатый, да и почти весь двадцать первый.

— Знаю я эту скверну,— без особого восторга отозвался Гамалей.— Скверна скоропалительности, нерасчетливости, ненаблюдательности. Вернее, все это в обратном порядке.

— Именно, голубчик, и-мен-но! Ибо ничего нет страшнее психики человека, на которого давит страх: успеть, только бы успеть — нажать спусковой крючок, пулеметную гашетку, пусковую кнопку. И обязательно — первым! В чем и состояла проблема выживаемости. Да что далеко ходить — вы сами только что, четверть часа назад, показывали мне подобного супермена, эдакого

стрельца-удальца. Между прочим, он метил именно в эту страж-птицу. И в случае точного попадания обеспечивал себе небывалый трофей, а нашему условному чаду — или человечеству на самой заре — абсолютную незащищенность. Вот вам и прелесть истинно мужской стремительности — вскинул лук, натянул тетиву... Кстати, ваш мастер определенно симпатизировал своему герою. Еще бы! Начало двадцатого, героического века, века бешеных скоростей, молниеносных решений...

— Вы, как всегда, правы, — констатировал Гамалей.

Как всегда — абсолютно и омерзительно. И в последнем случае, насчет стрельца — с точностью до наоборот.

А не улететь ли отсюда ко всем чертям, спящим и жующим, земным и кемитским, не улететь ли вместе с Кшисьской? Вот так, молниеносно и скоропалительно? Ведь чует сердце — понадобится ей, бедолаге, чтобы рядом в нужный момент оказался кто-то свой. Пусть не друг — с такой не очень-то подружишься! — а просто свой, оттуда, из Райгардаса...

И опять вздохнул — который уже раз за этот день. Никуда он не полетит, это он знал прекрасно. Он останется, а вот ее уже здесь не будет. Он вспомнил ее счастливые до обалдения глаза и шумно, со всхлипом вдохнул в себя стоячий воздух аквариума.

20

Первым в сознание проник запах — смешанный запах тины и ладана. Затем — звук: часто и дробно капало. Воздух был густым, как в пещерах, справа тянуло теплом, как от жаровни.

Инебел тихонько — не из осторожности, а от боли — шевельнул ресницами. Тусклый огненный ком факела маячил где-то возле уголка правого глаза. Странно, обычно и сквозь сомкнутые веки он угадывал свет. А вот желтоватое пятно, совсем тусклое, — это лицо. Женское лицо. Лицо маленькой Вью.

Она сидит на корточках слева от него и, наклонившись так низко, что он иногда чувствует на своей коже ее дыхание, разглядывает его тело. Пристально, недоуменно. Вот подняла руку и легко коснулась его колена — сразу зашипало, видно, на коже ссадина. Она живо обернулась куда-то в темноту — смочила руку, теперь колену прохладно и не так саднит.

По ее позе, по ее спокойствию нетрудно догадаться, что сидит она здесь уже давно.

Огонь факела колыхнулся — из глубины подземелья пахнуло влажным воздухом, словно кто-то вытолкнул его перед собой, и бледная тощая тень бесшумно родилась прямо из мрака, проковыляла, тяжело качая полными ведрами, несколько шагов и так же необъяснимо исчезла в темноте.

Еще и призрак-водонос! Не слишком ли это нелепо для послесмертного сна, который должен быть покоен и благостен?

Мало Вью, мало водоноса. Черные, в передниках до пят, фигуры выплыли сзади, и Вью метнулась к факелу — схватила его и отвела в сторону, почти прижав к влажной стене. Пламя затрещало, капельки гниlostной сырости, улетучиваясь, окружили огонь клубочком далеко не благовонного пара.

Тени, прижимая к животам увесистые и совсем не прозрачные горшки, прикрытые глиняными крышками, — совсем недавно лепил их Арун! — прошествовали так плавно, словно от пролитой капли того, что было в толстостенной посуде, зависела судьба города. И канули в ту же темень, что поглотила водоноса.

Вью вернула факел на прежнее место, воткнув его в кучу песка, на которой лежал Инебел, потом набрала откуда-то полные пригоршни воды и плеснула юноше в лицо.

Черные фигуры снова возникли из темноты, оставив где-то свою тяжкую, тщательно береженную ношу. Первый прошелестел мимо и исчез за спиной, двое других подошли к песчаному ложу и остановились возле Вью. Сквозь почти сомкнутые ресницы Инебел увидел, как она робко подвинулась на коленях к тому, что был пониже и шире в плечах, и, обняв его ноги, прижалась к ним щекой.

— Ладная жена у тебя, Чапесп, — проскрипел глуховатый голос, удивительно напоминавший старейшего жреца, — в поучении прилежна, в заботах проворна, к мужу лстива. Нет, давно говорю: чаще надо молодых здоровеньких хамочек к нам, в Закрытый Дом, брать. Мужского полу младенцы — это уже другое дело, их на собственных худородков приходится менять, пока глаза не прорезались. Чтоб достойного Неусыпного вырастить — ох как долго учить надобно, да и то все чаще вырастает срам ленивый...

Инебел лежал на крупном колючем песке, впивавшемся в тело, и сверху на него сыпалась труха монотонных скрипучих слов. Это, наверное, будет продолжаться бесконечно, и так же бесконечно будет длиться его оцепенение. Сознание того, что он, вопреки всему, еще жив, несколько не обрадовало юношу. Жизнь его больше не принадлежала ему самому, она была ограничена со всех сторон, словно налита в узкий сосуд, и повиновение, на которое он был теперь обречен, вряд ли было лучше смерти. С того момента, когда к нему пришло это самое ощущение непоправимости собственной вины, воля покинула его. Вина — но вот только в чем? Если бы он знал!

ЧЕГО-ТО он не понял, на ЧТО-ТО не решился, ЧТО-ТО упустил. Когда? В какой момент? Может быть, продолжение жизни ему и отпущено только для того, чтобы в темноте этого подземелья понять, что именно было его ошибкой? Но ведь исправить что-то будет невозможно, и эти бесконечные мысли будут для него еще злейшей казнью, чем та, через которую он прошел на вершине черной пирамиды.

А сквозь завесу безразличия все-таки доходили, просачивались скрипучие словеса одного из Неусыпных — раньше горло бы перехватило от трепета, а теперь все равно...

—...Рабы суть недоумершие тела, и живо в них одно повиновение, но отнюдь не желание. Когда он пил-то отвар смирения? — живо обернулся он к тому, что пониже. — Вечор на закате? Частенько святожарить стали, память не удерживает...

Второй что-то промышал в ответ — интонации были утвердительны, но вместо слов — одно мычание. Немой, худородок — и в Закрытом Доме? Выходит, так. И ему-то отдали в жены ласковую, тихую Вью? И это, выходит, так.

Неусыпный между тем шевелил пальцами, подсчитывал, бормоча:

— Ночь да полдня... Еще полдня, ночь да день. Выходит, кормить сегодня его не надобно, да и не до того будет. А коли жив останется, утром снеси ему объедков, а отвар смиренный дай завтра к вечеру. Сегодня же воли в нем нет, смысла — и подавно. Ну, учись, дочь прилежная, как рабами повелевать. Вели ему встать и воду носить — в сердце гнева божьего должно вспыхнуть пламя, какого не знали ни земля, ни небеса. А пламя воды опасается, ох как опасается! Увидит воду — испугается из

горшков вылезать, силу свою оказывать! Так что гони раба нового воду носить, поспешать...

Вью послушно выпрямилась, опустила руки, смущенно приглаживая юбку.

— Раб, встань! — звонко выкрикнула она, и голос заметался по лабиринтам подземелья, затихая вдали, в узких коридорах.

Это — ему. Рабу. Такова воля грозных Спящих Богов, которых он тщился обмануть, которыми он осмелился пренебречь.

Он оттолкнулся лопатками от слежавшегося песка, сел и так же стремительно поднялся, выпрямляясь... и тут же со всего размаха ударился головой о низко нависающий свод потолка.

Голову расколола ярко-зеленая молния, и, застонав, Инебел повалился на песок. Издалека, сквозь пелену боли, доносилось какое-то невнятное помехиванье — наверное, так смеялся немой.

— Сегодня великий день, день возмездия, сочтения и воздаяния... хе-хе... грех злобствовать в такой день, — доносилась издалека, как бред, бормочущая скороговорка, — и я не сержусь на тебя, дочь Закрытого Дома, что ты нерадиво блюдешь имущество Богов, кое и есть рабы подземные. Но раб зело несложен и велик непомерно. Негоже его в пещеру возмездия божьего допускать. Горшки огнеродные перевернет, да и свод может обрушить, даром он наспех воздвигнут...

Немой снова замычал, по пещере запрыгали тени — он что-то объяснял жестами. Старейший понял прекрасно — видно, привык.

— И то верно. Так принеси еще пару ведер, Чапесп.

Немой кивнул, по-хозяйски погладил Вью по плечу, исчез в темноте. Старейший проводил его взглядом и наклонился к молодой женщине.

— Великий день, небывалый день, — бормотал он, елозя старческими пальцами по ее спине. Вью стояла, словно окаменев, не смела возразить. — Надень шестнадцать пестрых юбок, дочь моя, отягчи свои щиколотки бубенчиками, лицо скрой маской звериной, ибо во всей красе и мощи выйдем мы под вечернее небо, когда свершится мщение Спящих Богов! Мы будем петь старинные гимны и плясать на углях, которые останутся после того, как священное пламя поглотит наконец обиталище нечестивых чужаков, смущающих город! Выше гор станет пламя, громче рыка горы огненной прогремит глас божий!

Ибо черна тайна прашуров, дающая власть над гремучим огнем! Встает голубое солнце, отмеряя последний срок, и... впрочем, дочь моя, я увлекся. Праздновать будем попозже. А сейчас придержи-ка факел, а то, не ровен час, гроыхнем вместо чужаков прожорливых...

И снова мимо них, словно не касаясь песчаного дна пещеры, проплыли зловещие носильщики закрытых сосудов. И снова растворились они в темноте правого подземного хода, неслышные, ощутимые лишь по дуновению воздуха, увлекаемого их одеждами, но теперь оттуда, где они исчезли, донесся неясный гул — словно глухое ворчанье. Люди? Если — да, то их там много...

Инебел вжался в песок, напрягая мускулы, приводя их в боевую готовность. Очнувшись, он был безвольным рабом, послушным воле карающих Богов. А сейчас это был даже не человек — зверь, готовый в подходящий момент прыгнуть, перегрызть горло, закидать песком и снова пританься, прикинуться полутрупом, скованным дурманом питья. Потому что по немногим словам он догадался, что сейчас жрецы замыслили что-то против сказочного, беззащитного Дома Нездешних.

И ни единого мига сомнений не было у него в том, что он не вооружен ни знаниями, ни тайнами и потому обречен в первую очередь.

Он просто ждал своего момента, и в теле стремительно копились ненужные до той поры силы, и обострившийся слух выбирал цепко и безошибочно те крупницы сведений, которые поведут его в той страшной драке, которая предстоит ему одному против всего Храмовища.

Возле его лица глухо стукнули плетеные, обмазанные глиной ведра. Неусыпный потоптался, разминая ноги, потом точным тупым ударом пнул Инебела прямо под ребра. Юноша задохнулся, но догадался сдержаться — не вскрикнул. Только пальцы судорожно сжались, захватывая песок. И не только песок...

Под правой ладонью прощупался длинный сплюснутый брус. Камень? Глина? Гораздо холоднее того и другого. Память не подсказывала ничего подобного. Один край заострен — если сжать сильнее, то пожалуй разрежет и кожу на ладони; другой — зазубрен, словно распрямленная челюсть лесной собаки.

Силой мысли он мог остановить одного жреца... сейчас, озлобясь и собрав всю эту злость в тугой узел — пожалуй, и двух.

Такой зазубренной штукой он уложит десятерых.

Но еще не сейчас. Старик болтлив — если подождать немного, то даром выложит все то, что предстояло вызнать Инебелу за немногие часы, оставшиеся до неведомого пока «гнева божьего».

Однако старик в присутствии Чапеспа был не расположен словоблудствовать с новоиспеченной жрицей. Он еще раз, уже не целясь, поддал по лежащему телу бывшего маляра и скороговоркой проговорил:

— Раб нескладный, не моги подымать голову и в подземелье ходи окоротясь, аки ящер четырехлапый. Путь твой будет от развилки ходов влево, до колодца. Приняв полные ведра, опорожняя их и заменяя пустыми. В правый ход, что бережен должен быть по сыпучести хлипкой, не суйся — зарубят. Ну, пошел.

Инебел схватил ведра за плетеные дужки, пополз к развилке. Что они, все втроем тут торчать намерены?

Немой снова что-то промышчал. Похоже, соображал он тут лучше других и был наиболее опасен — как бы не заметил чего... Но тут из правого хода вынырнул согбенный раб с полузакрытыми глазами — двигался, как не проснувшийся. Инебел принял у него ведра и неуверенно ступил в темную щель левого коридора.

Колодец. Где же он? А если прямо под ногами? Темно. Еще провалишься, и тогда гадай — звать на помощь или нет? Похоже, рабы тут безгласны. Вода плескала ему на ноги, и он не знал, виден ли он еще тем, что остались позади. Оглянуться боялся.

Ход вдруг расширился и посветлел. Это не было убогое желтоватое пламя смоленной головни — голубой призрачный свет сеялся сверху, серебря плитняковые стены, по которым, журча, сбегала вода. Свет пробивался сверху, и прямо под светоносным колодцем чернело жерло провала. Вода, змеившаяся по стенам, гулко падала вниз. Инебел слил ведра, по шуму понял: глубоко. Поднял голову — сиреневатое вечернее небо было затянуто сеткой каких-то паутинных вьюнков.

Он приподнялся на цыпочки, опираясь на изрезанную уступами стену, дотянулся до свисающих стебельков. Дернул — влажная зелень потрясла ощущением чего-то живого, земного, несовместимого с этой могильной чернотой.

— Заснул, раб? — донесся далекий зудящий голосок. Он бросился назад, уже не опасаясь провалов и колодцев. Завидев маяту факела, согнулся, спрятал глаза.

— Бегай проворней, раб! — подражая визгливым интонациям старейшего, прикрикнула Вью.

Девочка входила во вкус.

— Погоняй, погоняй, — прокрипел старейший. — Загнать не бойся — когда свершится воля Всеблагоспящих, лишние руки больше не понадобятся. Ну, десяток-другой, чтоб мешки ворочать, не более...

Инебел по-прежнему не подымал глаз, но в узенькие щелочки между ресницами вдруг увидел остроконечный листок — в собственной руке!

Согнулся в три погибели, схватил ведра, уже дождавшиеся своей очереди, кинулся по коридору. За спиной слышал старческий смехок:

— Проворен! Даром послушания наделен, да уж больно нескладен, несуразен для подземелий. Так что...

Юноша подбежал к колодцу, выплеснул воду. Следом за водой осторожно стряхнул с ладони зеленую веточку. Она плавно, точно нехотя нырнула в провал колодца. И тотчас же в черной глубине что-то страшно и хищно плеснуло, словно громадная рыба выпрыгнула из воды навстречу добыче.

Инебел отшатнулся от края.

— Ра-аб! Проворней!

Разошлась Вью. Перед новыми хозяевами выслуживается, чтоб их обоих в этот колодец унесло! Когда ж они уберутся?

Ему повезло, да как — ушли оба жреца, но Вью... она здесь так недавно — что она может знать?

Он обменял пустые ведра на полные, дождался, пока его напарник исчезнет в низком лазе, и взмахнув руками, свалился ничком, — внимательный глаз заметил бы, как сложилось при падении тело: словно согнутая ветвь, готовая распрямиться. Но Вью была невнимательна и до забавного высокомерна, вот только если бы Инебел расположен был сейчас забавляться...

Она подбежала к нему, затопталась на месте, примериваясь, — вспоминала, как это ладно получилось у Неусыпного, когда он привычно поддал рабу прямоухонько под ребро. Вью не раз попадало от братьев, злобная была семейка, не случалось дня, чтобы на ком-нибудь не срывали тягучей злобы, копящейся целое утро за утомительно-нудным тканьем.

Так что по собственным ребрышкам помнила — несладко это, когда в самый бочок. Скорчившееся у ее ног тело было недвижно, значит, правду говорят

жрецы, что раб — это недоумерший. Может, он и боли не чувствует?

Она нашла-таки место, куда бить, саданула как следует — удовольствия никакого, только косточки на пальцах заныли от удара. И не потому, что было велено, — за всю муку ожидания еще там, в семье, за весь страх потерять то, что здесь.

— Встань, раб!

Инебел ждал этого, вскочил, но на сей раз осторожно, чтобы поберечь свою голову, и успел — зажал девушке рот, так что она не успела даже вскрикнуть. Он ждал, что она начнет сопротивляться, по меньшей мере вгрызется в руку, зажимающую ей рот, но она обвисла покорно и безропотно — видно, не научили еще, что делать, когда рабы бунтуют.

А может, он — первый, который вздумал бунтовать? Остальных опаивали до состояния гада, промерзшего зябкой ночью, когда тот ни лапами, ни хвостом шевельнуть не может, пока солнышко утреннее от бесчувствия его не отогреет. А он уберется... вчера. Да неужели — вчера?

Вечно было это дымное, угарное подземелье...

Он понес девушку в свой подземный лаз. Мимоходом двинул ногой по ведрам — те перевернулись, вода зажурчала, не желая впитываться в крупный песок. Ничего, тот, другой раб — настоящий, бессмысленный. Он ничего не разберет.

Он тащил нетяжелое послушное тело, и в темноте узкой щели странные воспоминания непрошенно подступили и разом переполнили его. Вот так он приподнял... Ее. Ах вы, Боги Спящие, имени-то он так и не придумал! Просто — Она.

И Она лежала на его руках — уже тогда, после, когда он почему-то вдруг придумал, что ему нужно скрыться, бежать, не испугать Ее...

Она была легкой — нет, не такой, как эта, — Она была такой невесомой, словно внутри нее спрятался серебряный воздушный пузырек, подымающийся порой с озерного дна... Она была безучастной, так и не отворившейся навстречу ему до конца, и только живые ее волосы доверчиво лгнули к его рукам...

Он присел возле колодца, опустив Вью на мокрый пол. Внизу, в смрадной глубине, кто-то заплескался мелко-меленько, словно плавничком нетерпеливо забил по поверхности воды.

Инебел осторожно отнял ладонь, которой зажимал губы. Вью всхлипнула, но не закричала.

— Из чего вырастет огонь божьего гнева? — торопливо, дыша ей прямо в похолодевшее лицо, проговорил Инебел.

— Я не была там... гнев божий гнушается женских ног, и ступать далее развилки мне не дозволено.

— Сколько там жрецов?

— Ой, пять раз по двум рукам, а то и поболее...

Она судорожно всхлипывала — от усердия, чтобы ничего не перепутать.

— Теперь скажи, как сделать, чтобы этот божий огонь не смог разгореться?

— Ой, Инебел, как можно — теперь и Верховный Всемогущий Восгисп над тем не властен. Одни Боги!

— Так, — сказал он и снова зажал ей рот, оглядываясь по сторонам.

Кругом ничего не было, кроме песка и камня, пришлось сорвать с нее одну из юбок. Рванул пополам кусок драгоценной клетчатой ткани с блестящими вплетениями осочьей травы, одним лоскутом стянул руки, другой пошел на то, чтобы заткнуть рот. И ловко как получилось, словно весь свой век только этим и занимался...

Отпихнул девушку от края колодца, чтобы ненароком не сползла туда, елозя. Бесшумно кинулся обратно — полные ведра уже ждали его, он их опорожнил прямо в правый низкий лаз. Оттуда явственно доносился сдержанный говор — словно торопили друг друга... Кинулся к куче песка, разгреб верхний слой — вот оно: запретная чужая рука, совсем как у нездешних. Плоская, с зазубринами... Не глина, не дерево, не раковина, и откуда такое — неизвестно, сейчас из этой блестящей холодной штуки всего пять-шесть «нечестивцев», да и то в самых близких к храму домах. Рванул странную вещь — тяжелая. А ведь такой чужой рукой и жрецов раскидать — плевое дело.

А вот и один — легок на помине!

Инебел не успел как следует разглядеть выметнувшуюся на свет фигуру, как руки его сами собой вскинули странное орудие над головой и с размаху опустили небывалую тяжесть на плечо вбежавшему.

Литое зазубренное лезвие непривычно потянуло его за собой вверх, затем вперед и вниз, и Инебел, не удержавшись, ткнулся лицом прямо в рассеченное тело. Он с омерзением прянул в сторону, и тут перед ним возник-

ли еще одни тощие ноги и пара ведер. Он вскинул голову, ужасаясь только тому, что снизу размахнуться уже не удастся, а вскочить он не успеет, ударят ведром. Но на черном, как храмовые ступени, едва различимом в сумраке лице жутко, как бельма, светились белки полузакатившихся глаз, и Инебел, переведя дух, дернул к себе одно из ведер и, наклонив, вылил всю воду себе на голову.

Тощие ноги потоптались, пока он опорожнял и второе ведро, затем закачались несгибающиеся руки, нашаривая дужки, и водонос исчез.

Лежащего тела он так и не заметил.

Юноша оттащил мягкий куль к дыре колодца и, не задумавшись — не жив ли еще? — столкнул вниз по склизкому краю. Снизу плеснуло, да так, что пол под ногами дрогнул — исполинские подводные гады рвали добычу, а может быть, и друг друга. Пока плеск не утих, Инебел стоял над колодцем в каком-то оцепенении. Вот он убил. Мало того, убил страшно: чужой рукой. И не кого-нибудь — жреца. Раньше просидел бы от одного солнца до другого, ужасаясь содеянному. Раньше.

Нет больше этого «раньше». Он прошел через смерть, и Боги — какие вот только, не разберешь, — вынули из него большую часть души. Остался твердый комочек, способный не на размышления, а только на действия. Вот он и действовал — убивал. Как это просто сказать — «убивал».

И как это просто делать.

Вот сейчас он проберется туда, откуда чернолицый водонос с тусклыми бельмами безучастно таскает почему-то опасную для жрецов воду. Много ли их там, в подземелье? Неважно. С чужой рукой он справится. Иначе...

Он оборвал свою мысль, потому что память воскрешала томительную тяжесть рук, занемевших от такого легкого, послушного тела, чутких небывалых рук, у которых кожа слышит шелест чужих волос, а кончики пальцев становятся влажными и потрескавшимися, точно губы, и воспоминание это обрывает дыхание, и колени сами собой гнутся и касаются холодного зазубренного края...

Эти холодные зубцы разом отрезвили его, и он, мгновенно обретя прежнюю силу и стремительность, словно лесной змей, свернувшийся в кольцо, вскинул на плечо свое оружие и метнулся в узкий проход, мерцавший дымно-огненным диском.

А он ошибся. До тех огней, что маячили впереди, оказалось далеко, и ход сузился — не размахнешься, а без

размаху какой удар? И черных фигур, что стояли с двух сторон, склонив головы, словно подпирая затылками свод расщелины, он тоже предусмотреть не мог. Много этих фигур, много, и непонятно — то ли низшие жрецы, то ли такие, как водонос — недоумершие, и их неисчислимо много. А за ними, в неожиданно расширившейся пещере, — шевеление громадного озерного спрута, поблескивающего десятками глаз, в которых бессмысленно маячат отсветы факелов, жмущихся к стенам... Только это не спрут. Жрецы это, и они привычно и ловко укладывают что-то, громоздят одно на другое, и движения их по-земному плавны, и сосуды с черной горючей водой, неприкасаемой, священной, глухо цокают масляными боками...

И опять какой-то сторонний, мгновенно считающий, безошибочно оценивающий ум бесстрастно сообщал: здесь не пройти. Не ошиблась Вью — жрецов тут не меньше, чем пять раз по две руки. Забьют. Выход один — наверх.

«А наверху?..» — робко заикнулся Инебел, не надеясь, что этот посторонний, упрятавшийся в нем, найдет и тут верное решение. «Не знаю, — ответил тот, безошибочный. — Вероятно, и там ничего нельзя будет сделать, позвать-то ведь на помощь некого. Останется одно: предупредить».

Он отползал назад, не подымая головы, страхась одного: опознают и задушат прежде, чем он выберется. Подумать о том, прав или не прав этот неожиданно зазвучавший внутри него голос, он не смел — усомнись, и что тогда? Тогда — стремительно улетающее время, и бессильные мысли, и нелепая гибель вместе с теми, что наверху, под сказочным серебристым колоколом...

Водонос с полными ведрами надвинулся из черноты лаза, переступил сухими ногами через Инебела, и тяжелые ведра глухо стукнули об пол на перекрестке. Раньше и сам он вот так же тупо и безучастно ходил бы много часов назад и вперед, сясь найти выход. Сейчас — только быстрота. Водоноса просто отпихнуть с дороги, он не опасен. Вот только высота колодца... Он вскочил, уже никого не опасаясь, схватил тяжелое оружие, сослужившее уже свою страшную и неожиданную службу, кинулся туда, где в потолке зеленоватой гнилушкой тлело жерло верхнего лаза. Приноровился — всадил лезвие прямо над собой, в щель между камнями. Теперь только бы выдержали камни, только бы не хрустнул пополам зазубренный

кусок ледяного литья. Потому что прямо под замшелой дырой — плещущееся жерло колодца. Ждут.

Инебел подтянулся рывком — руки разом занемели на холодной поверхности, но легкое тело послушно вскинулось вверх, пальцы молниеносно обшаривали поверхность лаза, отыскивая спасительные трещинки, колени точно вжались в едва уловимые выбоинки. Нет, он не сорвется, он... Не он. Не он, а другой Инебел, родившийся в нем еще тогда, когда он перелез через стену, умерший было, когда жалкая, позорная робость заставила его бежать перед рассветом, и не очнувшийся на Черных Ступенях даже ради спасения собственной жизни. А вот теперь, когда божий огонь обратился на Нездешних — теперь этот Инебел ожил. Да как! Он мог...

Ничего он не мог. Во всяком случае, сейчас. Он мог одно — затаиться, чтобы не выдать себя ни шорохом, ни нечаянно скатившейся в воду песчинкой. Потому что внизу, прямо под его ногами, зазвучало сразу не менее десятка голосов.

В их общем, нетерпеливом и гневном гуле юноша не мог ничего разобрать, но тонкий, визгливый альт, уже знакомый по двум встречам, разом оборвал их требовательный хор:

— Крови испугались, дармоеды храмовные, мразь, чтоб вам... у-у! — Вроде удары, но не ойкают, терпят. Наиверховнейший, всевластный. Он может.

— Худородков драть! Да не к делу приспособленных, а малых, несмышленых! Об стены бить! В огонь кидать!

— А ежели помстится, да не худоро... — заикнулся кто-то басом, но высочайший визг оборвал его на полуслове:

— Малых бить! Малых! Не уразумели? Гнев божий кровью утолять! Да своими руками, не брезгуя, — раз в жизни потрудитесь! В нерадении замечу — сам желчью облюю, глаза издымлю... Гниды синеухие! Куда завели? Повертывайтесь!

Внизу забормотали униженно, затопотали — и разом стихло. Только по соседнему коридору гул нестройный да шарканье о стены... Пронесло. Только запах остался стойкий, до сих пор не чуянный, — воняло не то скисшим, но не добродившим; а может, и хуже того, перегаром ярджелиного сока. То-то как в чаду все, даже связанной Вью, что под ногами прямо лежала, не заметили.

А ведь Вью придется здесь бросить.

Словно холодная пружина выпрямилась внутри: нет

другого выхода. Значит, не думать об этом. Сейчас — только вверх. И не так-то это просто. Руки словно разучились повиноваться. Обиделись — чужой рукой их заменил, холодной, зазубренной... Он нащупал верхнюю кромку каменной кладки, и его вынесло на поверхность раньше, чем он успел подумать об осторожности. Глупо, но обошлось. Кусты, густота колючего переплетения. Продрался. Где-то за спиной — далекие, мирные голоса. Воркотня детишек у очага. «Малых о стены бить, в огонь кидать!..»

Ослепленный солнечным светом, он ткнулся во что-то жесткое, отшатнулся — хоронушка старая, убогая. Чем изукрашенная, не разглядел. Стволы. Два дерева — огромные, развесистые, такие только под самой горой, на краю города... Стена за деревьями. Небеленая, с изнанки. Оглядываться некогда — туда!

Голубое вечернее солнце, едва вставшее из-за дальних холмов, освещало пустынный луг с журчащими по нему арыками, под самыми ногами, у подножия стены брошены горшки с краской, а прямо перед глазами — не сон, а явь: сказочное жилище Нездешних, что и увидеть-то не чаял...

Разом пересохли губы, а за ними и все тело вдруг загорелось и высохло, сейчас поднеси уголек — затлеет бездымно... Ни дышать, ни пошевелиться. Слишком много голубого свечения, нездешней прозрачной невесомости — слишком много счастья. Нельзя так, после подземелья-то.

А ждало его и того больше: поднялись ресницы сами собой, и глаза нашли против воли высокое гнездо, обнесенное ажурной оградой.

И прямо за оградой — та, которой он так и не придумал имени. Волосы светлые текут по плечам и вдоль рук, а лицо...

Лицо такое, словно по нему только что ударили.

И смотрит не как всегда, чуть выше построек, будто старается разглядеть что-то в кронах окраинных пышно-листных деревьев, а вниз, прямо сюда...

На него.

Юноша выпрямился. Он не думал о том, что здесь, на довольно высоком заборе, он виден издали — все это было сейчас неважно. Она глядела на него — впервые глядела в упор, и он понял, почему это случилось: ведь он был уже не прежним, а другим, новым Инебелом, тем, что побывал за прозрачной стеною, тем, внутри которого до сих пор леденел отпечаток этой стены, деля все его ес-

тество на заскорузлую старую оболочку и на какое-то неумелое, новорожденное существо, которое прорезалось в нем, когда он впервые пробирался по нездешней теплой траве...

Он так и стоял бы, не шевелясь, ловя ее взгляд, но она вдруг оттолкнулась от перил и бросилась вниз по винтовой лесенке, так что ноги ее, оплетенные узкими лентами, едва успевали касаться белых ступеней; и она побежала по траве, побежала прямо навстречу ему, словно и не было между ними колдовской стены, и он тоже прыгнул с забора и, путаясь в высокой луговой осоке, ринулся навстречу, но не успел — она добежала первая, с размаху ударилась о стену всем телом, и стена отбросила ее назад ответным упругим ударом, от которого у Инебела заныло все тело, и он только тут почувствовал, до какой же степени он верил в чудо, в то, что проклятая прозрачная пленка наконец-то исчезнет, прорвется, или, как тогда, ночью, опустится... Но чуда не было.

И когда Инебел, захлебываясь холодеющим воздухом, добежал до прозрачного колокола, девушка уже уходила прочь, зябко обхватив плечи тоненькими, как у сестренки Аплъ, пальцами.

21

— Потерпите, — цедил сквозь зубы Кантемир, рассказываясь от одной кромки экрана до другой, словно баюкая нескончаемую свербящую боль. — Обойдетесь пока пятью. Остальные десять брошены на двадцать шестой объект, там ведь один транслятор был на всю округу. Это вы бы видели... М-м-м... Это не крысы, не волки... Ни одна фашистская банда до такого не доходила!

— Спустите ролик — посмотрим, — отозвался Гамалей. — У нас вроде тоже что-то затевается. И если снова будет фейерверк, это помешает Салтану отправить вертолет, над которым он сейчас хлопочет.

— Ваши игрища! Да вы на своих сонь молиться должны, они же сущие ангелы по сравнению с этими, северными. Явилась пятерка таскунов, что на междугородных перевозках. Кладь сбросили, три дня жрали и опивались, потом для них согнали всех девчонок города. Заперли. Малышек с полсотни... И что непостижимо — матери сами, собственными руками... Не-ет. Наша программа ни к черту. Где ж предусмотреть такое!

Узкое лицо Кантемира, всегда такого сдержанного в диалогах с Гамалеем, неудержимо дергалось, как от зудящей боли.

— Все это логически объяснимо, — почти безучастно проговорил Гамалей. — Над ними сразу два дамокловых меча: страх перенаселения и вплотную подступившая опасность вырождения. Несколько сотен лет внутрисемейных браков... Программу, конечно, придется менять.

Он пожевал пухлыми губами, еще безразличнее пообещал:

— Ну, сменим.

Кантемир дернулся:

— Как прикажешь тебя понимать?

— А понимать так, что хоть меняй, хоть нет... Послушай, Кант, мы не правы в самом основном, и это я начинаю понимать только сейчас...

Он замаялся, подбирая слова, потому что ясность мысли еще не пришла, но последней так и не суждено было отыскаться, потому что голубым сполохом наложился на транспланетный экран блик экстренного внутреннего вызова, и смятенный лик Салтана Абоянцева, утративший всю свою тибетскую невозмутимость, заслонил собой дежурного инженера «Рогнеды».

— Гамалей, где вы прячетесь? Помогите же мне!

Гамалей охнул и принялся извлекать свое тело из тесноватого кресла-вертушки. Не обошлись-таки. Хотел он проторчать тут, в аппаратной, до самого отлета Кшиськи — так нашли.

Он выбрался в центральный колодец, по прохладным ступеням аварийной лесенки зашлепал на второй этаж. Вертолет уже стоял на дне, дожидаясь захода тутошней ослепительно голубой луны.

В «диване» собрались уже абсолютно все, хотя, насколько понимал Гамалей, никого, кроме Кристины, туда специально не приглашали. Всем было мучительно неловко, и тем не менее никто не уходил. Гамалей понимал, почему: каждому казалось, что в последний момент он за чем-то понадобится, что-то сможет изменить, помочь...

Гамалей сколь можно неприметно протиснулся в дверь, сколь можно бесшумно притворил ее за спиной. Оперся лопатками. Потупился. Знал, что огромные, колодезно-зеленые Кшисины глаза замрут на нем с последней надеждой: ну, хоть ты-то... Он не утерпел и краешком глаза отыскал белое платье.

Она и не думала глядеть на него — очень-то он был

ей нужен! Она глядела туда, за перила, где молочным маревом стояла стена, и Гамалей ужаснулся, увидев выражение ее лица. Был в древности такой жуткий вид казни, когда у приговоренного вынимали внутренности и, пока тот был еще жив, сжигали их у него перед глазами. Вот так они, наверное, и глядели. Она пошла прочь, и все поспешно расступились, и первым шарахнулся Самвел. На нем тоже лица не было. Все, случившееся с Кшисей, потрясло его какой-то позорной с его точки зрения потаенностью, и продолжая любить ее не меньше, он и сейчас, не задумываясь, прыгнул бы за ней в огонь, но запросто протянуть ей руку он уже не мог.

Она подошла к перилам и остановилась, все так же всматриваясь в проклятую запредельность кемитского мира. Ну, на кой ляд, скажите, пожалуйста, она туда вперилась? Ведь на кого-то из тутошних надо было смотреть, с любовью ли, с укоризной, или просто сквозь... Ведь ЭТОТ был здесь, по сию сторону. Так что же происходило?

А вот что: Кшися оттолкнулась от перил, порхнула к витой лестнице и заскользила, заструилась вниз как-то независимо от ступеней, словно ее белые сандалии их и не касались; так же невесомо перелетела она через лужайку, развела руками ветви тоненьких осинок, подступавших к самой стене, словно стремительно проплывая сквозь них, и вдруг исчезла, поглотилась стеной... Нет. Показалось, просто платье ее, и волосы, и руки, уже не белые, а пепельные в сумрачном свете невидной пока луны, в момент удара слились со студенистой непрозрачностью стены, но в следующий миг девушку отбросило обратно, и она, едва удержавшись на ногах, разом съежилась и пошла прочь, обхватив руками плечи, и сквозь строй осинок она уже не проплыла, а продралась, как сквозь терновник, и если бы этому можно было поверить, то Гамалей поклялся бы, что одна из веток потянулась за Кшисей и цепко охватила ее запястье, так что пришлось досадливо дернуться, чтобы освободиться; и трава, недавно скошенная трава невесть как поднялась чуть не до колен, оплетая ноги... Это было наваждением, но именно тем наваждением, которого так ждал Гамалей, — если не люди, то хотя бы деревья и травы пытались задержать ее здесь.

— Да остановите же ее! — крикнул он, бросаясь к Абоянцеву. — Остановите ее, потому что если она сейчас улетит — это все, все! И больше ничего будет не нужно,

потому что, отпустив ее, мы в последний и окончательный раз поступим НЕ ТАК, и это уже будет бесповоротно...

Он вдруг осознал всю бессвязность своей скороговорки и, застонав, обхватил голову руками.

— Поймите, Салтан, что мы не имеем права шадить своих больше, чем... я чуть было не сказал: чужих. Мы — частица мира, по-человечески равного тому, кемитскому, и мы не имеем права спасать своих, когда гибнут кемиты, мы должны мучиться всеми земными бедами, сходить с ума от всех земных страстей, умирать во всех земных муках... Только тогда мы перестанем быть для них «чужими богами», только тогда они поверят нам, когда мы...

— Тревога! — взревел где-то внизу трубным гласом Сэр Найджел. — Общая тревога!!!

Все бросились к балюстраде и свесились вниз — лужайка мирно серебрилась, и маленький робот, ошетилившийся сзади и спереди вертикальными рядами разнокалиберных десинторных стволов, выглядел донельзя опереточно.

Гамалей поискал глазами Кшисю, — она даже не потрудилась обернуться на истошный вопль так не к месту взыгравшего робота, и тихо исчезла в галерее первого этажа.

— Тревога! — еще раз каркнул Сэр Найджел.

— Доложи обстановку! — сложив рупором ладони, крикнул ему сверху Алексаша.

Робот покрутился на пятке, словно дервиш, и вдруг упер весь ряд передних стволов прямо в землю. «Ааа-ларм, ааа-ларм, ааа-ларм», — бормотал он, притаптывая в такт кованым копытом.

— Рехнулся, — заключил Меткаф. — Говорил же, что не надо на роботов ставить анализаторы нашего пси-поля. Естественно, предохранители полетели...

— Хоть обстановку-то разрядил, — буркнул Наташа.

Вот чего не надо было совершенно, так это разряжать обстановку. Только в накаленной атмосфере и могла дойти до всех истина, открывшаяся Гамалею, но эта титанировая дубина в припадке самообороны свела все к нулю.

А истина была предельно проста: если мы действительно не боги, а люди, то все должно быть на равных, и придя в мир, где не милуют ни женщин, ни детей, мы должны прежде всего спасти ИХ женщин и ИХ детей. А не своих — у них на глазах...

Он проговорил эту фразу про себя и вдруг осознал, что так и не отдал себе отчет в том, чем была для него

Кшися: женщиной или ребенком? Он ведь всегда так был уверен во втором, так уверен, что в этой уверенности определено было что-то подозрительное. Белейшая Кристина...

Он вдруг представил себе, как она наверху, пробравшись к себе по внутренней лестнице, чтобы ни с кем больше не встречаться, стоит посреди залитой голубым светом комнатки, стоит босиком на теплых досках из земной сосны, и тоненькие ее руки перебирают все вещи — земные вещи, привезенные с базы, и ничего этого ей не нужно, а нужно здешнее, колдовское, так непонятно приворожившее ее к себе, и ведь ничего этого нет, ни былинки, ни щепочки... Земное все.

А кемитское — там, за стеной. Оно откроется, дастся в руки но — КОГДА-НИБУДЬ ПОТОМ, КОГДА-НИБУДЬ...

— Ахтунг! — истошно заорал Сэр Найджел. — Увага! Аларм!!!

— Заткнись, придурок! — рявкнул, не выдержав, Гамалей.

И в наступившей тишине все вдруг услышали шелестящее, привычное пение вертолетного винта.

Какой-то миг все еще слушали — не показалось ли? — а затем ринулись к лестницам, внешним и внутренним, и возник водоворот, когда все бежали, как бывает при первом толчке землетрясения, но этого маленького отрезка времени перед всеобщим столпотворением хватило на то, чтобы прозвучал как будто бы спокойный голос Абоянцев:

— Поднять стену.

Первым, естественно, успел Самвел — черный сполох его рубахи прорезал толпу, и Гамалей, сопя, еще протискивался в дверцу, когда тот был уже в аппаратной. Меткаф и Магавира ворвались туда следом за ним — их пропустили вперед скорее инстинктивно, чем обдуманно. Темно-зеленая стрекозка на оливковом экране упрямо подползала к самому краю внутренней шахты Колизея, обозначенному едва теплящимися контурами, выбралась наверх и стала бодро набирать скорость и высоту, нацеливаясь на край защитного кольца.

— Снимай силовое дно, — сквозь зубы проговорил Меткаф. — Иначе не нарастить высоту защиты!

Он не знал, даст ли Абоянцев «добро» на эту абсолютно противозаконную акцию, но знал он и Самвела: юноша сделал бы это и без разрешения. А так Мет-

каф вроде бы принял вину на себя. Хотя — кому это сейчас надо!

Диоскуры влетели молча, разом замерли, уставившись в экран — стрекоза почти поравнялась со срезом стены, но Самвел мягко, почти неуловимо начал наращивать ее, выметывая все выше и выше дымчатое марево защиты. Он мог бы сделать это разом, подняв стену до предельной высоты в шестьсот метров, а затем пустить ее на конус, замыкая беглый вертолет в ловушку. Но это — неминуемый воздушный удар, машина слишком близка к границе защиты... Он тянул стену вверх, пытаясь хотя бы на сотню метров обогнать вертолет, не теряя при этом необходимой плавности. Но машина снова рванулась вверх, и Магавира только застонал, потому что он-то знал, что скорость давно превысила и допустимую, и предельно возможную. Как? Да так же, как и все остальное в руках у этой чертовой девки. Если бы она стала сейчас выписывать на вертолете мертвые петли, он уже не удивился бы. Белейшая Кристина!

В комнатку все входили и входили, и толкали в спину Диоскуров, так что они вскоре были отеснены к самому пульту, у которого колдовал Самвел, но сколько бы народу ни прибывало, в аппаратной царила все та же тишина, не нарушаемая ни всхлипом, ни выдохом, словно все пытались еще услышать сверчинный стрекот винта.

Последним вошел Абоянцев.

Он положил сухонькие руки на плечи Диоскурам и легко развел их, как только что сама Кшися разводила стволики осин.

— Что вы предлагаете? — спросил он совсем негромко. — Конструктивно.

— Стена на пределе, — не подымая головы от пульта, буркнул Самвел. — Тянуть выше можно только на вращении.

— Закручивайте, — не раздумывая ни мгновения, велел Абоянцев. — Только не забудьте снять донную защиту.

— Уже.

Гамалей, только сейчас дошлепавший до дверей аппаратной, чуть было не охнул. Не было страшнее ситуации, чем сидеть под сенью вращающейся защиты. Бесцветный, бесшумный туман совсем безобидно, подымая лишь свежий ветерок, начинает закручиваться, точно смерч на приколе. Он течет из себя в себя, истончаясь и подымаясь все выше и выше, точно гад на хвосте, и те-

перь, сохраняя незыблемую устойчивость, может подняться еще на добрую тысячу метров. Песенка беглянки спета — вертолет выбрал все запасы скорости, а крутящийся столб растет по экспоненте. Вот только не дрогнула бы рука у Самвела — туман, летящий в каком-то дюйме над поверхностью земли, сметает на своем пути все, расплющивая и дробя до молекулярной пыли.

Теперь только сидеть и ждать, потому что, хотя стабилизаторы защитного поля и упрятаны в фундамент, все равно в режиме вращения на территории, огражденной полем, запрещены любые перемещения.

Даже Васька Бессловесный вкупе со свихнувшимся Сэром Найджелом замерли, отключенные специальным реле. Только где-то очень высоко, гораздо выше, чем могли бы летать несуществующие тут птицы, натужно свистел маленький вертолетик, пытаясь обогнать растущую ввысь стену. Гамалей свесился через перила колодца, стараясь разглядеть в ярко-лиловом небе серебряную жужелицу, и тут глухо и непонятно ахнул первый подземный взрыв.

— Ручная стабилизация! — крикнул Меткаф, но сухие ладони Самвела уже сжимали верньеры настройки, потому что сегодня он мог почувствовать и угадать все, и не было рук точнее и быстрее. Но мгновенно не могли двигаться даже они. И этого мига, когда тысячеметровый цилиндр, дрогнув, верхней частью своей описал в вечернем небе какой-то отрезок синусоиды, — этой доли секунды хватило на то, чтобы поток воздуха вышвырнул легкую машину, как камень из пращи, и, заваливаясь на бок, вертолет пошел круто вниз уже где-то там, за стенами ненужного больше цилиндра, неудержимо приближаясь к лиловой массе непроходимых кемитских джунглей, по которым, как черный лишайник, то и дело взбухали иссиня-черные пятна асфальтовых топей.

Самвел стремительно переключал экран с одного транслятора на другой, но все пять трансляторов, оставленные им на сегодня скупой «Рогнедой», просматривали только город, беспокойно мерцающий дымными храмовыми огнями.

— Через «Рогнеду»... — Абоянцев тоже перешел на обрывки фраз, экономя секунды, но экономить было уже нечего, потому что грохнул еще взрыв, и еще, и еще, станцию потряхивало несильно, и не было бы никаких поводов для беспокойства, если бы побелевшие от напряжения пальцы Самвела не нажимали без конца один и тот

же тумблер — аварийное выключение поля защиты. Километровый столб свистящего, неудержимо крутящегося тумана, словно гигантское веретено, которое не желало ни останавливаться, ни тем более исчезать; но оно уже не было строго вертикально — вершина раскачивалась, выписывая поднебесные кренделя, да и основание, по-видимому, вело себя не лучше, потому что откуда-то извне раздавался жуткий треск чего-то мгновенно уничтожаемого.

— Стена сжимается! — хрипло крикнул, словно каркнул, Самвел, и в тот же миг Абоянцев рванулся вперед и ударил сухим кулачком по аварийному колпачку системы эвакуации.

— Всем в капсулу! — рявкнул он, заглушая тоненькие повизгивания поврежденной сирены и, схватив за плечи Аделаиду, оказавшуюся ближе всех к нему, швырнул ее с неожиданной силой к двери.

Гамалей, не видевший экрана и исчезнувшего с него вертолетика, слышал только эти две фразы и ужаснулся — ведь капсула, ринувшись вверх, неминуемо собьет легкую машину, но на дне шахты уже с металлическим лязгом разошлись донные плиты, и из-под них выпрыгнула и зависла прямо перед дверью аппаратной титанированная плюшка аварийного левитра. «Ну!..» — крикнули на Гамалея сзади, и он как-то машинально, не глядя, схватил какую-то женщину и легко переправил в дыру бортового люка, потом еще одну, и еще, кусок пестрого шелка остался у него в руках, и он так же машинально принялся вытирать шею и щеки, но тут две пары рук ухватили его самого и бесцеремонно швырнули в люк — загораживал проход, растяпа несчастный, и тут в капсуле стало так же не продохнуть, как и в аппаратной, и бородкой вперед втиснулся Салтан — и люк за ним захлопнулся.

— Включайтесь, Магавира, — проговорил Абоянцев чуть ли не шепотом. — Уходим...

На потолке капсулы затеплился обзорный экран, и тут всем одновременно стало ясно, что это легко сказать: уходим.

Надо было еще суметь уйти.

Неумолимо сужающийся овал — выход из защитного цилиндра — непредсказуемо метался по экрану, замирая в какой-то точке, а потом снова превращаясь в гигантский маятник. Ловушка закрывалась медленно и неотвратно, а немислимые фигуры, выписываемые верхней частью цилиндра, предугадать было просто невозможно.

Все, затаив дыхание, ждали, доверившись чутью Магавиры, но и он медлил — бросать машину вертикально вверх, даже на максимальной скорости, значило идти на риск столкновения со стеной; пытаться маневрировать, уходя от пляшущего тумана, — едва ли не большая опасность получить силовой удар, который отбросит капсулу вниз, на шетинящуюся антеннами крышу Колизея.

И все-таки страшнее всего было медлить. Раздавит в пыль, сожмет в комок сверхплотного вещества. И прежде всего — как только стена сожмется до самого Колизея — капсулу тут же заклинит в шахте внутреннего колодца.

Так чего же ждать?

Но Магавира знал и ждал, и как бы в награду за его немыслимое спокойствие овал на потолочном экране замедлил свою пляску, движение его стабилизировалось; теперь он слегка покачивался, как падающий лист, но в этих плавных траекториях чувствовалось сдержанное безумие — каждую секунду истончившийся защитный цилиндр мог выкинуть что угодно, и теперь уже Гамалей совершенно перестал понимать, почему они все еще стоят, и он оглянулся на Магавиру, и по его лицу с ужасом понял, что тот НЕ МОЖЕТ врубить двигатель.

— Старт!!! — не своим голосом рявкнул Абоянцев, и в последний момент, валясь на кого-то и чувствуя на себе тяжесть тел, удесятеренную не предусмотренной никакими инструкциями перегрузкой, Гамалей понял наконец то, что все остальные попросту знали: стабилизация защитного поля не была случайной.

Кто-то из них, оставшись на своем посту в обреченном Колизее, включил ручную балансировку и умудрился скомпенсировать колебания бешено крутящегося столба. Вот только не было уже сил поднять веки и посмотреть — кто.

Но сознание не отключилось, и Гамалей с горестью думал о тех секундах, когда Магавира все не мог включить стартер и поднять машину, оставляя здесь одного из них. «Я тоже не мог бы», — сказал себе Гамалей.

Он вспомнил крик Абоянцева — мужественный все-таки был старик. Всех бы расплющило в этой дыре. Потому что того, кто остался за пультом, ждать было бесполезно — он не оставил бы своего пульта. Потому что он не только давал возможность маленькой капсуле пройти сквозь жерло защитного колодца — до последнего мгновения он будет удерживать проклятый, невы-

ключаемый защитный столб, чтобы тот в неистовой смертоносной пляске не задел вечерний город. «Я тоже не смог бы бросить пульт,— подумал Гамалей.— Я тоже сделал бы все так, как делают они. Я все мог бы. На их месте. А на своем я так и не сделал ничего...»

22

Прелестный был день... Да что там — наипрелестнейший. И если еще к тому же... Оп-ля! Нет, не зацепилось. Скользящий, подлюга. Обогнать его, вприпрыжку, вприпрыжку, нацелиться заблаговременно... Оп!

Нет, не дается. То ли когти на ноге отросли слишком поспешно и заостряться не успели, то ли арык этот сливной сегодня журчит бойчее обычного, только не подцепить эту витулечку-крохотулечку. Вот бы никогда не подумал, что такой каштан созреть соблагодостигнется. Оранжевый, что тебе косточка персиковая, а уж завитки... Гоп!

Ах ты, спящий-переспящий, опять сорвалось. Ежели бы не эти нечистоты, что рядышком болтаются, то рукой подцепить — и каштан в подоле. Весь вечер бы мыл, да смолкой крыл, да мхом протирал, а кругом да поодаль нововразумленные сидели бы, на украшение учительской хоронущи взирали бы наипочтительнейше, а в лицо, особенно в рот, истины изрекающий,— это ни боже мой. Есть, конечно, малая толика греховности, что позволяет он внимать себе, аки Богу во плоти, да кто же виной, что само собой это получилось? Как Инебела, самодума прыткого сверх меры, всеожожению предали, так учеников сразу утронлось. И как преданны! Хотя, может, просто со страху — святожарища-то полыхают теперь... Оп!

Вот ты и мой, голубчик. Посохни, повыветри вонь сливную, а потом я тебя и в должный вид приведу. Так с чего же это ученики так усердствуют? Нет, не со страху. Нутро чует: нет. Просто сам он, Арун благосудный, стал так звонок в речах, так легок в ногах, так величествен в телодвижениях, что поневоле затрепещешь. А как и не стать таким, когда сгинул наконец маляр дошпливкий, у которого что ни вопрос — рыба кость игольчатая! Да и молчал когда, а только глазища свои чернушие паял недоверчиво — язык тяжелея, становился рыхлым и вязким, как водяной клубень.

Ну вот, вроде и смердит поменее. Завернуть теперь

в лолушок да спуститься до конца улицы, где никто уж воду не берет, чтобы в чистом арыке его сполоснуть. Ах, какой день выдался, и вечер впереди манит россыпью кухонных угольков, медовой пряностью коржиков, а перед сном...

Босые ступни уловили этот гул раньше, чем уши, и старческие сухие кости донесли снизу вверх, до мудрой круглой головы, сигнал тревоги. Арун с неожиданной легкостью перемахнул через сливной арык и прижался к забору последнего на этой улице дома. Только тогда позволил себе осторожно, скривив шею, так что кадык выпер столь нехарактерным для гончара острым углом, оглянуться.

На полдороге вниз от Храмовища, гулко вбивая пятки в неостывшую вечернюю дорогу, мчалась вниз шестерка быстрых скоков. И добро бы — одна! Следом, на расстоянии двух заборов, мерно подпрыгивала вторая шестерка, в самом верху, возле Уступов Молений, похоже, строилась третья.

Это для одной-то улицы!

Арун досадливо побряхтывал, поводя головой, как отупевший от боли гад: на скачущих — на угол двора; снова на скачущих... Что-то было странное в этих фигурах, вот только что? А угол ограды был совсем рядом, шагах в четырех, и неприметно, бочком добраться до него — а там и луг, трава такая, что присядешь — и нет тебя...

Он прекрасно понимал, что обманывает себя. Не желание отмыть поскорее вожделенный огненный каштан, и не стремление спрятаться от легконогих скоков, которые трюхают сюда отнюдь не по его душу — нет, его тянуло сюда ежедневно, к этой белой стене, замазанной наспех по приказу Неусыпных сразу же после всесожжения; он приходил сюда, нашаривал ступней брошенные горшочки с краской, и вот тогда приходило упопительное ощущение победы, и он мысленно вызывал своего непокорного ученика, и начинал с ним бесконечный, унижительный для Инебела разговор, начинал всегда одними и теми же словами: «Ну вот, я здесь, живой, мудрый и сытый, — а где теперь ты?..»

Скоки меж тем не добежали до него одного двора, разом притопнули, разом сели в дорожную пыль. Ну, и слава Спящим Богам! Можно идти своей дорогой. Он, правда, не стал перебираться обратно через арык, прополз вдоль стены, обдирая плечо, но вот и угол,

вот и забеленный торец, где в последний раз виделись они с нечестивым упрящем. «Ну вот, я здесь, а где же теперь ты, Инебел?»

И еще не осознала голова, а пальцы судорожно вцепились в ребро забора, так что известка треснула и начала крошиться в разом запотевших ладонях.

В каких-то пяти шагах стоял Инебел, здоровый и невинный, и не просто стоял — быстро рисовал что-то травяной кистью, блудодей проклятый, постоянно оглядываясь через плечо на Обиталище ложных своих Богов!

Может, и бывает мера ненависти, но только не про такой она час! Потому как глаза аж кровью застлало, и ни страха, ни раздумья — только схватить, и повалить, и топтать, и жечь!..

Жечь!

Он оттолкнулся от забора, перемахнул через арык и с юношеской легкостью помчался вверх по дороге — прямо на сидящих в пыли скоков.

— Жечь! — кричал он, и руки его, утратившие былую округлость, метались, словно языки пламени. — Жечь нечестивца, избегнувшего кары божьей! Жечь святотатца, обманувшего огонь святожарища! Вязать, топтать и жечь!..

Разом вздыбилась шестерка скоков, словно дернули их за веревочки, которые подвязывают к «нечестивцам»; разом взметнулись легкие наплечники, и Аруна как будто смело с их пути. Они дружным галопом слетели вниз, на луг, а следом и вторая шестерка, и третья подоспевала, а Арун все трясся, вжавшись носом в жесткую щетинку обочинной травы.

И не собственная смелость — вздумал скоками поведать! — и не их непонятное, безоговорочное послушание... Не это довело его до того, что ничком плюхнулся вниз.

Страшная картина увиделась ему, когда взметнулась серая ткань наплечников: на груди каждого скока было нарисовано запретнейшее из запретных — огромный, широко раскрытый глаз, означающий пробуждение гневных Богов!

Третья шестерка скоков протопала над ним, обдав его душной пылью, а он так и лежал, закрыв обеими руками свою многомудрую, хитроумную круглую голову.

А когда он, наконец, поднял ее, душная терпкая гарь живой листвы стлалась по земле, и Арун увидел, что одинокое дерево, прижавшееся к забору со стороны двора,

занялось дымным пламенем, которое нехотя подымается к бесформенному свертку тряпья, привязанному к толстой средней ветви.

Не жрецы, а он, он повелел скокам — и его повеление выполнили. Началось его время!

Он, переваливаясь с боку на бок, приподнялся на четвереньки, попытался встать. Ноги не держали. Эти мгновенно сменяющие друг друга ощущения панического страха и неистового ликования так измотали его, что сейчас он не сделал бы и шагу, предложи ему все сокровища Храмовища.

И все-таки он пошел. Поковылял, заскользил вниз, на прежнее место, где, тупо глядя в огонь, четкими шестерками сидели в траве сделавшие свое дело скоки — сидели, старательно прикрыв наплечниками жуткую, непонятно для чего вытатуированную распахнутость пробужденного Божьего Ока. И где неверными контурами обозначился на белой стене забора наспех набросанный диковинный рисунок — Обиталище Нездешних Богов, объятые пламенем.

Но горело не Обиталище, никому не нужное, никого никуда не позвавшее, — горел Инебел нечестивый, Инебел мыследерзкий, Инебел непокорный, почему-то не захотевший стать первейшим и преданнейшим из его учеников... И то ли вслух, то ли одним хрипом пересохшего рта: «Вот я здесь, мудрый, живой и сытый, а ты — где теперь ты?»

И тотчас же сверху, словно этот мысленный вызов был услышан, донесся ответный крик, в котором звучали радость и надежда:

— Арун! Учитель!

Вот оно, торжество!

Вот она, просьба о пощаде, клятва в покорности!

Поздно только.

— Что тебе, преданный гневу Богов?

— Арун, слушай меня! Они идут убивать! Беги в город — пусть прячут детей... особенно — худородных... — Инебел зашелся в кашле — дым уже подобрался, душил. — Худородки ведь тоже дети! Спеши, учитель!..

Попятился Арун, ноги снова согнулись в коленях. Ну, до чего же паскудный день — то вверх, то вниз, то в чистую воду, то в сливной арык! Дети ему дались, худородки чужие, а?

И еще — «они идут убивать»... Кто — жрецы, скоки? А ведь похоже... Тогда — предупредить, только не

мелюзгу, под ногами кишашую, что и народить-то ничего не стоит, а своих, самых нужных, самых верных, без которых жизнь потеряет всякий смысл...

Он метнулся обратно, к улице, понял — поздно. Потому что весь контур черных Уступов полыхал яростными, бесшумными огнями, на площади вокруг Храма, запруженной пестрой толпой (и когда успели?..), — скачущие вверх и вниз факелы, словно они попали в лапы синеухим обезьянам. Жрецы там, значит. А скоки — внизу каждой улицы. Ждут. И на вершине Уступов огненные глаза зажглись — сами собой.

Значит, сейчас ринутся в город. Не успеть. Думай, Арун многомудрый, думай... Когда не успеть предупредить, следует беду в другое русло отвести.

Худородки!

Он-то знает, в каких они дворах, он-то может указать! Вот туда-то гнев жрецов божьих и стравим, взявшись уметь!

Уже в который раз он велит разогнуться своей ноющей спине, приказывает выпрямиться своим заходящимся мелкой дрожью коленям... Беги, Арун! Подымай хамский люд — много их в городе, на тебя, многомудрого, десять раз по десять полнейших кретиннов. Только кликни — отзовутся.

И он кричит:

— Бей худород... ик! — и поперхнулся собственным криком.

Горло перехлестнуло тоненькой петлей — даже руками схватил, будто такое разорвать можно... Душит! Душит, проклятый, как тогда жреца преподобного задушил. Боги, боги сладкопочиющие, помогите!..

Мотая отяжелевшей круглой головой, невольно оглянулся — все дерево было окутано плотным сырым дымом, ни ветвей, ни привязанного там, наверху. Фу. Ведь померещится же такое! А был всего лишь страх — страх памяти, проснувшейся так не вовремя. Мог бы, конечно, придушить, но минул час. Второй раз не улизнешь от огня карающего, нет, шалишь, мазила своеумный!

А все-таки отбежать подальше...

Он миновал один дом, и другой, и третий, и с ревом и смятением разноцветных непраздничных огней валила ему навстречу толпа распаленных горожан, и только тогда, когда до них осталось не более трех надручейных мостков, он остановился и, воздев руки к круглому, точно разверстое око, вечернему солнцу, завопил:

— Все, кто чтит богов истинных,— бей худародков! Во имя Закрытого Ока! — И задохнулся от гордости и ликования, когда набегавшие на него жрецы подхватили за ним, простым горшечником: «Во имя Закрытого Ока!»

— И на погибель Открытому Дому! — по какому-то внезапному наитию добавил он и обернулся, грозя круглыми кулачками ненавистному Обиталищу Нездешних.

И словно в ответ на его проклятие серебристо-прозрачные стены дрогнули, заструились по кругу бесшумно и стремительно, стоячим смерчем вздымаясь все выше и выше, словно стараясь дотянуться до голубоватого послеполюденного солнца.

Арун слабенько охнул, обхватил голову руками и, снова став абсолютно круглым, покатился куда-то под сырой мосток. И вовремя: завывая и рассыпая искры, налетела орда жрецов — от мала до велика, в слепых ощерившихся масках, разящая перегаром травяного дурманного пойла...

Боги проснулись, Боги карали — мстительные, всевидящие, лютые!

Ужасающий, сверлящий вой достиг ушей Инебела, заставил очнуться. Умирать второй раз той же самой медленной смертью в дыму и смраде было невыносимо противно и даже в какой-то степени — попросту скучно, и он радовался забвению и больше не напрягал свою мысль, чтобы разогнать перед собой густое облако листовенного липкого дыма. Смотреть было не на что — поднебесное гнездо, где обитала Она, было пусто, и он почему-то знал, что больше Она в нем не появится. И все-таки, когда он в последний раз пришел в себя, мысли собрались, словно руки, сложенные вместе и разрезающие перед собой воду, а потом развели этот дым в стороны, и в открывшийся просвет Инебел увидел, что прозрачный колокол, незыблемо стоявший столько дней, стремительно кружится, словно одурманенный соком ярджилы, и растет, растет вверх, дотягиваясь до вечерних лиловатых облаков... Но не это было самым страшным — нет, неясная тревога, мгновенно перешедшая в ужас, заставляла его искать светлое платье; и в то же время он уже знал, уже чувствовал: Ее здесь нет. Вообще нет. Она где-то...

Наверху, подсказало чутье, вот где. На крыше Обиталища? Нет, еще выше. Он напряг зрение, одновременно разгоняя последние струйки дыма, режущие глаза, и за

пеленой сгустившегося, струящегося тумана увидел в лиловой вышине громадную черную пчелу. Пчела подымалась все выше и выше, бешено трепеща жесткими черными крыльями, и на ее широкой, как у горного змия, спине угнездилась прозрачная коробочка. А в коробочке... Он задохнулся. Та. Без имени.

Он не успел по-настоящему удивиться этому чуду, как случилось новое, еще более непонятное: вся земля напружинилась и ударила дерево, к которому он был привязан, словно хотела вытолкнуть его вместе с корнями, но дерево только качнулось, так что Инебел ощутил этот удар всей спиной, прикрученной к толстой ветви, но в тот же миг ударило и по текучей стене, потому что она качнулась, верхний край ее заплесал в тщетной попытке дотянуться до облака, и в тот же миг громадная черная пчела, которая никак не могла дотянуться до края, сделала рывок и выпорхнула наружу — нет, не сама, и вовсе не выпорхнула, а ее выбросило, точно камень из закрученной веревки, и она, обламывая жесткие крылья, начала падать, подлетывая чуточку вверх и снова ныряя вниз, навстречу вечерним лесам, навстречу смертельным черным топям, которые отсюда, с вышины одинокого дерева, виднелись голубыми холодными пятнами, светящимися отраженным светом послеполуденного солнца.

«Боги! — взмолился Инебел. — Боги, спящие или бодрствующие, карающие или дарящие, — любые боги, только не туда, только не в черную топь...»

Но пчела падала именно туда. У края, под самыми деревьями, окружившими предательскую поверхность, но все-таки туда. Инебел весь выгнулся, стараясь оторвать тело от подрагивающего дерева, словно за короткие мгновения, отделявшие пчелу от падения, он смог бы домчаться туда и хоть что-то сделать. Он уже не думал ни о чем — ни о новых глухих подземных ударах, ни о пляшущем серебряном столбе, который становился почему-то все уже и уже, он не отдавал себе отчета даже в том, что он видит гораздо дальше, чем до сих пор позволяло ему зрение, да еще и в вечернем тусклом свете... И все-таки он видел, он знал: вот проклятая пчела, раскидав вокруг себя последние обломки крыльев, тяжело плюхнулась в жирную вязкую жижу, из которой не выбирался еще ни разу ни зверь, ни гад, ни человек; вот прозрачная коробочка на ее спинке раскрылась, и легкий язычок светлого пламени выметнулся наружу — тонкая,

напряженно вытянувшаяся вверх женская фигурка, которую отсюда не различит человеческий глаз... Выше! Еще чуть-чуть выше, наверху ведь гибкие ветви, чудом не обломанные падающей пчелой, и никакого ветра, ну ни малейшего, чтобы качнуть эти ветви, нагнуть над тонущей пчелой...

Уже и не язык пламени — едва светящаяся голубая тростинка, безнадежно вытянувшаяся вверх, и нет таких богов, нет такой силы... Нет? Он не заметил, когда она пришла к нему, и откуда, эта сила, это всемогущество, и тем более он не смог бы сказать, где эта сила угнездилась — в голове или в кончиках пальцев... Впрочем, нет, и это уже он мог. Сила была где-то в чудовищно напряженном спинном хребте, и юноша понял: шевельни он сейчас лопатками, дрогни локтями — веревки треснут, как сплетенная паутина... Только нельзя. Ни крупинцы этой непонятно обретенной силы он не мог, не смел потратить на себя! Даже на то, чтобы разогнать дым, едким одеялом кутающий все дерево. Гад с ним, с дымом. Все равно то, что открылось Инбелу в вечерней сиреневой мгле, видится не глазами. Ничего для себя. Ни просяного зернышка. Только там, над голубеющей лужей вонючей топи — ветви, опускающиеся все ниже... ниже... Ну, еще, поднатужься, Инбел, соберись, еще есть какая-то сила в плечах, и ниже, к локтям, выуди из своих мышц все ненужное тебе их могущество, и пошли туда, где перистые пушистые лапы, такие розовые на утреннем солнце, и узловатые гибкие ветви, податливые, словно хвосты обезьянок, — если даже не нагнуть разом, то слегка раскачать, и сильнее, и сильнее, вот они коснулись ЕЕ пальцев — боги, все равно какие боги, он же это почувствовал — ЕЕ ПАЛЬЦЕВ, таких холодных от смертного страха, и он стал уговаривать Ее: не бойся, моей силы хватит на нас двоих, я всемогущ, потому что я люблю Тебя, ту, которой я не успел придумать даже имени, и я сейчас оплету Твои запястья пушистой, но прочной зеленью... вот так... Ты только не бойся, и будь послушна, как тогда, когда Ты лежала на моих руках, вся моя, от узнавших меня живых волос — до чужого, неподвижного лица... лицо я не трону, но руки — протяни их повыше... и еще выше... да не дрожи, Ты тут ничего уже не можешь сделать, тут повелеваю только я... вот так. Умница. А теперь не бойся, у меня еще огромный запас сил, сейчас я рвану ветви вверх, и они вынесут Тебя на твердый берег, только оттолкнись ногами, послушай меня и...

В этот последний рывок он вложил все свои последние силы, так что в спине что-то хрустнуло, и красные пятна поплыли сверху вниз, ёловно капли, стекающие с поднявшегося уже вечернего солнца, и последнее, что он почувствовал, это была колючая хвоя, но не под своей спиной — нет, под Ее голыми руками, опершимися было о мшистый твердый бугор и бессильно подломившимся...

А потом было все безразлично, и серебряный пляшущий столб, еле видный в клубах так и не желавшего подыматься выше травяного дыма, и странно сузившееся Обиталище, которое помещалось теперь как раз в границах бешеного столба, и эти стенки, постоянно сжимаясь, как бы слизывали одно за другим верхние гнезда Обиталища нездешних, но от этого не возникал страх — оно было пусто и не освещено вечерними светящимися гусеницами, которые, бывало, повисали каждый вечер под сводами многоярусных потолков.

Инебел обвис на веревках, вздрагивающих, как паутина от ударов, которые, не затихая, выбулькивали из подземных тайных глубин, словно серебристые пузырьки болотного газа, но эти удары били теперь по нему одному — по сухой подрагивающей ветви, с которой он сросся спиной, а раз по нему одному — значит, было уже не страшно. Он вдруг вспомнил о скаках, рассеявшихся под деревом, и представил себе, как они сейчас подскакивают и плюхаются обратно, на сухую землю, окаменев в необъяснимой неподвижности, словно лягушки под пристальным зменным взглядом; и он ощутил животный ужас всех этих обреченных, потому что в своем жутком беспокойстве неправдоподобно истончившийся серебряный столб, заполненный бешено крутящимися обломками, свивающийся в тугой жгут, временами сбрасывал с себя лишние пряди студенистого тумана, и на том месте, где проскальзывала эта бесцветная и, казалось бы, невесомая струя, оставалась жуткая плешина обнаженной земли, с которой был начисто срезан весь влажный ворс луговых трав.

То равнодушие, с которым Инебел разглядывал сверху все эти чудеса, было последним чувством, уцелевшим после невероятного напряжения всего тела и главное — всей его души. Тот рывок, который вздернул вверх древесные ветви вместе с обвисшей на них женской фигуркой, словно выдернул из самого юноши какую-то сердцевину. Теперь он был одной пустой шкуркой, на которой каким-то

чудом еще жили глаза. Слух, скорее обманывал, чем повиновался, — до Инебела доносилось ни разу им не слышанное биение громадного неадаптированного «нечестивца» — редкие глухие удары, летающие откуда-то сверху. Наверное, они выплескивались из серебристой трубы, все туже и туже стискивавшей в своем стволе рушащееся Обиталище, — да, так гулко и предсмертно билось сердце этого непонятного строения, непостижимого до такой степени, что сейчас Инебел был уверен: это скопище высоких гнезд было живым существом, которое откуда-то появилось на болотистом лугу перед самым городом, и теперь вот не то исчезало, не то подыхало, в своей конвульсивной агонии превращаясь в гигантского каменного змия, поднявшегося на кончике хвоста, чтобы вырваться от стиснувшей его со всех сторон прозрачной удавки.

Это не укладывалось ни в какие законы, и было до боли обидно, что приходится второй раз умирать уже пережитой медленной, удушливой смертью, когда перед тобой творится такое небывалое чудо, которое ему уже никогда в жизни не придется нарисовать.

Но сил не хватало даже на то, чтобы поднять слабейший ветерок и разогнать сгущающийся дым. Жар неумело разожженного костра наконец достиг его ног, и Инебел подумал, что надо бы вдохнуть разом побольше этой дурманящей гари и прекратить бесконечно длящуюся пытку удушьем, и тут, словно в ответ на его мысль, прямо перед глазами полыхнула сизая неразветвленная молния. Дым словно срезало, и в разомкнувшейся, точно занавес, голубизне вечерней долины Инебел увидел, как пожираемый ослепительным огнем крутящийся столб стремительно наклонился, и из-под него, срезая кочки, выметнулся студенистый светящийся язык — если бы это происходило во сто крат медленнее, то Инебел бы подумал, что это улитка выпустила из-под своей скорлупки слизистую безобидную ногу.

Но светящийся студень плеснул прямо к подножию дерева, едкий пар с тошнотворным запахом паленого мяса полыхнул вверх, обжигая легкие, и тут же по стволу дерева резануло острым ударом, и хруст ломающейся древесины смешался с последним звоном исполинского небесного колокола, оглушительного, как удесащенный гром, и в тот же миг Инебел почувствовал, что он падает — снова падает, как и во время первой своей смерти, но вместо беспомощности он отчетливо ощутил царапанье

веток, и скольжение по телу обрывков лопнувшей веревки — словно десяток мелких гаденышей пугливо порскнули прочь; и в следующий миг он уже мог просто и беспрепятственно спустить ноги вниз и прыгнуть на то, что недавно было луговой травой, а теперь стало теплым студнем, и в какой-то дымной, клубящейся тишине он бессознательно побрел вперед, выставив руки, чтобы не наткнуться на привычную стену серебряного колокола...

Острой нездешней смертью пахло откуда-то снизу, и Инебел замер на самом краю ямы. Она чернела бездонным провалом, и голубое вечернее солнце едва-едва обозначило противоположный ее край.

Но дно все-таки было, потому что капли подземной воды, сочащейся изнутри, падали куда-то с холодным отчетливым стуком. И, кроме этого мерного бульканья, ни одного людского звука. Словно и не здесь бесновалась орда жрецов и скоков. Инебел невольно взглянул на свои ноги и вздрогнул от омерзения: по самую щиколотку они были в густой, почти черной крови. Вот оно, значит, что за студень...

Он так и стоял, чуть покачиваясь, тупо глядя на исполосованные кровью ноги, не ощущая ни этих ног, ни рук, ни вообще себя: не было больше нездешнего Обиталища, и не было больше вольнодумного маляра, которому мать при рождении завещала сказочное желание быть белее белого, чище чистого, светлее светлого... Позади был его город, с бессмысленной жестокостью богов и жрецов, с бессмысленной покорностью маляров и ткачей и бессмысленной жаждой всевозможных арунов (не один же он был, властолюбивый самодовольный горшечник!) подчинить себе простодушных «воспитанников».

Впереди была только черная яма, в которой с колокольным звоном исчезло сказочное Обиталище, с живой тепловатой травой, с мерцающими в ночи воздушными ступенями витых лесенок, с душистым древесным полом, по которому так бесшумно ступают босые ноги...

Внутри — и в груди, и в голове одновременно — что-то хрустнуло, и чужая боль вошла в него и стала его естеством: боль коченеющего женского тела, отшвырнутого упругими ветвями на каменистый косогор за черной топью.

Столько ночей не было этого сна, и вот он снова пришел: и нежные руки, умеющие каким-то чудом ласкать все тело разом — от сомкнутых ресниц и до самых кончиков пальцев, сжавшихся от холода, и...

Нежные, огромные, чуточку шершавые, точно губы у пони, чуткие, как ворсинки росянки, и даже сквозь закрытые веки — чистые дождевой чистотой, и больше никаких «и», одни только руки, долгожданные, окаянные, наяву-то ведь так и не угаданные...

С тем особым лукавством, которое позволительно только во сне, когда так и говоришь себе — ведь можно же, раз я сплю! — с тем самым лукавством она тихо-нечко запрокинула голову, чтобы только чуточку приподнять ресницы и наконец-то подсмотреть во сне, раз уж так старательно прятался он наяву; но от этого едва заметного движения жгучая боль свела левую руку где-то между плечом и локтем, и она испугалась, что не выдержит, и закричит, и проснется от собственного крика, и успела стиснуть зубы, так что получился только коротенький всхлип. Но и этого было довольно, потому что в ответ возникли еще и губы — такие же шершавые и легкие, точно руки, они безошибочно отыскивали больное место и начали пить эту боль маленькими сухими глоточками, и боль стала мелеть, подернулась радужной пленочкой, зашекотала, улетучиваясь... А ведь и губы эти уже были, были, только всего один раз, сказочный и не повторенный, как она ни звала их. Ох, не проснуться бы, ведь за губами этими было и еще что-то, тоже ни разу не припомненное, и пусть будет еще раз, во сне ведь можно... Но в ответ появилось дыхание — покатилося теплым комочком по щеке, оставляя чуть слышный запах травяного дымка, и, упруго вспухая в самой середине этого дымного шарика, рождались слова-заклинания: «Проснись-отворись, безымянная, долгожданная, окаянная, отворись-проснись, несуженая, колокольным звоном потушенная...» — «И не подумаю, — прошептала несуженая. — Я проснусь, а ты исчезнешь, да?»

Теплый комочек, добравшийся было до ямочки на горле, вдруг сжался, замер на месте и начал стремительно холодеть. Дыхание остановилось. Почему вот только?

Может, она что-то не то сказала? Кшися наморщила

лоб, мысленно повторяя только что сказанное, и вдруг поняла, что говорили-то они оба по-кемитски.

Если бы это было не во сне, она испугалась бы, вскрикнула, попыталась бы оттолкнуть эти ласковые, баюкающие руки. Но именно эти руки и были самой надежной защитой, которой она столько раз доверялась в своих ночных странствиях по существующему только в ее снах Та-Кемту, и теперь эти руки снова отыскивали ее, и перед этим все уже было неважно. По-кемитски, так по-кемитски. И она повторила, старательно, как на уроках Синрин Акао, выговаривая слова:

— Не оставляй меня больше одну. Пожалуйста.

Дыхание снова появилось — прерывистое, жаркое, как будто дышали горячим дымом. И так же изменился голос — слова, сухие, шуршащие, слетали с губ одновременно и легко и с трудом, словно чешуйки обугленной кожи:

— Двумя огненными смертями покарала меня за это боги...

— Это еще какие такие боги? — изумленно проговорила она, широко раскрывая глаза, и загнулась: над нею лунным светом светилось узкое белое лицо, которого она не видела, да и не могла видеть ни разу в жизни, потому что не бывает таких человеческих лиц.

И тогда подступил к ней ужас, готовый подхватить ее на свои холодные, липкие лапы. И снова единственным спасением стали руки — действительно, какое значение имеет это незнакомое лицо, если руки-то ведь те самые, которые только для нее, в которых ее легкое даже для кемита тело устранивается уютно и единственным образом, как сливочное тельце улитки — в завитках ее семейной коробочки. Бог с ним, с лицом, — лишь бы не исчезали эти руки...

— Ладно, — проговорила она, — сам-то можешь и исчезнуть. Только пусть останутся твои руки...

Черные огромные глаза — черное и белое, рисунок неземного мастера — полыхнули невидимым огнем. Надо думать, инфракрасным.

— Мы называли вас кемитами, — вполголоса, снова полуприкрыв глаза, задумчиво проговорила Кшися. — Это просто безобразие, когда берут, не подумав, первые попавшиеся слова... По-настоящему вас надо бы называть как-то по-другому. Приходящие во снах... Нет, длинно и неуклюже. А как ты сам хочешь, чтобы я тебя называла?

— Зови меня Инебел, ибо наречен я так для того, чтобы быть белее инея.

— Зачем? — искренне удивилась она.

— Белизна угодна Спящим Богам, ибо в белизне — тишина.

— А по-моему, в белизне — предрасположение к злокачественной анемии... Не знаю, как это на вашем языке. Гемоглобин надо повышать. Вот ты — ну, посмотри на себя. — Она удивительно легко, без всякой боли, исчезнувшей под его магическими губами, подняла руки и провела пальцем по скулам — к уголкам громадных черных глаз. — На тебя ж смотреть страшно — кожа да кости. Как ты только меня на руках носишь? Впрочем, во сне все легко... Вон я — повисла у тебя на шее и разговариваю, как ни в чем не бывало, а будь это наяву, я верещала бы от страха на весь ваш кемитский темный лес!

— Но это все — наяву...

Явь, точно того только и дожидалась, нахлынула на нее со всех сторон, — и желтовато-яичное тело громадной луны, бесшумно рушащейся в перистые ветви тушних елок, и пронзительный надболотный сквозняк, доносящий запах сброшенной гадючьей шкурки и надломленных веток цикуты, и трепетное горловое хлопанье древесной жабы... Раньше это был не страх. Настоящий страх пришел только теперь.

— Ну и что? — проговорила Кшися, упрямо вскидывая подбородок. — Все равно это — твои руки. А остальное неважно.

24

— Дым в квадрате триста четырнадцать-«Ц», — доложил Нагаша.

— В двух соседних тоже по дыму, — буркнул брат-Диоскур.

— Но в квадрате «Ц» третий день в одно и то же время и на одном и том же месте.

— Естественная линза. Тлеет мох между скал, поэтому пожар и не распространяется.

— И все-таки я спустил бы поисковый зонд.

— Последний на «Рогнеде»?

— А почему бы и нет? Просвечивать дальше эту асфальтовую ловушку не имеет смысла. Каркас вертолета

мы и так нащупали, а ничего другого обнаружить и не сможем.

— Посылай. Посылай последний зонд. Снимай все остальные и загоняй их в скалы. В конце концов гони туда вертолет. Делай все, только чтобы не оставалось этого невыносимого «а если?..».

— Уже послал.

Зонд стремительно ухнул вниз, на экране закрутились, стремительно приближаясь и вызывая привычную тошноту этим иллюзорным штопором, змеистые расщелины известняковых скал. Зонд, запрограммированно шарахаясь от каждого острого пичка, принялся рыскать, точно терьер, учуявший крысу.

— Смотри, смотри! — крикнул Наташа.

Мохнатый бухарский ковер самой причудливой расцветки — пепельный с сине-багровым узором — плавно стекал вниз по уступам, обволакивая мшистые камни и затем освобождая их, — уже безо всяких следов растительности.

— Пещерный скат! А Кантемир говорил, что они встречаются только у самой границы вечных снегов.

— Кристина говорила, что видит их почти в каждом сне...

Диоскуры разом замолкли.

— Вон и твой дым, — нехотя проговорил Алексаша. — Тлеет прямо посреди озера, словно вода горит.

— Бобровая хатка, — сникшим голосом отозвался Наташа. — Ящерный бобер... боброзавр... ондатрозавр...

— Не впадай в детство, сделай милость!

— Вот в том-то и наша ошибка, Алексашка, что мы забыли о детстве. Взрослые нас не примут, у них боги в нутро вросли. Надо ориентироваться на детей. Мы уперлись в формулу контакта, потому что искали ее для взрослых. А если взять детей...

— Интересно, а как это ты себе представляешь конструктивно? Красть их, что ли?

— Не знаю, не знаю... Вот это и надо было ставить на обсуждение по всегалактической трансляции. Кто-нибудь и додумался бы.

— Да уж это несомненно! Только в благодарность за наше воспитание эти милые детишки — а детям одинаково свойственна шаловливость — возьмут и рванут наш Колизей, как их папочки поступили с первым.

— Колизей угрохал наш собственный генератор... А вот тебе, брат Алексей, в Колизей-два, если его и

построят, определенно нельзя. Ты ненавидишь Та-Кемт.

— Да, ненавижу. И не могу иначе. Пока. Зато буду внимателен и осторожен, не то что прекраснодушные мечтатели вроде тебя, когда ступлю на него во второй раз.

— Ты о чем?

— О твоих воспитательских бреднях. Детишек взять, видите ли.

— Но это не моя идея. Кшисина...

Наступила долгая тишина. Затем кто-то из Диоскуров устало проговорил:

— Дым в квадрате двести девяносто-«Д»...

25

Начала водопада видно не было — он появлялся из облаков, а может быть, и прямо из самого неба, проскальзывал вдоль наклонной скалы и, подпрыгнув на уступе, разбивался на множество отдельных струек, брызжащих во все стороны. Инебел запрокинул голову, пытаясь поймать крайнюю струйку раскрытым ртом, но та плясала по всему лицу, отнюдь не желая выполнять свою прямую обязанность — поить усталого человека.

Пришлось сложить ладони и напиться из горсти.

Вкус ручейной воды каждый раз ошеломлял его. Древний закон разрешал пить воду только из чистого арыка, и от той воды мерно и бесшумно двигались руки и ноги, спокойно ползли мысли, благополучно дремала воля... От этого же ледяного питья хотелось, ни много ни мало, слегка передвинуть вон ту белую горушку, чтобы не заслоняла утренние лучи, освещающие пещеру. Потому что при воспоминании о том, что он видел каждое утро, пробуждаясь, его сердце сжималось, точно на него обрушивалась ледяная струя: ведь вчера был предел, после которого кончается жизнь и начинается дурманное бесконечное блаженство, которое дано в удел только Спящим Богам. Вчера был предел. И не могло сегодня быть ничего большего.

И каждой ночью все-таки было неизмеримо больше...

От одного воспоминания все тело вдруг вспыхнуло, так что пришлось встать под тугие тяжелые струи и постоять, пригнувшись, чтобы прошлись они хорошенько по чутко поддрагивающей спине, выбили ночной дурман...

Ну вот, теперь и руки отмочить можно. Он спустился вниз по течению, нашел тихую заводь с плавучей хаткой. Размягчив руки, поднял пеструю шкуру ската-гребня и долго полоскал ее, пока не улетучился последний запах крови. До полудня солнце ее высушит — вот и еще одно одеяло на четверых. Ловко он заманивал скатов: прикидывался млеющей на камнях молодой короткохвостой красоткой и призывно посвистывал, и тотчас же из подземных расщелин показывался подслеповатый древний мохнач, истекающий голубоватыми разрядами, и учинял тут же сладострастную пляску, разбрызгивая вокруг себя снопики смертельных молний. Инебел затаивался где-нибудь вне досягаемости опасных искр и продолжал рисовать в своем воображении сине-пурпурную спинку распластавшейся клетчатой самочки. И чем ярче он это себе представлял, тем скорее иссякал распаленный пещерный гад — сухой треск маленьких молний сменялся пошлепыванием расслабленного хвоста, и это значило, что ската можно брать голыми руками. Правда, при этом у Инебела возникало ощущение какого-то укора — он слишком хорошо представлял себе, как горько бедному скату именно в такую сладостную минуту слышать хруст собственной свертываемой шеи... Может быть, именно поэтому он никогда не рассказывал, как же это ему удалось добыть столько теплых, мохнатых шкур.

Сверху, с уступа, вместе с водяным потоком ринулся кто-то перепончатый — все местное хищное гадье, никогда не подымавшееся против человека, спешило к сладко дымящейся тушке освежеванного собрата. Юноша отвернулся от мерзостного зрелища, еще раз подставил руки под искрящийся поток. Как это рассказывала по вечерам его Кшись? Один ручей — с живою водой... С тех пор, как он пьет эту воду, он чувствует себя помолодевшим на две руки полных лет. Сила его прибывает с каждым днем, с каждой бессонной ночью. С восхода утреннего солнца и до заката солнца вечернего, которое Кшись так странно зовет «лу-на», он добывает шкуры, лепит горшки, плетет сети, обтесывает каменные ножи, собирает фрукты, вялит мясо, шлифует рисовальные дощечки... да мало ли что!..

Мало. Он сам понимает, что мало. Потому что с каждым днем все тоньше, все прозрачнее становятся руки, все темнее синева под глазами, все чаще после медового, разве что Богам и предназначенного, плода она

вдруг выбегает из пещеры, зажав ладошкой рот. Один раз пришлось обратно на руках нести... В такие минуты Кшись глядит на него широко раскрытыми виноватыми глазами, шепчет: «Это ничего, Инек, ничего... я привыкну. Наши студиозусы из... ну, в общем, издалека — они всю вашу снедь запросто уминают под светлое пиво. И никаких эксцессов. Ты погоди немного, я тебя и пиво варить научу, и виноград отыщу — ваша цивилизация сразу сделает такой гигантский скачок...» Она все время шутит, и он понимает, что не следует придирается к словам, тем более, что он никак не может отличить, что именно она говорит серьезно, и поэтому не переспрашивает, что же такое значит «эксцесс», где водятся всеядные «студиозусы», и как это можно «варить пиво» — ведь пиво надо пить, а то, что пьется, не варится.

Утреннее солнце уже пошло к закату, надо торопиться. Если Кшись опять неможется, она ничего не успела приготовить. А путь наверх, к потаенной пещере, не прост, и белые скалы сверкают так, что слепят глаза, и непросохшая шкура, свернутая в рулон, не самая удобная ноша. Но не это главное — труднее всего справиться с беспокойством мысли, а сейчас что-то застряло в голове, как заноза, и беспокоит своей невысказанностью. Надо уцепиться за кончик ее хвоста, а этот кончик — «пиво». Питье, нездешнее питье. Две чаши с нездешним питьем...

...Они стояли друг перед другом, и две чаши с нездешним питьем застыли возле их беззвучно шевелящихся губ. Два языка взметнувшегося ввысь пламени — светлый и черный.

Не священный ли Напиток Жизни выпили они в тот вечер, не тот ли пенный, дурманивший напиток, который волей богов делает двоих мужем и женой?

И не оттого ли угасает светлая Кшись, что каждая ночь их — грех перед тем, своим?.. Но загладить его можно только Напитком Жизни.

От одной этой мысли у него тропинка ускользнула из-под ног, так что пришлось вцепиться беззащитным, с неотросшими еще ногтями, только что отмоченными в проточной воде пальцами в режущую щетку прозрачных неломких кристаллов. Инелбел тупо смотрел, как краснели они от его брызнувшей крови, но боли не чувствовал. Великие боги, и ведь это ночи, за каждую из которых он готов был прожить без солнца целый год!

Но где же здесь, в целом дне пути от Храмовища, возьмет он Напиток Жизни, чтобы сделать ее своей женой по древним законам, единым для всех людей?

Он вспомнил, как был счастлив всего несколько минут назад, пока не пришло к нему непрошеное это воспоминание! Проклятые боги, проклятые законы. А он-то думал, что достаточно уйти от них на один день пути, куда не осмеливаются проникнуть ни сборщики плодов, ни юркне скоки, ни тем более жирные брюхатые жрецы. И почему это в его жизнь теперь постоянно стало вторгаться что-то неожиданное, непредугадываемое?

Он снова поднялся на ноги, заставил себя перекинуть сверток через плечо и снова двинуться вверх, по одному ему известной расщелине. Ну, хоть там-то все спокойно, все незыблемо, все ненаруσιμο. Он слишком привык к неизменной, наперед известной судьбе. Быть ребенком, быть юношей, быть кормильцем, быть обузой. Работать, получать семейный прокорм, съедать его, снова работать. Да, еще почивать благостно и несуетливо, не храпя и не бормоча. Во славу Спящих Богов.

Но с того часа, как засветилось у стен его города Обиталище Нездешних, жизнь его наполнилась непредугадываемым. Оно валилось на него слева и справа, с небес и из-под земли — воистину так: и с небес, и из-под земли.

И только сейчас он понял, за что на него все напасти: да, он прав был, когда угадал, что обитатели хрустального колокола — не боги, а люди.

Но в гордыне своей он совсем не подумал, что у людей этих тоже должны быть свои собственные боги. Признав людей, он не признал их богов, и эти боги нездешних начали мстить ему, ибо любые боги прежде всего мстительны.

И вот теперь, только после двух своих смертей, после диковинного крушения Обиталища, после той жуткой гибели, на которую обрекли эти боги его светлую Кшись, — только теперь он, наконец, понял их сущность, узнал их имя.

Это были грозные боги Нежданного и Негаданного!

Инебел преклонил колени прямо на острый щебень, коснулся лбом пыльной проплешинки горного мха.

— Боги истинные, боги, от прочих смертных сокрытые! — проговорил он. — Благодарю вас за милость великую, что открылись вы мне, дерзкому и смятенному.

И простите, что в первый же час познания не хвалу я вам возношу, а просьбу смиренную: пусть же все, что уготовили вы нам двоим, обрушится на меня одного...

И словно в ответ на его мольбу откуда-то сверху, точно из прозрачного фиалкового неба, зазвучала простая и нежная песня, и до боли дорог был этот тоненький, неумелый голосок, и странно звучали какие-то непонятные, нездешние слова: «Комм, либер май, унд махе ди бойме видер грюн...»

И он понял, что Кхись молится своим неведомым богам.

По самым последним уступам он подымался совсем бесшумно, чтобы не помешать ее странной молитве, и вот уже последний грот, который надо пройти, чтобы нащупать в задней стене сплошной занавес рыжего горного плюща, и раздвинуть его, и откроется зеленая лужайка, со всех сторон надежно огражденная отвесными, неприступными скалами. Вода, сочащаяся из верхних, недоступных пещер, сливается в светлый ручеек, проскальзывающий по самому краю, чтобы исчезнуть в одной из многочисленных трещин и уже где-то там, далеко внизу, снова появиться маленьким водопадом сладкой, негородской воды.

Слова песни-молитвы, четкие и абсолютно непонятные, звучали уже совсем рядом, и Инебел мысленно взмолился — ведь осталось так немного шагов, меньше, чем пальцев на двух руках, так пусть же за эти мгновения не свалится еще что-то неожиданное.

Он нырнул в грот, наугад, даже не касаясь склизких, позванивающих каплями стен, промчался к лиственной завесе, раздвинул ее и замер, захлебнувшись.

На бревнышке, перекинутом через ручей, сидела его светлая Кхись, болтая в воде ногами. А рядом, как ни в чем не бывало, так же болтая ногами, сидела Аплъ.

— Старшенькая-светленькая, — проговорила она, не оборачиваясь. — Оглянись, наш братец пришел!

Темнота спускается на землю, и смущение нисходит на город...

— Благословенны сны праведных, сосед мой!

— И да не помянуты будут сны нечестивых.

— Но как быть с теми снами, что не благостны и не

окаянны, не божественны и не земносмрадны? Не греховны ли они своей неясностью, сосед мой?

— Неясность и есть суть сновидения, иначе как же оно от яви может быть отличимо и возвышено?

— Мудрость в словах твоих, сосед мой, и могу поделиться я с тобою сонмом видений своих. А виделось мне, что Обиталище Богов Нездешних, что под колокольный звон под землю опустилось, стоит на своем месте незыблемо. Только вдруг расступаются стены его хрустальные, и выходит оттуда богиня огненнокудрая, только росту в ней — до колена мне. Идет она по улице, а где шажочек сделает, там знак диковинный остается, ну совсем как на стенах Храмовища.

И выходят дети малые, и выкликают худародков, и начинают эти худародки следы читать, словно буквы, и странные слова у них получаются, смысла коих неведом, а звучание сладостно...

— Оттого и сон твой, сосед, что вчера Крокон-углежог двух своих худародков на растерзание жрецам выдал, да зачтется ему благодать сия! А боги грозные, крови жертвенной напившись, удесятерили свои силы и в смрадную пыль истерли нечестивый паучий колокол, именуемый Открытым Домом, за что и слава им!

— Сс-слава... Да тыфу на тебя, сосед! Гад пещерный и тот детенышей своих на смерть лютую не выдаст. За то и светлы были Боги Нездешние, что и сами никого не карали, и жертв кровавых не требовали!

— Ой, поберегись, соседушка, длинно ухо Неусыпных...

— Ты донесешь, что ли? А я не говорил! А ты не слыхал! Лепеху до расчетного дня ты у меня просил, а я не дал, вот ты и воззlobился! Иди отседова, тыфу!

Темное облако напoлзает на вечернее тусклое солнце, и мается потемневший город — от мала до велика...

— Эрь, паучья ножка, не загнали тебя еще под одеяло до самого утреннего звона?

— Если будешь дразниться, Пигун, я перестану по вечерам приползать сюда, к забору. Мать и так думает, что хоронушку я свою убираю... Злая она. Два дня, как пропала Зорь, а ведь с нею все проклятая Аплъ шушукалась. Как ты думаешь, не зазвала ли Аплъ мою сестричку за собой в колокольный омут?

— Полно тебе глупости повторять! Никто в колокольном омуте не тонет, да и Аплъ вовсе не там скрылась... Говорили мне плодоносцы-недоростки: в лес она

ушла. Видели ее. Идет, точно в полумраке ощупью, протянув руки, а глаза прикрыты. Побоялись ее окликнуть, думали — ведут ее Боги Спящие.

— Ой! Я бы встретила — померла бы от страха! Мне и так ее голос порою чудится, слов не разберу, а вроде — зовет...

— Тебе вон и из омута звон чудился...

— И не чудился, и вовсе не чудился! На рассветной заре как ударит под самым лугом — по всему омуту вода кругами пойдет, а когда и плеснет на траву. А кто близко подойдет — того в воду затягивает!

— Ох, и вруша ты, Эрь! Да если хочешь знать, я в этот омут уже два раза нырял, и ничего. Второй раз вытащил кусочек ленты диковинной, с одной стороны она черная, как дым, а с другой — блестящая, и не то голубая, не то сероватая... Хотел тебе подарить, положил в корзинку с паучьим кормом, а наутро глядь — и нет ничего.

— Ой, Пигун-болтун, ой не верю...

— А моему старшему, Пилану, поверишь? Он зеленую тряпочку из воды вытащил, глядь — это шкурка с руки, да так искусно снята, что можно на свою руку надеть — растягивается и не рвется. Пилан ее надувать вздумал — во надул, больше тыквы. Он эту шкурку в дупле схоронил, и тоже наутро сунулся — пропала! Мы тут кое-кому порассказывали — есть такой слух, что и другие кое-что находят. Только не впрок найденное: каждый раз ночью исчезнет, как не бывало.

— Ой, Пигун, ой...

— А еще в соседнем дворе говорят, будто Рыбляк-рыбник с самого дна «чужую руку» достал, коей нездешние боги яства свои на куски делили. Только уж не проболтайся, Эрь, — не верю я рыбакам, не богова эта «рука», сами они ее смастерили — нашли комок земли твердой, отливчатой, камнем ее побили-уплощили...

— Ой, Пигун, молчи, такое не то что сотворить — ни сказать, ни выслушать. Грех святожарный!

— Подумаешь, грех. Я, если хочешь знать, и сам...

— Молчи, молчи, молчи!

Опустилось солнце вечернее, вроде спит город, а вроде и не спит... Из одного сада в другой перекидываются шорохи неумные, бормотание глухое, шепот жаркий:

— Ты милее светила утреннего, ты нежнее солнца

вечернего, твои руки белее лотоса, стан твой тоньше богинь неведомых, что парили, земли не касаясь...

— Греют речи твои, долгожданный мой, только память твоя схоронила то, чего не было: по земле-траве ходили боги нездешние, равно как мы с тобой!

— Истинно говорю тебе, радость моя журчащая: по желанию своему все могли эти боги нездешние — и над травой летать, и под землю нырять.

— Не пойму я тогда — если были они столь могучи, так зачем же позволили себя огнем поразить?

— Против них были все боги земель наших, а их самих — по пальцам перечесть... Не признали мы их, не поняли знаков беззвучных, а в тяжелый час не поддерживали их молитвами дружными... Грех на нас!

— Тише, тише, услышат жрецы — сгоришь, как Инебел-малар!

— Весь город не пережжешь.

— Сгорело же Обиталище...

— Обиталище-то сгорело, да память о нем осталась. А память сильнее зрения. Пока стоял этот колокол туманный посреди луга, вроде и не смотрел никто. Что — зрение? Повернешься спиной — и вроде пропало все. Другое дело — память: в какую сторону ни повернись — память всегда светится, как светлячок в ночи...

Не спит город. Памятью мается.

27

Надо было прихватить с собой петуха. Великой силы организующее начало. А так ведь и знаешь, что надо вставать — и все-таки нежишься под пурпурной шкуркой.

Надо вставать!

Это понятно, что надо, и вчера прибавилось два рта, так что придется измышлять на завтрак что-то сверхъестественное, вроде копченого тутошнего питончика. Сколько же всего ртов?

Кшися пошевелила губами, припоминая тех, которых Аплъ привела вчера. Ну, так и есть: с Инеком и с ней самой — тринадцать. И Инек никак не хочет переносить стоянку в глубину гор, ждет еще двоих. А готовить с каждым днем становится все опаснее, дым могут засесть и из города, и с «Рогнеды». Но Аплъ сказала, что из города выйдут еще двое. Надо спросить ее сегодня, скоро ли они двинутся. И нельзя ли их остановить. Все-таки здесь — одиннадцать детских душ. Страшно рисковать.

Как только Инёк вернется с охоты, надо будет послать его на разведку. Вот ведь напасть какая: стоило глаза открыть, как уже обуревают перспективные планы. А на себя, чтобы хоть чуточку вернуться не в заботы — в ночную нежность, в предутреннее прощание, — на это уже нет ни минуточки.

И все-таки он прощался сегодня не так, как всегда. Он знал, что она сердится, когда он поминал каких-нибудь богов, и все-таки — может быть, думая, что она спит, — прошептал: «Да хранят тебя твои Боги..»

Она не спала, и вскинула руки, и, не размыкая ресниц, притянула его к себе, и прижалась наугад — получилось, что к сухому и жесткому плечу, целовать там было чертовски неудобно, и она заскользила губами в сторону и вверх — по холодной ямочке ключицы, и по гибкой шее, которая всегда вздрагивает и застывает, и тогда угадываешь, что дыхание перехватило не в шутку, а насмерть, и надо скорее искать губы, и оживлять их, оттаивать, воскрешать от смертного счастья, но сегодня она ошиблась, и в темноте своих сомкнутых век вместо губ нашла глаза, и ужаснулась тому, как это она научилась одними губами распознавать их нестерпимую черноту...

«Да хранят тебя твои Боги», — и она рассердилась, и скороговоркой, чтобы не услышали младшенькие в соседней пещере, прошептала: «Ах ты, неисправимый язычник...» — и фыркнула, и оттолкнула его от себя, и чернота огромных выпуклых глаз исчезла из-под ее губ.

За что она прогнала его? Ведь он был прав. Если исключить коротенькое словечко «Боги», во всем остальном он угадал совершенно безошибочно. Неведомое и непредсказуемое властвует над теми, кто вторгается в неведомое и непредсказанное, и тем сильнее, чем выше уровень этого вторжения. Встреча с обитателями этой планеты, которые и людьми в земном смысле не были, неминуемо должна была принести какие-то нелюдские неожиданности. А мы уповали на свои наблюдения, на свои предсказания, на ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ прогнозы для НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО мира...

И вот это кемитское, не человеческое, неугадываемое, начало просачиваться в жизнь их колонии. Что-то назревало, и люди, интуитивно пугаясь этого неведомого, вместо того, чтобы принять его как должное, стали совершать нелепые, но уж зато на все сто процентов земные поступки. Вот, например, попытались выслать ее на «Рогнеду» — почему, зачем? Так и не сказали.

Просто почуяли, что сбежать намерилась, а как ей было не метаться в круглых прозрачных стенах, когда она острее всех прочих почувствовала вторжение в собственную жизнь чего-то необъяснимого, неназываемого... И удрать ей посчастливилось прямо виртуозно. Или они там занялись какой-то другой проблемой, которая появилась удивительно кстати? Ее ведь даже не преследовали, хотя до последней минуты она была уверена, что с «Рогнеды» уже запрошен зонд с поисковой капсулой, которая живехонько ее обнаружит... Нет, не запросили, и это тоже было и непредставимо, и непредсказуемо. Колизей словно забыл о ней.

Она потянулась, и странная слабость, которую она всегда, не задумываясь, относила за счет здешних непривычных животных и растительных белков, как и каждое утро, мягко и настойчиво попыталась вернуть ее в теплое гнездышко сна.

А ведь и еще что-то неугаданное растет вот тут, рядышком, совсем рядом, оно созрело, и просто диву даешься (правда, слишком поздно), что не догадался об этом еще позавчера. Так какое же неожиданное — черное или белое — уготовано ей на сегодня?

Во всяком случае, что уж точно не уготовано, так это завтрак. Надо раздувать угли, печь намытые с вечера клубни, которые напоминают по вкусу вяленую грушу. Как при таком содержании сахара почти во всех корнеплодах аборигены ухитряются сохранить гибкость фигуры? Надо будет проконсультироваться.

Кшися подтянула коленки к подбородку, сжалась в комок и одним пружинистым движением поднялась на ноги, словно выбросила самое себя в наступивший день. Времени не осталось даже на то, чтобы позволить себе пятиминутную разминку, и она засуетилась у очага, раздувая огонь и устранивая что-то вроде духового шкафа из громадных листьев лопуха, нижняя поверхность которых была на изумление термоустойчива — ну прямо натуральный асбест! Мальчики, принесшие эти листья, утверждали, что здесь этот куст вырос случайно, а обычно лопух-пожарник, как она его тотчас же окрестила, растет возле гор, плюющихся огнем.

Ага, ко всему прочему здесь еще и вулканы. Впрочем, можно было бы догадаться и раньше — ведь простейшие кухонные орудия они с Инеком изготовили именно из обсидиана. И еще — тот столб огня, который вырос где-то в стороне, буквально через несколько минут после ее бег-

ства. Или она плохо ориентировалась, или грохот и огненный смерч возникли где-то на западе... Был ли там еще какой-нибудь город? Вот беда, а еще сдала на пятерку географию Та-Кемта! Ну, потом разберемся, главное — это было где-то в стороне.

Она намотала волосы на руку, подняла их выше шеи и заколола единственной костяной шпилькой, которую пришлось наскоро выточить из рыбьего плавника — странный был плавник, с четкими фалангами четырех пальцев. Выбежала из пещеры и невольно зажмурилась, по-птичьи втягивая голову в плечи: только что вставшее солнце добралось до их ложбинки, и розовые прямые лучи, отражаясь от белых скал, короткими снопиками аметистовых брызг били ей прямо в лицо, в глаза и даже в нос, так что сразу же захотелось чихнуть... Ежки-матрешки, счастье-то какое!

Она, не открывая глаз, вскинула вверх руки, ловя наугад эти холодные сияющие лучики и стараясь не кричать от внезапного восторга, и в основном не потому, что Инек мог услышать ее и примчаться, бросив все заботы о хлебе, то есть мясе насущном, — нет, просто ей хотелось кричать совершенно нелепую здесь строчку, да еще и неизвестно откуда возникшую в памяти: «...это розовый фламинго!..»

Что-то великолепное было связано с этим розовым фламинго, древнее, может быть даже первобытное, но вот каким образом функционировал данный фламинго — это не припоминалось. И вообще, с чего это ей вздумалось оглашать окрестные горы воплями на нетутошнем языке? От неведомой радости? Некогда радоваться. Радоваться будем потом.

И тут же внутри, под самым левым нижним ребрышком, что-то возмущенно плеснуло: потом? Опять это проклятое «ПОТОМ»?

Нет. Сейчас. Радоваться так радоваться. Валиться от усталости, сходить с ума от тысяч невыясненных проблем — и все-таки радоваться, не откладывая «на потом».

— Человечки-кузнечики, подъем! — пропела она, подражая голосу серебряного горна. — Доброе утро!

И тотчас же из пещерки, где вповалку спали младшенькие, послышалось дружное нестройное «Доброе утро, Крис-ти-на-Ста-ни-слав-на!» Они всегда начинали день с этого приветствия, первой же произнесенной фразой нарушая самый строгий из своих законов: женщину

не разрешалось называть именем, длиннее чем в один слог, а семисложным именем не позволялось называть вообще никого. Даже Бога. Она вспомнила, как даже сам Инек замер, самым примитивным образом перепугавшись, когда он догадался, наконец, спросить, как же ее зовут, и она, не подумав, выпалила и имя, и отчество.

Кшися фыркнула и побежала умываться. Младшие — четверо мальчиков и семь девочек — пугливо, все еще не освоившись окончательно, побрели к ручью вдоль стенок.

Солнце стремительно набирало высоту, день закипел.

Вечерами, припоминая всю необозримую кучу дел, проделанных, начатых или попросту брошенных, она всегда изумлялась тому, что ни в одно мгновение у нее не вставал вопрос о контактности, коммуникабельности или субординации. Все получалось само собой, и что самое удивительное — выходило так, что не она руководила и наставляла этих карапузов, а они весь длинный день неусыпно заботились о ней — кормили, одевали, готовили, учили пряхь (невиданное дело!), а уж о развлечениях вечерних и говорить не приходилось — все песни, все сказки они рассказывали не друг другу, а исключительно ей.

Первое время она благодарно принимала эту трогательную заботу, полагая, что все это относится к жене — хм, может быть, и не жене, а подруге, не выяснять же это с детишками младшего школьного возраста! — их уважаемого Инебела.

Но мало-помалу до нее дошло, что ее попросту считают худородком, прирожденной калекой, у которой ручки — вот ведь беда! — не умеют становиться естественным орудием труда. И что в основе их внимания лежат запасы доброты столь неиссякаемой, что весь человеческий гуманизм казался перед нею какой-то сухонькой, рассудочной благотворительностью. Маленькие кемиты приняли ее совершенно безоглядно, как человек принял бы птицу с перебитым крылом.

В сущности, уже сейчас она могла бы допустить в свою крошечную колонию других землян, и теперь их приняли бы так же безоговорочно, но ее удерживало одно — страх перед изгнанием на «Рогнеду», причины которого она так и не успела узнать.

Между тем за хозяйственными хлопотами пролетел белый день, и краешек луны, опережающей наступление ве-

вчера, проклюнулся в расщелине между скал. Обед пропустили!

И только тут впервые острая рыбья косточка впиалась в сердце: никогда еще Инек не приходил так поздно. Она вскочила на ноги, стрелой пролетела всю лужайку, окунулась в сырую промозглость сквозного грота, который она в шутку прозвала «тамбуром», и высунулась из щели, от которой убегала вниз неприметная для посторонних тропинка.

Было совершенно тихо. Журчанье воды, ленивый шелест совсем неопасных здесь гадов. И все.

Она вернулась в свой заповедный уголок. Настороженная, ломкая тишина. Младшенькие копошатся, что-то обтесывают каменными ножами — как это им удается делать все абсолютно бесшумно? Но сегодня они как-то по-особенному осторожны. У всех у них напряженные, настороженные спинки с худыми, замершими лопатками. Прямо живые детекторы какие-то. А они-то какой беды ждут, неугаданной, неожиданной? Впрочем, с них вполне достаточно и того, от чего они сбежали, — этого невыносимого побоища худородков, иродовой травли, когда родители в непонятно откуда взявшемся фанатическом иступлении вышвыривали из своих домов на растерзание самых слабеньких, самых больных и — по земным естественным нормам — самых дорогих своих малышей.

Одиннадцать детских душ... Нет, не душ. Одиннадцать хрупких, еще до своего рождения изуродованных детских тел. Кшиися вдруг осознала, что она и помнит-то их в основном не по именам, а по их недугам: вон у того не гнется спина, те две девчушки, что пилят пополам громадный стручок, — обе немые, хотя слышат неплохо, и хорошо слышит мальчуган в совсем коротенькой — наверное, единственной — юбчонке, у которого совершенно нет ушных раковин. И Аплъ, у которой на непомерно длинных ногах никогда не выпрямляются коленки. Одиннадцать худородков, спасение которых в их худодейственных руках. И все же одни они здесь не выживут. Где же Инебел, где их старшенький? Прокормиться ведь можно и стручками. Что же погнало его на дальнюю охоту? А он знал, что пойдет далеко — ведь шепнул же: «Да хранят тебя твои Боги!»

А ведь это был их уговор — никаких богов...

— Старшенькая-вечерняя, иди, мы стручков налушили!

Вечерненькая — это, надо понимать, «печальненькая». Не надо показывать им своей тревоги. Разве что Аплъ...

— Аплъ, ты не знаешь, куда пошел Инебел?

Аплъ замерла на плоском камне возле ручья, сидит, словно лягушонок, коленки выше ушей. Глаза чернушние, громадные, как у брата, — в воду смотрят, воды не видят.

— Аплъ!..

— Инебел ушел выполнить завет Великих Богов.

— Ежки-матрешки, да вы все что, сговорились — «боги, боги»! Что за чушь — какие заветы?

— Инебел видел, как тебя печалит, что ты не можешь стать его женой.

— То есть как это — не могу?! Мы...

Кшися захлопнула себе рот ладошкой и в великом недоумении опустилась рядом на камень. Действительно, не объяснять же этому ребенку, что они с первой же ночи женаты по всем земным и, надо думать, тутошним правилам. Но ведь Инек не ребенок. Он-то все понимает. Неужели он мог заподозрить, что ей нужно еще что-то, какие-то там обряды, благословения? Еще что-то, кроме него самого?

— Не понимаю... — вырвалось у нее.

— Мужем и женой становятся только тогда, когда выпивают из одной чаши Напиток Жизни, — наставительно, как взрослая, проговорила Аплъ. — И только тогда Боги дарят им маленького-родненького. Так что все, что просто так, без чаши с Напитком, — это не считается, это баловство, игрушки для старшеньких...

— Хммм... — уже и вовсе озадаченно протянула Кшися — мысль о «маленьком-родненьком» как-то не приходила ей в голову. Все одиннадцать маленьких были в равной степени для нее родненькими, и ей как-то хватало забот с ними по горло.

Кшися стремительно покраснела и отвернулась.

— Значит, он придет только к вечеру! — неловко, стараясь скрыть свое смущение, проговорила она.

— Нет. До города — день пути. Он вернется к утру. — Она наклонила голову и впервые посмотрела на девушку огромными, как у черкешенки, глазами. — Не бойся, старшенькая-светленькая, Инебел знает подземный ход в Храмовище.

И только тут пришел настоящий — до глухоты — ужас: Инек пошел в храмовые лабиринты. Один против сотен, а может быть, и тысяч жрецов. Ведь две смерти он оставил позади, так нет — пошел навстречу третьей! По-

шел, потому что поверил своим законам. Поверил своим жрецам. Достали-таки они его.

Недодумав, Кшися повернулась и пошла, не разбирая дороги, и где-то в дальнем уголке мозга пронеслось: хорошо, что здесь такая ровная плюшевая лужайка — ведь придется вот так ходить от стены к стене еще много-много часов... Да нет, ходить некогда, уже село дневное солнце — надо же, привыкла — «дневное»! — и нужно начинать вечернюю жизнь, уроки и рассказы, и вчера в темноте они долго и безуспешно придумывали вместе с Инекom новые кемитские слова — ведь у них нет вообще таких слов, как «одиннадцать», «двенадцать», «двадцать», «сто», и придумывать их на Земле было бы просто грешно, вот Инек и взял это на себя, но математическим словотворчеством он занимался крайне несерьезно — ну, никак не располагала к тому обстановка, и Кшися, вознамерившаяся было подвинуть его на создание азов кемитской арифметики, вдруг поймала себя на том, насколько они оба далеки от всего, что поддается логике, особенно математической... «Срам! — яростным шепотом возмущалась она. — Ты погрязнешь в серости, ты до седых волос не дойдешь даже до простейших табличных интегралов...» — «А что такое ин-те-грал?» — спрашивал он, произнося земное слово, как заклинание, и она говорила: «Интеграл — это вот что» — и рисовала губами на его груди нежный, плавно льющийся знак, и Инекел задышался, как умел делать только он один, и она возвращала ему жизнь и дыхание, как научилась делать только она одна...

Нужно взять уголек и нарисовать на стене: $1+1=2$.
И еще нарисовать интеграл.

Черным угольком на белой скале.

Черный уголек и белая скала.

Черные глаза и белое лицо.

«А-а-а!...» — закричала она, обхватывая голову руками...

— Не нужно сегодня уроков, старшенькая-вечеренькая, — проговорил кто-то из мальчиков, — мы спустимся в рошу и наберем тебе стручков и орехов на ужин...

Фналковый вечер, серебряный свет. Далеко-далеко отсюда — целый день пути по змеиным скользким тропам — уже затеплились гирлянды огней, очерчивающие бесчисленные арочки, переходы и лесенки Колизея, так что если подобраться к опушке леса, что лежит между городом и подножием Белых гор, то сквозь вечерний ту-

ман этот маленький кусочек Земли покажется всего-навсего мерцающей в полумраке радиолярией... А ведь она — первая, кто мог бы увидеть Колизей со стороны. Не считая обитателей «Рогнеды», естественно. Хотя с «Рогнеды» смотрят сверху, а это совсем другая точка зрения. А из Колизея уже смотрят — изнутри.

Как же она не подумала об этом — ведь они уже перешли на непосредственную видимость!

Значит, они увидят Инебела, они неминуемо узнают его — еще бы, герой двух последних ритуальных эпоей, дважды не сторевший в огне! Они помогут ему, если что-нибудь случится и в третий раз. Как они его называли? А, «кемитский Пиросмани». Они помогут, помогут, помогут ему, ведь у Абоянцева есть такое право — право на единоличное решение в экстремальной ситуации.

Если они увидят, что с Инебелом беда, они не допустят, чтобы Абоянцев отсиделся в сторонке.

И первым вмешается Самвел.

Кшися даже удивилась тому, как быстро она успокоилась. Накормила своих человечков-кузнечиков, загнала в пещерку, укрыла, объявила отбой без вечерних сказок. Закуталась в меховое одеяло и села у входа в детскую, положив подбородок на коленки. Темнота наступила мгновенно, как это всегда бывает после захода луны, и бродить по траве уже как-то не тянуло. Сверху, с откоса, сорвался камень, потом, выразительно чмокая присосками, пополз кто-то крупногабаритный, но не удержался на крутизне, сорвался и сырым комом шмякнулся оземь.

— Но не убили, а рассмеялся... — негромко проговорила Кшися.

При звуке ее голоса гад пугливо шархнул, издал странный звук, отнюдь не напоминающий смех, и скатился в ручей, оставив после себя густой запах парного молока. Белого-белого молока...

Кшися стиснула зубы. «Завтра перебираемся на дальнюю стоянку. Приходит Инебел, и начинаем собираться, а как только появляется эта бредущая к нам пара — снимаемся с места. И больше никаких оттяжек. Пора начинать жить по-человечески. Пусть первое время — в таких же пещерах, но с посудой. Строим печь. Обжигаем горшки. Прикармливаем гадов, организуем молочную ферму. Человечкам-кузнечикам нужно много молока и фруктов. Впрочем, фруктовые рощи здесь повсюду...» Она невольно прислушалась: внизу, у подножия белых скал, шумели широколиственные стручковые деревья. Издале-

ка это напоминает шум моря. А может, уйти к морю? Отсюда километров четыреста. Это непросто. И потом, на побережье не наблюдалось ни одного кемитского селения.

Какие-нибудь естественные причины, или опять воля проклятых богов? Кто-то сказал в Колизее: «Отжившие свое боги и пассивная, неопасная религия...» Ага, в самую точку. Мертвецы тоже неопасны, они ничего не могут сделать. Только убить — трупным ядом.

Ее затрясло — наверное, от ночного холода; она закуталась поплотнее и прилегла у стеночки. Но стояло ей лечь, как неведомо откуда взялась томительная, нудная боль, которая наполнила собой каждую клеточку, и все тело заныло, застонало, не находя себе места, и, словно оглушенная тупым ударом, Кшися даже не сразу поняла, что это — не физический недуг, а просто впервые испытанная ею смертная мука того одиночества, когда не хватает не всех остальных людей, а одного-единственного человека. «Не-ет,— сказала она себе,— так ведь я и до утра не доживу...» — и вдруг совершенно неожиданно и непостижимо уснула, закутавшись с головой в красно-бурый непахучий мех.

Проснувшись она оттого, что где-то далеко внизу, за каменной грядой, запрыгал сорвавшийся камешек. И еще один. И шорох. По тропинке подымались.

Кшися вскочила, путаясь в меховой накидке, почувствовала — не может бежать навстречу, ноги не держат. Прислонилась лопатками к остывшему за ночь камню и как-то до странности безучастно смотрела, как раздвигается плющ, и чтобы не позволить себе ничего подумать, она начала повторять — может быть, даже и вслух: «Сейчас выйдет Инек... сейчас выйдет Инек... сейчас...»

Мелькнул край одежды, и из черного проема неестественно медленно показалась смутная, расплывающаяся фигура — Инебел, и за руку он вывел еще одного Инебела, и следом вынырнул третий, и все они, держась за руки, неуверенно двинулись к ней, и походка у каждого из трех Инебелов была разная, и они остановились, и тоненький голосок Аплъ произнес:

— Это Тарек, у него тяжелый горб, и поэтому он очень сильный, а это Тамъ, ее глаза различают только день и ночь, и поэтому она слышит все звуки и запахи.

Кшися зажмурилась до зеленых кругов в глазах, по-

том подняла ресницы — в утреннем золотом сиянии перед нею стояли три съезжившиеся уродливые фигурки, полиловевшие от холода и усталости.

— Да,— сказала она каким-то чужим, неузнаваемым голосом,— да, конечно. Отогрейтесь немного, и мы начнем собираться. Как только придет Инебел, мы двинемся на другую стоянку.

Она смотрела на Аплъ и ждала, что та скажет — да, пора собираться, Инебел идет следом, сейчас будет здесь...

Но вместо этого услышала:

— Не нужно больше ждать. Инебел не придет. Никогда.

И она вдруг поняла, что знает об этом уже давно.

Привычная уже дурнота ринулась из-под сердца во все уголки тела, заполнила тошнотворной чернотой мозг, начала пригибать к земле... Господи, помереть бы сейчас! Так ведь нельзя.

— Что же теперь, старшенькая-одиноконькая? Что же теперь — обратно в город?

И так спокойно, словно в город — это вовсе и не на смерть!

— Нет. Ну конечно же — нет. Только погоди немного... Я отдышусь... И мы что-нибудь придумаем.

А думать ничего и не надо. Потому что выход — единственный, и если бы были силы на то, чтобы поднять голову и посмотреть в изжелта-розовое утреннее небо, то можно было бы если не увидеть, то угадать крошечную точку «Рогнеды». Только головы не поднять, и в глазах — черно.

— Аплъ, ты слышишь меня? Собирайте белые камни... как можно больше белых камней... Нужно выложить две дорожки. Я покажу, как...

Вот теперь только добраться до самой середины лужайки и лечь наконец в уже нагретую солнцем траву, раскинув руки и прижимаясь всем телом к этой качающейся, бесконечно кружащейся земле.

— Наклонись ко мне, Аплъ... — как же сказать ей — ведь на кемитском языке нет слова «лететь», и они с Инебелом так и не успели этого слова придумать! — Те, что приле... спустятся сюда — это мои братья, мои старшие. Они такие же, как я, — с неумелыми руками. Помогите им, Аплъ. позаботьтесь о них, человечки-кузнечики...

— В условиях та-кемтского социостазиса, исключающего возможность зарождения элементов протофеодальной общественной структуры, зато обеспечивающего перманентность социальной дифференциации, микрополисы являются не доминирующим, а единственно возможным типом... сюда, пожалуйста! — Кантемир подчеркнуто галантно вжался в узкий простенок, пропуская Гамалея в конический закуток сектора связи.

Гамалей, чудовищно похудевший за эти несколько дней, впервые в жизни прошел сквозь дверной проем не боком, а прямо, но крошечное помещение станционной рубки заполнил собою все-таки полностью — если раньше он был просто толстым, то теперь, осунувшись, превратился в непомерную громадину, которая уже в силу своих габаритов так и просилась вниз, на твердый грунт.

Но судьба их группы — сейчас они даже про себя не отваживались называть ее «группой контакта» — решалась на Земле, куда уже отбыл Абоянцев, и они слонялись по «Рогнеде», неприкаянные, как погорельцы, не мечтая уже ни о чем.

Таким образом, на «Рогнеде» сейчас одновременно находились два начальника — станции и экспедиционной группы, — но определенная церемонность их отношений объяснялась не ситуацией двоевластия — это уж они как-нибудь пережили бы, а тем, что Кантемир был близким другом Абоянцева, которому, как уже было ясно, сюда не суждено было вернуться.

— Собственно говоря, я не пригласил бы вас сюда, если бы проведенное нами наблюдение не было столь уникальным. — Гамалей мрачно глядел на него исподлобья, и Кантемир сбавил тон, видимо, сообразив, что наблюдение — это не тот лакомый кусочек, которым можно соблазнить начальника группы контакта. — Сейчас мы наползем на этот квадрат... Еще минутки три-четыре. Район Белых Скал. Сначала мы полагали, что это стая горных варанов, затем — что отряд долгих таскунов на отдыхе. Сейчас я уже не допускаю сомнений в том, что это — попытка заложить новое поселенье. Алекс, пожалуйста, снимок!

Из-за аккумуляторного стеллажа высунулась рука кого-то из Диоскуров — братья дневали и ночевали в рубке — с липким квадратом картона. Снимок был нехорош — контуры нечетких фигурок оставляли желать

лучшего, во всяком случае, Гамалей и сейчас принял бы их за стаю отдыхающих цапель, если бы только на Та-Кемте водились птицы. Зато четко виднелся белый знак, весьма напоминающий крест, сооруженный из обломков камней.

— Если вы находите, что антропоморфность...

— Почему за ними не установлено слежение еще позавчера? — почти грубо оборвал его Гамалей.

— Ну, Ян, вы же знаете, что мы запороли в этих скалах уже два зонда, а все «Абажуры» висят исключительно над местом гибели вертолета! — уже совершенно рабочим тоном возразил Кантемир. — Хорошо, если Абоянцев выбьет нам еще штук пять, ведь здесь программа на несколько лет, моя бы воля — запустил бы стационарный наблюдатель, и впервые увидели бы все в развитии.

— Но вы противоречите самому себе, Кантемир: на такой площади не создать город та-кемтского типа, здесь едва-едва прилепится убогий аул сотни на полторы жителей максимум, да и то при террасной застройке!

— Вот именно, Ян, вот именно! Доказательство от противного — самое веское доказательство. Стандартный микрополис разместить в скальном массиве невозможно, а колония, как вы говорите, аульного типа — безоговорочно принимаю вашу терминологию, — как показывают наблюдения, нежизнеспособна. Почему? Вы лучше меня знаете, сколько времени в Совете дискутируется этот вопрос. Теперь мы затратим на непосредственную фиксацию год или два, но зато сама жизнь ответит на все наши вопросы.

— В этом вы правы, — холодно проговорил Гамалей, — это точно... Лучше год наблюдать, чем год купаться в словопрениях нашего уважаемого Совета. И все-таки главное для вас — не наблюсти, а обобщить и доложить Совету.

Он чуть было не добавил: «Потому что вы — неисправимый геоцентрист», но вовремя удержался, потому что это было одним из самых тяжких оскорблений во всем Внеземелье.

Но Кантемир взорвался и без этого:

— Позвольте, позвольте! Для вас, контактиста, неочевидна ценность подобной информации?

— Мы слишком часто сталкивались здесь с чем-то, непредугадываемым и непрогнозируемым. Так что я бы не торопился с утверждением, что мы фиксируем закладку нового поселения.

— Тогда как же вы интерпретируете этот каменный крест? Конечно, вы можете возразить, что кемитские бытовые постройки тяготеют к кольцевой планировке, но ведь было бы естественным предположить, что строительство начинается именно с культового сооружения, пусть небольшого. Тем более, что мы имеем здесь неперенный компонент храмового комплекса — источник воды, который может быть единственным и контролируемым.

— Ну, это притянута, Кантемир. Ярво выраженных ритуальных церемоний, где играла бы значительную роль вода, мы не наблюдали... — Гамалею чертовски неохота было втягиваться в очередную дискуссию, может быть, тысяча первую, но, как всегда, безрезультатную.

И все-таки его втянули.

— Отнюдь нет! — Кантемир оттопырил нижнюю губу, но пока сдержался. — Вы еще не знаете результатов, полученных нашим биоаналитическим комплексом. Он исследовал флору храмовых водоемов, из которых в каждом, подчеркиваю — в каждом городе берут начало арыки с питьевой водой. Так вот, в каждом — опять же в каждом! — таком бассейне искусственно выращиваются пресноводные водоросли — антивитагены, не имеющие аналогов ни на какой другой планете. Они выделяют в воду органическое соединение, прием которого даже в микроскопических дозах препятствует развитию зародыша у млекопитающих. У пресмыкающихся, заметьте — нет. Так что пусть мы не имеем ритуалов, но зато наблюдаем чудовищную систему демографического ограничения, находящуюся целиком в руках жреческой верхушки, — как вы, наверное, догадались, так называемый Напиток Жизни есть также биологический препарат, нейтрализующий действие антивитагена.

— Да, конечно, — безучастно повторил Гамалей, — конечно, нам еще повезло, что Колизей питался водой из артезианской скважины.

— И следовательно, — Кантемир поднял палец к потолочному экрану — он уже явно чувствовал себя в конференц-зале Совета, — следовательно, здесь мы неминуемо увидим формальное подражание классической планировке микрополиса: выше всего культовый комплекс, ниже, вдоль ручья, — жилые постройки. Культовость данного сооружения доказывается также и тем, что в основании крестообразного фундамента мы видим несколько камней, образующих как бы стилизованную человеческую фигуру. На сей день мы еще не располагаем неопровер-

жимыми данными о ритуальных жертвах, сопровождающих закладку храма, но как-нибудь потом...

— Как-нибудь потом...— хрипло повторил Гамалей — у него вдруг потемнело в глазах.

«Как-нибудь потом»,— говорила Кристина, и теперь ее вертолет, не дождавшись этого «потом», лежит на дне асфальтового озера, и даже поднять его оттуда не позволяют строжайшие параграфы «Уложения о пребывании...».

И Самвел, так и не покинувший пульта, пока аварийная капсула выбиралась из сжимавшегося защитного капкана.

— Запомните то, что я сейчас скажу вам, Кантемир...

И в этот миг раздался сдавленный крик Наташи:

— Да смотрите же на экран! Это не крест!

Все разом обернулись к экрану — на фисташковом поле четко и невероятно обозначилась громадная буква «Т».

— Посадочный знак!!!

И вдруг все стало на свои места.

— Кантемир,— даже без лишней торопливости распорядился Гамалей,— штормовую капсулу — к шлюзу. Первая группа: я, Меткаф, Натан... и Мокасева. Четыре робота сверхзащиты, соответственно.

Кантемир поперхнулся — во всем Колизее имелся только один такой робот. А четыре — это был и весь арсенал «Рогнеды», и весь резерв.

— Послушайте, Гамалей, я сейчас дам вам внеочередную связь с Большой Землей...

— Всем остальным быть в нулевой готовности,— продолжал Гамалей, уже не обращая на него ни малейшего внимания.— Сигнал к высадке принимать от любого из нашей четверки. Полевые андройды придаются второй группе. Все. Ах, да, Кантемир. Сообщите на Землю, что я воспользовался своим правом временного начальника экспедиции принимать экстренные меры в чрезвычайных ситуациях. Вы знаете, что такое право есть.

— Но поговорите сами...

— Разговаривать мы кончили.— Тяжело, вдыхая воздух после каждого слова, проговорил Гамалей.

Сыт он был этими разговорами. Во как.

Поэтому он молчал весь короткий путь до этой странной, неудобной планеты, человечество которой, не успев родиться, умудрилось уже впасть в какую-то старческую

апатию. И выходить из нее не имело ни малейшего желания.

И Наташа молчал, потому что никак не мог сообразить, почему же в эту группу не попал Алексахка.

И молчала Макася, тщетно пытаясь догадаться о тех причинах, которые побудили Гамалея назначить в группу из четырех человек именно ее, а не механика, врача или переводчика.

И молчал Меткаф, потому что он-то это знал — почувствовал, как это всегда бывало в критические минуты.

Так они прошли плотный слой серебристых облаков, оставили за левым бортом исполинскую луну, ощерившуюся бессчетными дыхалами кратеров, зависли над белыми торчками скал, выглядывающими из дневной золотящейся зелени словно минареты, и, точно нацелившись на аккуратно выписанный, такой земной знак, спланировали к ручью и, чтобы не задеть белых камней — стремительность не исключала осторожности — прилепились к вертикальной скале метрах в полтора над травой.

Гамалей распахнул боковой люк, выбросил ногой лесенку, схватился за поручень — и остолбенел.

Внизу, на траве, прижимая к себе белые камешки, замерли дети. Не просто дети — калеки. На вид старшему не было и десяти лет. Лица их были спокойны; видимо, они просто не понимали происходящего.

Гамалей, белый, как полотно, обернулся к Макасе: — Как всегда — ждали чего угодно, но только не этого. Какая уж тут формула контакта! Они просто не смогут понять нас. Это же... — он запнулся, потому что язык не повернулся произнести жуткое слово, которым на земном языке обозначались такие вот ущербные дети — во всяком случае, пока на Земле не научились рожать всех абсолютно здоровыми. — Мария, попробуйте вы!..

И она поняла, наконец, почему в эту первую группу он выбрал именно ее. Предвидел что-то подобное, но, как всегда, Та-Кемт превзошел себя по части непредсказуемого. Она отодвинула ошестинившегося десинторами робота, нависшего над плечом Гамалея, и вгляделась в эти осунувшиеся синюшные личики, тщетно пытаясь найти какие-то очень простые, ласковые, ободряющие слова.

И тут случилось и вовсе непредвиденное: раздался детский голосок, одновременно и звонкий, и чуточку надтреснутый:

— Не бойтесь, старшенькие, спускайтесь вниз — мы будем о вас заботиться!

И Гамалей, вцепившийся в створку люка, отчаянно заморгал, потому что солнечная поляна под его ногами затуманилась, подернулась вертикальными плавучими полосами, и он понял, что по лицу его безудержно бегут слезы, хотя он смог удержаться даже тогда, когда погибли Самвел и Кшися. Но сейчас все навалилось разом, и прошлое, и настоящее, и, наверное, все-таки сильнее всего был стыд перед этими простыми естественными словами, которые родились прежде, чем такие высокомудрые и просвещенные представители высшей цивилизации отыскивали оптимальную формулу контакта, будь она трижды...

Наташа, Меткаф и Макася тоже молчали — видно, и у них горло перехватило, но они опомнились первыми и, бесцеремонно оттолкнув Гамалея, посыпались вниз и побежали по траве; и чтобы толком рассмотреть, что же там происходит, нужно было как минимум утереться. «Ладно, ладно,— сказал он себе,— если уж ты взревел от стыда и горя, то нечего прятаться, вот и иди к ним навстречу с зареванной мордой. Кончились все эти условности, демонстрации, этикетопочитание... Иди».

Он шмыгнул носом, повернулся и неловко полез вниз, нащупывая ногой прогибающиеся перекладки. Со стороны, наверное, смешно, ну и пусть детишки посмеются, гораздо хуже будет, если он сверзится, поломает руки-ноги и с ним придется возиться. После слез стало легко и покойно. Все то, что так долго, мучительно и нечленораздельно определялось в Колизее, а затем декларировалось на «Рогнеде», — все сбылось в первый же миг. Они пришли, как свои к своим, и были приняты, и теперь они есть и будут неотделимы от этой земли, страшной земли, где не чтут стариков и мудрецов, где не щадят женщин и детей. И поэтому, сливаясь с этим народом, они теряют право на ту могучую и, надо сказать, действенную заботу о себе, которая обеспечивается всеми достижениями земной цивилизации.

На равных так на равных. И главное — все земляне думают так же.

Его нога ткнулась в твердый грунт, он, покряхтывая, обернулся. И задохнулся, в последний раз за это утро, сбитый с ног всем невероятием происшедшего: перед ним стоял Наташа, держа на руках узкий белый камень, лежавший в основании посадочного знака.

Только это был не камень, а негнущееся тело Кшиси, и с совершенно белого лица смотрели, не мигая,

совершенно черные, без малейшей прозелени, глаза, и он не мог понять, живые они или неживые.

И Макася, которая лопотала горестно и настойчиво: «...да скорее же, скорее...», и Наташа наступал на него, тесня от лестницы, и Меткаф, запрокинув голову, уже примеривался — какой вираж заложить...

Они стояли против него — его товарищи, еще минуту назад твердо верившие, что пришли сюда, чтобы жить на равных, работать и страдать, любить и сходить с ума, рожать и умирать.

— Да,— сказал он,— да, конечно, скорее на «Рогнеду»...

И тогда на белом лице проступила легкая трещинка — разлепились губы.

— Только попробуй,— отчетливо проговорила Кшися.— Выброшусь из машины...

Они смотрели друг на друга, и были вместе — уже двое против всех остальных.

Над поляной, нацеливаясь на каменный знак, заходила на посадку вторая спусковая капсула, вызванная кем-то без его ведома. Он следил за ее метущейся по поляне темно-синей тенью, не в силах освободиться от навалившегося на него оцепенения. Еще не поздно. Еще есть другой выход. Ему даже ничего не придется делать, от него не потребуется ни слова. Его попросту отпихнут в сторону, потому что через минуту высадится вторая группа, и их будет уже больше десятка. Они втащат Кшисю в капсулу, и для нее закончится жизнь на трижды проклятом Та-Кемте, с его фанатизмом и равнодушием, с его жрецами и рабами, с убегающими по склонам лачугами и черными чудовищными громадами Храмовищ, тупо и слепо подминающими под себя каждый из городов этой несчастной планеты. Да, это кончится. А что начнется?

Жизнь... то есть здоровье, долголетие. И чей-то сын. «Только попробуй — выброшусь из машины...»

Значит, для нее это уже не было жизнью.

— Ну что же,— сухо проговорил он, внутренне холодея от ужаса перед тем, что он сейчас творил своей командирской властью, обрекая ее на продолжение всех этих мук — а может быть, даже и смерть,— что же, выбрала — так оставайся. Мы не боги, мы обыкновенные смертные люди, и они должны видеть это собственными глазами. Хватит чудес, Колизеев там всяких, стен неприкасаемых... Меткаф, позаботьтесь о ней, пока нет Аделаиды. Остальные — к детям!

Но они глядели на него широко раскрытыми глазами и не двигались с места.

— Это приказ! — крикнул он голосом, какого никто и никогда от него не слышал. — Да что вы на меня уставились... Кристина — просто первая, кому досталось полной мерой во имя «спящих богов». Вторым был... — Он увидел черные от боли глаза, которые, не мигая, смотрели на него, и поперхнулся. — В общем, всем нам достанется, каждому в свой черед и своей мерой, никого не минует. Это я вам гарантирую. Потому что мы совершили главную ошибку: недооценили ту страшную силу, которая стояла против нас. А она была, и есть, и будет, и драться с ней насмерть, и запомните, как первую заповедь: это мертвая вода, вроде той, что поит каждый город по милости черного Храма. Такая вода убивает не только еще не рожденных — она вытравливает способность верить в добро и истину... Вон их сколько, поверивших нам, — это из всего-то города...

Ребятишки, присев на корточки, зачарованными лягушатами глядели ему прямо в рот. С другого конца поляны раздался чмокающий звук — это вторая капсула, поелозив вдоль скалы, присосалась к камню и откинула люк. Из отверстия, не спуская лесенки, посыпались люди.

— Фу ты, — Гамалей утерся широким рукавом, — целую тронную речь произнес. На сем и покончим с разговорами. Так сколько нас? — Он оглядел солнечную поляну, считая всех вместе, и землян, и детей. — Двадцать один... двадцать два... Против Храмовища пока маловато...

— Скоро придут еще, — сказала Аплъ. — Пещерка вот тесна...

— С этого и начнем.

Вновь прибывшие, как и следовало ожидать, ошеломленно замерли на другом конце поляны; один только Кантемир двинулся по прямой, четко печатая шаг и разбрызгивая светлую ручейную воду.

— Послушай, Ян, — крикнул он, — если начинать с генератора защитного поля...

— Мы уже начали, Кантемир, — отвечал Гамалей, переходя на будничный, рабочий тон. — Мы все начали с самого начала. Только без божественного ореола и сопоставляющих чудес.

— Что-то ты много декламируешь, как я погляжу, — задумчиво проговорил Кантемир, уставясь в пряжку на его провисшем поясе.

— Я не декламирую, я просто думаю вслух. Первым делом мы, естественно, изничтожим всю эту зелень подколодную, что в храмовом водоеме делает воду мертвой. Результаты скажутся быстро и ощутимо. Значит, надо готовить поселение, способное принять не десяток ребятишек. И не два десятка. И не три. Первое время жрецы озвереют — сотнями придется спасаться...

— К тому времени с базы караван подоспеет!

Ох, и привыкли же мы к этой пуповине, которая связывает нас с собственной планетой, и поит, и кормит, и советами питает! Может, оттого и мыслим с оглядкой?

— Рядовой Кантемир! Отставить разговоры. Думать вслух разрешается только начальнику экспедиционной группы, а ты уж как-нибудь про себя...— Он оглядел товарищей, невольно обернувшихся на непривычную интонацию.— И еще, уже всем: с этой минуты прошу говорить только так, чтобы было понятно детям.

Он улыбнулся им, все еще послушно стоявшим с белыми камешками в руках, невольно подумал: «Хорошо бы и жить так, чтобы они нас понимали... Но пока нам это не удалось».

— Отдохните, ребята,— крикнул он уже по-кемитски,— поиграйте на травке, что ли... Нам нужно тут кое-что построить.

— Нам тоже,— отозвалась длинноногая девочка-журавленок.

Камешки зацокали, ложась кольцом, нагромождаясь уступами, устремляясь вверх стрельчатыми арочками. Первый этаж... Второй... «Ах вы, мои несмышлениши,— со снисходительной нежностью подумал Гамалей.— И вам тоже понадобился свой маленький Колизей...»

И, как всегда, ошибся: они проворно и несуетливо складывали большой очаг. На их языке еще не было таких слов, как «формула» и «контакт», и поэтому, не обременяя себя излишними рассуждениями, они торопились: надо было накормить старшеньких.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| «Щелкунчик». <i>Рассказ</i> | 3 |
| Соната ужа. <i>Рассказ</i> | 36 |
| Перун. <i>Рассказ</i> | 63 |
| Сотворение миров. <i>Рассказ</i> | 101 |
| Лгать до полуночи. <i>Рассказ</i> | 123 |
| Солнце входит в знак Водолея. <i>Рассказ</i> | 150 |
| Вахта «Арамиса», или Небесная любовь Паолы Пинкстоун. <i>Повесть</i> | 162 |
| Формула контакта. <i>Повесть</i> | 248 |

Ларионова О.

Л25 Формула контакта.— Л.: Лениздат, 1991.—
478 с., ил.
ISBN 5-289-00925-6

В сборник фантастики известной ленинградской писательницы вошли ранее публиковавшиеся произведения, а также новинки: рассказ «Лгать до полуночи» и повесть «Формула контакта».

Л **4702010201—007** **146—91**
М171(03)—91

84.3Р7

ЛАРИОНОВА Ольга Николаевна
ФОРМУЛА КОНТАКТА

Зав. редакцией
А. И. Белинский
Художник
В. А. Трилесский
Художественный редактор
А. А. Власов
Технический редактор
И. В. Буздалева
Корректор
Е. В. Сокольская
ИБ № 5379

Сдано в набор 30.05.90. Подписано к печати 12.12.90. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,20. Усл.
кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 27,11. Тираж 100 000 экз. Заказ № 488. Цена 1 р. 80 к.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского
Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

1 p. 80 к.

